Н.Д.ХВОЩИНСКАЯ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Н.Д. ХВОЩИНСКАЯ
(В. КРЕСТОВСКИЙ - ПСЕВДОНИМ)

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ



МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
1984

Р1
Х34

Составление, подготовка текста,
послесловие и примечания
М. С. ГОРЯЧКИНОЙ

Хвощинская Н. Д.

Х34 Повести и рассказы /Сост., подготовка текста, послесл., примеч. М. С. Горячкиной.— М.: Моск. рабочий, 1984.— 381 с.

Надежда Дмитриевна Хвощинская (1824–1889) — известная писательница-демократка 50–80-х годов XIX века. Творчество Хвощинской высоко ценили Некрасов и Салтыков-Щедрин. В центре творчества Н. Хвощинской стоят проблемы борьбы с социальным злом.

Огромное и многожанровое (романы, повести, рассказы, статьи) наследие Н. Хвощинской представляет интерес для современного читателя не только как историко-литературное явление. Ее произведения отличает высокий художественный уровень, они написаны зрелым пером.

В книгу включены повести «Пансионерка», «Первая борьба», «После потопа» и др.

Х $\frac{4702010100-158}{М\ 172(03)-84}$ 199—84 Р1

БРАТЕЦ

повесть
1858

I

Сельцо Акулево всего в двадцати верстах от губернского города N, но лежит оно на проселке, окружено оврагами; на пути к нему находятся два косогора и один страшно крутой спуск к реке, так что сообщения с городом N и вообще с остальным населенным миром весьма затруднительны, а в грязные времена года почти невозможны. Но сельцо очень давно существует на свете, продолжает процветать — стало быть, жители его не чувствуют неудобств своей пустыни, не нуждаются в городе. Сельцо принадлежит помещикам, нескольким поколениям господ Чиркиных, в которых страсть к домоседству сильнеет с каждым поколением. Предпоследний владелец поселился в деревне с того дня, когда, как водится, вышел в отставку из военной службы и женился,— то есть с лишком сорок лет назад; он выезжал из Акулева только через три года один раз, в N на выборы, и еще один раз, экстренный, когда провожал своего десятилетнего сына, которого один родственник увез из Акулева с собою в Петербург учиться. При такой недеятельности, конечно, не могло увеличиваться состояние г-на Чиркина; даже деревенские доходы его не увеличивались ни в Акулеве, его резиденции, ни в двух других деревнях в смежной губернии, в которые он никогда не заглядывал. За пятнадцать лет до начала этой истории он умер, оставив жене, трем дочерям и сыну все эти имения,— правда не в долгах, но уже нисколько не устроенные. Он выразил свою заботу о будущем только тем, что, умирая, отделил сыну и старшей дочери, уже совершеннолетним, их части имения, назначил части двум меньшим дочерям и поручил опеку жене своей, их матери, которой завещал Акулево.

Любовь Сергеевна Чиркина осталась жить там с дочерьми. Сын уже давно кончил курс и служил в Петер-

бурге; с тех пор как его отвезли учиться, он приезжал домой только раз, на одну вакацию; но, узнав о смерти отца, поспешил приехать, чтобы успокоить мать и вообще распорядиться. Нельзя сказать, чтоб его приезд подействовал успокоительно: человек молодой (Сергею Андреевичу было тогда двадцать пять лет), воспитанный далеко от деревенской глуши, он имел свои понятия и свой взгляд на вещи, был несколько строг и несколько взыскателен, а к этому в Акулеве не привык никто. Он удивлял своим знанием производительных сил этого угла земли и так требовал, видимо, должного, что противоречить ему не было возможности. Впрочем, кто бы и стал ему противоречить? Мать была взволнована познаниями и величием сына, но вместе с тем так обрадована свиданием с своим Серженькой после долгой разлуки, что могла только умиляться до слез, глядя на него, и рассказывать посторонним о его служебных подвигах с таким же восхищением, с каким, бывало, рассказывала она остроты и успехи его детского возраста. Сергей Андреевич был сынок, выпрошенный у бога. Его старшая сестра, Прасковья Андреевна, годом прежде его явившаяся на свет, была встречена очень неприветливо родителями, мечтавшими о сыне. Его начали обожать с колыбели, и судьба делала все, чтоб оставить за ним одним это обожание: шесть сыновей, родившихся потом от счастливого брака Чиркиных, умерли все, даже не достигнув периода занимательности, периода первого смысла, так что о бедных детях не могло остаться и ясного воспоминания... Можно вообразить отчаяние Любови Сергеевны, когда пришлось расставаться с этим сокровищем, с Серженькой, и отпускать его вдаль, в ученье! Серженька писал редко: у него и в гимназии постоянно недоставало времени, а позже — и говорить нечего. Но он аккуратно помнил дни рождения и именин родителей и умел приноровить так, что поздравления его получались в самый день торжества; если же письма должны были опоздать или прийти ранее, по расчету почтовых дней, Серженька пользовался этим случаем для какой-нибудь особенной любезности. «Ранее всех и первый бросаюсь я в ваши объятия, дражайшие родители...» Или: «Теперь, когда давно кругом вас затих шум поздравлений, радуюсь, что моего голоса не заглушит более голос посторонних...» — и прочее. Сергей Андреевич не думал или не помнил, что «посторонними» называл своих сестер...

Он знал их мало, но они хорошо его помнили. Когда он приезжал на вакацию, ему было девятнадцать лет, его сестрам — двадцать и одиннадцать; третьей еще не было на свете. Он сказал только сестре Вере, что она ничего не знает и неграциозна, и заметил (при родителях) сестре Прасковье, что она могла бы заняться ребенком, что долг женщины любить детей и заботиться о них. Мать ахала от ума и сердца Серженьки. Маленькая Вера стала его бояться, убегала, встречаясь с ним в саду, а случалось, и пряталась. Прасковья Андреевна, скучая, как скучала бы всякая молодая девушка, осужденная провести лучшие годы молодости в забытой, глухой деревне, отважилась поговорить с братом; он был так учен, а у нее, несколько месяцев назад, была гувернантка — невежда, но добрейшая девушка, которая ничему не учила свою воспитанницу и вместе с нею читала самые чувствительные стихи и восторженные, хотя и нравственные романы. Гувернантке отказали, под предлогом дороговизны и того, что Прасковья Андреевна сама может заниматься меньшой сестрой. Знал ли эту причину Сергей Андреевич, рекомендуя сестре это занятие, или ему вошло в голову сказать это *так*, от дидактического настроения, но он попал на мысль и на желание родителей. Он как-то умел всегда попадать так ловко... Гувернантке отказали еще потому, что надо было посылать больше денег Сергею Андреевичу, переходившему на высшие курсы... Сестра знала эту причину. Выросшая среди хозяйства и счетов, она знала этот расчет, знала и то, что можно было бы оставить ей подругу, не разоряясь и не заставляя братца стесняться в чем-нибудь... да не беда была бы и отказать немного братцу: он не один! Впрочем, дав как-то однажды этой мысли пройти в голове, Прасковья Андреевна не возвращалась к ней больше, а, напротив, старалась пользоваться приездом брата, чтоб сблизиться с ним. Она попробовала говорить ему о чувствах, о своей скуке... Сергей Андреевич шутил, смеялся, наконец строго сказал сестре, чтоб она не дурачилась. Они расстались не холодно, не принужденно, а как-то странно... Прасковья Андреевна вздохнула свободнее с отъездом братца, но горько думала, как им могло бы быть хорошо вместе и... почему же было дурно?..

Потом, через несколько месяцев, когда у молодой и хорошенькой затворницы промелькнула мечта первой любви — что-то далекое, смутное, чему было не суждено

ни объясниться, ни осуществиться, когда на душе у нее стало и больно и весело и захотелось поделиться с кем-нибудь этим счастьем и горем, Прасковья Андреевна принялась думать о брате с нежностью и раскаянием... ей казалось, будто он был добр, ласков, внимателен... он так умен!.. Она решилась и написала ему письмо, полное самых милых, трогательных и наивных полупризнаний, самых горьких, потому что покорных, жалоб на скуку и пустоту жизни, на скуку и прозу житья-бытья, на недостаток дружбы и общества... Это письмо было отправлено потихоньку, один бог знает с каким страхом. Для ответа Прасковья Андреевна давала брату адрес жены конторщика, старухи, которая ее любила, единственной посторонней, которая была близка к ней.

Прасковья Андреевна ждала ответа и дождалась его скорее, нежели думала. Родители получили письмо от Серженьки. Уведомив о своих успехах и передав отцу поклоны совершенно не знавших его начальников, а матери поклоны начальниц, не подозревавших ее существования, описав высоким слогом погребение какого-то важного лица, Сергей Андреевич извинялся, что должен оставить приятную беседу с бесценными виновниками своего бытия и исполнить весьма горестный для него долг — отвечать сестре на ее письмо, которое его удивило...

Как поразили эти строки Прасковью Андреевну, которой приказывалось всегда читать вслух письма Серженьки! Каково было ей прочесть длиннейшее, черствое, злое наставление, полное насмешек, желчи, желания поучить и высказаться!.. Ей ничего *не досталось* за эту открытую тайну, не досталось потому, что тайны ее и она сама не считались большой важностью; но в ее житье-бытье ухитрились прибавить еще стеснения, с ней стали еще строже... Прасковья Андреевна, конечно, не умела разобрать своего чувства, но она разобрала, что у нее душа не лежала к братцу.

Так началось их знакомство; позже, когда Сергей Андреевич приехал в деревню после смерти отца, он застал старшую сестру еще не устаревшую, конечно, но тихую, молчаливую, так что нельзя было ни отгадать, ни понять, что она думала или чувствовала. Весь дом молчал — не от одной горести о смерти главы дома, но потому, что молчание было в привычке. Вторая сестра, Вера, семнадцатилетняя девушка, некрасивая и болезненная, была так робка, что краснела и смущалась от всякого

слова; третья, Катя, пятилетняя девочка, совершенно незнакомая брату, воспитывалась в строгости и повиновении и находила защиту и ласки только у одной старшей сестры своей. Из чувств Прасковьи Андреевны можно было подметить только одно: она до безумия любила Катю. Меньшая сестра годилась бы ей в дочери; Прасковья Андреевна соединила в своем почти материнском чувстве все сожаление о своем тяжело пережитом детстве и даром прожитой молодости, все горе о холодной пустоте настоящего. Она немногому могла учить Катю и не требовала, чтоб она училась: ей было жаль заставлять ребенка трудиться; она думала только о том, чтоб этот ребенок был весел, был счастлив как-нибудь, чем-нибудь; она наряжала его, как могла... потому что у двадцатипятилетней девушки не было ничего в распоряжении, и она, бывало, должна выработывать, чтоб наряжать свою куклу. Сергей Андреевич заметил ей, что это сумасшествие...

— Так и быть,— отвечала хладнокровно Прасковья Андреевна.

— Для чего же она приучается к роскоши, к которой не приучены ее сестры? — возразил брат.

Разговор был при матери. Сергей Андреевич вообще любил делать свои замечания гласно; он был уверен в непогрешимости своих мнений и потому не находил нужным скрывать их.

— Роскошь — полушерстяное платье? — спросила Прасковья Андреевна по-прежнему хладнокровно.

Сергей Андреевич превосходно объяснил, что от мелочей до больших последствий — один шаг, что женщины вообще настойчивы, пусты и недальновидны. Он говорил красноречиво. Нетрудно было сделать впечатление на женщин, никогда не слыхавших таких длинных речей; он выражался так строго, резко и с таким сознанием своего превосходства, своего прекрасного воспитания и ничтожности слушательниц, что слушательницы, волею или неволею, должны были благоговеть пред ним.

Мать видела в нем чудо... У матерей бывают заблуждения. Предмет заблуждений вследствие беспрестанного восхваления в детстве, вследствие любви, выказанной слишком явно, с бесцеремонным предпочтением пред другими детьми, кажется неприступно великим, всезнающим, всеобъемлющим, когда вырастает постарше и умеет взять половчее в руки тех, кто обожал его безусловно. Судьба послала это выгодное положение Сергею Андреевичу Чир-

кину... Серженька был красавец, умница, послушен, остроумен и прочее. Серженька был прилежен, уважал родителей и прочее. Серженька не щадил трудов своих для службы отечеству, достиг в юных летах почетных чинов, был благоразумен не по летам, заботлив о матери, а уж умен-то как, умен-то!..

И, разработывая эту тему, Любовь Сергеевна создала себе идола из своего Серженьки. Она слушала, когда он говорил, буквально замирая, потому что ловила не только слова его, но и всякий звук слова, хотя бы он говорил пошлости. Она из себя выходила, когда другие ему противоречили, даже если с ним соглашались; ей казалось, что этого мало, ей воображалось, что не так соглашаются. Если он желал чего-нибудь — хотя бы это желание было стакан воды, которого он долго дожидался,— мать волновалась, как будто весь мир восстал и мешает Серженьке. Она никогда не бывала кротка, но за сына становилась ужасна! Она поклонялась сама и требовала для него всеобщего поклонения...

Замечательно, что Сергей Андреевич принимал все это будто должное, с большим достоинством и очень хладнокровно. Если мать, говоря о запутанных делах по имению, восклицала:

— Ах, Серженька, на тебя одна надежда!

Он отвечал с уверенностью:

— Да, конечно, вы ни о чем понятия не имеете.

И это выслушивалось, как будто так и следовало. Если мать жаловалась на нездоровье, Сергей Андреевич объяснял ей, что она объелась и с необыкновенной точностью припоминал все, что она ела два-три дня назад; доказательства были неопровержимы, спорить было нечего — оставалось только еще выслушать несколько морали о невоздержании. Если Любовь Сергеевна, думая «занять» своего идола, принималась рассказывать ему что-нибудь, она могла ясно видеть по его физиономии, что он устал давно и слушает единственно из учтивого снисхождения, чтоб оставить ей удовольствие говорить. Чаще всего он уходил, не сказав ни слова, просто вставал и уходил, едва она кончила рассказ; или иногда вдруг глубокомысленно расспрашивал подробности, заставлял повторять, делал замечания и заключения, и — чудо! — люди, которых Любовь Сергеевна считала и хотела выказать умными, оказывались дураками, и наоборот...

Он не шутил почти никогда, только изредка, тонко

и не совсем понятно подшучивал над сестрой Верой. Он продолжал считать ее ребенком, учил ее входить в гостиную, кланяться, здороваться, находя, что она не умеет ничего этого делать; заставлял ее говорить громче или тише, как случалось или как ему вздумается; заставлял повторять слова русские, находя, что она не так их произносит, что она говорит не по-русски, неправильно; заставлял объяснять то, что она сама говорила, уверяя ее, что она сама не понимает того, что говорит... Вера играла на фортепиано: ее выучила старшая сестра, совсем оставившая музыку; но Вера любила музыку и занималась ею охотно; у нее было старенькое фортепиано и старенькие ноты; что-нибудь новое доставалось с большим трудом. Музыка сделалась новым источником мучений для бедной девушки: братец был знаток и любитель; он бывал во всех концертах и постоянно посещал оперу; к счастью Веры, тогда еще в Петербурге не было итальянской оперы. Сергей Андреевич нашел, что должен дать сестре несколько советов; как меломан, он был очень недоволен, но как человек порядочный, умел выражаться не шумя.

— Ты понимаешь,— тихо и мягко говорил он испуганной самоучке, которая, не смея заплакать, уже не различала отуманенными глазами пожелтелых клавишей своего фортепиано,— ты понимаешь, я не хочу, чтоб всякий имел право сказать, что ты колотишь, как барабанщик; если ты не можешь переменить свою методу, так нечего и играть...

— В самом деле, для Серженьки это тяжело, что она так играет,— говорила между тем шепотом мать Прасковье Андреевне,— ты бы тоже поговорила ей, чтоб она переменила методу.

— Не понимаю, какое ему дело? — возразила холодно Прасковья Андреевна,— она играет как умеет.

— Что еще такое?

— Она играет для своего удовольствия; она не училась.

— Как это «не училась»?

— Учителей не было.

— У кого же они были?

— У братца были,— отвечала Прасковья Андреевна, покраснев, но тихо.

И после этого, что бы ни говорилось, она не возражала более ни слова.

Только, замечая ее пристальный, ничего не выражав-

ший взгляд и напрасно попробовав таким же пристальным взглядом заставить ее потупить глаза, Сергей Андреевич начинал говорить матери, что Катю надо отдать в институт, или замечал Вере за обедом, что она не так держит вилку, не так берет кушанье...

Может быть, в мире не было существа добрее и терпеливее Веры. Она ни от чего не приходила в негодование, ничем не оскорблялась; она могла только плакать, роптать на судьбу, но никогда на людей. У этой грустной покорности была причина еще более грустная: Вера с детства слышала, что она дурна и глупа, и наконец поверила, что это справедливо и что все правы, не допуская ее иметь своего мнения даже о самых обыкновенных вещах. После такого убеждения она совсем перестала думать, рассчитывая, что для нее, слабоумной, это совершенно лишний труд. Она в самом деле отупела. В детстве игры, шалости могли бы развить в ней понятливость; но, больное дитя, она не могла развиться, как другие дети; она целые дни сидела не с куклой, а с чулком в руках, все у одного и того же окна, в которое посматривала в тупом, рассеянном раздумье... И так прошли целые годы; чулок был заменен пяльцами. Вера запомнила все бревна и все щели забора, который возвышался перед окном... Ей беспрестанно говорили, что с больными тоска, и она вообразила, будто она в тягость целому свету и что это уже великая милость, если не только как-нибудь заботятся о ней, но только терпят ее... После этого все казались ей справедливы, все милостивы, а умны были все так в ее глазах, что она всех боялась.

Она была уже в таком возрасте, что могла б быть подругою старшей сестре, но их характеры были так непохожи и Прасковья Андреевна так давно привыкла к своему одиночеству, что не могла сблизиться с Верой. Вера доставляла ей слишком много забот, слишком часто приходилось вступаться за нее, хлопотать о разных мелочах, научать ее, как вести себя, чтоб жить если не счастливо, то хотя покойно. В чем могла быть виновата безответная девушка — неизвестно; но ей часто случалось быть виноватой и приходилось бы очень тяжело, если б не выручала Прасковья Андреевна... Забота утомляет. Мать может не тяготиться заботой о своем ребенке, потому что имеет власть над ним, потому что свободна и не поставлена в необходимость сама беспрестанно извертываться, отстаивать мелочи, выпрашивать мелочи, подвергаясь выго-

ворам, упрекам, неприятностям. Если и бывают матери, которые терпят это, то им придает силы их материнское чувство; но забота о равной, забота, стоящая досады, огорчений, утомляет, наводит на злую мысль, что слабое существо, которому так покойно под нашей защитой, могло бы само за себя хлопотать; эта забота наскучает до того, что предмет ее становится не мил... Во всех есть доля эгоизма,— в молодых девушках более, нежели в ком другом, а Прасковья Андреевна проживала самые лучшие годы молодости в то время, когда ей приходилось терпеть за сестру. Ее утомление и эгоизм выразились только тем, что она не могла сделать из своей сестры себе подругу, поверенную; сестра не была ей необходима. Но Вера была существо такое слабое, жалкое, вялое, что не могла быть необходима кому-нибудь, тем менее Прасковье Андреевне, недовольной, скучающей, раздраженной и принужденной молчать и молча бороться. Они сошлись бы, может быть, если б им было дано настоящее образование, если б кто-нибудь с детства принял в них участие и наставил их; этого не случилось. Они любили друг друга горячо, но в то же время как-то странно: любовь одной смешивалась с каким-то мелким подобострастием, любовь другой — с каким-то унижающим состраданием...

Брат понимал все это по-своему. Иногда в послеобеденное время, лежа на диване, на который ему приносили несколько подушек (он не выносил жесткой мебели, привыкнув к комфорту своей столичной квартиры), он доставлял себе наслаждение молча наблюдать за сестрами, которые вышивали, каждая у своих пялец и у своего окна.

— Ты не боишься, что у тебя скривится спина? — вдруг спрашивал он Веру.

— Отчего? — спрашивала она.

— Отчего? — от пялец, конечно. Это будет приятное прибавление к прочим твоим приятностям.

Водворялось опять молчание. Сергей Андреевич прерывал его снова, на этот раз не обращаясь ни к одной из сестер, так что могли отвечать обе.

— Сколько еще манишек необходимо вышить?

Он поднимал голову и ждал ответа.

— Как «необходимо»? — спрашивала Прасковья Андреевна.

— Что это, подряд какой-нибудь?

— Нет, не подряд, для себя.

— А! вы для своего удовольствия тратите время. С богом. Что ж! больше вам делать нечего, заняться нечем.

— Чем же, братец?

— Скотный двор у вас есть, кухня.

— Не целый же день быть там.

— Совершенно справедливо!..— отвечал он посмеиваясь.

Долгое молчание.

— Что, вы иногда говорите между собою? — внезапно спрашивает Сергей Андреевич.

Сестры столько же удивлены, сколько сконфужены.

— Право! Или принято у вас, считается приличным целый день слова не вымолвить?

— О чем же нам говорить? — возражала Прасковья Андреевна.

— Так-таки решительно не о чем?

— Да что ж, все уж известно, переговорилось.

— Ну и прекрасно! Две девушки, две сестры, живут целый век вместе: велика, стало быть, дружба между ними, когда им нечего сказать друг другу! Велико их умственное развитие!.. Удивляюсь, право. Не слыхал, не только не видал я в жизнь ничего подобного!..

Сергей Андреевич становился красноречив. Он умел доводить разговор до того, что Прасковья Андреевна выговаривала нечто похожее на жалобу, что сестра и она ничего не видели и не знают на свете дальше Акулева. После этого поучениям его не было конца...

Сергей Андреевич не догадывался, что его сестры не знали, что такое общество, удовольствия, книги, наряды, любезность молодых людей, заботы о своей красоте, волнения, которыми живут женщины. Ему в голову не входило, что сестры жили затворницами, дикарками со дня рождения. Город N был очень недалеко; там живали весело, но для двух сестер N был все равно что в Америке. Они были там раза два-три в жизни, на богомолье, в ярмарку, посмотрели на улицы и на народ, толпившийся на торговой площади. Вера боялась тесноты, хотя, кажется, можно было на все смотреть спокойно с вершины тряской старомодной коляски, в которой помещалось все семейство. Это семейство смотрело дико и подозрительно, с презрением к городской суете и вместе с самоумалением перед городским блеском; городские жители посмеивались, глядя на него... Трудно описать впечатление, которое

выносили девушки из этого дня, проводимого в церкви, где N-ское общество было необыкновенно нарядно; в лавках, где все продавалось ужасно дорого и где купцы смотрели как-то странно и неприветливо; в нумере дешевой гостиницы, где после обедни и покупок, пообедав, родители ложились спать, а дочери между тем, не двигаясь, чтоб не потревожить их сна, и сторожа свои вещи в постоянном страхе и уверенности, что в городе их непременно обкрадут, сидели у окон, обращенных во двор. Летний день шел долго — светлый, тихий, веселый; на улицах слышался стук экипажей, говор проходящих, музыка; на крыше прыгали воробьи; во дворе гостиницы извозчики пели песни; солнце садилось, наставал холодок; родители просыпались и торопили запрягать лошадей, возвращаться в Акулево.

— Довольно! нагулялись! — говорили они с видом величайшего утомления и негодования и приговаривали часто, особенно во время счетов с хозяином: «Что это за город! Это не город, это грабительство».

Влезая в коляску, под воротами дома, увидя мерцание и огни на противоположном тротуаре, они спрашивали:

— Что это?

— Иллюминация,— отвечали им.

И так как гостиница была на выезде из города, то две-три плошки около заставы — была вся иллюминация, какую когда-нибудь видели молодые девушки.

Они могли бы рассказать это братцу, требовавшему от них разговоров и любезности; но можно поручиться, что эти рассказы его не займут. Хотя он много говорил о необходимости доверенности, но очень строго судил женскую доверенность... Впрочем, Прасковья Андреевна уже испытала, каково участие братца, и, помня его очень хорошо, не искала его больше. Братец сказал однажды после неудачных попыток завязать разговор:

— Если вы не говорите мне, что у вас на душе, стало быть, не хотите; ну я и не набиваюсь, как знаете!

Вера испугалась; Прасковья Андреевна сказала ей, улыбаясь довольно странно:

— А ты думаешь, ему в самом деле есть охота о нас заботиться?

Сергей Андреевич прожил два осенние месяца в своем семействе, утешая мать и подкрепляя вообще советами и наставлениями всех, даже и посторонних, даже соседей, навещавших Любовь Сергеевну после ее утраты. Сергей

Андреевич отдал визиты весьма немногим, весьма разборчиво и осторожно. Он и держал себя со всеми как-то настороже, мягко, уклончиво, холодно. С теми, кому отдал визит, он говорил умеренно — если не совсем свысока, то с большим достоинством — о предметах общезанимательных: о службе, об административных переменах... В провинции, особенно лет двадцать назад, спокойная уверенность и слегка таинственный тон в разговоре о подобных вещах производили сильный эффект.

— Деловая голова! далеко пойдет! — говорили вслед Сергею Андреевичу после его визитов.

— Умнейший, ученый человек, дипломат! — шептали бедные соседи, до благоговения запуганные Сергеем Андреевичем, которого удавалось им видеть во всем его величии — дома.

— Все знает, во все вник, все вот так кругом пальца повернет — ловкий человек! — восклицали губернские дельцы, знатоки дела, восхищавшиеся Сергеем Андреевичем из любви к искусству.— Этот не даст себе на шею сесть, нет! ну и своего не проглядит, что следует — не пропустит...

Последнее говорилось вследствие разных сделок, актов и тому подобного, что совершил Сергей Андреевич, который дождался в течение этих двух месяцев срока, когда Вера, выходя из опеки, могла выбрать сама себе попечителя, убедил (впрочем, кого? ни Веру, ни мать убеждать было нечего) сделать так, что Вера выбрала его своим попечителем, и, распорядившись, уехал.

Перед отъездом он сделал еще одно распоряжение: не убеждал Прасковьи Андреевны, но показал ей чьи-то векселя, чьи-то претензии и тому подобное, напугал ее разными долгами и обязательствами, натолковал, что для общего семейного спасения нужны деньги, и устроил так, что она дала ему доверенность заложить в совет ее часть имения. Сергей Андреевич положил эту доверенность и все, какие следовало, бумаги в свой бумажник и уехал совершенно успокоенный.

О сестре Кате он никак не распорядился; он даже как-то забыл поцеловать ее, прощаясь. Мать это заметила и долго потом повторяла в слезах:

— Так был потерян, так огорчен, мой голубчик! Повис на руке, не мог оторваться... Девчонка эта куда-то отвернулась.

Жизнь в Акулеве пошла своим чередом. Сергей Андре-

евич возвращался туда еще раза два или три в пятнадцать лет, на самое короткое время. Всякий раз он более и более совершенствовался в величии — и немудрено: он быстрыми шагами восходил на лестницу почестей и чинов. Его трепетали не только в Акулеве, но и в N. Там положительно уверяли, что Сергей Андреевич сильнее многих министров...

Этим временем именье Прасковьи Андреевны, которого доходы, при отчетах бурмистра, поставленного Сергеем Андреевичем, аккуратно высылались в Петербург, будто бы для уплаты в совет, это именье продалось с аукциона, и Прасковья Андреевна узнала об этом... от знакомых, которые, конечно, не воображали, что сообщают ей новость. Это была новость и для матери; но мать всегда была уверена, что Серженька устроивает все к лучшему.

Братец издали пекся о благосостоянии Веры и ее поместья. Он был сначала попечителем, потом управлял по доверенности. Непостижимо: там продавались то луговые участки, то хлеб на корню, то заповедные рощи, то мельницы, то целые дворы... это было как-то необходимо для «округления» именьица, и оно так превосходно «округлялось», что стало заключаться все в одном флигельке с усадебной землей, которую со всем, с флигельком, Сергей Андреевич издали, через надежного человека, счел выгоднее продать молодому священнику, только что приехавшему и не успевшему рассмотреть, что флигелек годится только на дрова. Продать его была, конечно, мера дельная и благоразумная...

— Вера, ведь у нас с тобой нет ничего! — сказала Прасковья Андреевна вечером того дня, как «надежный человек» известил обо всем этом Любовь Сергеевну.

Сестры были одни в своей комнате.

— Под старость мы без куска хлеба,— продолжала Прасковья Андреевна.

Вера плакала.

— Бог дал, бог и взял, сестрица! — отвечала она.

II

Осенний вечер, темнота и дождь. Дом в Акулеве неуютный, некрасивый, холодный, смотрит еще мрачнее и неприветливее, нежели когда-нибудь; он обветшал и постарел пятнадцатью годами после смерти старого владельца, а те, кто жил в нем эти пятнадцать лет, не делали

никаких поправок, не только украшений. К этому дому применялось нечто вроде лечения домашними средствами. Тесовые стены сеней и стены холодной лестницы, выходившей из этих сеней наверх, где жили девицы, были грязно оклеены синей сахарной бумагой, в защиту от непогоды и вьюги, которые свободно свистели в щели и обливали дождем или засыпали снегом и сени и ступеньки лестницы. Сахарная бумага, только белая, была употреблена на заклейку обвалившегося потолка прихожей. В зале потолок согнулся и страшно обвис; было ясно, что в нем перегнила какая-нибудь переводина; в избежание падения он был подперт двумя столбами из некрашеного, едва отесанного дерева, укрепленными в пол между двумя толстыми деревянными обрубками. Пол был искривлен; из него дуло, из окон тоже.

Любовь Сергеевна Чиркина, маленькая сгорбленная старушка, завернутая вся во что-то ветхое, стеганое — в одну из тех одежд, какие умеют придумать только деревенские старухи,— сидела в гостиной, сжавшись в комок на черном кожаном диване, который один не изменялся с веками. Она перебирала карты в руках и у себя на коленях, гадая как-то по-своему. Перед нею не было свечки. Свечка горела поодаль от дивана, на небольшом столе, у которого сидели Прасковья Андреевна и Вера.

Обе сестры были уже старухи. В деревне, в глуши, женщины стареют скоро. С детства, в лучшую пору, не было средств, не было своей воли, не было случая, следовательно, и желания, наряжаться, заботиться о себе; равнодушие к своей особе сделалось привычкой. Потом, позже, когда первые седые волосы, усталые веки, складки рта напомнили, что прошло, и невозвратно прошло, прекрасное время, является вдруг болезненно-грустное, болезненно-озлобленное чувство: равнодушие, перешедшее в отчаяние. «Все равно, дурна ль, хорошо ли я: меня никто не видит; я никому не нужна...» И, однажды сказав себе это, женщина принимается стареть, безобразно, неизящно, и стареет скоро...

Они работали, перешивали что-то. Рядом с ними у стола, тоже работая, но очень рассеянно, сидела их меньшая сестра Катя, хорошенькая, полненькая девушка. Она одна смотрела весело, немножко нетерпеливо... она ждала чего-то...

Любовь Сергеевна с глубоким вздохом встала с ди-

вана и, удерживая оханье, осторожными шагами отправилась в залу, где было совершенно темно; ощупывая стену руками, споткнувшись раза два и загремев стульями, старуха добралась до коридора. Там она остановилась у затворенной двери, из-под которой был виден свет, и стала прислушиваться.

Едва вышла мать, Катя вскочила с места, бросилась к окну, не закрытому ставнем, потому что ставень был сломан, приподняла выше головы большой платок, бывший у нее на плечах, чтоб в стекла не отражалась комната, и принялась смотреть, что делалось на дворе.

— Вот, всякому свое! — сказала, засмеявшись, Прасковья Андреевна.

— Нет никого; зги не видно! — сказала Катя, отходя от окна.

— Как же ты хочешь, чтоб он приехал? Ведь от города двадцать верст, и еще какова дорога! — возразила Прасковья Андреевна.

— Да, дай бог, чтоб не приезжал,— заметила Вера.

— Это почему ж так? — обратилась к ней Катя, очень недовольная и очень смело.

— Не вовремя,— отвечала, сконфузясь, Вера,— у братца головка болит...

— Да мне-то что ж? — возразила Катя.— Ах ты господи! Разве у нас монастырь? Ведь это ужас! У братца головка болит, так мне не видать моего жениха? Ведь Александр Васильевич мне жених... У братца головка болит! Да она у него всякий день болит, с тех пор как приехал; весь дом на цыпочках ходит. Маменька, никак, в двадцатый раз нынешним вечером под дверью слушает...

— Ну, затормошилась. Сядь на место да шей,— сказала ей Прасковья Андреевна.

Через минуту Вера встала.

— Я пойду также послушаю, что они,— сказала она тихо и осторожно.

— Вот охота! — возразила Прасковья Андреевна.

— Как же, сестрица, может быть, они в самом деле так нездоровы. Маменька скажет: не хотели проведать.

— Полно, сделай милость,— прервала Прасковья Андреевна,— ничего он не болен. Он злится, как приехал, пятый день. Будто мы этих штук не видали. Вот посмотри, немного погодя и узнаем сюрприз какой-нибудь приятный.

— Какой же еще сюрприз? — сказала Вера, вздохнув.

— Конечно, нам уж ничего хуже быть не может,—

продолжала Прасковья Андреевна,— разорить нас больше нельзя; к чему другому — привыкли, ничем нас не удивишь. А сам-то он что-то не так; должно быть, что-нибудь случилось.

— Избави бог! — сказала Вера,— что вы, сестрица!

— Что ж? — спокойно возразила Прасковья Андреевна,— нам-то что ж от этого? Он учился, он служил: какая нам была утеха или прибыль? — ничего. Ну, слетел с места, может быть: нам что за печаль?

Катя опять встала и пошла смотреть в окно.

— Избави бог,— повторила Вера,— как вы это так говорите! Вот начиная с того, что Александр Васильевич служит: братец может ему и место лучше доставить, братец знает, где выгоднее, и постарается, и попросит за него, и научит, что и где нужно.

— Никогда ничему не научит и никогда ничего не сделает! — возразила Прасковья Андреевна,— пожалуйста, лучше не говори! Это только в сердце вводить — говорить о нашем братце... Бог ему судья! Теперь уж хуже того не натворит, что натворил. Учить нас — выросли; мудрить над этой девочкой я не даю, так дай хоть поскрипеть, что «головка болит», чтоб весь дом ошалел, за ним ухаживая... Господи! счастье бывает человеку!

Вера вздохнула, наклонясь к своей работе; лицо ее выразило какое-то болезненно-грустное чувство; в глазах мелькнули будто слезы.

— А как подумаешь да припомнишь!..— сказала Прасковья Андреевна и замолчала тоже.

Им ничего не оставалось больше, как молчать. Вся их жизнь с детства была принесена в жертву семейному идолу, и теперь, когда впереди была беспомощная, бесприютная, одинокая старость, потому что эти одичалые создания не умели даже знакомиться, не только сближаться с людьми,— теперь они видели, что все кончено и непоправимо...

Братец снова посетил их уединение. Его приезд никогда не был им на радость; нынешний раз в нем было что-то загадочное.

Сергею Андреевичу было сорок лет. С годами он приобрел необыкновенный вес и значение; но посторонние знали о нем больше, нежели его семья. Посторонние рассказывали о роскошном доме, который он занимал в Петербурге, о вечерах и обедах, которые он давал нередко, о его огромной игре в клубе. В N говорили, что

одна ревизия, назначенная туда совсем неожиданно и наделавшая много шуму, а некоторым важным N-ским лицам много неприятностей, была прислана по внушению и влиянию Сергея Андреевича. В Акулево время от времени приезжали разные господа, искавшие должностей или находившиеся в запутанных служебных обстоятельствах; они свидетельствовали свое глубочайшее уважеиие Любови Сергеевне и выпрашивали ее рекомендации к сыну или ее собственного письменного предстательства. В провинции еще верят в силу этих предстательств! Любовь Сергеевна, которая, по характеру, не взялась бы ни за кого хлопотать и просить, не могла отказывать этим просьбам: это значило бы допустить сомнение или в могуществе Серженьки в министерствах, или в уважении Серженьки к просьбам матери, следовательно, в ней самой. Любовь Сергеевна давала свои автографы просителям и конфиденциально писала сыну подтверждения:

«Я, мой друг Серженька, не сомневаюсь в твоих истинно благородных чувствах принять во всяком участие, и, как тебя бог поставил на такой высоте, ты окажешь, сколько можешь помощи; но по занятиям твоим, мой друг, я боюсь, чтоб ты не запамятствовал...» — и прочее.

В корзинке под письменным столом Сергея Андреевича было очень много этих «подтверждений».

Сам он писал редко, раза два в год, уже не помня ни о днях именин и рождений, ни о праздниках,— писал тогда только, когда случалось дело, и никогда не поминал о protèges своей матери, как будто ни их, ни рекомендаций о них никогда не бывало. О сестрах тоже никогда ничего не говорилось,— впрочем, по довольно уважительной причине: о них было нечего говорить. Сергей Андреевич был уверен, что, если умрет которая-нибудь, ему напишут, а на брак (обстоятельство более нежели сомнительное) станут испрашивать его разрешения... Он сам однажды неожиданно уведомил свою матушку, что вступает в брак с девицей, дочерью действительного статского советника (имя и фамилия не назывались, как лишние после титула), что этот брак совершится в непродолжительном времени и что, следовательно, необходимы деньги. Любовь Сергеевна испросила из опеки разрешение продать на срубку рощу, составлявшую главную ценность имения маленькой Кати. Так как сделка делалась наскоро, то пришлось продавать почти за бесценок, а так как все это было «дело женское», то есть делалось

без толку, то рощу так хорошо вырубили, что в ней не осталось даже и порядочных пеньков, и прошло с тех пор много лет, а не выросло и прутика. Деньги были отосланы Сергею Андреевичу. Он долго не отвечал, пока наконец письма Любови Сергеевны, начинавшиеся словами: «Успокой меня, мой друг Серженька, насчет высланных мною к тебе восьми тысяч рублей ассигнациями...» — не вывели его из себя, и он отвечал, конечно, очень основательно, что суммы, посылаемые по почте, не пропадают и что, если б случилось это, он написал бы давно. Любовь Сергеевна удивилась, как такое простое соображение давно не пришло ей в голову, и заметила, что Серженька «проказник». Спустя несколько времени она сообразила, что ей надо дать сыну свое родительское благословение и послала его в письме очень красноречивом. Она выражала надежду, что ее друг и сын, вместе с его прекрасной подругой (неизвестно почему Любовь Сергеевна воображала прекрасною невесту Сергея Андреевича: он ни слова не говорил о ее красоте), дадут ей приют у себя, потому что с дочерьми она жить не намерена. Ответа на это письмо не было. Сначала Любовь Сергеевна хранила в тайне от дочерей женитьбу сына, но ей наконец наскучила таинственность или, что вероятнее, вздумалось доказать дочерям, во сколько брат умнее их тем, что нашел себе невесту, тогда как они не умели найти женихов. Она описала им, как хороша невеста, как богата. Мечтать ей понравилось. Вот так-то Серженька повенчался, такой-то у него дом, такое-то приданое у жены... Сообразив, что свадьба уж была, Любовь Сергеевна сочинила поздравительное письмо и заставила обеих дочерей писать тоже, поздравлять братца и рекомендоваться невестке.

— Мы ему всем обязаны,— говорила Любовь Сергеевна,— наш долг почтить жену его; она глава в доме, конечно, а не я.

Ответа не было. Спустя недели две Любовь Сергеевна писала опять:

«Полагая, друзья мои и милые дети, что письмо мое затерялось, поздравляю вас снова и желаю согласия и счастья...» — и прочее.

Прошло два месяца. На второе подтвердительное поздравление Сергей Андреевич отвечал, что матушка могла бы и не торопиться поздравлять, что свадьбы не было и не будет и что, следовательно, смешно было спешить... Любовь Сергеевна была поражена как громом. Она была

жестока к Прасковье Андреевне, которая все чему-то улыбалась.

К следующим святкам, года через полтора, Сергей Андреевич прислал с оказией сестрам подарки: мантилью, шляпку и два пестрые галстучка, все несколько поношенное и потерявшее фасон. Он не скрывал, что это были остатки его подарков, возвращенных ему невестою после того, как разошлась свадьба.

«Что было ценного, я продал (прибавлял он), как-то: серьги, броши, шали и тому подобное; были очень дорогие и прекрасные вещи».

— На что нам знать, что были дорогие вещи? — сказала Прасковья Андреевна.— Он бы лучше их прислал, чем рассказывать!

— А на что они тебе? — возразила мать.— Все вы недовольны, все вам больше подай! Ты и эту-то мантилью куда наденешь?

— Я ее никуда и никогда не надену,— возразила Прасковья Андреевна.

Это было за четыре года до настоящего приезда Сергея Андреевича.

Он явился нечаянно, не предупредив заранее, что делывал всегда прежде,— явился в осеннее ненастье, между обедом и сумерками, в самое несносное время дня, когда как-то не то скучно, не то дремлется, когда хозяйке затруднительно сейчас собрать обедать для голодного и прозябшего приезжего. Приезжий явился мрачен. Кроме голода, сырости, толчков по проселку, неприятного впечатления от обветшалого дома, странного впечатления от неожиданного свидания среди радостных криков матери, суеты прислуги, молчаливых входов и выходов сестер, сконфуженных, неубранных,— кроме всего этого, он, казалось, выносил нечто большее, горе не внешнее, но глубоко лежащее в самой душе его. Домашние, семья и мелкие соседи привыкли видеть на челе Сергея Андреевича спокойное и грозное величие, заставлявшее потуплять взоры и повиноваться. Нынешний раз величие было то же, но к нему примешивалось не презрение, не равнодушие, а какая-то грустная безучастность, заставлявшая смотреть на людские глупости без насмешки, без гнева, потому что как-то не то было в голове, не до того, чтоб осуждать, смеяться или поучать: как хотят, так пусть и живут и дурачатся! Сергей Андреевич говорил мало, как-то тихо, как человек больной; пожаловался только,

что его растрясло. Мать предложила ему пораньше лечь, отдохнуть с дороги. К общему удивлению, Сергей Андреевич не возразил, что не имеет привычки ложиться раньше двух часов, но встал, взял со стола свечу и вымолвил: «Прощайте». Это было третье слово, которое он выговаривал с тех пор как приехал. Отправляясь почивать, он, против обыкновения, даже не прогневался, что не зажгли лампы, которую он привез в предпоследний приезд нарочно для своей спальни,— ни за что не разгневался, только молчал и слегка охал.

Любовь Сергеевна, щелкая туфлями, раз десять ночью приходила к его двери слушать это оханье.

Оно усилилось на другой день; у Сергея Андреевича заболела голова. Весь дом повернулся вверх дном. Любовь Сергеевна предлагала всевозможные домашние средства — Сергей Андреевич отказался от всех; она предлагала доктора — он сказал, что в N они все дураки, что у него есть свое лекарство, которым он постоянно лечится. Мрачность его и всего дома дошла до высочайшей степени. Все безмолвствовало; были даже остановлены стенные часы, потому что стук их раздражал нервы Сергея Андреевича. Наконец, в самом ли деле чувствуя себя хуже или желая показать, что болезнь так мучительна, что он готов на все, Сергей Андреевич согласился на домашнее леченье. Тут возня поднялась такая, какой ожидать было уже невозможно после всего, что было прежде. Один Сергей Андреевич был по-прежнему величав и неподвижен, лежа на диване в своей комнате или выходя в гостиную, с обвязанной головой, облаченный в пестрый шелковый халат, поводя кругом себя тусклыми взорами, будто никого и ничего не видя; эти взоры иногда останавливались на сестрах, удивленные, вопросительные, непонимающие, ничего не узнающие. Казалось, разум Сергея Андреевича помутился.

В одну подобную минуту Любовь Сергеевна осмелилась подкрасться поближе и заглянуть ему в лицо.

— Что вам надо? — отрывисто спросил Сергей Андреевич.

— Я ничего, друг мой, Серженька... Что ж?.. Я — ничего. Так, я хотела видеть, не задремал ли ты, друг мой, успокоился ли...

Сергей Андреевич молча встал и ушел.

— Опасаюсь я за него,— говорила вслед ему шепо-

том Любовь Сергеевна своим дочерям,— такая странная болезнь...

Она продолжалась пятый день. Не беспокоились только Прасковья Андреевна, по отрицательному направлению своего характера, и Катя, девятнадцатилетняя девочка, которая была всегда весела, довольна и беззаботна, потому что влюблена и помолвлена с своим любезным. Этот любезный был Александр Васильевич Иванов, N-ский чиновник, с крошечным жалованьем, с крошечным состоянием, но молоденький, хорошенький, кончивший довольно успешно гимназический курс и по экзамену недавно получивший первый чин. Этого важного события дожидался он, чтоб предложить свою руку Катерине Андреевне; сердце было уже давно предложено и принято. Когда дело дошло до официального сватовства, Прасковья Андреевна, поверенная всей этой любви, настояла, чтоб мать согласилась и дала слово, не дожидаясь разрешения братца. Прасковья Андреевна крепко приняла к сердцу любовь своей Кати. Как ребенком еще берегла ее она от всякого горя, так и теперь, обрадовавшись, что девушка нашла милого человека и придумала себе счастье, старшая сестра хлопотала только, чтоб все это устроить. Ей помогла судьба. У Прасковьи Андреевны была богатая крестная мать; недавно, умирая, она завещала крестнице сумму в пять тысяч рублей, положенную в N-ском приказе. Прасковья Андреевна объявила матери, что отдает эту сумму в приданое Кате. Неизвестно, на что надеялась или намеревалась употребить эти деньги Любовь Сергеевна; вероятнее всего, она сама не знала, на что они были бы ей нужны; но, услыша решение дочери, она была удивлена, поражена, поникла головою, будто лишилась чего-то, и покорилась очень грустно, сказав, что Прасковья Андреевна в таких летах, что имеет право сама как хочет распоряжаться. Прасковья Андреевна пропустила это не возражая. Любовь Сергеевна о чем-то долго плакала и, когда пришла к ней какая-то соседка, долго, с неопределенными намеками жаловалась на свою горькую участь. Вера была смущена и по какому-то трусливому чувству избегала случая говорить и оставаться наедине с Прасковьей Андреевной. Прасковья Андреевна была хладнокровна, внутренно измучена и взбешена. Катя, избалованная попечениями, эгоистка, как счастливые дети, не замечала и не хотела замечать этой драмы, разыгравшейся за нее, и целый день болтала и смеялась

со своим женихом, сконфуженным общей холодностью, но счастливым.

Любовь Сергеевна написала сыну об этой помолвке. Письмо было полно извинений, что распорядились без позволения Серженьки, что Серженька не знает жениха, что все это так скоро... наконец, Любовь Сергеевна сама не знала, в чем извинялась, но письмо было горькое и Серженька десять раз назывался в нем «единственной отрадой» своей несчастной матери.

Сергей Андреевич не отвечал ни слова; он вскоре сам приехал. В одну из первых минут этого внезапного и мрачного приезда, пока Сергей Андреевич выходил из комнаты, Любовь Сергеевна грозно обратилась к дочерям, к Прасковье Андреевне в особенности:

— Вот что-то он скажет. Глупости вы ваши затеяли... Может быть, за тем и приехал.

Прасковья Андреевна возразила хладнокровно:

— Он за тем не поедет.

Она первая решилась и сказала братцу, что Катя невеста.

— Я тебе писала, мой друг...— сказала жалобно Любовь Сергеевна.

— Да-а... помню,— отвечал Сергей Андреевич.

Он, видимо, ничего не помнил, но ни о чем не спросил больше. Он занемог к вечеру, как уже известно.

Жениха он не видал. Александр Васильевич приезжал к невесте только по субботам или накануне праздников, когда в городе кончались присутствия, пробывал праздник и уезжал на заре другого дня, совершенно как ученик на вакантные дни, и то еще стоило слишком дорого по его ограниченным средствам.

Вечер, который мы начали рассказывать, был субботний. Катя ждала жениха, просто для удовольствия его видеть; Прасковья Андреевна если и беспокоилась насчет его представления братцу, но ничего не говорила, Вера была в тревоге... Но ожидания и тревога были напрасны. Иванов не приехал. Когда дождь, темнота и позднее время достаточно доказали, что ждать больше нечего, Катя заплакала и ушла спать, как нетерпеливый и избалованный ребенок, настучав и своим креслом, которое отодвинула в досаде, и дверьми, которые все скрипели и хлопали, и досками пола, которые в коридоре шевелились под ногами проходящих.

Любовь Сергеевна в ужасе почти вбежала в гостиную, где оставались старшие дочери.

— Господи! — вскричала она,— кто здесь? Что такое случилось?

— Ничего,— отвечали дочери.

— Я думала, сумасшедшая эта полетела встречать обожателя своего. Боже ты мой!.. Того гляди прикатит ночью, весь дом поднимет, важная особа такая! Срам, просто сказать, за кого идет... Брата что поразило, как не это? Оттого и слег. Только забылся, как вдруг гвалт тут поднялся...

Любовь Сергеевна долго еще держала речь, пока часы не пробили десять; Прасковья Андреевна сложила работу и сказала, вставая:

— Покойной ночи, маменька.

Вера сделала то же, обе поцеловали руку у матери и ушли.

Мать еще долго вздыхала, охала и даже принималась плакать, укоряя кого-то в своих горестях... Она постоянно горевала, любя только своего Серженьку, надеясь только на него; судьба, как нарочно, заставила ее жить розно с этим сокровищем, постоянно не отвечавшим ни слова на ее намеки, на прямые выражения желания, наконец, на просьбы позволить ей приехать и жить с ним, оставя дочерей жить одних, как им угодно,— идол был глух к мольбам, как глухи все вообще идолы... Может быть, какие-нибудь размышления по поводу этих отвергнутых молений, отвергнутых ласк, разных неудовольствий, в разные времена выраженных Сергеем Андреевичем, и приходили на ум Любови Сергеевне; может быть, оттого ей и было так горько, но она была упряма в своем обожании, и, отчего бы ни было ей тяжело, она уверяла себя, что страдает не от своей «единственной отрады», а от других... Бог знает почему Любовь Сергеевна всегда считала дочерей своих в чем-то себе помехой.

В настоящую минуту у нее были готовые предлоги тревожиться, обвинять, гневаться и, как почти всегда бывает, милосердно желать, чтоб все это «отозвалось и получило свое воздаяние». Эти предлоги были сватовство Кати и деньги Прасковьи Андреевны. Любовь Сергеевна находила, что и то и другое огорчает ее смертельно, и в тишине ночной принимала разные намерения, которые непременно решалась исполнить поутру... В чем состояли эти намерения, Любовь Сергеевна сама бы затруднилась

растолковать; она решилась только «все высказать Серженьке...».

Что такое было это «все» — никто, ни сама Любовь Сергеевна не могла бы объяснить. Бывают характеры, никогда ничем не довольные, создающие себе несчастье, неудобства, странные отношения к окружающим, все ожидающие чего-то, непокойные, любящие страшно много толковать о пустяках, но, бог весть, любящие ли когонибудь. Эти люди с вида очень чувствительны, но внутренно чувствительны только для самих себя; эгоистами назвать их нельзя, потому что они вечно скрипят и охают за других, но надо знать, как бывают они озлоблены на тех, о ком хлопочут и жалеют, как будто те виноваты, что о них взялись жалеть и охать. Эти люди озлоблены, все ожидая благодарности, так же, как ждут они от всего и всех прибыли, подарка, вознаграждения,— чего-нибудь. Их нельзя назвать жадными: они говорят, что ничего не желают, но все, что имеют или приобретают другие, кажется им отнятым у них; они все плачутся... Эти люди иногда среди других людей выбирают себе привязанность — и всегда выбор бывает неудачен; из противоречия, из того, что другие говорят, что такой-то дурень, они берут именно этого человека себе в друзья, говоря с самоунижением, не лицемерным, но озлобленным: «Для меня и то хорошо». Иногда возражение делается иначе: «Его все ненавидят; со мной по крайней мере ему будет с кем слово сказать...» С вида — чувство доброе и смиренное, но тот не ошибется, кто сочтет его за осуждение всех этих ненавистников и гордецов, которые отталкивают от себя человека... Зато, выбрав друга, эти люди не знают ему пред другими цены и меры; наедине сами с собой они размышляют, что этот друг ими манкирует и прочее...

Любовь Сергеевна имела не друга, но предмет обожания — своего Серженьку. Боже сохрани того, кто бы осмелился усомниться, что Серженька гений; но она начинала находить, что этот гений, вероятно за недосугом, любит ее мало и как будто он ее вовсе не уважает. «И то сказать, что я такое? — выговаривала она почти вслух,— но чем же я заслужила, чтоб мой сын, единственное мое сокровище, одну меня покинул?..»

За что и почему не любила она дочерей — бог весть. Они никогда не подали ей повода гневаться. Вера была добра и, не раздумывая, горячо любила мать. Прасковья Андреевна была всегда серьезна, иногда противоречила,

но на такие малости не стоило обращать внимания, а противоречия были всегда дельны и необходимы. Любовь Сергеевна могла бы любить старшую дочь за советы и помощь во всяком затруднении, но именно за это она ее еще меньше любила: исполняя, после страшных споров, сцен, неприятностей, что-нибудь, очевидно дельное и полезное, Любовь Сергеевна кричала, что она несчастная, что у нее нет своей воли ни в чем, что ее забрали в руки, и прочее, все столько же утешительное для той, которая подала совет и настояла, чтоб ему последовали для общего спокойствия... Притом Любовь Сергеевна была как-то мелко подозрительна; ей мерещились какие-то семейные уговоры, «партии», хотя, казалось бы, мудрено разделить еще на партии такое немногочисленное семейство, как она и ее три дочери, из которых одна была ребенок, а другая вечно всего трепетала. Но Любовь Сергеевна так опасалась, так не была ни в ком уверена, что возвышалась даже до подслушивания...

Оставшись одна, поплакав, она обошла опять весь дом, послушала у дверей возлюбленного сына, посмотрела в окно и еще грустно поохала, увидя полосы света, падавшие сверху, из окон мезонина, где жили дочери. Ей показалось, что они о чем-то совещаются... Пожелав, чтоб они сами рано или поздно изведали, каково ей, она покойно заснула.

III

Наутро Катя была внезапно, спросонка, обрадована известием, что Александр Васильевич приехал и уже сидит в зале, один. Поскорее одевшись, она побежала к нему.

— Как же это не стыдно? Я ждала вчера до полночи! — вскричала она, обнимаясь с ним.— Не случилось ли с тобою чего-нибудь?

— Случиться ничего не случилось,— отвечал Иванов,— а я ночевал на дороге, верстах в пяти отсюда, в Высоком; меня везти не взялись в темноту. Ну, как поживаешь? К вам брат приехал?

— А ты почему знаешь? — спросила Катя.

— Люди ваши сказали. Да в городе давно знают, что он приехал; у нас в палате говорили.

— Вам в палате до него какое дело?

— Как же не знать! Такой важный человек! — отве-

чал Иванов.— Вот что я скажу тебе, милочка: напой меня чаем, позволь покурить, и потолкуем.

— Чай еще рано; братец не вставал,— возразила Катя.

— Что за беда? Попроси; няня похлопочет...

— Нет, нет, нельзя; что прежде можно, того теперь нельзя; теперь ни я, ни няня, никто не смеет распоряжаться: как маменька прикажет, как братец прикажет...

— Делать нечего. А как я прозяб! Знаешь, изморось какая-то идет, холодно и ветер...

— Душечка моя! а шинель на тебе холодная?

— Я меховой воротник пришил: вот ты посмотришь, очень хорошо. Теплую еще не скоро сошью.

— Саша!..— сказала Катя, молча поглядев на него несколько минут, в течение которых у нее начали навертываться слезы на глаза.

— Что?

— Саша, мы с тобой вовсе не миллионщики...

— Вот новость сказала! Так что ж?

— Как что ж? Нехорошо.

— Ты, кажется, хочешь плакать? Что это такое? Стыдно! Полно, милочка; пожалуйста, полно; иначе ты меня огорчишь, ты меня лишишь бодрости... право, полно! Иванов очень серьезно успокоивал свою будущую подругу.

— Ты знаешь, что моя обязанность о тебе заботиться... И с чего тебе это вдруг пришло в голову? Во-первых... давай считать: у тебя есть приданое?

— Есть.

— У меня есть дом,— разве это мало?

— Старенький,— возразила Катя.

— Все порядочный, с садом, не на глухой улице; половина внаймы отдается, есть где жить... Ведь тебе в нем нескучно будет жить?

— С тобой-то? Конечно.

— Ну и слава богу! Ведь я служу, получаю жалованье... Знаешь, меня обещали помощником столоначальника сделать?

— В самом деле?

— Право; еще вчера я к старшему советнику бумаги носил на дом, так он мне говорил: к новому году непременно. Всего два месяца подождать... да награждение дадут... Как же люди-то живут? Разве все богачи? Сосчитай, много ли богатых на свете?

— Саша, да тебе трудно будет...

— Вот это уж ты вздор говоришь, не прогневайся! Что же? Разве ты меня как-нибудь разорять будешь? Милая ты моя! я для тебя готов... не знаю на что!

— Полно тоже вздор говорить, я до смерти не люблю.

— Ну, послушай: теперь твой брат здесь; ты знаешь, какой он сильный человек; его у нас, в городе, служащие просто все боятся; ему стоит слово сказать — мне место дадут, на чин мой не посмотрят, за отличие представят. Разве он за нас не постарается?

— Это, Саша, плохая надежда.

— Вы ему говорили про меня?

— Конечно, говорили.

— Что ж он?

— Ничего не сказал.

— Ни слова?

— Ведь ему и прежде писали, ты знаешь,— ну, ни слова. Он как приехал, все говорят, болен, и такой сердитый... Ох, Саша!..

— Беда...— сказал, задумавшись, Иванов,— он еще, может быть, скажет, что я тебе не пара; может быть, имеет кого-нибудь в виду для тебя...

— Это не беспокойся! — вскричала весело Катя.— Куда я гожусь за чиновного да за петербургского? Я по-французски говорю... сам ты знаешь, что меня переучить надо; манер у меня никаких; таланты... умею хозяйничать,— только и всего...

— Полно,— прервал Иванов,— захочешь наговорить на себя не знаю чего, так наговоришь. Если б ты была и страшна собой, и необразованна, и глупа, и то всякий был бы рад породниться с твоим братом. И он, верно, тоже рассчитывает... Всякому связи нужны; кто выше стоит, тому, пожалуй, еще больше нужны. Мы, маленькие люди, как-нибудь продержимся и сами собой, а те, большие, все друг другом держатся. Твой брат, может быть, чрез тебя рассчитывает с кем-нибудь сблизиться для своих выгод; ты можешь для него устроить...

— Ох, сделай милость, перестань! — вскричала Катя, хохоча.— Что я, принцесса, что ли, какая? Видите, моей руки будут искать! видите, я такая умница, буду дела устроивать!.. Полно, голубчик мой, перестань толковать о том, чего быть не может; ни за кого меня братец не отдаст, а надо одного у бога молить, чтоб он для тебя что-нибудь сделал.

— Поговорил бы только за меня. А впрочем, бог с ним! Мне, пожалуй, ничего от него не нужно — сам как-нибудь справлюсь... Знаешь что, милочка? Я закурю, немного погреюсь.

— Ну, погрейся,— сказала она, побежала ему за спичками, принесла, зажгла, поцеловала его, пока он закуривал папиросу, и села к нему поближе.

Они очень приятно проводили время, говоря пустяки, занимательные только для людей в их положении, смеясь тому, чему другие, вероятно, не подумали бы даже улыбнуться.

— Батюшки, дым столбом! — сказала, входя, Любовь Сергеевна.

Она несколько преувеличивала, потому что дыма вовсе не было: папироса Иванова погасла, едва быв зажжена, а Иванов, заговорившись, забыл о ней. Но Любовь Сергеевна видела свечку, видела спички, знала, что тут есть юноша, имеющий привычку курить,— и этого было довольно для того, чтоб заставить ее чихать и отмахиваться платком.

— Здравствуйте, маменька! — сказал Иванов, вслед за Катей подходя целовать ее руку.

Старуха не поцеловала его в голову или щеку, как водится, а слегка ткнула ему в нос своей рукой, торопливо обращаясь к дверям.

— Что же самовар не несут, Афанасья? — закричала она.— Барин вчера не ужинал; бога в вас нет!.. Серженька, друг мой, как ты себя чувствуешь?

Сергей Андреевич входил в эту минуту в длиннейшем теплом пальто, застегнутом на все пуговицы и обрисовывавшем его фигуру, невысокую, плотную, весьма нестройную, но совершенную фигуру чиновника, и притом еще с весом. Его лицо было ни бледно, ни румяно, а какого-то тускло-лиловатого цвета; глаза бледно-зеленоваты и опухлы, как следует у человека, занятого кабинетными трудами; осанка очень величава, хотя так отчетлива, приготовлена, натянута, что можно было подумать, будто Сергей Андреевич движется посредством винтов и пружин. Именно эта неприступная нечеловечность и внушала такое благоговение провинциальным жителям и чиновникам, выросшим и воспитавшимся в провинции: они мнили видеть нечто высшее обыкновенных смертных в этом существе, не имевшем, по-видимому, с ними ничего общего. В предпоследний приезд Сергея Андреевича, когда он

ревизовал какой-то уездный суд, величественная наружность этого сановника так поразила секретаря, что он лишился употребления языка, и на все вопросы Сергея Андреевича мог только выговорить: «Ваше превосходительство...» Сергей Андреевич заметил ему весьма мягко и учтиво, что он не имеет права носить этого титула и что ему, секретарю, робеть нечего. «Если б я и был генерал — вам все равно; вы разве их никогда не видали? У вас предводитель генерал».— «Ваше превосходительство, он у нас домашний...» — возразил секретарь. Сергей Андреевич с удовольствием рассказывал этот «анекдот» своим петербургским знакомым...

При вхо́де этого лица Иванов сконфузился. Он был вовсе не робок, служил недавно и потому не успел приобрести боязни старших, боязни, которая между чиновниками чаще усиливается, нежели проходит с годами; Иванов был еще школьник, еще самостоятелен. Он конфузился, потому что семья его невесть что заранее натолковала ему о братце, потому что в N натолковали ему, что этот господин «горами ворочает». Наконец, мысль: «Сделает ли он что-нибудь для меня?» — мысль тревожная и особенно мучительная, когда приходится иметь ее в двадцать два года — смяла молодого человека до смущения. Он поклонился Сергею Андреевичу, который осторожно кивнул ему головою, взглянул на него вопросительно и вместе равнодушно, выждал секунду, как важное лицо выжидает при поклоне посетителя, и, видя, что ни о чем не просят, направился к столу, где старый буфетчик ставил самовар и чашки.

Любовь Сергеевна следила за сыном с видом сокрушенным и почему-то умоляющим о прощении.

— Сколько раз я говорил, что не могу видеть цветной скатерти на чайном столе! — сказал Сергей Андреевич глухо и отрывисто и не обращаясь ни к кому особенно.

— Сколько раз, в самом деле, говорили! — заговорила, суетясь, Любовь Сергеевна буфетчику.— Перемени сейчас, все долой сейчас...

— Где же масло? тартинки? что-нибудь, наконец? — продолжал Сергей Андреевич с возраставшей энергией человека, у которого разыгрывается аппетит и с ним вместе желание браниться.

— Где ж все? — шумела Любовь Сергеевна.— Друг мой, успокойся, не расстроивай себя, береги свое здоро-

вье... Да где же бырышни? Что они делают? неужели все спят? Ступай скажи им тотчас...

— Немножко поздно — до десяти,— заметил Сергей Андреевич с тонкой иронией.

— Право, ни на что не похоже! — воскликнула Любовь Сергеевна.

Катя и Иванов были совершенно забыты. Молодая девушка краснела и бледнела; наконец вдруг решилась, взяла жениха за руку и подвела его к Сергею Андреевичу.

— Братец...— сказала она,— вот мой жених, Александр Васильич Иванов.

Любовь Сергеевна взглянула на нее с ужасом и едва не обварила себе руки кипятком, который наливала.

Сергей Андреевич мешал ложечкой чай, попробовал его, нашел, что несладко, прибавил сахару, который мать кинулась подавать ему, и, попробовав еще раз, промолвил:

— Очень рад.

И, не прибавляя ничего более, принялся за сухари и крендели.

— Садись, Саша,— сказала Катя, подавая себе и Иванову стулья к чайному столу.

Сергей Андреевич учтиво отодвинул ноги, которые мешали Иванову. Вероятнее, впрочем, что он это сделал не столько из учтивости, сколько для собственного спокойствия.

Любовь Сергеевна молчала; лицо ее выражало страдание, минутами на ее глазах навертывались слезы; она устремляла на сына взоры, которыми, казалось, хотела выразить, что он видит образчик мучений, выносимых ею всякий день... Она очень долго заставила ждать Иванова, пока наконец, удовлетворив Серженьку третьим стаканом, налила Иванову чашку какой-то бледной жидкости.

— Пожалуйста, уж не курите,— сказала она ему, указывая глазами на Сергея Андреевича,— голова у него слаба, горячка начиналась; едва прервали...

Сергей Андреевич счел приличным заговорить с Ивановым.

— Вы служите?

— Да, служу.

— Где?

— В палате государственных имуществ.

— В каком отделении?

— В хозяйственном.

— В котором столе?

— В четвертом.

— По межеванью?

— Да.

— У вас управляющий новый, недавно?

— Да, Ливонский, прекраснейший человек.

— Я его не знаю лично; слышал о нем,— отвечал загадочно Сергей Андреевич.

— Отличный человек,— продолжал Иванов,— его у нас все полюбили, хотя и строг.

— Как же это? — вмешалась Катя, чтоб поддержать разговор, потому что братец замолчал,— строг, а его любят?

— Любят хорошие люди,— отвечал ей Иванов,— а кто похуже, те притворяются, будто любят. Нельзя же против общего голоса говорить, что хороший человек не по сердцу — совестно; это уж значит самого себя явно показывать дурным.

Сергей Андреевич все молчал.

Любовь Сергеевна нашла, что Иванов уж слишком разговорился и, кажется, сбирается противоречить Серженьке.

— Я думаю, начальнику вашему все равно, что бы вы о нем ни думали,— заметила она резко и кисло.

Вера вошла, поздоровалась; но ее прибытие не оживило беседы, даже не прибавило шума в комнате: она умела ходить, придвигать себе стулья, браться за вещи как тень — тихо, мерно, осторожно, чтоб не обеспокоить других и скрыть свое присутствие; страх был у нее постоянным чувством. Сев к столу, Вера несколько раз вздрагивала, когда, взглянув на братца, встречала его взгляд, но не говорила ни слова и, поскорее выпив чашку чая, встала так же осторожно и пошла к своим пяльцам.

Прасковья Андреевна явилась вскоре после нее.

— Что ж, Катя,— спросила она после обыкновенного здорованья,— познакомила ты Александра Васильича с братцем?

— Да,— ответила Катя.

— Видите ли, братец,— продолжала Прасковья Андреевна,— мы теперь в своей семье, то можно прямо говорить: вы прекрасно сделали, братец, что приехали, вы нам поможете в некоторых обстоятельствах.

Любовь Сергеевна смотрела на нее с отчаянием.

— Я не знаю, в каких обстоятельствах я должен вам помочь,— возразил серьезно Сергей Андреевич,— но

только заранее предупреждаю вас: не в денежных, потому что я, как всякий порядочный чиновник не из трущобы какой-нибудь, взяток не брал, жил жалованьем, а в Петербурге жизнь дорога, стало быть, капиталов у меня быть не может.

— Капиталов нам не нужно,— начала с улыбкой Прасковья Андреевна, видимо принуждая себя быть любезной с братцем.

— А я полагаю, они-то именно и нужны,— прервал Сергей Андреевич,— я не позволю себе, конечно, вмешиваться, подавать советы, устроивать и расстроивать, а я так просто спрошу... так как это уж решено, без сомнения, с согласия маменьки...

— О мой друг!..— протяжно воскликнула Любовь Сергеевна таким тоном, что было ясно, что она протестует.

— Без сомнения, маменька объяснила и Катерине и... вам,— продолжал Сергей Андреевич, слегка обратясь к Иванову,— что у Катерины состояние очень ограничено, запутано, расстроено; вы это знаете?

— Я... слышал,— отвечал, сконфузясь, Иванов, которому никогда ничего не объясняла Любовь Сергеевна, но который знал все довольно подробно. Более всего его конфузил официальный тон братца.

— Какие же ваши планы? — продолжал спрашивать Сергей Андреевич.— Чем же будете жить?

Иванов вспыхнул; подобный вопрос, сам по себе щекотливый, в особенности щекотлив для человека молодого.

— Можно жить со всяким состоянием,— отвечал он.

Сергей Андреевич проглотил чаю и усмехнулся, прикрываясь стаканом.

— Я к тебе писала, мой друг Серженька,— сказала Любовь Сергеевна,— что это тут затеялось... так скоро, что я не успела и опомниться. Теперь, мой друг, как ты сам решишь, а я больше не могу!..

Катя взглянула на свою старшую сестру.

— Братцу тут нечего решать, маменька,— тихо возразила Прасковья Андреевна,— вы знаете, что вы своим согласием составляете счастье Кати и Александра Васильича, стало быть, тут и говорить больше нечего. О состоянии их, братец, можете также не беспокоиться: я отдаю Кате мои деньги, что мне от крестной матери оставлены; им будет чем с избытком прожить.

— Я тебе писала, мой друг,— сказала еще раз Любовь Сергеевна.

— Как велик ваш капитал? — спросил Сергей Андреевич сестру.

— Пять тысяч рублей серебром,— отвечала она.

— Капитал!! — повторил сквозь зубы Сергей Андреевич.

— В столицах деньги дешевы, братец,— возразила Прасковья Андреевна,— а здесь это хороший капитал.

— Может быть,— сказал он.

— И очень. Посмотрите, здесь женятся служащие, и меньше этого берут.

— Может быть; не знаю.

— Конечно, братец, как кто станет жить...

— Вы точно меня усовещеваете,— прервал он,— мне-то что же? Если вам угодно знать мое мнение...

— Мы хотели просить вас, братец,— прервала в свою очередь Прасковья Андреевна,— чтоб вы постарались об одном: место бы получше, повиднее Александру Васильевичу. Вам это так легко... Что ж он, в самом деле, только писарем...

Сергей Андреевич улыбнулся и, повернувшись к ней спиной, облокотился о стол.

— То есть вы не хотите ни мнения, ни совета, а требуете помощи,— проговорил он,— так!.. Как вы думаете, легко это — достать место? — вдруг резко спросил он Иванова.

— Каково место,— отвечал Иванов.— Вам, я думаю, никогда не трудно, особенно такое неважное место, какое бы желал я...

Он покраснел, сказав это.

— Вы понимаете, что нужно делать для этого? — продолжал спрашивать Сергей Андреевич.

— Сказать тем, от кого зависит...

— То есть попросить их?

— Да.

— У меня есть правило — никогда не просить. Вы понимаете, я слишком важен, чтоб просить, я не должен терпеть, если мне откажут. Я буду просить заместить писаря; если какой-нибудь советник или председатель не уважит моей просьбы, я должен столкнуть с места этого советника или председателя... Вы понимаете эти отношения, этот point d'honneur — вы понимаете?

— Но, братец,— вмешалась Прасковья Андреевна,— зачем же вам просить? Тут не нужно ни просьб, ни хлопот, ни чего-нибудь такого, чтоб могли счесть, что вам делают

одолжение. Просто чтоб только обратили внимание на заслуги...

— На чьи заслуги?

— На заслуги... вообще на Александра Васильича.

— Это называется рекомендовать. Я должен быть уверен в том, кого рекомендую.

— Но разве вы не уверены, братец?..

— Не беспокойтесь, сделайте одолжение,— прервал ее Иванов,— я не желаю ничем затруднять Сергея Андреевича.

Сергей Андреевич засмеялся.

— Вот видите ли,— сказал он очень приятно Иванову,— женщины ничего не понимают. После всего, что я говорю, она еще готова настаивать! Вы не можете вообразить, что такое иметь дело с дамами! В вашей палате их не бывает, нет?

— Нет...— отвечал Иванов, озадаченный этим вдруг развязным тоном.

— Дамы — это беда! с просьбами, с пенсиями... дай им невозможное, вот как она...

Любовь Сергеевна была в восхищении, что Серженька так внезапно одушевился.

— Я вас не понимаю, братец,— сказала Прасковья Андреевна.

— Ну, я не виноват,— сказал он, вдруг так же внезапно омрачившись, встал из-за стола и вышел.

День прошел, по обыкновению, однообразно и томительно; даже Иванов и Катя были невеселы, несмотря на то что Прасковья Андреевна, несколько раз застававшая их в молчании и раздумье, говорила им:

— Полно вам! какие вы еще дети! мало ли что бывает на веку, так обо всем и горевать?

Сергей Андреевич был так сумрачен и грозен, что пройти мимо него было страшно. Как нарочно, он не удалился в свою комнату, но удостоивал сидеть в гостиной с матерью и старшими сестрами или вдруг появлялся в зале, где были жених и невеста, прохаживался, бросая взоры на столбы, поддерживавшие потолок, и останавливался в немом и загадочном созерцании этих столбов.

— Крышу надо бы поправить, Серженька,— раздавался дрожащий голос Любови Сергеевны из гостиной...— Что ты говоришь, мой друг? — спрашивала она, не до-

ждавшись не только ответа, но и вопросительного междометия.

— Я ничего не говорю,— произносил Сергей Андреевич.

— Нет, я о крыше. Все денег нет... Ох ты боже мой! Боже мой, боже мой!.. А тут еще...

Остальное старуха как-то шептала или ворчала между вздохами.

Иванов уехал рано, даже не дождавшись вечера: ночевать он не смел остаться. Катя провожала его, умоляя не засесть в каком-нибудь овраге и лучше ночевать на дороге. Любовь Сергеевна и Сергей Андреевич слышали это — и никто не сказал ни слова.

И опять точно так же протянулось несколько дней...

Всякое правильное развитие, говорят, должно совершаться медленно, не торопясь, без скачков. Отчего же у людей, чья жизнь идет однообразно, без потрясений и видимых переворотов, складывается по большей части тяжелый и скучный характер? Отчего для них не бывает счастья? Их энергия переходит в упрямство, и это упрямство проявляется в пустяках, в брюзжанье, в мелком притеснении, их мужество полно эгоизма, сострадание в них умерло от скуки; если осталась доброта сердца, она какая-то пассивная, покорная, неспособная волноваться за других, неспособная негодовать, предлагающая в утешение одно терпение... потому что сама отерпелась и, при конце жизни, вынесла всю тоску жизни, не находя в себе уже ни сил, ни желания противиться тоске и освободиться от нее; она воображает, что и другие могут перенести так же легко... Такова, с редким исключением, большая часть людей, проживших даром... Обвинять их, конечно, нельзя: не всегда они виноваты. Скажут: кто ж мешал им в молодости, когда еще кипели силы и волновалась и возмущалась душа, решиться на что-нибудь, на какой-нибудь выход из положения, которое неминуемо должно было убить их нравственно и не принести никакой видимой радости? Кто мешал? А средства? Кто перечислит, сколько путаниц, разных мелких отношений, нежнейшей деликатности, материальной невозможности, задерживая этих несчастных людей в их глуши, в их среде, в их скуке, задерживало до конца нравственной жизни, когда уже прошла охота, да уже и не к чему было?..

Случалось, бывали примеры,— эти страшные насмешки судьбы,— что возможность счастья являлась именно

тогда, когда усталому телу хотелось только мягкой постели, а заморенной душе — безлюдья и тишины...

А до тех пор все одно и то же да одно и то же: вставанье рано утром, ни за чем, ни за каким делом, а так, потому что, говорят, надо вставать рано; питье и еда, потому что без этого человек не живет, хотя ясно как день, что *так* ему жить незачем; какое-нибудь мелкое занятие, всегда мелкое относительно огромной идеи жизни, а тут еще мельче, потому что состоит в заботах об этом житье-бытье, об устройстве этого житья-бытья... Всякий шаг, всякий поступок не ведет ни к чему, всякое дело — безделье, а между тем это жизнь...

Никто никогда не имел терпения следить за собой или за другими, чтоб видеть и определить вернее год, день, когда в таком состоянии человек из существа живущего стал превращаться в существо ненужное... К счастью (это сказать страшно — к счастью!), это перерождение превращается в привычку, с ним сживаются не страдая; беда только тем, кто понимает и оглядывается...

Эта жизнь, где погибли и силы, и разум, и чувства, где с ними вместе погибло столько неначатого дела, несовершенного добра — эта жизнь сто́ит, чтоб над ней задуматься едва ли не больше, нежели над той, которая полна действия и приключений. Эта жизнь — что-то странное, таинственное, нродившееся... А как она прозаична, подчас смешна и грязна с вида!

Как будто в доказательство то́го, что без движения ничто жить не может, среди такого застоя эти люди выдумывают себе волнения, что-то нескладное, нелогичное, уродливое, неслыханные причуды, невообразимые привычки, ссоры вражды — из ничего. Все это шевелится, поднимается в темноте, делает свое возможное зло, делает кому-нибудь жизнь еще тяжелее, еще труднее и безотраднее, портит чье-нибудь сердце, убивает чье-нибудь здоровье, выработывает из молодого поколения новых искусников в свою очередь все уничтожать и портить...

IV

В один вечер (день был почтовый, и Сергей Андреевич получил письмо, за которым посылал в город и которое ждал так нетерпеливо, что даже сказал, что ждет письма), в вечер этого дня Сергей Андреевич долго прохаживался по зале, наконец приостановился и произнес:

— Маменька!

Любовь Сергеевна скатилась с дивана и побежала к нему.

— Что тебе, друг мой?

— Пойдемте ко мне,— сказал Сергей Андреевич.

Он увел ее за собою, запер двери, и совещание продолжалось до ночи. Дочери, не дождавшись конца, ушли спать.

На другой день, утром, Иванов явился из города. Его встретила Прасковья Андреевна.

— Что новенького?

— Вы одне? — спросил он, оглядываясь в зале.

— Одна.

— Да у вас новости, Прасковья Андреевна.

— У нас? откуда им быть?

— Нет, право? вы ничего не знаете, Прасковья Андреевна?

— Конечно, не знаю. С чего же бы я стала от вас скрывать? разве вы не семьянин?

— Уж бог знает, что я,— возразил Иванов,— если б не вы... Знаете, Прасковья Андреевна, стало быть, я люблю Катю, когда решился вот и сегодня приехать!.. Да что говорить!.. Я к вам с известием, только с неприятным.

— Что такое? Не томите, сделайте милость!

— Братец ваш место свое потерял.

— Что вы?..

— Право. Вчера с почтой получили приказы у нас в палате. Уволен, да так, просто даже к министерству не причислен. Это называется — просто загремел...

— Ай, ай, ай! — сказала протяжно Прасковья Андреевна, впрочем, без ужаса, даже без большого сожаления; она была только удивлена внезапностью всего этого.

— Должно быть, он знал, что его уволят, как сюда ехал,— продолжал Иванов,— проведал там через коголибудь... как ему не проведать? проведал, что плохо, да и уехал. Что ж, для человека, который в такой чести, в силе, уж лучше не быть тут, налицо, как столкнут. Неприятно это, должно быть!

— То-то он и был такой сердитый, как приехал,— сказала в раздумье Прасковья Андреевна.

— Есть из чего и сердиться,— отвечал Иванов,— подумайте, он что получал жалованья, как жаль... У нас все толкуют, говорят... Правду сказать, как все рады...

— Рады? почему ж? — спросила Прасковья Андреевна.

— Да так...— отвечал он, спохватившись.— Впрочем, я лучше все скажу, я вас люблю, как родную мать, Прасковья Андреевна. Ведь ваш братец человек такой тяжелый, от кого ни услышишь. Если б вы только знали, послушали бы от кого-нибудь, какие дела он делал, что он денег брал... Это уж правда, что на службе честный человек не наживется, а он...

— Он и не нажился,— возразила Прасковья Андреевна, в которой при этом наивно-дерзком обвинении поднялось что-то вроде обиды за брата.— Что ж у него есть?

— А чего ж у него нет? — вскричал, забываясь, молодой человек.— Помилуйте! Спросите приезжих, кто бывал в Петербурге, или послушайте, что говорят наши «власти», которые там к нему езжали: обеды, карточные вечера; он страшно играл, ни в чем себе не отказывал. Прижаться, копить деньгу нельзя было: нужна роскошь, поддержать знакомство, связи,— все это денег стоило. Послушайте, что о нем рассказывают!..

— Если б было у него что-нибудь, он не забывал бы семьи,— прервала Прасковья Андреевна, далеко не уверенная в том, что говорила, но она обманывала себя и противоречила потому, что было слишком тяжело согласиться.— У него странный характер... ну, гордый, положим, но, если б у него был избыток, он бы не оставил матери.

— Ах, боже мой! — прервал Иванов,— это даже больно слушать! Нет, я вам все скажу. Об этом даже грешно молчать: лучше вам совсем глаза открыть. Прошлый раз, как я от вас воротился, я на другой день пошел к нашему управляющему палатою, поговорить о моих бумагах, о разрешении, потому что я женюсь. Вы помните... я-то уж очень хорошо помню, как ваш братец принял и мое сватовство, и меня,— ну, словом, все. Я тогда же решился объявить, что мне дано слово, что я женюсь, взять разрешение, чтоб ваш братец не подумал, будто я его испугался. Ему все равно, что я женюсь на его сестре, а мне он и подавно все равно: мне ни его милости, ни протекции, ни денег его — ничего не нужно, право... Ради бога, скажите, так ли я говорю? Что ж? я молод, не важная особа; но, кажется, всякий человек, кто бы он ни был, имеет право о себе думать по справедливости, имеет право... хоть не унижаться, если уж судьба и пустой карман велят ему молчать,— так, что ли? скажите!

— Что ж вы управляющему вашему сказали? — спросила Прасковья Андреевна.

— Я? ничего; говорил о бумагах, какие мне нужны, просил не задержать — и только. Он человек чудесный, расспрашивал, что, как, по любви ли я женюсь, на ком. Я сказал. Он говорит: «Не родня ли Чиркину, что служит в... министерстве?» — «Сестра»,— говорю я. В то время был у управляющего наш асессор, недавно из Петербурга; он вступил в разговор: «Какая, говорит, сестра? У Чиркина нет сестер». Я говорю: «Есть сестры и мать; живут в деревне...» Да боже мой! это рассказывать отвратительно. Вообразите вы, что он уверяет всех, целый свет, что у него нет родных: отрекается от вас, потому что вы для него слишком бедны, слишком мелки... от матери!.. Видите, ему, важному лицу, неприятно иметь провинциальных родных, вы на него тень бросаете... я уж и не понимаю, что это! как будто вы не в тысячу раз лучше его, благороднее его, со всеми его мраморными лестницами да золочеными карнизами, как будто вам не больше стыд и обида, что ваш брат эгоист, взяточник... Нет, ради бога, простите меня! Я из себя выхожу...

«Хорошо...» — сказала про себя Прасковья Андреевна.

С минуту они молчали.

— Вот что,— начала она,— вы не говорите ничего Кате ни об этом, ни об увольнении братца. Ведь ему не век молчать — сам скажет, а не скажет... я скажу. Любопытно только, зачем он молчит и для чего прикатил сюда, на что мы ему стали нужны...

— Что, если он останется жить с вами? — спросил Иванов.

— Кто его знает! — отвечала она.— Это уж будет хуже всего!..

— Сделайте милость,— сказал он,— я скоро получу свои бумаги; как только они у меня будут, настойте, чтоб маменька назначила день свадьбы; что откладывать? Ноябрь на дворе, там пост, а там... далеко это... ужасно! Что тянуть до другого года?

— Хорошо; доставайте скорее бумаги. Надо это чем-нибудь кончить.

Почти у всякого в жизни бывают решительные минуты, такие, для которых надо призывать на помощь мужество, хитрость, красноречие, скрепить сердце, чтоб действовать и во что бы ни стало успеть. У многих такая борьба стоит названия борьбы, бывает окружена эффектной обстанов-

кой, принимает размеры драмы, у большей части людей это мелочные хлопоты, домашние дрязги, неинтересные для постороннего зрителя. Внутренно они стоят того же, такой же решимости, такого же страха, таких же волнений, может быть, даже сильнейших, потому что мелкие люди, от непривычки к волнениям, способны мучиться и сильнее все принимают к сердцу. Еще надо разобрать, как много поддерживает и придает энергии обстановка борьбы, хотя бы и страшная, но нарядная. Мы сами не знаем, насколько мы дети, насколько сильно в нас желание порисоваться, хотя бы в собственных глазах. Спор, где можно выказать красноречие, сцена, в которой женщина может рассчитывать даже на свой эффект красоты, обращение к суду света или презрение этого суда, даже роскошная уборка комнаты, где происходит действие,— все это увлекательно; это сцена из романа; сыграв ее, ее можно рассказывать; трепет в ожидании ее, экзальтации во время действия, интересное истощение сил нравственных и физических потом — всему этому должны найтись и найдутся сочувствующие... Но грубый толк вкривь и вкось, с привязками к каждому слову, с подниманьем всего старого хлама, старой вражды, но обидные, невзвешенные слова, крики, беспорядок кругом, какое-то особенное, необразованное безобразие рассерженных лиц, прислуга, которая выглядывает из-за дверей... Не огромное ли мужество нужно тому, кто решается на подобную сцену, на подобную борьбу, в которой к тому же и успех сомнительнее, нежели успех той или другой изящной борьбы? Там по крайней мере выслушивают и иногда уступают из приличия...

Прасковья Андреевна обещала Иванову постараться и устроить дела его. Она, однако, медлила начинать, что довольно понятно.

«При нем неловко,— думала она,— еще время терпит».

Любовь Сергеевна была погружена в такую горесть и посылала к небу такие вздохи, что на нее нельзя было смотреть без некоторого содрогания. Вера была зелена от страха, Катя — сердита, бог знает за что, на жениха, который показался ей невесел. Братец только ходил по комнатам и откашливался.

Иванов уехал вечером; Катя проводила его на крыльцо и, не заходя в дом, отправилась в свою светелку. Остальное общество все оставалось в гостиной.

— Долго еще будет сюда таскаться этот молодчик? —

спросил Сергей Андреевич, когда прогремела телега Иванова.

Прасковья Андреевна поняла, что это относилось к ней; у нее зашумело в ушах. Она подумала, что надо говорить теперь.

— Ведь это жених Кати,— отвечала она своим равнодушным голосом, не поднимая глаз от шитья.

— Разве эти глупости все еще продолжаются? Я полагал, что уж пора и кончить.

— Я тоже думаю, что пора скорее кончить, повенчать их,— сказала Прасковья Андреевна тихо и отчетливо.

Сергей Андреевич, против обыкновения, не замолчал.

— Ах ты мой боже! Я, кажется, русским языком говорю, что это вздор, безумие, сумасшествие, а вы все еще свое! Все еще их венчать надо?

— Какой же это вздор, братец? — спросила Прасковья Андреевна, не возвышая голоса.

— Это умно, по-вашему?

— Пристроить Катю? Умно.

— Это умно, по-вашему, сдать вашу сестру... не знаю кому, мальчишке... кому попало? Ни кола ни двора, ни значения, ни образования... Вы скажете после этого, что вы о ней заботитесь? бережете ее? лелеете? Вы ей «вторая мать»?.. Спросите прежде первую: вот она, налицо — радует ее устройство это? нравится ей?

— Маменька была не прочь,— возразила Прасковья Андреевна поспешно, чтоб не дать времени Любови Сергеевне вступиться.

— Ну, да ведь я вас знаю! Как вы с ножом к горлу приступите, у вас всякий будет не прочь...

— Братец! — возразила она так кротко, как не смела ожидать Вера, взглянувшая на нее отчаянными глазами,— маменька вам сама может сказать, что ей это нравилось; Иванов довольно образован для Кати... Ведь и Катя не из ученых, братец.

— Кто ж, как не вы, помешали мне дать ей образование? Не вы ли сами всегда настойчиво требовали, чтоб она оставалась здесь, при вас?..

— Позвольте,— прервала Прасковья Андреевна,— я ничего настойчиво не требовала; вам было... некогда заняться Катей. Да это и к лучшему, братец: она бы там привыкла к роскоши, выучилась бы, не знаю, много ли...

— Вы довольны, что сами ничего не знаете, вы из

зависти не хотели, чтоб молодая девушка была воспитана как следует...

— Не грешите, братец,— прервала она, вспыхнув и вдруг удержавшись,— вы понятия не имеете, как я люблю Катю: я бы жизнь отдала, чтоб она была как все... но мне ее счастье всего дороже. Ну, что ж, выучили бы ее там петь, танцевать, английскому языку... Что ж в этом бедной девушке? Куда ей идти потом? Ведь она бедна; жениха образованного ей бы никогда не найти. Вы лучше сами знаете: всякий ищет богатых. В гувернантки?.. Боже ее сохрани и помилуй! Чтоб я допустила мою девочку идти за кусок хлеба в чужие люди, сносить чужие капризы... Господи, я и вообразить не могу! Не говорите, братец; если в вас есть капля любви к нам, и не поминайте мне об этом!

— Немножко поздно и поминать,— возразил Сергей Андреевич,— вы сами все это устроили; вам, конечно, все должно казаться прекрасно устроено. Но вам целый свет скажет: глупо, глупо, глупо. Лучше девушке быть гувернанткой...

— Но она не может, она ничего не знает! — вскричала Прасковья Андреевна.

— Ну, дома сидеть, в девках остаться, чем выскочить, повторяю, за кого попало, с улицы, за писаришку,— срам сказать!

— Позвольте, однако, за что такая гордость? — прервала Прасковья Андреевна,— вы сами разве не начинали служить?

— Не с писарей я начинал, не с писарей, не с писарей!

Сергей Андреевич уже кричал.

— Знаю я это,— возразила сестра,— да ведь не дешево стоило и выучить вас, чтоб вы не в писаря попали!

— Не вы за меня платили, сестрица!

— Я не говорю этого.

— Я, кажется, вам не обязывался моим воспитанием, вам угодно считать...

— Полноте, братец, что вы привязываетесь? что я считаю?

— С чего вы взяли, что я привязываюсь? Я вас очень понимаю, очень! Я вас давно знаю: вы начнете с Иванова вашего, а я знаю, куда вы клоните!.. Извольте продолжать... что ж? я готов, ну-с?

— Что вам угодно?

— *Вам* угодно, а не мне... мне все равно! Вам угодно

считать доходы ваши, поверять... почему я знаю, тут не поймешь!

— Уж и видно, что вы сами себя не понимаете,— отвечала Прасковья Андреевна с обидной и спокойной улыбкой,— вы хотите сказать одно, а как вертится у вас в голове другое, старое, непокойны вы — так вам и кажется, будто и другие все к тому же клонят...

— К чему? извольте сказать! — вскричал громовым голосом Сергей Андреевич.

— Ох, господи! — застонала Любовь Сергеевна.

Вера приросла к месту.

— К чему? что вам кажется? — продолжал Сергей Андреевич.

— Ничего,— отвечала она.— Полноте, братец; вы сами знаете, не стоит ворочать, чего не воротишь; что и говорить! Не упрек вам — сохрани меня господи! — а как не сказать, поневоле иногда подумаешь... Братец, ведь по вашей милости вот у нее и у меня нет ничего! Вы нежились там, а мы здесь старые тряпки до десяти лет перешивали да таскали! Бог с вами, бог вам простит — от всего сердца говорю! Нам уж теперь ничего не нужно, авось вы нас не прогоните, умереть дадите в своем углу, в отцовском доме... Но Катю мне жаль, Кати мне до смерти жаль! Ей нельзя так жить; ей надо куда-нибудь уйти, чтоб и жизнь не пропала, да чтоб такой нужды, такого горя не видеть. За что она измучится, как мы измучились?

— Вот, мой друг, вот целый век это слышу! — вскричала Любовь Сергеевна.

— Извините, маменька, вы этого никогда не слыхали,— возразила Прасковья Андреевна,— я в первый раз говорю, да нельзя же и не сказать. Что ж это будет такое? Уж и последней не пожить как хочется? Мы бедны, необразованны — да, господи! счастье для всякого бывает, и для нас нашелся бы бедный необразованный человек...

— Нищих заводить,— прервал Сергей Андреевич,— жить, как в конуре...

— Братец,— вскричала она,— побойтесь бога! что вы все с богатством! Вы привыкли, что все вам дай роскошное, вы уж бедного человека за человека не считаете. Вы уж думаете, что бедному ничего и не нужно и ничего он не достоин, а если бог и посылает ему что-нибудь, вы на это с таким презрением смотрите, что грешно просто...

Не всем быть богатым да чиновным; как еще кому удастся...

— Что вы этим намерены сказать? — прервал, весь покраснев, Сергей Андреевич.

Прасковья Андреевна взглянула на него пристально и засмеялась.

— Ах, братец, вы забавный человек! Вот что значит непокойным быть: на всяком слове все мерещится! Что я хочу сказать?.. Ничего; вы сами знаете...

— Что такое-с?

— Да сами вы знаете. Для чего я стану при всех объявлять, когда вы скрываете? что за приятность?

— Я ни от кого ничего не скрываю. Извольте говорить.

— Ну, без места вы теперь, вас отставили.

Прасковья Андреевна говорила осторожно: она ждала, что мать упадет в обморок; ахнула только Вера, и то тихонько: она боялась пугаться. Любовь Сергеевна не только не упала в обморок, но даже засмеялась довольно презрительно.

— Вот важность велика! — сказала она.

— Вы это где, под какою дверью подслушали? — спросил Сергей Андреевич, задохнувшись.

— Я подслушивать не имею привычки. Мне Иванов сказал: в городе приказы получены.

Хуже не могла сделать Прасковья Андреевна, как назвать Иванова.

— Что ж вы это объявляете с таким страхом? — продолжал Сергей Андреевич.— Кого вы думали испугать?

— Не испугать, а я полагаю, невесело лишиться такого места.

— А вы думаете, я им дорожил?.. Да почему вы знаете? Я, может быть, сам хотел, сам просил, чтоб меня уволили?

— Да,— подтвердила Любовь Сергеевна,— из чего ты тотчас заключила, что твой брат лишен места, выгнан, обесчещен? из чего? чему ты радуешься?

— Я не радуюсь... а я не маленький ребенок, понимаю, что это вовсе не хорошо, не безделица...

— Такая безделица, такой вздор, что я матушке давно сказал, и она нисколько не беспокоится.

— Чего же вы сами-то, братец, голову повесили, если это вздор, ничего? Видно, не вздор!.. Обманывайте других, а не меня.

— Очень хорошо-с. Только к чему это ведет?

— Что?

— Да вот удовольствие ваше, радость ваша, что ваш брат выгнан из службы, как вор и мошенник, что он не годится никуда, что вот он голову повесил и всякий мальчишка приказ читает, радуется, что стерли его с лица земли... брата вашего? У вас он один, кажется, одна ваша опора, на кого вы можете надеяться...

— Точно один! — вскричала Любовь Сергеевна и зарыдала.

Прасковья Андреевна оставалась хладнокровна.

— На вас-то надеяться, братец? — спросила она спокойно; но голос ее звучал резко и странно.— Да что ж нам на вас и надеяться? У нас, к счастию, не было к вам просьб никаких и, думали мы, век не будет. Вот, в первый раз случилось, просила я вас за Александра Васильича...

— За кого?

— Да все за жениха этого! — сказала мать с отвращением.

— Все за жениха,— повторила Прасковья Андреевна,— право, я надеялась, что вы хоть раз что-нибудь для него сделаете. Что ж вы? «Нет»,— наотрез. Что ж вы нам за подпора? И что ж нам убиваться, когда вы места лишились? Все равно, как бы я о постороннем пожалела...

— О постороннем? — повторил Сергей Андреевич.

— Вот оно, вот! вот любовь! Вот, мой друг, что я выношу! — вскричала Любовь Сергеевна.

— Так я вам чужой, посторонний? Вы считаете меня чужим? — настаивал Сергей Андреевич, все ближе и ближе подходя к сестре.

Она взглянула пристально ему в лицо, которое совсем наклонилось к ней.

— А вы чем нас считаете? родными? — спросила она тихо и протяжно, так что он смутился.— Полноте, братец; нечего толковать, нечего спорить, нечего считаться; будет, довольно того, что есть. Вы ничего для нас не сделали, и не хотите делать, и не сделаете; так и быть; живите себе, как вам покойнее. Мы вам не мешали и не будем мешать; сделайте милость, уж и вы нам не мешайте. Вы себе дослуживайтесь до какого хотите чина, а нам уж позвольте отдать сестру за писаря: этого если и столкнут с места, так не так еще важно... да и сраму такого не будет... Поздно, однако. Покойной ночи. Пойдем спать, Вера.

Вера машинально и поспешно собрала свое шитье, ска-

зала: «Покойной ночи»,— вышла из комнаты, но за дверью этой комнаты старшая сестра была принуждена подхватить ее под руки и позвать девушку, чтоб помочь отвести ее в светелку. Мать и брат, остававшиеся в гостиной, слышали, что в коридоре что-то происходит, и, должно быть, даже догадались, в чем дело, потому что Любовь Сергеевна проговорила: «Ну, этого только недоставало!» — но ни тот, ни другая не двинулись с места.

Сергей Андреевич сидел молча и стучал по столу пальцами; он поник головой и задумался. Любовь Сергеевна долго смотрела на него, не прерывая молчания, потом поникла головой, задумалась и наконец сказала:

— Друг мой, я недоумеваю...

И, видя, что Сергей Андреевич не слышит или не слушает, она встала и подошла к нему.

— Ты скрываешь от меня, друг мой Серженька...

— Что такое? — спросил Сергей Андреевич нетерпеливо, потому что прервали его размышления.

— Вот что... Погоди, друг мой, стучать по столу, оставь на минуту... Эта безумная, друг мой... я сама не знаю... она меня в такое сомнение привела... Ты, друг мой, от меня скрываешь...

— Да что я от вас скрываю? Вы, кажется, все слышали, я вам еще вчера, третьего дня, сказал, что я уволен,— вот и весь секрет. Что ж еще скрывать?

— Нет; последствия, Серженька...

— Какие последствия?

— Последствия, друг мой... При увольнении, обыкновенно...

— Ну, под суд меня отдадут — хотите вы сказать? Не отдадут, потому что не мне одному тогда может прийтись плохо.

— Я все-таки, мой друг, непокойна. Если ты там забыл как-нибудь устроить... Погоди, пожалуйста, стучать... Если ты что-нибудь упустил из вида...

Сергей Андреевич бросил о пол наперсток, забытый сестрами и попавшийся ему под руку.

— Разве я маленький ребенок?

— Не горячись, друг мой, ради самого бога, успокой себя. Я это как мать говорю. Ты мне одна отрада... Эта безумная тебя взволновала.

— Никто меня не волновал, с чего вы взяли?

— Нет, она меня, друг мой, как мать оскорбила в тебе, потому что она в тебе осмелилась сомневаться, подозре-

вать тебя... Я бы одно хотела знать, как же это так, какие причины всего этого...

— Чего?

— Вот этого, друг мой... твоей отставки.

— Вот! а вы упрекаете, что Прасковья Андреевна во мне сомневается! Сами что вы делаете? вы во мне не сомневаетесь? вы меня не подозреваете? Я в ваших глазах не вор, не мошенник? не прямо меня в Сибирь?

— Серженька, друг мой, ради бога, опомнись, что ты говоришь? Что ж я сказала? что ж я такое могла выразить?..

— Как что? Вы причины спрашиваете! вы спрашиваете, за что меня отставили! Подите спросите за что — вам скажут; подите жениха этого спросите! Подите, подите в город, в уездный суд, в земский суд, в полицию, у всякого сторожа подите спрашивайте, они толкуют, они все знают, они вам так объяснят, что мои возлюбленные сестрицы возрадуются. Подите!

— Куда же мне пойти, Серженька? — произнесла в ужасе Любовь Сергеевна.

— Куда хотите! Вам расскажут, как ваш сын миллионы накрал. Если б я их накрал, меня бы не прогнали... Но свадьбы этой я не хочу, этой свадьбе не бывать — я вам говорю: не хочу; чтоб и слова о ней не было! Или моя нога здесь не будет, или я от вас отказываюсь — и вы меня вовеки не увидите! Я здесь ничего не вижу, кроме оскорблений! Люди, которые мне всем обязаны, позволяют себе в отношении меня... Да хоть бы они сочли, эти сестрицы, по копейке сочли, чего стоила их жизнь, тряпки их, питье, еда, одежда, стол, наряды, кусок всякий? Что, мало? Нельзя было прожить по пятидесяти душ каких-нибудь? — Видите, я прожил! я их обобрал да все прокутил! Бессовестные! Там трудишься, служишь, как вол работаешь, здесь приехал — вот что в семье!

— Серженька, друг мой! — проговорила оцепеневшая Любовь Сергеевна.

— Э, полноте! — возразил он, махнув рукой, отходя и принимаясь шагать по комнате.

Любовь Сергеевна тихонько плакала.

— Я завтра вечером уеду,— сказал он.

— Куда, мой друг?

— Ах ты мой боже! Не в Америку! Не с чем, хоть, говорят, и нажился... Куда-нибудь уеду. Здесь я жить не могу. Мне служить надобно. Надо место получить, достать

скорее, а то, в самом деле, доброжелатели да сестрицы поверят, что меня в спину вытолкали.

— Какое же ты место намерен, Серженька...

Сергей Андреевич расхохотался.

— Ну, понимаете ли вы что-нибудь после этого? Ну, что вы спрашиваете: какое место? Кто же может это сказать? Почему ж я знаю? Ведь мне надо приехать да посмотреть, похлопотать, надо налицо быть, на глазах. Отсюда что сделаешь?

— Так для чего ж ты уезжал из Петербурга, друг мой?

— Что? — вскричал он очень громко.— Зачем я сюда приехал? Да, я вам в тягость, конечно. Когда вы могли ждать от меня что-нибудь, вы не спрашивали, зачем я приезжал.

— Серженька, друг мой!..

— Вам угодно знать, зачем я приехал? Извольте. Сестер еще обирать приехал. Деньги мне нужны. Места даром не достанешь. Пусть мне Прасковья Андреевна отдаст свои пять тысяч: я через месяц буду иметь место, знаю как, знаю чрез кого...

— Неужели, Серженька?

— Как нельзя вернее. А вы тут затеяли этого подьячего венчать — очень нужно! Конечно, если она решила, что отдает Катерине эти деньги в приданое, мне остается сесть здесь да землю пахать... ну, или управителем к кому-нибудь попасть, мне, статскому советнику-то!..

— Так ты бы желал, чтоб она отдала тебе эти деньги, Серженька?

— Да. Вы понимаете, что мне другого ресурса нет?

— Как же ты говорил, что тебя отставка не беспокоит, что все это вздор, что ты надеешься получить... Я как-то этого в толк не возьму! Ты меня совершенно успокоил, и вдруг — нет другого ресурса... Ведь у тебя дом полный в Петербурге?..

— Что ж мне, распродавать мои вещи? Благодарю вас, маменька, утешили! Ведь мне жить где-нибудь надобно,— не с вами же мне жить! Кому я стану распродавать? что это будет такое? срам! Мне надо приехать в мой дом... Да не мой он еще, а наемный, надо приехать и тотчас занять другое место, другую службу, не заботясь, что я потерял. Вот как люди живут! А то, что ж, мне себя совсем скомпрометировать, пожитки продавать! Что выдумали!.. Э, с женщинами беда! хоть не говори, не начинай...

— Она ведь не даст тебе денег, Серженька...

— Ну, мне в петлю... Покойной ночи.

Он схватил свечку и ушел.

Любовь Сергеевна в потемках добралась до своей спальни.

V

Прасковью Андреевну разбудили чем свет и позвали к маменьке. Сергей Андреевич, может быть, и проснулся, но его ставни никогда не запирались, а занавески окон никогда не поднимались, и потому нельзя было сказать наверное, знает ли он об этом разговоре.

Прасковья Андреевна нисколько не удивилась, что Любовь Сергеевна встретила ее особенно холодно.

— Что вам угодно, маменька?

Любовь Сергеевна притворила двери.

— Если б не крайность, я бы с тобой не заговорила, я бы не только тебя не позвала, сама бы, зажмуря глаза, бежала бог знает куда,— так мне от вас горько, так вы мне все сердце пронзаете...

— Все? кто ж, маменька? и братец?

— Не трогайте вы его, не возмущайте меня! Что вам сделал этот несчастный человек, что вы его ненавидите, что вы рады его всячески уколоть или оскорбить? Вы его ценить не умеете. Чем он виноват перед вами, прошу сказать?

— Оставимте его, маменька,— отвечала Прасковья Андреевна.— От всего, что я вчера сказала, я не отрекаюсь ни от единого слова; я могла бы и больше сказать, да... да говорить не хочется.

— Тебе со мной говорить не хочется?

— Я не хочу говорить о братце,— возразила Прасковья Андреевна очень твердо и принужденно тихо.

— Это почему же?

— Маменька, вы сами знаете...

— Да расскажите вы мне, что это на вас нашло? Что это вам вздумалось вдруг кричать, считаться?..

— Кому же «вам»? Сестра Вера, кажется, уж век свой молчит, умрет молча когда-нибудь со страху, а Катя...

— А девчонка ваша балованная хороша! вешается на шею всякому приказному...

— Позвольте! — перебила, вспыхнув, Прасковья Андреевна.— Вы сами ее благословили с Александром Васильевичем, вы не свое говорите: вы братцевы слова

повторяете. Довольно он нас и делом и словом обижал, меня и Веру, бедную. Катю я обижать не позволю. Тут уж не одна обида: тут о всей жизни дело идет...

— Что вы все жизнь вашу мешаете? кто тут о вашей жизни говорит?

— Да о ней никогда и никто ничего не говорил! — вскричала Прасковья Андреевна, странно рассмеявшись.— Что о ней и говорить! Мне вот, на последних днях, стало жаль девочки, так и свое все припомнилось... Господи боже мой!

Она закрыла руками глаза, ей хотелось заплакать, но слез уж не было; только глаза ее покраснели и засветились, а завялое лицо от сильного внутреннего чувства, которое его оживило, на минуту показалось прекрасным, будто молодое.

— Что говорить!..— повторила она.— Ради Христа, маменька, душа моя, не делайте нам этого горя, не берите на себя дурного дела, не расстроивайте свадьбы Кати. Не слушайте братца. Они не бедны будут... да, право, надоело уж оно, это богатство, все о нем толкуют!.. Настоящее надо смотреть: по душе ли нам жизнь наша будет — вот что главное...

— Матушка, сколько раз ты замужем была, что так рассуждаешь? — прервала Любовь Сергеевна с ироническим смехом, мастерским подражанием смеху Сергея Андреевича.

Прасковья Андреевна посмотрела на нее пристально.

— Вы лучше скажите прямо, маменька,— начала она через минуту своим резким, обыкновенным тоном,— что вы вчера — на чем положили с братцем о свадьбе Катн.

— Ах, матушка, что ты меня допрашиваешь? что я тебе досталась?

— Мне надо это знать.

— Зачем это?

— Надо. Распорядиться надо.

— Я и без вас сумею порог показать вашему подьячему!

— Стало быть, это решено — и говорить нечего? — сказала Прасковья Андреевна.— Зачем вы приказали позвать меня, маменька?

Любовь Сергеевна слегка смутилась пред этим холодным тоном и внезапной переменой разговора. Она помолчала, глядя на дочь, которая стояла, дожидаясь объяснения или, вернее, первой возможности уйти.

— Присядь на минуту,— сказала Любовь Сергеевна очень смягченным тоном.

Прасковья Андреевна повиновалась. Любовь Сергеевна еще долго молчала.

— Ты вчера обрадовалась, что брат лишился места...— начала она наконец,— ты, стало быть, в самом деле не считаешь этого за несчастье?

— Я не радовалась и не печалилась: это для него несчастье, а не для кого другого.

— Ну, а для нас несчастье?

— Для вас, маменька, может быть.

— А вам все равно?

Прасковья Андреевна молчала.

— Ну, а для меня, для матери, как ты думаешь, каково это,— а? как ты думаешь? Я с третьего дня, как он мне сказал это, мой голубчик, глаз не осушала, ночей не сплю... видела ли ты, чтоб я кусок съела?

— Мне вчера показалось, вы так покойны.

— Что ж мне при вас терзаться, вам напоказ, на посмеяние! И так уж вы за мою любовь к Серженьке... Да если б не он, что б было? что б мы все были?

— Не знаю...— отвечала, улыбнувшись, Прасковья Андреевна.— Сделайте милость, маменька, перестанемте о нем говорить.

— А о себе что я говорить могу? могу я сказать, что меня это в гроб сведет, что его несчастье так на меня обрушилось, что вот смерть моя... душит меня!

Любовь Сергеевна показала на свое горло; по ее лицу текли слезы.

— Ты меня успокоить можешь, Параша...

— Чем, маменька? — спросила Прасковья Андреевна, которую эти слова заставили встрепенуться, пробудив какую-то жалость, какое-то позднее сожаление о невозвратном, старую радость, старое горе...

Мать это заметила.

— Ох,— продолжала она,— если б кто знал, каково мне — чужой бы, кажется, пожалел! Что ж это, все вы одни правы да правы! Когда ж мне, старухе, можно будет хоть вздохнуть, что вот я... ах, легко стало!.. как это матери не простить, что она своего ребенка любит! Эх, господи, господи!..

Любовь Сергеевна плакала, взглядывая на Прасковью Андреевну, на которую последняя речь произвела впечатление совершенно противное тому, какого ожидала мать.

Но Любовь Сергеевна думала, что успела растрогать и убедить, потому что ей не возражали.

— Серженька надеется место получить,— сказала она.

— Прекрасно,— сказала Прасковья Андреевна.

— Ему деньги нужны.

— Я думаю; теперь у него жалованья нет, жить нечем в Петербурге.

— Вот ты это прекрасно поняла, друг мой. Нечем жить — это ужасно. А ему до зарезу нужны деньги. И определение от этого зависит.

Прасковья Андреевна не сказала ни слова.

— Успокой меня, друг мой...— продолжала мать.

Прасковья Андреевна молчала.

— У тебя есть деньги... отдай Серженьке.

— Нет! — сказала очень хладнокровно Прасковья Андреевна, давно догадавшись, что должно дойти до этого.

— Боже мой, боже мой! К чему же ты их... для себя бережешь?

— Вы очень хорошо знаете: это приданое Кати.

Любовь Сергеевна выслушала, не возражая, с самой возмутительной кротостью.

— Друг мой, брат тебе их возвратит.

— До тех пор далеко, пока он возвратит.

— Ты в нем сомневаешься?

Прасковья Андреевна не отвечала.

— Он тебе вексель напишет,— сказала старуха с ожиданием и некоторым презрением к корыстолюбию, которое выказывала дочь.

— Что ж? Мне он может давать сколько угодно векселей, он очень уверен, что я его в тюрьму не посажу.

— Он в тебе совершенно уверен,— сказала Любовь Сергеевна поспешно,— он знает твое благородство...

— Я не дам! — прервала Прасковья Андреевна.

— Ты представь, что это вся его надежда...

— Я знала, что он даром не приедет! — вскричала Прасковья Андреевна,— нет.

— Тебе-то на что они нужны, деньги эти?

— Не мне, а Кате. Не сидеть же им без гроша!

— А как брат сидит без гроша? Там, в большом городе, в столице...

— А мне-то что ж,— прервала Прасковья Андреевна,— ему бывало хорошо, он о нас не думал, что нам о нем думать! — извернется...

— А как не извернется?

— Что ж делать? так и быть.

— Тебе не жаль?

— Кого, маменька? Это он сам научил вас просить,— да?.. Фу, что за бессовестный!

— Только от вас и дождешься!

— Да нечего больше дожидаться, право! Что это? как еще это назвать? Припомнил, что можно еще малость какую-нибудь отнять, и прискакал! И у кого же отнимает? — у бедной девочки, которой вся жизнь впереди!.. Удивляюсь, маменька, как вы никогда не подумаете: ведь Кате так же жить хочется, как и Сергею Андреичу! Как вы взялись за него просить!.. Бог с ним совсем. Не дам я ему ничего, ни за что на свете,— так ему и скажите!

Прасковья Андреевна ушла с этими словами. Любовь Сергеевна была в страшном затруднении, как сказать свою неудачу сыну, который хотя не поручал ей ходатайствовать за него, но был уверен, что она и без поручения это сделает. Она, однако, собралась с духом и после утреннего чая, к которому Прасковья Андреевна не явилась, отвела Сергея Андреевича в сторону и рассказала ему.

Сергей Андреевич был недоволен столько же неудачей, сколько тем, что мать подвергла его отказу. Но, посердясь немного и сказав Любови Сергеевне, что у нее страсть мешаться там, где не следует, он предался размышлению в своей комнате и сообразил, что теперь, когда этой просьбой он уже скомпрометирован и унижен перед сестрою, надо продолжать и успеть во что бы то ни стало, благо дело начато.

Он пошел в светелку. По этой лестнице Сергей Андреевич не всходил со дней своего отрочества, не удостоивая светелки своих посещений во все свои приезды. Лестница порядочно тряслась под тяжелыми шагами важного человека.

Прасковья Андреевна сидела на своей постели, закутавшись во что-то когда-то меховое. В светелке было страшно холодно.

— Кто там? — закричала она, услышав, что отворяют и не умеют отворить двери.— Ах, батюшки!..

Она была поражена удивлением при виде братца, который входил, нагнув голову под дверью, но через минуту это удивление заменилось другим чувством, которое Прасковья Андреевна привыкла выражать смехом.

— Что это вам вздумалось навестить! — спросила она,

смеясь, не двигаясь с места и продолжая починивать платье, которое лежало у нее на коленях.

Сергей Андреевич был настолько умен, что не отвечал ей какой-нибудь шуткой, когда их отношения были так ясны; к тому же у них никогда не бывало предметов для постороннего разговора.

— Маменька вам говорила...— прямо начал Сергей Андреевич, садясь на маленький плетеный стул и осмотрев его, прежде нежели сел.

— Говорила, братец. И вам она передала, что я отвечала? — сказала так же тихо, просто и прямо Прасковья Андреевна.

— Передала... Я пришел к вам сам поговорить,— продолжал Сергей Андреевич, несколько затрудненный ее молчанием.

— Что ж больше говорить, братец? — спросила она равнодушно.

— Вы, пожалуйста, не упрямьтесь — дайте деньги. Мне до зарезу нужно.

— И нам нужно тоже.

— Нужно, да не так.

— Все равно; всякому своя необходимость.

— Да, необходимость может быть, но не несчастье.

— Ваше несчастье не велико: вы такой важный человек,— как раз поправитесь.

— В том-то и беда, что важен; да небогатому человеку поправляться мудрено; покровительство у меня слишком знатное: надо себя поддержать. Того и гляди забудут.

— Ну, вас-то, может, так скоро и не забудут, братец,— отвечала она спокойно, холодно и несколько насмешливо.— У вас такие способности, вы всем нужны были. Найдетесь скоро.

— Да, если б с деньгами.

— Нет, братец.

Он подумал, помолчал и сказал наконец:

— Я должен вам все сказать, чего я не говорил маменьке: она бы ничего не поняла; шум был бы только... На меня казенный начет, пополнить надо.

— Как велик?

— Тысяч около пяти.

— Э, не верю, братец; ничего нет! Как можно, если на вас есть начет, так только в пять тысяч! Вы бы половчее выдумывали; вы бы вдесятеро сказали, я бы поверила. Разве такие люди, как вы, пятью тысячами кончают? Пол-

ноте, неправда, ничего нет. Вам мои деньги нужны только...

— Мне ваши деньги нужны пополнить часть начета,— сказал Сергей Андреевич мрачно и тихо.

— Ну вот, поправились; я вас научила, как сказать! — сказала Прасковья Андреевна, рассмеявшись.

— Начет действительно огромный,— продолжал братец, нахмурясь.

— Полноте, пожалуйста, выдумывать,— прервала она,— ничего нет.

— Есть,— подтвердил он.

— Я вам не верю,— возразила Прасковья Андреевна,— да все равно, есть или нет — какое мне дело? Если на вас огромный начет, стало быть вы брали деньги, пользовались? Ну и расплачивайтесь как знаете.

Сергей Андреевич еще помолчал несколько минут.

— Вы решительно говорите? — спросил он.

— Решительно.

Он встал и медленно вышел. Все это происходило очень тихо; никто не возвысил голоса. Прасковья Андреевна продолжала сидеть одна и работать, когда Вера вошла, шатаясь, полумертвая, и упала на свою постель. Сестра подошла к ней.

— Что ты? что с тобой? или что случилось?

— Ох, не трогай меня... Там он...

Катя прибежала перепуганная. Сергей Андреевич, говорят, бросал стульями по зале.

В этот день весь дом был в чем-нибудь виноват; не осталось в покое ни одного человека. Сергей Андреевич, между прочим, объявил радостное известие, что остается жить здесь.

Несколько дней сряду в Акулеве происходили необыкновенные вещи. Не было конца сценам, объяснениям, спорам, шуму, слезам: промежутки тишины были едва ли еще не тяжелее всего этого. Замечательно то, что все это происходило по разным причинам, совершенно посторонним, а о деньгах Прасковьи Андреевны не было ни слова.

Вера занемогла; Катя глаз не осушала. Иванова не велели принимать. Приехав в субботу, не допущенный в дом, он оставался на деревне, в избе, и оттуда прислал Кате записку, спрашивая, что все это значит...

Записку перехватил Сергей Андреевич...

Он принес ее Любови Сергеевне и попросил ее напи-

сать Иванову письмо, которое продиктовал и в котором поправил ошибки орфографии... Это письмо было образцовое в своем роде.

Катя, между прочим, была заперта братцем в его комнате. Сергей Андреевич вошел с этим письмом в руках и прочел его вслух. Он необыкновенно ловко и хорошо обставлял всю эту комедию.

— Братец, братец! что ж это такое? что ж со мной будет? — вскричала Катя, не дослушав до конца обидного, дерзкого отказа, который назначался ее жениху,— я жива не останусь, я умру...

Сергей Андреевич, конечно, только рассмеялся этой глупости, повторяемой девушками при всяком удобном случае.

— Молчать! — строго сказал он, когда рыдания и крики Кати сделались уже слишком громки.

Она едва не выхватила у него письма, которое он сбирался печатать; но Сергей Андреевич взял ее за руки, повернул, вытолкнул за дверь и заперся.

Катя кричала, стучала в дверь, наконец, вырвавшись от тех, кому было приказано «держать эту безумную», побежала в светелку к старшей сестре и упала ей в ноги.

— Ради Христа, спасите нас, сестрица, голубушка, милая!

Вера чуть не умерла, лежа в своей постели.

Прасковья Андреевна едва добилась у своей любимицы, в чем дело.

— Милочка моя,— сказала она,— но знаешь ли, чего он хочет? чтоб я отдала ему твое приданое — все, что у тебя есть!..

— А умру я, кому это приданое? Не все равно я умру? Отдайте ему, бог с ним! Он еще не отсылал письма... Подите, подите к нему скорее, отдайте все! Ну, пусть я без всего останусь, да не могу я жить без Саши...

Прасковья Андреевна взяла билет приказа и понесла его брату.

— Возьмите,— сказала она, бросив его на стол,— не уморите мне ее!

— Что это такое? — сказал он с большим достоинством.— На что мне это? Мне не нужно!

— Ну, ради бога, братец, полноте, довольно! Я сама виновата: до этого довела... Одна сестра умирает, другая, девочка моя, вне себя... Полноте ее томить, возьмите. Уезжайте; я ее без вас обвенчаю... Одно только: отхло-

почите здесь место Иванову... Я глупа, братец, простите меня, но не мучьте мою Катю...

Сергей Андреевич посмотрел на ее бледное, измученное лицо с укоризной и состраданием.

— Эх!..— сказал он, покачав головой, и спрятал билет в свою шкатулку.— Я дам вам вексель,— прибавил он через минуту, разрывая письмо и принимаясь писать другое.

Прасковья Андреевна стояла, молчала и ждала. Братец кончил писать и отдал ей.

«Милостивый государь, Александр Васильевич. Между нами вышли недоразумения, очень неприятные для всего нашего семейства, еще более неприятные для моей меньшой сестры, что вы очень понимаете. Прошу вас пожаловать к нам скорее, чтоб разом прекратить эти неприятности и объясниться, как следует добрым родственникам...»

Иванов прибежал тотчас.

Все засияло радостно... то есть было как-то натянуто, принужденно, тяжело-весело. Сергей Андреевич шутил важно, с покровительством; он никак не объяснялся с Ивановым, а просто сказал, что если его не приняли, то потому, что перепутали лакеи.

Вера не вставала с постели и оставалась в светелке одна.

Любовь Сергеевна рассказывала Серженьке, каков он был, когда был маленький. Сергей Андреевич расспрашивал об этих подробностях с любопытством и большим снисхождением.

Катя не плакала больше, но вся дрожала.

Прасковья Андреевна не говорила ни слова и только посматривала на братца. Один раз взгляды их встретились... Братец улыбнулся этой встрече, задумался, посмотрел еще раз на старшую сестру и вдруг обратился к Иванову.

— Александр Васильич,— сказал он,— что бы вам служить в Петербурге?

Сергей Андреевич заговорил на эту тему и говорил так заманчиво, что Иванов увлекся и слушал только его. Сергей Андреевич понимал, с кем имеет дело: он описывал молодому человеку трудовую жизнь среди людей небогатых, но равного с ним образования, изящные удовольствия столицы, доступные тем, кто умеет сводить

экономию, а в провинции ни для кого невозможные, возможность чтения и прочее. Иванов растаял.

— Похлопотать, перевести вас? — спросил Сергей Андреевич.

Он спросил необыкновенно любезно и родственно. Иванов колебался; Сергей Андреевич настаивал.

— Выключить вас здесь недолго,— сказал он,— и поедемте вместе.

— А вы когда едете?

— Дня через три.

И в полчаса, после советов, уговоров, шуток, наставлений, было решено, что Иванов уедет служить в Петербург, а через два месяца, в январе,— и уж самый долгий срок — в апреле, приедет жениться на Кате и увезет ее с собою, приготовив, как и где поместить ее в Петербурге. Это так весело, так занимательно! Братец решил так скоро, что некогда было минуты подумать. Если Иванов задумывался, если Прасковья Андреевна что-нибудь возражала, Сергей Андреевич говорил, что с такой нерешительностью нельзя жить на свете, что так никогда ничего нельзя устроить...

— Я не понимаю, что же, ты имеешь какое предубеждение против этого? — спрашивала Любовь Сергеевна Прасковью Андреевну, взглядывая на нее и как будто сомневаясь в целости ее рассудка.

Катя возражала тоже; она была в горе... Сергей Андреевич удостоил улыбнуться и сказать, что влюбленные девочки ничего не понимают.

— Да, кажется, и понимать не хотят! — подтвердила с негодованием и тихой горестью Любовь Сергеевна.

Все шло так, что должно было решиться и было решено и условлено, как желал братец.

Когда расходились спать, Любовь Сергеевна осталась на минуту одна с сыном и обняла его.

— Друг мой, благородное мое существо... мученик!..

Она почему-то глубоко о нем сожалела.

Сергей Андреевич съездил в N взять деньги из приказа и помог Иванову поскорее получить отставку. Через пять дней они выехали вместе, вместе ехали до Москвы, где Сергей Андреевич сел в первоклассный вагон, не спросив Иванова, где он садится. Все-таки по крайней мере одна машина везла их в Петербург; но в Петербурге

Сергей Андреевич не спросил Иванова, где он остановится, и не сказал ему своего адреса... Впрочем, они даже и не видели друг друга на дебаркадере.

Иванов, узнав в адресном столе, где живет Сергей Андреевич, стал посещать его с просьбой о месте... Кто побывал в Петербурге для дел, тот знает, скоро ли и как они делаются, знает, что такое покровители, доброжелатели и рекомендации. Иванов приобрел эту опытность и через восемь месяцев получил место писаря в департаменте.

Оглядевшись, он увидел, что жениться еще нельзя: жить нечем. Средств не прибавилось ни через год, ни через два... средств и теперь нет; через четыре года труд и тоска, служба и уроки русской грамоты маленьким детям заставили побелеть кудрявые волосы когда-то хорошенького Иванова; работа днем, забота ночью, труд выше физических и нравственных сил для того, чтоб жить, и жизнь для этого труда выше сил сделали из молодого человека какую-то машину, уже мало понимающую, мало чувствующую... Где тут жениться!..

Сергей Андреевич, конечно, нашел себе место. В Акулеве все живут по-прежнему...

ПАНСИОНЕРКА

Повесть

1860

I

Часу в шестом вечера, в начале мая, двое молодых людей бродили по саду, окружавшему один из домов города N. Вечер был очень хорош. Сад, хотя невелик, был запущен. Приятели долго шагали все по одной дорожке, часто цепляясь головами за нависшие ветки сирени. Один из них был гость; его костюм, изысканный, изящный, носил отпечаток Петербурга и казался даже странным среди неубранного пустыря, каким можно было назвать этот провинциальный сад. Молодой человек был недурен собою, держался чинно, прямо; прекрасные черные баки придавали ему еще более серьезный вид. Он был в шляпе и не снимал перчаток. Хозяин был меньше ростом, белокур, в стареньком сером пальто, без фуражки. Он хотя был моложе, но казался одних лет с гостем; его черты были очень красивы, но как-то смяты, лицо не бледно; но болезненно неровная, нетерпеливая походка довершала его несходство с гостем. Гостя звали Ибраев; он только недавно приехал в N на очень видное место. Хозяин назывался Веретицын и уже более года тоже занимал в N место, но очень невидное. Воспитывались они не вместе, познакомились давно, и в этот вечер виделись в первый раз после трех лет.

Ибраев рассказывал, как получил свое место, рассказывал с подробностями и, казалось, умножал их, чтоб продолжить разговор, для которого, кроме этого, не находил предмета. Веретицын слушал, казалось, внимательно, но без участия. Оба точно исполняли обязанность, празднуя вопросами и рассказами встречу после долгой разлуки.

— Ты не устал ходить? — спросил Веретицын, когда тот замолчал.

Ибраев устал давно, но не говорил этого из учтивости

или потому, что не надеялся найти на чем сесть в этом саду.

— Нет... да... Но в доме жарко,— сказал он, думая о тесной комнате, в которой, придя за полчаса назад пред этим, нашел своего приятеля.

Веретицын отгадал его думу.

— Садись здесь,— сказал он, выводя его из-под сиреней на маленькую площадку, где стояла простая деревянная скамейка. Вокруг нее был насажен хмель, поднявшийся уж высоко по жердям; по земле стлалось множество лебеды и повители.

— Садись ближе к средине,— прибавил Веретицын,— ножки вывертываются.

— Хочешь? — спросил Ибраев, доставая сигары.

— Я не курю.

— Давно ли? Ты был охотник.

— Отстал.

Ибраев закурил; Веретицын стегал по траве тоненькой веткой, которую сломал с сирени; оба молчали. Это была одна из таких минут, когда припоминается и передумывается живее все, что сейчас слышалось или было перед глазами, припоминается и сравнивается с настоящим далекое прошлое, проходит натянутость, холодность первой встречи, узнается прошлый человек в постороннем, с которым сейчас, казалось, говорить было не о чем, которого расспрашивать было неловко... Ибраев смотрел на наклоненную голову приятеля; ему припомнился голубой околыш фуражки на этих волосах; последние пустые, односложные слова шевельнули в душе что-то далекое; показалось как-то совестно вести посторонний разговор...

— Ну, а ты что же, Саша? — спросил Ибраев уже не тем ровным, мягким голосом, каким рассказывал свои успехи в свете и по службе.

— Я что? Да ничего,— отвечал Веретицын, оглядываясь и под влиянием того же раздумья.— Вот живу здесь другой год. Тебе повезло... Ну, и мне было недурно сначала. Конечно, не то, что тебе, вы — счастливчики, что вылетели — устроены, как нам, грешным, и не снится.

— Ты чем вышел? кандидатом?

— С медалью, мой милый. Два года был учителем в Москве, потом прислали сюда.

— Учителем тоже?

— Писарем в губернское правление,— отвечал Вере-

тицын.— Я «под началом»,— договорил он, заметя небольшое смущение приятеля и засмеявшись.

— Я не знал...— сказал Ибраев.

— Напрасно не навел справок. Мое знакомство не очень лестно, особенно для такой важной особы, как ты. Не обижайся. Я знаю, ты малый хороший, но моя репутация потеряна, и тебе нечего со мной связываться. Ты здесь уж целый месяц — я это знал и не шел к тебе, не встреться мы нечаянно, не приди ты сам...

— И тебе не совестно?

— Ничего не совестно,— возразил серьезно Веретицын,— на что я тебе нужен? Ты человек светский, за тобой уже ухаживают маменьки, по тебе вздыхают девицы; ты человек солидный, «власти» наши пред тобой с уважением,— какое тебе дело до мелкой мошки, которая пригодилась миру на переписыванье бумаг и ни на что больше? Ты пишешь протесты, а я не смею вычеркнуть запятой; ты — царское око, а я аттестован «вредным направлением»! Где же была бы у меня совесть, если б я стал тебе навязываться? Мы пошли так розно, что нам вовеки не встречаться... Ну, и прощай!

— Ты ожесточен,— сказал Ибраев и замолчал.

Несколько минут они молчали оба. Веретицын опять принялся сбивать лебеду, улыбаясь насмешливо и как будто с ожиданием.

— Что же ты не спросишь, за что со мной это приключилось? — спросил он наконец.

— Ах да! в самом деле, за что? — сказал Ибраев.

Веретицын засмеялся громко.

— Да я и сам не знаю,— отвечал он, бросив ветку, которою играл.— Ты на год нанял себе квартиру? Напрасно: тот дом холоден.

— В самом деле? Это досадно... А ты живешь у своей сестры? — спросил Ибраев.

— Да, у зятя.

— Хорошие люди?

— Да... Дурных людей нет. Зло есть только отвлеченное понятие; в действительности его нет. О нем говорят так только, чтобы о чем-нибудь говорить. На свете все прекрасно, люди все добры... Они шалят иногда... ну, тогда на них есть управа. Вот важные господа, как ты, например...

— Послушай, Саша,— прервал Ибраев, которому стало совестно,— я еще не такой важный господин, чтоб

уж со мной было говорить нельзя. Будь откровенен, сделай милость.

— Да что же — откровенен... Скучно,— сказал вдруг Веретицын, не удержавшись больше, потому ли, что был не в силах, или потому, что голос старого знакомого вызывал высказаться.— Зять — чиновник, был беден, теперь нажился. Сестра была бедная девушка, только потому не стряпала обеда, что считалась «барышней»: теперь барыня, в бархате, в перьях; куча детей... вот они во дворе змея пускают.

Ибраев давно слышал во дворе крики и даже драку; он поморщился.

— Я бы мог, конечно, вступиться, унять,— продолжал Веретицын,— но ведь я не авторитет. Мой зять, их батюшка, упражнялся в этом до семнадцатого года жития своего и ныне губернский казначей; я на семнадцатом году выдержал университетский экзамен — а что же я?..

— Что же ты делаешь? занимаешься чем-нибудь, читаешь?

— Некогда, негде, нечего; я обязан быть в должности всякий день, мой угол ты видел: книг у меня нет.

— Но ведь день велик; после должности?

— Сплю. Вот здесь шатаюсь...

— Но как же так.

— Ох, вы, деятели! — прервал Веретицын.— Ну, найди мне дело; скажи мне, что можно делать, но разумно, чтоб это не было, что называется, воду толочь? Писать заметки, скажешь ты, благо я преподавал историю и статистику? На это еще и свободное время нужно, и средства нужны... Ну, да так и быть, положим, нашел бы я это как-нибудь, изволь. Что разбирать, чем заняться? Здесь ни памятников, ни достопамятностей, ни источников днем со свечкой не отыщешь. Был в одном монастыре костыль Пересвета, палка в сажень вышины — и ту монахи перехватили пополам топором: не поместилась в нише, в новой церкви... Вот тебе и все так. Статистика... О ней официально десять тысяч раз писано, а тронуть что-нибудь неофициальное, какую-нибудь живую и больную сторону... Покорно благодарю! еще пошлют подальше, а мне и здесь скверно!

— Это отговорки; послушай, это недостаток силы воли...

— Еще скажи: недостаток самоотвержения! Еще что? Право, вы мне нравитесь, счастливчики! Вы понятия не

имеете о настоящем труде, а кричите другим, чтоб трудились. Не беспокойтесь, мы и без вашего приказа трудимся, сколько есть наших сил, трудимся больше вашего, хотя с вида мы только спим да гуляем в бурьяне: мы думаем, мы бережем печаль и горечь мысли, то, из чего вырабатывается благо,— а у вас только дело, какое оно ни будь, сплеча, лишь бы дело! Вас если что затруднит, если что мало не по вас, вы тут кричите и о благородном честолюбии, и о людской неправде, громите, разите — и правы. А из нас, мелкого народа, если кто не умел пробить стены головою, тот, по-вашему, и ленивец, и без силы воли, и не самоотвержен... Все, говорите вы, возможно. Что же возможно-то? Дела ты мне не найдешь, а какое нашлось бы, того делать нельзя, с тем приютиться здесь не к кому. Вы привыкли судить о затруднениях с высоты вашего величия: сделайте милость, загляните пониже!.. Для тебя, например, здесь общество — для меня нет его. Я не пойду к моим товарищам-писарям, а твой круг меня не примет.

Ибраев не возразил на это. Он спросил, помолчав:

— Но все же ты знаком с кем-нибудь?

— Да, встречаюсь — кланяюсь.

— Почему же не бываешь ни у кого? Я здесь месяц и нигде тебя не встречал.

— Я не пойду в дом, когда не могу принять у себя дома,— возразил Верéтицын.— Впрочем, я знаю всех здешних и стариков, и молодых, даже дам. Прошлую осень и зиму скука меня одолела: я записался в собрание, ходил туда читать журналы, иногда поглядеть на танцы.

— Танцевал?

— С кем? К знакомым моей сестры я не подхожу, другим я не представлен. Мною заинтересовалась царица ваша, madame la princesse. Ведь у нее на уме все балы с переодеваньями да благотворительные спектакли. Увидела меня — новое лицо,— приказала моему непосредственному начальнику представить меня ей и осведомилась, нет ли за мною каких талантов: не пою ли я, не играю ли хоть на гудке, нет ли способностей к декламации. Ничего этого нет; но будь я даже безграмотный, все бы годился на роли без речей, да меня, к счастью, «принимать неловко». Я и остался на одних поклонах, потому что все-таки меня подводили к этой даме. Потом мне рассказывали: говорить ей больше нечего, вся переговорилась. Она произносит монологи обо

мне перед своим кружком, нарекла меня «le jeune malheureux»[1]. Меня взорвало. Глупо это донельзя. Я перестал ходить на танцевальные вечера. Оно, впрочем, было и не по средствам: перчатки дороги.

— Послушай,— сказал Ибраев нерешительно,— а твои средства как же?

— Конечно, без гроша. Что оставалось от экономии учительского жалованья, что дал при выпуске покойник дядя, я все отдал «в дом»: не жить же Христа ради! Ну, я и здесь получаю жалованье, до шести рублей в месяц; это, говорят, очень хорошо... Да что мне нужно! Я счел бы себя не знаю каким счастливцем, если б была возможность нанять какой-нибудь чердак и дожить одному. Больше, право, кажется, мне и не надо. Я уж приучился себя ограничивать, ни к чему не привыкать, от всего отвыкать, все выносить... Знаешь, для того чтобы прошлой зимой записаться и бывать в собрании, я давал уроки.

— Что же,— сказал Ибраев,— прекрасно! Это занятие и не безвыгодное, я думаю.

— Да. Я учил читать, писать по-французски за десять копеек в час, десять часов в неделю — это очень занимательно и очень выгодно. Я продолжал бы эти уроки, да захворал с начала весны, пролежал недель шесть и до сих пор не поправлюсь... словом сказать, очень весело! — заключил Веретицын, зажав руки в колени, покачиваясь и не глядя на приятеля.

— Но неужели же ничего, так-таки ничего отрадного в жизни? — спросил Ибраев.

— То есть чего же отрадного? Влюбиться? У меня, мой милый, барские замашки: я если что люблю, то люблю хорошее. Хорошее очень редко. Да хоть бы и встретилось, оно не про нас. Впрочем, я не отказываю себе в удовольствии... пожалуй, дурачиться.

— Ах, Саша, нехорошо!..— сказал Ибраев, посматривая на него и не находя сказать ничего более задушевного.

— Хорошо-то что? — возразил Веретицын.

— Хорошего на свете много, но или оно не дается, или люди его не видят, или сами его портят...

— К какому же разряду я должен быть причислен: к несчастным, к дуракам или к негодяям? — спросил спокойно Веретицын, выслушав очень прилежно.

---

[1] «молодым несчастливцем» *(франц.)*.

— Ты слишком резок, ты ожесточен,— продолжал Ибраев, не отвечая,— собственные неудачи мешают тебе смотреть на вещи беспристрастно. Согласись... не обижайся! согласись, в твоем чувстве много эгоизма, а людям, которые не знают тебя коротко, этот эгоизм может показаться даже просто... мелкой завистью...

Ибраев осторожно остановился.

— Продолжай, продолжай! — сказал спокойно Веретицын.— Я ведь не обижаюсь.

— Как, не обижаешься? да этот один ответ...

— Ничего. Что же мой ответ? Разве ты первый мне это проповедуешь? Ты говоришь учтиво, другие говорили неучтиво; ты стараешься вразумлять, другие напросто меня выгнали; ты соболезнуешь, другие презирают. Я ко всему привык и могу все слушать, даже не удивляясь. Знаю, я смешон: падший дух на хлебах у своего зятюшки, губернского казначея; но я не вижу нигде, ни у кого, ни в чем благополучия, которому мог бы завидовать... Мне прескверно,— я, кажется, рассказал об этом даже слишком подробно,— но тоже ни за какие благополучия не желал бы я уметь читать вот такую мораль, будто люди эгоисты, когда оскорблены, будто они слепы и не видят своих радостей, когда им становится жить не под силу... Если чего я никогда терпеть не мог, так это разных сладеньких или премудрых готовых сентенций, на которых люди очень легко устроивают свою жизнь...

— Да ведь *легко*, да ведь *устроивают*...— возразил Ибраев.

— Ты нисколько не эгоист! — прервал Веретицын, засмеявшись.— Да, легко, да, устроивают; но сладенькая или премудрая сентенция одного устроит, а другого где-нибудь непременно бьет или гнет... А знаешь ли что, если раздуматься об этом, так не очень крепко заснется? Спокойствие, конечно, первое благо... да ну его!

Ибраев докурил, бросил сигару и, пользуясь тем, что приятель отвернулся, взглянул на часы. Веретицын это видел.

— Сколько? — спросил он равнодушно.

— Семь.

— Ты спешишь куда-нибудь?

— Нет, еще рано,— отвечал Ибраев, сконфуженный.— Вечер славный! — прибавил он, оглядываясь по сторонам.

Веретицын смотрел тоже, но выше, в просвет молодого

клена, за которым пряталось солнце. Широкие листья падали тяжело и темнели, а кисти желто-зеленых цветов блестели будто под лаком. Веретицын покачивал головою и тихонько стучал пальцами одной руки о другую, будто в такт песни, которую напевал мысленно. Вдруг он хлопнул руками громко, подняв этим неожиданным звуком тучу воробьев, которые засели было и в клене и в хмеле, а теперь закружились по саду, не находя места.

— Что тебе вздумалось? — спросил, смеясь, Ибраев.

— Да так! что они! спать им еще рано.

— Кто у вас соседи? — продолжал Ибраев, следя за воробьями, которые понеслись через плетень в соседний сад.

— Не знаю. Тут много детей; я часто слышу, как они жужжат: уроки учат.

— Там и теперь кто-то учится; слышишь? жужжит.

Веретицын оглянулся; хмель закрывал его, и через плетень он мог видеть всю дорожку соседнего сада, такого же запущенного. Там прохаживалась молоденькая девушка с книгой в руках; посмотрев в книгу, она закрывала ее и вполголоса твердила прочитанное наизусть. До слушавших долетали собственные исторические имена, числа годов, в которых девушка постоянно сбивалась, и книжные периоды о доблестях, о победах, о добродетелях, которые она прочитывала бойко; у нее была хорошая память. На девушке было темное шерстяное платье, очевидно, пансионское форменное, но вместо форменной белой пелеринки она накинула себе на шею что-то черное, прозрачное, и из-под тюля белели ее плечики. Ей казалось лет пятнадцать. Она была невысока ростом, не очень стройна, полненькая. Возвращаясь по дорожке, она обратилась лицом к наблюдавшим за нею молодым людям. Она была свежа, хотя немного бледна, но прелестной перламутровой бледностью; цвет глаз, которые она подняла, шепча свой урок, был великолепен: темнокарие с голубоватыми белками, прекрасно очерченные, они глядели особенно ясно и прямо.

— Хорошенькая...— сказал Ибраев.

— И как счастлива! — прибавил Веретицын, глядя на нее.— Твердит чепуху: «Лудовик Великий» да «Лудовик Вселюбезнейший», и воображает, что дело делает!

— Тебе-то что? — сказал Ибраев, смеясь.

— Досадно, глупо! Довольна собою, довольна всем, верит вздору...

— Педант! что ж ей делать, когда у них преподают еще по старым учебникам? Ей, может быть, объяснить некому...

— Что мне за дело, хоть она ничего не знай; еще бы лучше было! А вот довольство это, гляди, на лице написано: подвизается, трудится, извращает себя. Вечер такой, что только дыши, бегай, в куклы играй, а она нос в книгу — и рада!

— Почему ты знаешь? может быть, вовсе не рада.

— А не рада, насильно заставили, так что за глупая покорность? где же в ней жизнь?

— Она, может быть, и понятия не имеет, что такое жизнь.

— Так я ей растолкую сейчас,— сказал Веретицын, вставая,— чтоб она не воображала, будто это великое, полезное дело твердить «Лудовика Вселюбезнейшего». Весело ей с ним, так пусть скучно будет.

— Полно! что за шалость! — сказал Ибраев, удерживая его.

— Найди мне, пожалуйста, что-нибудь вместо этой шалости,— возразил Веретицын,— мне ровно делать нечего. Впрочем, успокойся, человек моральный: я не стану волновать ее воображения, «развивать» ее... Это так же старо, как ее Лудовики.

— Но что же ты хочешь? — спросил Ибраев, идя за ним.

— Я не хочу, чтоб ей было весело! — сказал резко Веретицын,— тут сидишь рядом, умираешь с тоски, а эта девчонка...

Они были уж у плетня. Ибраев отошел несколько в сторону, как человек серьезный, протестующий, но любопытный. Веретицын облокотился на плетень, положил бороду на руки и ждал. Девушка подходила, читая и не видя его.

— Что, скучно учиться? — спросил он, когда она была рядом.

Девушка подняла глаза, чуть-чуть вздрогнула и чуть-чуть покраснела; она не бежала, однако, а, напротив, остановилась, прижала к себе раскрытую книгу и посмотрела прямо на Веретицына.

— Напротив, очень весело,— отвечала она.

Ее голос был так же уверен, как ее взгляд, как ее движения; она не только не потерялась, не смутилась — она даже не удивилась, и после легкой краски, пробежав-

шей по ее лицу от нечаянности, когда вдруг раздался подле нее чужой голос, девушка не краснела больше, но стояла и ждала, что еще ей скажут. Это было не кокетство: ее спокойный взгляд не вызывал, не заискивал разговора; она не закрывала своей книги.

— Вы очень прилежны, любите занятие,— продолжал Веретицын, в наблюдениях за нею забывая цель своего разговора.

— Очень.

— Это очень похвально. Вы даже в воскресный день, в такой прекрасный вечер, за книгой.

— Мне надо твердить уроки.

— Вы воспитываетесь в пансионе?

— Да, у Шабичевой.

— Там строго?

— Нет,— отвечала она, опять спокойно взглянув на него,— но скоро экзамены.

— Вы желаете отличиться?

— Непременно.

— И надеетесь успеть?

— Конечно, успею.

Веретицыну показалась глупа эта игра в вопросы и свое положение. Он поклонился и, проговорив «извините», отошел от плетня. Девушка взглянула ему вслед и пошла по дорожке, опять взявшись за книгу. Ибраев смеялся.

— Ну, что? — сказал он.— Ты сбирался внести тоску в юную душу, и не удалось? «И прочь бегут враги, не совершив молитвы»... Пансионерка как пансионерка,— «да, нет»... она и тосковать не умеет!

— Выучится,— отвечал Веретицын, которому стало досадно... неизвестно на что.

Одна из племянниц, девочка лет десяти, очевидно сейчас только умытая и наряженная в очень накрахмаленное и очень коротенькое платьице, явилась с поручением маменьки звать гостя кушать чай. Ибраев испугался: посетив старого знакомого, он совершенно неожиданно нашел его в беде и тем менее намеревался, вследствие такого компрометирующего знакомства, входить в интимность с семейством господина казначея. Он искал предлога отказаться. Веретицын видел это и сам помог ему.

— Теперь уж восемь часов,— сказал он,— а ты куда-то сбирался; не опоздай. Мое правило: не задерживать.

— О, в самом деле восемь! Спасибо, что напомнил,—

сказал Ибраев.— Благодарите вашу маменьку, миленькая... Когда же увидимся, Саша?

— Когда тебе вздумается быть у меня. Я к тебе не приду.

— Ты неисправим! — сказал Ибраев, пожав ему руку с чувством, потому что на прощанье.

Веретицын, смеясь, отворил ему калитку, кивнул головой и воротился в сад.

II

Случилось сряду несколько праздничных дней. Веретицын не ходил в должность и не очень скучал, потому что на другой день свидания с ним Ибраев прислал ему много книг. Но чтение еще резче заставляло чувствовать, что кругом некому сказать слова, и даже не приносило своего полного наслаждения. С лишком в год такой затерянной жизни Веретицын, конечно, не лишился ни привязанности к науке, ни способности ценить прекрасное, но как-то разучился принимать сразу впечатления науки и прекрасного и забываться в них. Они были уж слишком несходны с впечатлениями его собственной жизни, о которой он слишком много надумался. Не то, чтоб он погряз в своих мелких работах: напротив, он старался и успевал выносить эти работы как тяжелый сон, не размышляя о них, но они примешивали ко всем его ощущениям тупую тоску, болезненную тяжесть, отчаяние. Чтение было для него то же, что свидание с дорогим человеком, с которым мы должны сейчас расстаться, и помним это... Веретицын скучал. Дельные люди, зная его за человека способного, не предложили бы на его скуку другого лекарства, как занятие и мужество. Они были бы правы, конечно, но часто и самые дельные люди определяют занятие только словом «что-нибудь» и почти обижаются, если их просят вникнуть и придать какой-нибудь образ этому невещественному «что-нибудь». Веретицын еще раз в жизни услышал это от Ибраева. Что же касается мужества, то точно так же, как истинные храбрецы, бывавшие на войне, откровенно признаются, что бывали минуты, когда у них шевелилась фуражка, потому что волосы поднимались дыбом, точно так же люди, перенесшие в самом деле много, откровенно говорят, что сами не знают, как перенесли,— должно быть, забывшись. Мужества нет; оно — черствость сердца или беспечность, беспечность,

благородная, высокая добродетель, но добродетель, сложившаяся из детской забывчивости и молодой отваги... А у кого горькая действительность и размышление давно прогнали детство, кому всякую минуту памятно, что его молодость тратится и убивается даром, тому мудрено без злости и желчи слушать проповеди о мужестве от людей, которые не нуждались в этой добродетели...

С вида, конечно, самая законная тоска и скука выражаются вялой тратой ума и времени на бездействие, лихорадочной тратой сердца часто на невозможное, еще чаще на пустяки. Нехорошо, но и осудить это жестоко.

Ибраев скучал тоже, и тоже очень законно: город N не удовлетворял человека, привычного к удовольствиям столицы. Однажды, чтобы рассеяться, Ибраев решился на эксцентричность — на длинную прогулку за город пешком, и, устав, довольно поздно вечером зашел по дороге отдохнуть к Веретицыну.

В прихожей Ибраев встретил двух дам, которые уже уходили; в сумерках он успел заметить только, что одна — старуха, другая — молодая. Веретицын провожал их, так же, как его сестра, очень обрадовавшаяся посещению Ибраева; она встретила его очень громким приветствием и назвала по имени, чтоб обратить внимание своих посетительниц. Но посетительницы не обратили внимания, какой важный человек вошел в дом госпожи казначейши, и ушли, а Веретицын увел Ибраева в свою комнату.

— Спасибо, что зашел,— сказал он, зажигая свечу и растворяя окно, выходившее в сад,— спасибо, что вспомнил.

Он был заметно взволнован, бледнее обыкновенного, когда с какой-то особенной приязнью он подал обе руки Ибраеву; Ибраев заметил, что эти руки холодны.

— Кто это был у вас? — спросил он.

— Хмелевская с дочерью.

— Ты влюблен в нее? — продолжал Ибраев, сам не зная, шутя или догадываясь.

— От кого ты слышал? — спросил Веретицын поспешно, не смутясь, но пораженный.

— Ни от кого ничего не слыхал; мне сейчас показалось. Что же?

— Да,— отвечал Веретицын, сел напротив приятеля, положил руки и локти на стол, а на них голову. Он был чем-то сильно измучен. Ибраев никогда не брал и не

любил брать на себя утешать, но исповедь влюбленного показалась ему развлечением.

— Что же? — повторил он,— рассказывай.

Веретицын оглянулся, выдернул сигару из открытой сигарочницы приятеля, зажег ее и, одуряясь дымом, от которого отвык, сказал, засмеявшись:

— Славная вещь сигара!

— Нет, твоя-то история?

— Моя история... Да ты сам бывал влюблен?

— Никогда.

— Ну, это пусть послужит тебе уроком... Впрочем, *вам* этих уроков не надо! Сделай милость, познакомься с Хмелевскими: это тебе можно, прилично: они — порядочное общество. Старуха аристократка,— обветшалая, правда, но аристократка; живет скромно, принимает редко, но в большой чести...

— Я знаю, слышал.

— Ну вот, познакомься. У нее две дочери: одна старшая, а вот эта, Софья Александровна... ты увидишь. Они знакомы с моей сестрой,— это они снисхождение делают. Сестра крестиком на стенке отметит такой торжественный день, что они пожаловали, да еще ты вслед за ними. Познакомься. Вы пара, вы ровня. Перед тобой, может быть, растает этот лед приличия и добродетели... Я два года не могу добиться.

— Так ты уж давно знаком?

— С Софьей Александровной? С Москвы. Там, когда еще не были для меня заперты двери порядочных домов, когда на меня еще пальцем не указывали, не сторонились от меня, я хаживал к ее родным. Она у них целый год гостила; они не отпускали ее к матери. Да с ней расстаться скоро нельзя. Такие существа, как она, посылаются на свет в редкие, особенно щедрые минуты. Красавица, мила, как ребенок, думает, чувствует за всех, кроткая, с ответом на всякую мысль, с слезами на всякое страдание... Я, бывало, из себя выхожу: как смеют говорить с ней, смотреть на нее другие? Понимают ли они, что делают? Как в голову может приходить, что к ней можно обратиться, как к другой девушке, с комплиментами, с любезностями: разве она то, что другие? Любить ее... Надо сперва понять, как должно ее любить! Совершенству надо давать совершенное! Мы привыкли к тому, что нам по плечу, мы погрязли в посредственности; мы не понимаем, сколько высокое выше нас; мы идем к нему не задумываясь...

вот как старухи по привычке в церковь ходят!.. Она не отгонит, конечно, но ведь надо понять, как она добра, как боится оскорбить...

— Так у нее было много...

Ибраев хотел сказать «вздыхателей», но удержался и поправился:

— Так она никого не выбрала, не любила?

— Вообрази мое счастье — никого! — отвечал Веретицын.— Я ревновал, подмечал, наконец как сумасшедший решился сам спросить ее. Я был короткий знакомый, почти на правах друга; договорился и спросил. Она всегда искренна: «Никого»...

— Ну, чего же ты ждал? Тут бы и признаться.

— Тут и признаться? Но пойми: «никого», стало быть и не меня? Я сказал себе: «Подожду; она полюбит меня». Мне показалось даже хорошо дожидаться, видеть ее часто. Этот откровенный разговор еще сблизил нас. Я сам стал во всем откровеннее, я давал ей лучше узнавать себя, я с ума сходил и холодно рассчитывал... Ты не можешь понять, как это делается!

— Не могу, не могу. Вот я и учусь.

— Учись!.. Ты не знаешь, что такое роковая любовь. Не первая она, никогда не первая,— так случилось со мной,— а вот такая, как эта, когда говоришь себе, что все найдено в этой женщине, все, чего душа просила, когда видишь, что жизнь осветилась...

Веретицын бросил сигару, которую десять раз гасил и зажигал.

— Ну, что же? — сказал Ибраев.

— Ну, через несколько месяцев меня выслали из Москвы сюда,— вот и все. Я даже с ней не успел проститься.

— И вы встретились здесь?

— Я решился... Ты это поймешь. Я, как приехал сюда, умирал с тоски; некуда деваться; дома... ну, ты видишь! Узнал я, что Хмелевская мать бывает у сестры, и, когда она однажды приехала, решился ей показаться. Она позвала меня к себе. «Вы мою Сонечку знаете». Видите, это дало мне право! Мать богу молится на свою Сонечку. Ее еще тогда здесь не было: все гостила в Москве; но и без нее мне было у них по душе. Хорошая старуха; другая дочь — добрая девушка, говорить можно с ними. Я стал ходить к ним часто. Но — ты меня знаешъ или не знаешь — все равно, мне скоро стало тяжело там быть. Кто, как я, в ложном положении, тому нигде не может

быть легко. Они, Хмелевские, знали мою историю, знали, что я прав, понимали это ясно, но — женщины! — робко, как будто и перед собой боялись выговорить громко, что я прав... Да что я на женщин! и мужчины то же делают. Ну, мне это было тяжело: эти оглядки, особенно когда посторонние бывали у них, заставали меня, посматривали на меня, как будто удивляясь, зачем я тут. Мое знакомство компрометировало особенно; я из всего города только и бывал, что у одних Хмелевских... Я подумал, что мне не следует их стеснять собою, стал ходить реже, в такие часы, когда знал, что посторонних не застану. Они этого будто не заметили, но сделались как-то еще приветливее, то есть они поняли и косвенно благодарили. Это, как ты, надеюсь, понимаешь, может взорвать. Меня и взорвало, но я не отстал. Это было прошлой осенью; они ждали Софью: она должна была приехать наконец. Почтовые кареты приходят сюда из Москвы вечером поздно. Мать не могла идти в почтамт встречать Софью, сестре было неудобно идти почти ночью одной. Навстречу Софье в назначенный ею день решили послать одного лакея, чтобы помочь ей взять вещи. Я слышал эти распоряжения. Я ждал больше, чем мать и сестра. В полгода знакомства в ее доме, в ее семье, где ее любили, где говорили о ней беспрестанно, я полюбил ее, кажется, еще больше, чем любил прежде. Я ждал ее... не знаю как, с замиранием сердца. До ее приезда оставался еще целый месяц. Мне вообразилось, что она приедет раньше назначенного срока, и несколько почтовых дней я торчал один в зале почтамта, пока приходила карета, пока приезжие выбирались, разбирались, пока расходились все, даже сторожа. Меня признали там, почтальоны начали посматривать на меня и смеяться. Мне стало совестно, я начал ходить навстречу карете за заставу...

— В октябрьские вечера? — прервал Ибраев.

— В октябрьские вечера, два раза в неделю, то в слякоть, то в заморозки,— отвечал Веретицын с какой-то настойчивой насмешкой.— Прибавь, что я кашлял, не отводя голоса, что я прибегал иногда с края света, с урока; что, когда я ни с чем возвращался домой часов в десять, здесь уже все полегли спать, и у меня не было стакана горячей воды, чтоб согреться. Ну, это все вздор, ничего! Я все ждал. Я довел себя до того, что зябнуть мне было наслаждение при одной мысли только, что я выну ее,

Софью, сонную, тепленькую из кареты, что ее беленькое личико блеснет мне при фонарях, под дождем, под ветром, в темноте, в толкотне этой глупой, что *там* всегда. Так и случилось. В тот день карета еще запоздала; я продежурил то у заставы, то на подъезде почтамта, то в зале до полуночи. Лакей Хмелевских приходил, ушел не дождавшись, верно, заснул дома и не пришел вовсе. Когда я заслышал вдали, на площади, трубу кондуктора... ты не знаешь, что чувствуется в такие минуты!

— Не знаю; расскажи.

— Рассказать нельзя. Я кинулся как угорелый. Лошади еще не остановились, как я уж отворил дверцу. Мне прямо на руки свалилась толстая барыня и спросонка кричит: «Подержи, любезный, сундучок»,— и сует мне узлы, подушки какие-то. Я все это, и с барыней, толкнул на тротуар: я заслышал в карете голос Софьи,— она с другой стороны тоже отдавала что-то кондуктору; я толкнул кондуктора...

— Ну и высадил ее? Ведь главное состояло в том, чтоб ее высадить? — прервал Ибраев.

Веретицын посмотрел на него.

— Да,— сказал он после секунды молчания, взяв брошенную сигару и опять стараясь зажечь ее,— взял ее вещи, кликнул ей крытые дрожки, присел сам с извозчиком и проводил ее к маменьке. Они целовались целые полчаса в прихожей, а я стоял в своем мокром пальто и любовался. Софья очнулась наконец. «Вот кто меня проводил». Стали благодарить, приглашали отдохнуть, напиться чаю. Что за чай в полночь! а они год целый не видались. Я не осмелился беспокоить и ушел, а между тем вспомнил, что столоначальник задал мне гору переписки к утру. Она пришлась кстати, потому что не спалось.

— Отчего же не спалось?

— С холоду, должно быть,— отвечал Веретицын.

Он откинулся на стенку стула и курил еще равнодушнее своего приятеля, который, чутко поняв, что разговор упадает, почувствовал себя неловко.

— Ну, потом ты бывал опять у них, видел ее? — спросил он, стараясь выказать даже некоторое волнение.

— Бывал, видал, бываю и вижу,— отвечал Веретицын.

— И она?

— Что?

— Нет, но... как же... Какие же ваши отношения с ней?

— Я принят как прежде; стараюсь не наскучать. Ко мне в высшей степени внимательны. Вот я недавно, весной, был болен: ее мать и она меня навестили.

— А, прекрасно! Это много значит...

— Ровно ничего не значит: они навещают и на чердаках.

— Да, но не молодых людей из общества.

— Я не молодой человек, я не принадлежу к обществу,— возразил Веретицын более резко, чем хотел, и потому засмеялся.

— Но... Но, надеюсь, если она хорошо воспитана, то не даст этого заметить? — сказал Ибраев, придав себе вид озабоченного участия.

Веретицын расхохотался громко.

— Она прекрасно воспитана,— отвечал он.

— Ну, что же? Как же вы встретились? — продолжал Ибраев, стесняясь и ища слов.— Она не переменилась?

— Похорошела,— сказал Веретицын, вдруг прервав свой смех.— Да сделай милость, познакомься,— уверяю тебя, не раскаешься. Красавица, образованна, умна... Я, хотя и маленький человек, потерял право иметь свое мнение, но вкус у меня был когда-то. И так как ты удостоиваешь меня своего расположения, то я не смею оболгать ваше высокородие. Приятный дом-с, имею честь рекомендовать.

— Ты шутишь,— прервал серьезно Ибраев.— Пожалуй, чтоб доставить тебе удовольствие, взглянуть, я сделаю визит, буду раз, два; а больше мне, право, некогда. И согласись — в доме у Хмелевских мое положение будет неловко, неприятнее твоего. Я жениться, по крайней мере на m-lle Sophie, не намерен, будь она тысячу раз красавица. Ты меня не упрекнешь и не заподозришь в расчете, но ты сам знаешь, что у Хмелевских состояния нет, а мне оно нужно. Как ни вертись, как ни проповедуй, без денег жить нельзя. А покажись я только в их дом да бывай почаще... не то что толки — я к провинциальным глупостям заранее себя приготовил — но сами они, старуха, дочери, просто станут ловить как жениха. Mademoiselle Sophie и умна, и на чердаках навещает, но от выгодной партии, конечно, не прочь. Как ты думаешь?

— Всеконечно-с...— отвечал протяжно Веретицын.— А я вот еще что думаю: одиннадцать часов ночи, и везде собак спускают; если ваше высокородие еще замешкае-

тесь, так они вам полы оборвут, а может, и ногам достанется. В вашем звании это приключение еще неприятнее, чем в нашем, в писарском.

— Ты проказник! — сказал Ибраев смеясь, вставая и взяв свое пальто.

Оно свесилось рукавами книзу, но Веретицын не вставал и не помогал другу.

— Ну, прощай,— сказал Ибраев, справившись один,— хочешь еще сигару?

— Спасибо, я и ту не кончил.

— Вот что значит отвыкнуть!

— Да.

— И не привыкай больше; что! вздор!.. Какая ночь чудесная! Ты, верно, пойдешь мечтать в свой...

— Огород. Нет, спать хочу.

— Да, кстати, что твоя садовая знакомка?

— Не знаю, я не видал ее больше.

— До свиданья.

Ибраев ушел.

III

Вечера этого лета проводились очень приятно N-скими жителями. Командир стоявшего в N полка давал *своих* музыкантов, и они два раза в неделю с шести до десяти часов играли в городском саду. Городской сад оживился; он наполнился так, что ходить в нем не было возможности. Модные магазины продали невероятное множество шляпок, бурнусов и прочих нарядов и благословляли полк и приязнь его начальника к старшинам благородного собрания, которые перевели на лето помещение клуба в маленький дом, выходивший балконом в сад. Перед самым этим балконом, на лужайке, располагался оркестр. Дамы-аристократки, уставая бродить в тесноте, располагались на скамейках вокруг балкона, и к ним выходили беседовать господа, кончавшие или еще не начавшие своих партий в клубе. Остальное народонаселение пестрело по дорожкам; поговаривали даже, что в единственной большой беседке поправят пол и устроят танцы. Хотя летние увеселения начались довольно рано, с половины мая, но публика не охладевала к ним, и можно было надеяться, что не охладеет до осени, если простоит хорошая погода и дружелюбие статского и военного начальства.

Едва ли не один из всех N-ских молодых людей, в сад не заглядывал Веретицын. Он слышал издали, из своего огорода, трубы и литавры оркестра; сначала эти отрывочные звуки тревожили его досадно, как что-то лишнее, что-то напоминавшее, приходившее напрасно возмущать тишину, к которой молодой человек старался приучить себя и почти привык. Ничего нет досаднее, как шум при безлюдье. Людей, пожалуй, было довольно кругом, но для Веретицына их не было; когда темнел вечер, Веретицын на своей шаткой скамейке под хмелем начинал находить наслаждение в замирании всякого движения и шепота, в холодноватом примеркании света. Чувство тоже становилось тихо, без порывов; прошедшее уходило как-то еще дальше; печаль делалась не тупа, не покорна, но глубока и спокойна до торжественности. В ней была своя нега, свое наслаждение. И вдруг это наслаждение нарушено нелепым стуком и громом издали, стуком и громом на потеху людям, которые, ничего не делая целый век, вздумали разнообразить свою праздность.

Веретицын рассердился на музыку, когда она, раздавшись в первый раз, выгнала его из сада. В другой раз он повернул было, чтобы опять уйти, но раздумал: стало жаль потерять вечер. В третий раз он стал прислушиваться. Оркестр играл финал из «Лучии»; Веретицын узнал его из нескольких нот, принесенных по ветру. Он сам не мог определить чувства, которое заставило его приподняться на скамейке и, почти с биением сердца, ждать другого отрывка. Он ни за что бы не захотел быть там, в саду, у оркестра, но ни за что не променял бы ощущения, которое охватило в эти минуты его душу. Черные деревья, роса, от которой темнела дорожка, стрекотанье кузнечиков в промежутках мелодии, бледные, чуть видные звезды в глубоких голубых впадинах между белевшими облаками, огни в окнах соседей, маленькие, но яркие, с дрожащими розовыми лучами, пустота кругом и больное чувство в груди — все это было хорошо вместе, шло одно к другому. Дворняжка вбежала в плохо затворенную калитку. Веретицын спросил кусок хлеба под окном кухни, воротился на скамейку, кормил собаку и слушал «Лучию».

Его расположение духа, конечно, не повторилось больше. В следующий вечер он еще приподнял голову, услыша трубы, но они гремели какой-то вальс и продолжали вальсы и польки во весь вечер: это было больше по вкусу

публики. Веретицын нашел, что прислушиваться глупо, что это ребячество, тем более что в соседнем саду дети слушали тоже. Он подошел к плетню и машинально заглянул через него.

Дети, игравшие в кустах, не заметили Веретицына; но молоденькая девушка, с которой неделю назад он вздумал свести знакомство, увидела его. Их взгляды встретились. Веретицын поклонился. Девушка как будто с недоумением, но спокойно отвечала тем же.

Впрочем, на этот раз спокойствие было больше наружное; правда, она не убежала, не отвернулась, не потупилась, но ей стало неловко от пристального взгляда, который был обращен на нее; ей стало неловко перебрасывать мячик с мальчиком моложе ее — занятие, которое до этой минуты ей очень нравилось; она закинула мячик в траву и сказала:

— Довольно, Коля, я устала, не хочу больше.

Коля рассердился, что забросили его мячик, и принялся отыскивать. Девушка взглянула в сторону Веретицына и, видя, что он все на нее смотрит, смутилась уже заметно. Она отошла от детей; ей, видимо, казалось неловко оставаться на месте; но, отходя, она не могла не пройти мимо плетня, подле Веретицына. Заметя это, она торопилась пройти скорее.

Ему хотелось смеяться.

— Что ж вы не гуляете в городском саду? — спросил он, когда она поравнялась с ним.

Она покраснела и остановилась. Веретицын повторил вопрос.

— Так, не хочу,— отвечала она.

— Будто не хотите? Ведь вы не от себя зависите, конечно? Вас, верно, не отпустили или не взяли?

— Кто это? — спросила она, немного обидясь.

— Не знаю, кто-нибудь: ваша маменька, ваш папенька. Они, верно, ушли, а вас оставили дома.

Она хотела отойти, не отошла и отвечала:

— Надо с детьми остаться.

— Какая скука!

— Там скучнее,— возразила она.

— Кто это сказал?

— Никто не говорил, я сама знаю,— продолжала она твердо, подняв голову и глядя на него.— Там теснота, надо быть нарядной, ходить шаг за шагом, молча — вот и все удовольствие.

— Точно так,— отвечал Веретицын.— Удивительно только, зачем же все туда идут?

— Я еще успею быть на гуляньях,— возразила она, помолчав и уже не так решительно.

— Успеете? Кто вам сказал?

Она взглянула на него, удивленная.

— Кто вам сказал, что успеете? — продолжал Веретицын.— Кто за один день, за один час поручится?

— Я умирать не собираюсь,— отвечала она, улыбнувшись.

— Я и не пророчу вам смерть, не беспокойтесь. Но кто поручится, что, когда вас поведут на гулянье, вы уж сами не захотите?

— О, всегда захочу! — сказала она.

— Это еще не наверное. Вот вы уже и теперь говорите, что там скучно, а чрез год, чрез два... воды много утечет. У вас до тех пор могут случиться и огорчения, которые переменят ваш характер, и пройдет желание видеть что-нибудь или придет желание чего-нибудь получше того, что вам предложат. Лучше бы давали теперь право, покуда все эти пустяки еще имеют для вас какую-нибудь цену.

— Вот вы сами говорите, что это пустяки.

— Да я-то говорю, мне можно говорить,— возразил Веретицын,— я видел, потому и говорю. Я знаю, какими кажутся вещи, когда разглядишь их: потому и надо брать их, покуда не разглядел. Закрыть глаза, веселиться, пользоваться — вот молодость! А то что? Вы сами ребенок, а за детьми вам велено присматривать, покуда там папенька с маменькой Ланнера слушают... Вот это Ланнера вальс играют «Hoffnung Strahlen» [1], прислушайтесь: славный вальс! Вы музыке учитесь?

— Да... Как вы назвали этот вальс?

— «Hoffnung Strahlen». Вам нравится название?

— Да... Какое странное! Почему он так назван?

— Не знаю. Может быть, и есть какая-нибудь история этого вальса. У всего есть своя история. Была какая-нибудь хорошая минута у человека — он в память ей и назвал свое произведение. Могла быть и дурная минута.

— Ну, уж в память дурных минут не сочиняют вальсов!

— Почему же нет? Добрые люди все равно будут прыгать.

---

[1] «Лучи надежды» *(нем.)*.

— Да, если не знать, что значит эта музыка; но если знать...

— Все равно! Разве только музыка может напоминать печальное? разве каждый из нас не знает чьего-нибудь горя, да не одно чье-нибудь горе, а горе многих,— что ж? Это нас не беспокоит. Мы не под вальс вертимся, а все равно вертимся на свете,— веселы; другим хоть в петлю, а нам нет дела.

Девушка задумалась и взглянула на него. Веретицын улыбнулся.

— Вы по-прежнему много занимаетесь? — спросил он, помолчав.

— Да, много.

— Все к экзамену?

— Почему вы знаете?

— Вы сами сказали, тогда.

Она вспыхнула.

— Право, я вам позавидовал: так прилежны! Воскресный день, вечер чудесный, а вы, не поднимая головы, твердите, твердите. Неужели всегда так?

— Да... Нет... Нет, знаете, это к экзамену. Нас сорок две воспитанницы в пансионе...

— Вы — которая по классам?

— Я?.. я шестая. Но я в младшем классе... Так видите (она еще покраснела), папеньке и маменьке очень хочется, чтобы меня перевели в старший класс, наградили и повысили. Я из всех сил стараюсь. Я знаю, им будет такое удовольствие, если я всех перегоню...

— И тогда папенька и маменька купят вам соломенную шляпку с розаном, беленький бурнус и поведут вас на гулянье?

Ее прекрасные глаза загорелись от негодования.

— С чего вы взяли, что я из этого хлопочу? — прервала она.— Как вы смеете надо мной насмехаться?

— Помилуйте, нимало! — возразил равнодушно Веретицын.— Я сказал это потому, что, предполагаю, вашему папеньке и маменьке будет очень приятно показать всем свою милую дочь, которая доставила им такое удовольствие; они сделают это для самих себя, а не для вас.

Она смотрела на него.

— Для самих себя,— повторил Веретицын,— как же иначе? Вот теперь вы заменяете их для меньших детей, вы

для них учитель, вы для них будете хороши, для них будете веселы: все это для удовольствия вашего папеньки и маменьки. Я это так понимаю, что не делаю вам даже комплимента, что вы прекрасная, покорная, нежная дочь: вы только исполняете ваш долг. Поступайте всегда так. Живите всегда так. Живите всегда вполне для ваших папеньки и маменьки. Скучайте, когда это им угодно; морите себя над книгой, над работой, над чем случится; выставляйтесь напоказ, когда они вас выставят,— это их воля, это им приятно: вы — их собственность. Вы не просили у них родиться, вы не вправе просить жить так, как вам самим вздумается. Когда я говорил о новой шляпке, я думал только, как ваша маменька будет по своему вкусу выбирать ее для вас, и хотел заметить вам, чтоб вы не спорили при выборе: это радость маменьки — не мешайте ей. А что вас поведут в публику, то, конечно, для того, чтоб папеньки и маменьки тех подруг ваших, которых вы перегоните, смотрели и казнились, зачем господь не послал и им таких же дочерей. Если вам тогда встретятся эти подруги, вы не давайте им заметить, что вы огорчены за них вашим торжеством... Что я! и в самом деле, не огорчайтесь: вы исполнили ваш долг, доставили удовольствие...

Девушка была бледна и не сводила глаз с Веретицына, обламывая сухие ветки плетня. Веретицын засмеялся.

— Я шучу,— сказал он.— Учитесь, старайтесь, если вам это приятно. Право, я шучу. Извините... Вы любите занятие?

— Да, люблю,— отвечала она.

— Что для вас в нем особенно приятно?

— То, что как-то совсем забываешь, что вокруг делается.

— Для чего ж вам это? — спросил Веретицын.— Разве вокруг вас нехорошо?

— Нет, хорошо; но так лучше. Я возьму книгу и часто просто не чувствую, где я. Так уходишь будто в другой мир совсем...

— И это, например, твердя о Лудовике...

— Леленька, где ты? — послышались голоса детей.— Папенька с маменькой воротились.

Веретицын замечал, но девушка не заметила, что стемнело. Она оглянулась, как будто испугалась, и побежала.

— Прощайте, Леленька! — сказал ей вслед Веретицын.

Она обратилась бы на его прощанье, но оно показалось ей неучтиво...

IV

Веретицыну понравилась эта забава. Когда в жизни нет цели, к ней идут забавы, у которых тоже нет цели: между ними есть что-то общее. Жизнь проходит точно в забытьи; ее забавы и огорчения должны быть неуловимы, как сны, а между тем у них есть своя занимательность. На другой день утром Веретицын, чувствуя себя нездоровым, решился не идти в должность, взял книгу и пошел в сад. Отворяя калитку, он подумал о Леленьке.

Ей еще больше хотелось видеть «соседа». Леленька была дочь очень небогатого господина, из N-ских чиновников. Семья была огромная, воспитывалась в страхе; для девочки, знавшей только дорогу в свой пансион, и то под надзором работницы, которая посылалась провожать,— для примерной ученицы пансиона, не смевшей взглянуть иначе как с почтением на лица учителей и потому не знавшей, молоды они или стары; для барышни строго держанной, которая и в церковь не ходила иначе, как с матерью или пожилой родственницей, было великим событием — разговор через плетень с молодым и «хорошеньким» соседом. Леленька заметила, что Веретицын хорошенький.

Но ее заняло еще другое: Веретицын говорил как-то странно. Дома, в семье, она, конечно, не слышала не только ничего подобного, но там не только не бывали, там и по имени не назывались никакие молодые люди. В пансионе о молодых людях говорили подруги, но то, что они рассказывали под большим секретом, было опять непохоже на разговор Веретицына: секреты состояли в пожатии ручки, в комплиментах. Леленьке это как-то не нравилось, может быть потому, что было чрезвычайно однообразно. Она даже не любила слушать эти секреты и потому редко попадала в поверенные. Она была скучная поверенная, не умела ни сочинить, ни передать записочки, ни скрыть ничего, ни вывернуться из беды: по ее лицу можно было сейчас обо всем догадаться. Ей все казалось то неловко, то невозможно; ей было жаль обманутых, стыдно старших. И тем досаднее бывали ее отговорки, что Леленька была вовсе не робка.

Она это доказывала этим утром, уйдя в сад твердить свои уроки и выбрав себе место недалеко от плетня. Она была уверена, что не увидит соседа: он служит и с утра в должности; но ей казалось как-то лучше сидеть тут поближе, в тени большой липы, и, заглядывая в риторику Кошанского, заглядывать издали, как между щелями плетня блестит на солнце дорожка соседнего сада; она не усыпана песком, не убита щебнем, но, должно быть, сосед утоптал ее, ходя взад и вперед. Сосед очень странный человек. Папенька как-то говорил, что его за что-то сюда прислали. Сестра его, казначейша, какая смешная! Зачем он как-то нехорошо смеется?

Леленька опускала глаза в книгу и старалась взять в толк объяснение метафоры, метонимии, синекдохи и иронии, но это ей никак не удавалось. Она подумала, между прочим, что на чернобыльнике всегда водятся прехорошенькие зеленые букашки, блестящие, и посмотрела в ту сторону, где разрослись огромные кусты чернобыльника, около плетня.

«На что ему нужно, что я учу, чем занимаюсь? — спросила себя Леленька.— Он надо мной смеется: я этого ему не позволю. И как-то странно смеется, не так, как другие, от его смеха скучно на душе. Ему, должно быть, скучно здесь, ни с кем, говорят, не знаком... А я с ним знакома!»

Леленька засмеялась, бросила Кошанского, прилегла на траву, щипала ее полные горсти и бросала кругом себя. Наконец она сказала почти громко:

— Надо, однако, выучить,— и принялась твердить наизусть, в особенной тетрадке, в числе примеров:

Речешь — и двигнется полсвета,
Различный образ и язык...

Просвет в плетне потемнел; по дорожке мелькала тень; Леленька услышала неровные шаги, легкое покашливанье и мурчанье под нос, которое издававший его считал, конечно, за пение.

«Однако, он не очень прилежно читает»,— успела подумать Леленька, пока еще у нее не совсем упало сердце.

Но оно упало совсем, и перепуганная девочка поспешила поднять Кошанского, чтоб потихоньку пробраться домой, пока еще не увидел ее сосед. Он еще что-нибудь выдумает...

«Но что он выдумает? Что ж такое?.. я в своем саду урок учу».

И она продолжала:

Различный образ и язык,
Тавридец, чтитель Магомета,
Поклонник идолов, калмык.

Последний стих ни за что не шел ей на память. Веретицын ходил по своей дорожке, читал свою книгу, мурчал свою песню и не оглядывался. Леленьке стало почему-то скучно; солнце показалось ей какое-то досадно светлое, трава какая-то досадно густая, липа какая-то досадно черная,— все не так! В Леленьку, как ребенка, влетел каприз, и она почему-то дала себе клятву никогда не приходить сюда учить уроки.

Веретицын подошел к плетню и поклонился.

— Чем вы занимаетесь? — спросил он.

Леленька хотя положительно не имела этого намерения, но встала и показала ему книгу. Правда, ей было бы немного неловко говорить; несмотря на то что солнце было слишком жарко, у девочки даже слегка побелели и похолодели губы.

Веретицын взглянул в книгу и отдал ее назад.

— Прекрасно! — сказал он.

— Вы это знаете? — выговорила Леленька.

— Нет-с, не знаю. Но все равно прекрасно.

— А я ничего не понимаю.

— То и хорошо. Вы так и выучите — крепче будете помнить.

— Как же это?

— Так. А то, если поймете, станете думать, у вас ум за разум зайдет — вы ничего и не вытвердите.

— Вы все смеетесь! — сказала Леленька и бросила книгу.

Веретицын засмеялся.

— Зачем же вы ее бросаете? — спросил он.

— Надоела.

— Как же вы говорили, что любите забываться в чтении, что жизнь для вас идет лучше и еще не знаю что? — продолжал он смеясь.— Вчера только говорили.

— Зачем вы все смеетесь? — повторила Леленька.

— Для чего ж скучать? — возразил Веретицын, все смеясь.— Ну, поговоримте серьезно. Как подвигаются ваши приготовления к экзамену?

— Так... Я вот твержу и ничего не понимаю.

— Это со всяким может случиться.

— И с вами случалось?

— Когда я был маленький? Конечно.

— Я не маленькая,— сказала Леленька тихо, обидясь.

Ей показалось еще обиднее, что Веретицын не улыбнулся на это.

— Вы бы лучше растолковали мне, чем все насмешничать,— продолжала она, конфузясь по мере того, как говорила,— вы все знаете.

— Во-первых, я не насмешничаю, во-вторых, я ничего не знаю,— возразил Веретицын.

— Но ведь вас учили?

— Маленького. С тех пор я все перезабыл.

— А потом как же?

— Выучился кое-чему сызнова.

Она посмотрела на него в раздумье, подняв свои большие глаза.

— Должно быть, вам было очень трудно,— заметила она.

— Легче, чем вам твердить Кошанского,— ответил он,— или вот еще о тех великих людях, с которыми вы тогда... прошлый раз прохаживались.

Леленька вспыхнула.

— Я потому и удивился,— продолжал Веретицын,— когда вы сказали, что занятия вас переносят в другой, лучший мир. Какой мир, думаю, с разными вселюбезнейшими да вот с этакой поэзией: «В горохе воробей, гони и вора бей...» Вот тут, позвольте, это есть...

— Вы сказали, что перезабыли, не знаете,— возразила Леленька с досадой, не давая ему книгу.

— Такие диковинки поневоле помнятся,— отвечал Веретицын, засмеявшись.— Извините, впрочем, вы не любите смеха, вы, сколько я заметил, особа серьезная, хлопочете научиться. Может быть, и это от чего-нибудь полезно.

Он указал на несчастную риторику.

— Я, точно, сам когда-то твердил это, видел, как твердили другие, не случалось еще заметить, чтоб это на что-нибудь пригодилось; но ведь я могу и ошибиться. Скука сама по себе вещь полезная: человек тупеет и делается тих,— это хорошо. В прописях написано: «Будь кроток, тих, скромен и меньше говори...» — дальше не помню, но мораль отличная, покойная: все тишь да гладь — божья благодать... Вы учите наизусть чепуху; не брезгайте, так надо. В другой книжке у вас написано, что

такой-то и такой-то был великий человек — и верьте; не смейте соображать ничего, а то неравно поймете, что один великий был самодур, другой негодяй, третий потому безгрешен, что согрешить не подвернулось случая. Вас учат, что все на свете были ангелы — ну, и тем лучше для вас. В голове у вас вместо настоящего дела носится легкий чад, но не беспокойтесь, и он скоро пройдет: ведь вы обогащаете себя познаниями в угоду вашим родителям; а как только исполните этот долг, угодите им, то будете свободны забыть все, что выучили. Что б там ни выучили, из чего хлопотать, все годится: ведь ненадолго?

Леленька обрывала углы своей книги и молчала. Веретицын замолчал тоже и, положив голову на плетень, смотрел на девочку. Она вдруг оглянулась.

— Стало быть, я учусь вздору? — спросила она довольно резко, отчего дрогнул ее голос.

Веретицын засмеялся.

— Я не говорю этого,— отвечал он,— то, что для меня вздор, может другим казаться не вздором. Ваши книжки люди писали, эти люди о чем-нибудь думали.

— А умно они думали или нет? — продолжала она.

— Почему ж я знаю? — возразил, смеясь, Веретицын.— Вы говорили, что с этими книжками вы весь мир забывали.

Леленька отвернулась и смотрела под тень липы, где за полчаса перед тем учила свой урок. Ей было неловко и как-то жаль чего-то, что было за полчаса. Тень была уж короче, Леленьке казалось, как будто ушло что-то. Трава, которую она нарвала и разбросала, завядала на солнце. Длинная голубая стрекоза сверкнула и скрылась; Леленька еще встрепенулась посмотреть, куда она полетела, но вдруг одумалась и обратилась к Веретицыну:

— Какую книжку вы читали?

Веретицын подал ей свою книгу и взял, взамен ее, Кошанского; она уступила, не обращая внимания, но, заглянув в его книгу, возвратила ее тотчас.

— Не понимаю,— сказала она.

— Это по-английски; Шекспир.

Леленька была сконфужена, как конфузятся иногда люди, даже невиноватые в своем невежестве, и сказала, чтоб поправиться:

— Ведь это писатель конца шестнадцатого столетия?

— Так точно,— отвечал Веретицын.

— Какая старина! К тому ж он писал для народа...

Конечно, королева удостоивала его своей благосклонности, но в его пьесах язык самый грубый...

— Вы читали его что-нибудь? — прервал Веретицын, которому стало жаль, как она конфузилась.

— Нет.

— Хотите прочесть?

— Я не знаю по-английски.

— У меня, кажется, есть некоторые его вещи во французском переводе, я поищу и дам вам. Перевод, конечно, но все-таки вы познакомитесь.

Леленька покраснела от страха, от радости, сама не зная отчего. У нее мелькнуло в голове: как же это она возьмет книгу от соседа, и что за книга? и если узнают? Надо будет прятать, а прятать она ничего не умеет... Она хотела отказаться и между тем спросила:

— А хорошо это?

— Увидите.

— Нет... но можно читать?

— Я вот читаю в двадцатый раз.

— Нет... но, может быть, это дурная книга,— продолжала девочка, почти задыхаясь и краснея от смущения.

Веретицыну хотелось засмеяться, но она взглянула на него так прямо и доверчиво, что он удержался. Девочка не имела понятия о дурных книгах, развращающих воображение, следовательно, не подозревала, чтоб молодому человеку могла прийти дерзкая мысль пошутить и дать ей подобную книгу; но она слышала, что есть зло, и в ее чистом взгляде выразился страх узнать его.

Веретицын помедлил ответом.

— Нет,— сказал он наконец,— книга не дурная, но в ней люди как люди — не ангелы, даже не великие люди; и дурных довольно.

Ее прекрасные глазки отуманились.

— Там жизнь,— продолжал Веретицын,— не розовая, потому что розовой нет. Слезы так слезы, вражда так вражда, и ненависть, и измена, дружба ложная, любовь глупая...

— На что ж это писать? — прервала она.

— На что? — возразил он с злостью, потому что последние собственные слова повернули ему сердце.— На то, чтоб люди читали да пораньше умнели.

— Умнели,— повторила она,— на что?

— Будьте покойны,— сказал он,— кто не захочет, тот

насильно не поумнеет. Живите себе счастливо; люди будут кричать — вы не слушайте, будут умирать — не смотрите. Все ангелы, все идеалы. Хорошо вам,— ну, и бог с вами!

Он замолчал и смотрел в сад. Леленька не отходила.

— Принесите же мне Шекспира,— выговорила она чрез минуту.

— Хорошо, поищу,— отвечал он равнодушно.— Что это, все ваш сад?

— Наш.

— Вишен много у вас?

— Нынешнюю весну цвели хорошо.

— Вы до них охотница?

— Да, люблю,— отвечала Леленька с неопределенным желанием заплакать.

— Ваши братья ходят куда-нибудь учиться?

— Нет еще; никуда.

Веретицын посматривал по сторонам. Было близко полдня, и солнце жарко светило ему в глаза, когда он поднял голову.

— Пора домой,— сказал он, жмурясь и отирая лоб.— Славный день какой! Вы что будете делать?

Леленька взглянула на свою книгу, которая оставалась у него в руках, но не осмелилась попросить ее.

— Пойду шить в пяльцах,— отвечала она.

— Ну, прощайте. А весело шить?

— Весело... ничего,— отвечала она с каким-то отвращением, вспомнив в эту минуту свои пяльцы.

— Ничего? — повторил Веретицын и рассмеялся.— Верно, шьете манишку для маменьки?

— Да.

— Прекрасно! Прощайте.

Придя домой, Веретицын отыскал в своих связках несколько тетрадок французского издания Шекспира в две колонны, с маленьким, плохим политипажем вверху каждой пьесы. Тетрадки были довольно ветхи — память далеких годов, как-то уцелевшая в позднейшее, более занятое, более смутное время. Эти тетрадки — приобретение на экономии студента, начало библиотеки, первое осуществление любимой мечты — более нежели что-нибудь напоминали все неудачи, всю напрасную растрату жизни, всю несбывчивость веселых надежд; они как-то яснее всего говорили, что все умерло. Желтоватые, отмеченные на полях ногтем и карандашом, с листками заметок и попыток перевода, вложенными между страниц,

они казались каким-то наследством от покойника, между тем как владелец их, живой, смотрел, не узнавая своего изменившегося почерка, не узнавая своей души в этих заметках.

Веретицын собрал их опять и сунул в ящик. Он отбросил в сторону только одну: «Ромео и Джульетта».

«Вот ей! пусть просвещается!» — сказал он сам себе, улыбаясь и возвращаясь насильной шуткой к действительности, из которой был вызван на минуту.

V

Леленька сама не знала, как проводила свой день. Она пришла из сада смутная и в самом деле села за пяльцы. Мать напомнила ей, что завтра начинается экзамен и что лучше бы она твердила.

— Я все вытвердила,— отвечала Леленька.

Ей было на кого-то досадно, может быть и на мать, которая напоминает об ученье, об этом вздоре... А кстати, книжка Кошанского так и осталась у соседа. Да она ненужна завтра, а покуда понадобится, можно успеть ее взять у него.

Леленьке стало как-то страшно при этой мысли; ей хотелось заплакать. Она успокоила себя, сказав мысленно, что она не маленькая.

Она шила, отодвигая пяльцы от окна, по мере того как входило и мешало ей солнце: занавесок не было. Эти хлопоты мешали ей задумываться за работой; но скучнее от них становилось вдвое. Наконец девочка решилась укрепить на окне булавками большой ковровый платок и уселась покойно.

— Темь какая! — сказала мать, входя из кухни.— Что это ты за новости выдумала?

— В глазах рябит,— возразила Леленька.

— Видишь, какие нежности! Завесила окно, на улицу ничего не видно; сейчас Марина с улицы Колю с Васей привела, они там бунт подняли за свинчатки. Тебе все ничего, и не заглянешь, хоть братья носы себе перекусай — не вступишься. А большая считается, старшая, говорят! Вот французскому языку вас учат, а чего дельного вы и знать не хотите. Сидит, шьет, важничает...

Леленька молчала; ее продолжали бранить. Мать сдернула платок, причем оторвала лоскут обоев.

— Позвольте,— сказала Леленька.

— Чего еще?

— Как же, обои...

— Еще тебе вздора жалко, дряни жалко,— продолжала мать, волнуясь и, испортив одно, желая испортить еще что-нибудь.— Сама наделала бед, да и плачется! Много ты впотьмах хорошего нашьешь! Вот гляди, куда у тебя узор пошел: криво, косо...

В эту минуту папенька воротился из должности. Он был распечен и потому сердит, и кричал на работницу еще с крыльца.

Собрали детей из сада, со двора, с улицы, подали обед. Леленьке почему-то казалось, когда она садилась за стол среди беготни и шума, что все это происходит с нею в первый раз в жизни; но, странно, это не столько огорчало ее, сколько удивляло. Ей казалось все это будто во сне. Вероятно, это было написано на ее лице, потому что папенька заметил:

— Кто тебя побил?

Коля и Вася, вспомня свою ссору за свинчатки, поссорились за куриную ногу в лапше и были тут же побиты. Работница, испугавшись погрома, придавила хвост вертевшемуся кругом котенку, которого вслед за тем папенька отправил в окно. Маленькая Маша, которой принадлежал котенок, заплакала тихонько. Леленька посмотрела на нее и сказала себе, что ни за что не заплачет. Петя и Вася стали поддразнивать Машу. Леленька почувствовала, что ее что-то схватило за горло, и сказала им, чтоб они замолчали.

— Что ты распоряжаешься? — крикнул на нее папенька.— Детям слова сказать нельзя!

Она оробела. Мать в эту минуту положила ей на тарелку кусок свинины с какой-то вонючей и едкой приправой. Леленька ненавидела это кушанье.

— Покорно благодарю, я не хочу,— выговорила она.

— Ешь! — закричал отец.

Он был так страшен с щетинистым хохлом своих седоватых волос, в расстегнутом вицмундире, без галстука, в крахмальной манишке, которая торчала вверх воротничками; на столе так запрыгали горшки и кувшин с квасом, что Леленька опустила глаза и ела, не чувствуя, что глотает.

— Что, не умерла, модница? — проговорил папенька.

Он встал из-за обеда прежде всех и пошел почивать. Дети вырвались во двор, мать с работницей отправилась в кухню. Леленька пошла к своим пяльцам. Мать надела-

ла на них довольно беспорядка, осматривая утром работу. На дворе было жарко, и всего три часа. Леленька села, вдела иголку, сложила руки на коленях и смотрела перед собой. Она была одна; ей хотелось сообразить что-то и как-то ничего не думалось! Она только спросила себя, почему ей сегодня все это так в диковинку? Отчего прежде бывало и скучнее, но никогда не хотелось уйти куда-нибудь?

Мать воротилась, взяла чулок и села вязать к другому окну, напротив Леленьки. Надо было работать.

— Шей, шей, либо книжку возьми,— сказала мать,— не зевай по сторонам да не дремли.

Однако сама она слегка дремала, а потом, открыв окно, стала смотреть на улицу... точнее, на переулок, перерезанный двумя оврагами с двумя дрожавшими мостами, кончавшийся крутым спуском под гору, к реке, на которой стоит город N. Строения переулка состояли из заборов, из-за которых выглядывали садики; мостовой не было, на высохшей грязи, между колеями, росло много травы, бегало много собак и возилось много детей.

— Вот папенька скоро места лишится,— сказала вдруг мать, не прерывая своих наблюдений и не обращаясь к дочери,— куда вас всех девать тогда?

Леленька подняла голову.

— Советник совсем взъелся,— продолжала мать,— с тех пор как нового посадили, папенька говорит: «Хоть не живи на свете». Так я тебе и говорю, Алена, если ты только — боже тебя сохрани! — на высший класс не перейдешь, и матерью меня не зови. Нечего эти пустяки тогда делать: еще тебя учить. Я тебя из пансиона возьму. Перейдешь ты — так и быть, можно будет тебя еще годик содержать там, а нет — не прогневайся, сиди дома. Так дурой и оставайся.

«Чему я учусь в пансионе?» — вдруг подумала Леленька.

Ей припомнились как-то разом и скамейки классов, и учителя, и книжки с мудреными словами, и хронологические цифры, которых никогда нельзя запомнить, и великие люди, которые, говорят, вовсе не великие люди... перед ее глазами, казалось, был уже не пустой переулок, а заглохший сад с большими липами и вязами, плетень, к которому переплетались белые цветочки павилики... Леленька уже не слушала матери, но и мать не занималась больше своим семейным положением.

— Никак это Пелагея Семеновна идет? — сказала она, высунувшись в окно и глядя в переулок.

Леленька думала, что завтра экзамен, и видела перед собой лицо Веретицына.

— Посмотри, она, что ли? — продолжала мать.

«Он обещал книжку: должно быть, принесет вечером»,— сказала себе Леленька.

— Посмотри, сюда она или мимо? — говорила мать.— Да что ты ничего не слушаешь? Не хочешь слушать, что ли? Тебе говорят!

Леленька оглянулась.

— Поди отопри калитку да проводи от собаки. Пелагея Семеновна пришла, работницы нет: на речке.

Но Пелагея Семеновна, вдова, чиновница и мать двух юных чиновников, уже входила на крыльцо, благополучно избежав собаки, прикованной недалеко от ворот. Через минуту она была в комнате и целовалась с хозяйкой.

Леленька терпеть не могла эту гостью: гостья была сплетница и, уже не раз случалось, ссорила маменьку Леленьки с ее знакомыми. Все это, конечно, обходилось потом, все мирились и оставались по-прежнему, но слушать ее бывало ужасно скучно. И теперь она, что вошла, то начала рассказывать пренеприятную историю.

«Охота маменьке говорить с нею!» — подумала Леленька.

Гостья обратилась и к ней, похвалила ее работу, назвала ангелом и рукодельницей. Леленька так ленилась весь этот день, что рассердилась за похвалы.

«Хорош я ангел!» — подумала она, вся вспыхнув от досады.

— Умница у меня девка,— сказала маменька,— как учится, когда бы вы знали, и по-французски, и разным наукам!

— А ведь, подите, как, я думаю, трудно! — заметила гостья.

— И трудно, Пелагея Семеновна, и дорого очень; не по состоянию нашему, да уж нельзя. Одно у меня утешение — дочка моя.

Мать погладила Леленьку по голове, вздохнув печально.

— Супруг-то ваш почивает? — спросила гостья.

— Да,— отвечала еще печальнее маменька,— оно уж, знаете, лучше, как спит.

Маменька стала жаловаться на свою горестную

участь, рассказывать разные обстоятельства. Леленьке показалось, что можно было бы и не рассказывать их. Это случилось не в первый раз: но никогда так не кололо ей глаз присутствие Пелагеи Семеновны, никогда не казались ей так резки эти рассказы, как теперь. К чему толковать, что все дорого, что не на что учить дочь, а между тем намекать на какое-то небывалое богатство и как-то важничать? Леленьке было неловко. Маменька, говоря о домашних делах, о неприятностях по мелочи, кстати помянула не добром покойную свекровь и двух живых сестер мужа, которые, хотя никогда не жили с маменькой, но все чем-то мешали. Леленька не знала бабушки, но помнила, что обе тетки предобрые.

— Замужем они? — спросила гостья.

— Одна замужем, куча детей,— отвечала мать.— Другая с год овдовела; детей нет, в Петербурге живет. Это Алена Гавриловна, вот Аленина крестная мать.

— Зачем же она в Петербурге живет?

— Да она здесь за чиновника тоже была отдана; чиновник этот бывшему губернатору понравился... как его, губернатора-то, звали? Вот перед прошлым был... все равно! Десять лет уж тому, как губернатора этого в Петербург перевели, место он там важное получил,— ну и мужа Алены Гавриловны с собою взял. А как муж умер, она там и осталась жить, привыкла, говорит, к Петербургу. Все просит, чтоб я Алену мою к ней отпустила хоть погостить.

— И, матушка, на что? разве состояние какое предоставит?

— Как же, как бы только захотела! Капитал она от мужа получила невелик, да и то хорошо; небось не очень с ним расступится. Как бы надежда какая, я бы, пожалуй, отпустила к ней Алену.

— Пусть к тетеньке хорошенько приласкается, к крестной мамашеньке,— договорила гостья, с какой-то нежностью посмотрев на Леленьку.

Леленька краснела и шила.

— А то что? барышня такая красавица — и ненарядная, все кое в чем. Вы бы их, матушка, на гулянье когда...

— Вот экзамен свой выдержит, так салоп сошью,— отвечала мать,— я уж так и Василью Гаврилычу сказала.

— А он на то согласен? — спросила гостья таинственно.

— Согласен, ничего.

У Леленьки задрожали руки и потемнело в глазах.

— Не надо, маменька, покорно благодарю,— выговорила она,— я ни за что не хочу ни нарядов, ни гулянья.

— Да как же ты смеешь не хотеть, когда отец твой с матерью хотят? — вскричала маменька,— где ты это отвечать выучилась? Пошла; работница воротилась, вели нам самовар согреть.

Леленька вышла, приказала, что ей было приказано, и, воротясь, стала убирать свои пяльцы.

— Что ты? или перестаешь работать? — спросила мать.

— Да, я в сад пойду,— отвечала Леленька.

— Устала очень, много дела наделала! — продолжала с насмешкой мать.— Что на тебя сегодня? Из всех дней день — ни на месте не посидит, ни толком слово скажет...

— Вы их не конфузьте,— вступилась гостья, между тем как Леленька уже не знала, что ей и делать.— Пусть барышня себе разгуляется, мы с вами кое о чем перемолвим.

— Разве что секретное есть? — спросила маменька.

Гостья сделала ей таинственный знак. Леленька взяла книжку с крошечного стола в углу, где лежали ее тетради и классные принадлежности, и ушла.

Она шла тихо, будто не решаясь; ее брало какое-то раздумье. Она знала, что не урок учить идет она в сад: ей было не до урока. Ей казалось, что она делает что-то дурное, но все-таки ничего другого делать невозможно. В доме оставаться нельзя. Да и жить нельзя...

Тени были уже длинные; в воздухе тепло, как-то мягко. На деревьях, на траве еще много солнца, точно золотое; небо такое нежное, голубое; за черной крышей сарая, по которой в эту минуту лазил Коля, разоряя галочьи гнезда, виднелось большое сизое облако с розовым рыжеватым краем; это облако отсвечивало розовым на дорожку сада. В соседнем саду из-за плетня подымалась высокая красивая мальфа; она, должно быть, расцвела этим днем, прежде ее не было видно. И как она рано зацвела нынешний год! Кто ее посадил? Казначейша до цветов не охотница, да и никто у них не охотник, кажется...

Леленька ходила все по одной прямой дорожке, воображая, что хорошо было бы посадить цветов и ходить

за ними. У нее как-то кружилась голова; книжка, которую она держала, утомляла ей руки.

«Зачем я убрала пяльцы? — подумала она.— Лучше бы, в самом деле, сидела да шила».

Она начала ходить скоро; ей хотелось бегать, хотелось петь, минутами ей хотелось плакать. Она не доходила до плетня и все сокращала свой переход; наконец оставила себе всего шагов двадцать, закружилась на них, устала и вздумала сесть отдохнуть.

«Нет. Еще скажет, я дожидаюсь...»

Дети прибежали в сад и подняли шум. Леленька вспомнила, что ее назвали ангелом, и разбранила их.

«Теперь нельзя будет и слова сказать»,— подумала она, оглянувшись в соседний сад.

— А там цветы цветут! — вскричали дети, заметя ее движение.

В один миг Ваня был на плетне, перевесился и смотрел, держась за колья. Вася стащил его за ноги, оспаривая место, а Коля, укрепясь ловчее их, схватил мальфу; ветка была крепкая; чтоб сломить ее, мальчик употребил свои зубы.

— Ах, какие вы негодные дети! — закричала Леленька.

Коля отхлестал мальфой своих братьев, потом сел на нее верхом и, погоняя, подмел ею весь сад. Леленька ушла от детей в чащу, в глушь, под вишни и яблони, и проплакала весь вечер.

Веретицын не приходил.

VI

Экзамен начинался с закона божия. Леленька рано проснулась и стала сбираться. Она удивилась, что мать особенно хлопотала нарядить ее, хотя во все то же форменное платье, и особенно тщательно выгладила ее белые рукава и пелеринку. Мать повторила несколько раз:

— Ты у меня, красавица, смотри учись как должно, я папеньке говорила: он фортепьяны купит, играть будешь.

Леленька не заметила, что эта особенная милость к ней началась еще с вечера накануне. Но вечер накануне она совсем не помнила, и даже старалась не вспоминать его. Она точно будто устала. Она положила три земные поклона перед образом, прочитала молитву *пред началом учения* и пошла в пансион, сопровождаемая работницей.

Дорогой ей пришло в голову, что недели две-три назад она бы веселее шла на экзамен.

«Я, кажется, все помню,— думала она,— ничего не боюся, а скучно... Да что помнить-то?..»

Подруги смотрели на нее с досадным любопытством: Леленька была уж слишком серьезна, слишком крепко молчала. До прихода законоучителя и начальницы в зале слышался шепот и смех; Леленька не обращала внимания, хотя не занималась и книгой, которую открыла у себя на пюпитре. Она только однажды оглянулась и подумала, что хорошо было бы или твердить, или бояться, или смеяться, как другие... Классная дама постучала линейкой и велела молчать; Леленька услышала свое имя.

— Возьмите пример с mademoiselle Hélène Гостевой, как она держится.

— Уж mademoiselle Hélène всегда примерная! — сказали недалеко от нее.

— Посмотри, как она сегодня распомажена!

— Во всем отличается.

— Как же, непременно!

Соседка Леленьки наклонилась к своему пюпитру и твердила усердно, ее полное личико почти прижалось к книге, и подруги могли видеть только беленький затылок с густой русой косой. Леленька заметила, как под пюпитром беспрестанно крестились ее розовые толстенькие ручки.

— Вы еще не выучили? — спросила ее Леленька.

— Нет... вот этого никак не могу... все сбиваюсь,— отвечала подруга.

— Если вам достанется говорить, я подскажу: я это знаю.

Подруга была враг, соперница. Она до прихода Леленьки смеялась над нею и давно дала обещание не допустить Леленьку получить награду и «пересесть» выше. Те, которые слышали, что сказала Леленька, переглянулись в удивлении. Но всем этим маленьким волнениям настал конец: пришел законоучитель, пришла начальница — начался экзамен.

Очередь долго не доходила до Леленьки. Она рассеянно слушала, что происходило кругом, и, сама не зная отчего, стала думать совсем посторонние вещи. Ей показалось, что в эту минуту в этой зале никто не любит друг друга: учитель будто нарочно затрудняет вопросами, сбивает с толку, будто с радостью ждет, чтоб соврали,

и вовсе не радуется, когда ответят хорошо. Начальница тоже: она глядит в глаза с каким-то злобным ожиданием, бранит, когда недоволен учитель, а когда он доволен — не хвалит, но только отворачивается, успокоиваясь, будто с презрением. Девицы — те и вовсе точно все перессорились; у всех на лице страх только за себя. Сейчас две маленькие бог знает что путали: старшие только смеялись. И старшие! Сейчас Вареньку Ольхину до слез сконфузили, а Машенька Полосова — кажется, ей лучший друг, всегда вместе, все секреты вместе,— Машенька хоть бы покраснела... Что же это такое? Кто хорошо ответит — другие смотрят точно с досадой? Чем кто другого обидел, если выучил лучше? Зависть это, или они боятся?

— Госпожа Беляева! — произнес учитель.

Соседка Леленьки встала на своем месте и, вставая, дернула Леленьку за рукав. Леленька приняла это за просьбу подсказать, но подруга обманула ее: она отлично знала и вопрос и текст и, отвечая, стала путать нарочно.

— Что вы такое говорите? — заметил учитель, кроткий с одной из старших учениц.

— Да я не могу,— отвечала m-lle Беляева,— меня Гостева сбивает.

Она показала на Леленьку.

Леленька не ждала такого предательства и вся вспыхнула, как виноватая. Поднялась гроза.

— Как вы смеете! Извольте выйти! — закричала на нее начальница.

— Извольте сами отвечать,— сказал законоучитель.

— Сейчас с лавки, выйдите к столу! — продолжала начальница.

Леленька встала и подошла к учительскому столу; она была отуманена, обижена, испугана, но хорошо помнила весь мудреный текст и могла бы сказать и объяснить его не хуже m-lle Беляевой. Ей бы ничего не стоило и превзойти соперницу и обнаружить ее обман, но на Леленьку все смотрели; она подумала, что сейчас будут все так же смотреть и кричать на m-lle Беляеву, что это будет бог знает что, что весь этот экзамен какая-то комедия, что ей будет не веселее, не легче, если она останется правой... Ее схватило за сердце. Она наконец сама не знала, что думала, и, отвечая, начала путать хуже самой ленивой из маленьких. Учитель качал головою; начальница бранилась. Учитель начал читать мораль. Подруги смеялись; Леленька стояла среди залы.

Кончив мораль, учитель, незлобивый сердцем, прибавил:

— Вы поправьтесь,— скажите о чем-нибудь другом.

— Не спрашивайте, я ничего не знаю,— отвечала Леленька твердо и громко, на скандал всего пансиона.

Она сама не знала, почему и для чего сказала это. Учитель поставил ей нуль, а она пошла на свое место под возгласами начальницы. Подруги заглядывали ей в лицо, не плачет ли она. Леленька была бледна, но не плакала. Она никак не могла разобрать, что делалось с нею; ей было холодно; что-то стучало у нее в груди. Она тосковала или капризничала; но вдруг ей показалось забавно, если б в списке баллов во весь экзамен у нее были все нули да нули. Ведь Беляева и Полосова будут рады, и другие. А если бы у Беляевой был нуль, ее отец прибил бы ее. Ее отец тоже дерется. Это, должно быть, невесело, когда прибьют. Если Оленька Беляева из третьей по классу да пересядет в пятые, ее отец не знаю что с ней сделает, со двора сгонит. А ведь в высший класс переведут только старших, четвертых. Так, пожалуй, не переведут и Оленьку. Ей беда... На что отцам, учены дочери или нет? Ведь отцы только попрекают ученьем?

«А что скажут папенька и маменька, когда узнают, что сейчас было?..» Леленька решила, что уйдет в сад на весь день... ну, а там что?..

Вокруг нее шумели, вставая, читая молитву; экзамен кончался. Начальница позвала ее, продержала перед собой полчаса и все читала нотации. Работница давно пришла за Леленькой и слушала это, дожидаясь в передней с зонтиком: шел дождь. Леленька подумала только, что в сад нельзя будет уйти...

— Бесчувственная девчонка! — сказала начальница в виде последнего слова.

Оленька Беляева прошла мимо, потупившись. Когда Леленька уже была в передней и надевала с работницей старенький бурнусик, Оленька выбежала туда же.

— Прощай, Леля! — сказала она и обняла ее крепко.

— Прощай,— сказала ей Леленька без досады, без всякого сильного чувства; ей только стало жаль чего-то немножко.

Дорогой она рассудила, что поступила прекрасно, что Оленька милая девочка, что смешно и стыдно выставляться с своею ученостью, что она, Леленька, все стерпит, а Оленьке лучше и на свете не жить, если

неблагополучно сойдет экзамен. Досадно только, что дождь идет...

Этот славный дождик, с солнцем и громом, с синими громадными тучами, которые обрушивались за реку, захватил и Веретицына, когда он шел домой из должности. Дорога была недальняя, и, переждав ливень в сенях присутствия, Веретицын нашел, что на дворе так хорошо, что нечего торопиться под крышу. Дом N-ских присутственных мест стоит на пустой площади, которая оканчивается крутым обрывом к реке. Там казалось особенно хорошо: луга зеленели, даль вся светилась. Веретицын пошел погулять к берегу. В воздухе было тепло, влажно, душисто от лугов, дышалось как-то легко и мягко.

Веретицын был спокоен, почти весел, что с ним редко случалось. Это не было, конечно, удовольствие чиновника, справившего часы службы. Веретицын ничего не думал; ощущение тепла и физического довольства погружало в забытье. Он совсем забыл, что это за город вокруг, что это за дом, из которого он вышел; он как-то и себя не помнил, не вспоминал ничего, не задумывал вперед ничего.

Вспоминает и задумывает молодость — для Веретицына она прошла. Ее остатки сказывались тем, что самозабвение было еще не тупое, но с какой-то негой...

Накануне вечером Веретицын видел Софью Хмелевскую; он был у них. Эти посещения всегда стоили ему дорого; он бывал и счастлив, и измучен, и, разбирая свои чувства, никогда не мог определить, чего в нем было больше: счастья или мучения. И без того влюбленный, Веретицын влюблялся еще упрямее, давая себе полную волю. Только в промежутках разговора, когда он глядел на Софью, занятую с другими, ему случалось задумываться, сказать себе, что ее приветливость все-таки не ведет ни к чему, что ее красота только напрасно волнует, что такие отношения не перейдут в любовь... Да любовь никогда и не подступает так, потихоньку, постепенными переходами! Если б даже и двигалась она потихоньку, то пора бы ей прийти, право, пора... Веретицын делался нетерпелив; его брала злость на окружавших его посторонних, злость на это чинное семейство, что-то похожее на ненависть к самой Софье. Он говорил себе, довершая несправедливой мелочностью свою досаду, что, будь на его месте кто-нибудь другой, а не он, не бедный

малый, которого принимают из снисхождения, его спросили бы, почему он молчит, почему он скучен или хоть просто о чем он задумался. С ним нецеремонны, откровенны; что ж! ведь он не жених; он даже меньше чем друг дома; его можно употреблять для поручений. Как это еще до сих пор старая барыня этого не выдумала? Но Веретицын встречал взгляд Софьи, и вдруг ему становилось совестно, и нить размышлений запутывалась так, что уж нельзя было найти ей конца и хотелось или бежать домой, как виноватому, или броситься перед ней на колени и наговорить бог знает чего... Хорошо, что подобные намерения никогда не исполняются: одно исполнить как-то жалко, другое как-то неловко при свидетелях...

Веретицын оставался, делался разговорчив, весел от всего сердца, был счастлив, убаюкивался до забытья, до полнейшего забытья всего, кроме настоящей минуты. У этого настоящего не было даже вчерашнего дня. Веретицын положительно не знал, где был он, и даже жил ли он вчера; когда наставало время уходить, он брал фуражку, чувствуя, что уходит, но что дальше, за порогом этого дома, куда уйдет он, он не понимал, не знал, как сумасшедший... Сознание приходило к нему дома вместе с бессонной ночью.

Он был счастлив накануне; застав Софью одну, он просидел у нее вечер, и его как-то приласкала мысль, что Софья приняла его одна не из нецеремонности, а потому, что ей это приятно. На ее лице всегда было заметно, что она чувствовала; но Веретицын отгадал бы все, если б даже она притворилась; он так помнил ее черты и их малейшее изменение, ее движение, походку, привычки, что ему не было надобности смотреть на Софью, чтобы оживлять ее образ в своей памяти: он смотрел, чтоб наслаждаться... В этот вечер она была печальна, вышивала что-то и спешила и пожаловалась Веретицыну, что устала от длинного дня, проведенного за работой.

— А я устал от безделья,— сказал он.

— Разве я делаю больше вашего? — возразила она.— Часто даже совестно; собрать несколько дней да оглянуться: только и найдешь в них, что пяльцы да визиты... Читать — это, говорят, не занятие...

— Скучно на свете! — сказал Веретицын.

— Что делать! Подождем, будет веселее.

— Когда?

— Скоро. Если что-нибудь доходит уж до крайности,

значит, скоро кончится. Все так заскучали, что непременно скоро должны перестать. Это перед концом.

— Перед концом света?

— Чего-нибудь. Только если вы к концу общей скуки доведете себя до того, что уж не будете уметь и радоваться, это нехорошо будет...

— А как прикажете уберечься? — возразил с досадой Веретицын.— В ожидании будущих благ нужны если не утешения, то хоть развлечения.

Она кротко вынесла его неучтивую вспышку за свою мораль, которою искренно хотела его утешить. Веретицын, как скучающий эгоист, не обратил внимания, что ей самой было скучно, а он еще огорчил ее, не подумал о том, что она по доброте сердца в самом деле старалась развлечь его, а он принимал это как должное, брал, не давая взамен ничего. Он только хмурился. Софья переменила разговор, завела спор, интересный для Веретицына, и, совершенно согласная с ним внутренно, спорила нарочно, чтобы дать ему удовольствие высказываться и убеждать. Довольная тем, что он, торжествуя, оживился, она дополнила его наслаждение; открыла рояль и играла классические пьесы, слушая которые живешь какой-то другой, лучшей жизнью. Она играла их в совершенстве. Веретицын слушал, обмирая, любя до безумия, и, если б Софья понимала, что говорят ей в те минуты, когда она играла Моцарта, она оглянулась бы сама, что ее доброта заводит слишком далеко. Но к концу пьесы воротились мать и сестра, и Веретицын, прокляв их возвращение, нашел, что лучше уйти скорее и не кончать этого вечера обыкновенно, пошло. Он сам не годился вести связный разговор и, уйдя, поступил благоразумно.

Утром он пошел в должность, сам не зная зачем. Он уже привык просиживать эти пять часов, не обращая внимания, что делалось кругом, испытав, что обращать внимание,— значит, мучить себя еще на новый лад. Он молчал и писал, что бы ни давали, испытав тоже, что вникать в смысл написанного — еще новая мука. На кого-то рядом с ним гневался советник; Веретицын не знал за что и не слушал. Его хладнокровие не понравилось советнику, который желал навести трепет в больших размерах и сделал не совсем приятное замечание о «господах ученых выскочках». Веретицын не поднял головы. Выйдя на крыльцо, он обрадовался сырому и теплому воздуху и пошел бродить без цели...

«А что, когда-нибудь буду я жить по-человечески?» — вдруг пришло ему на мысль без всякого особенного повода, покуда, присев на лавку у церкви, стоявшей на берегу, он смотрел вниз, на луга и на воду.

Ему захотелось курить — привычка, оставленная из экономии, и по случаю сигары вспомнился Ибраев. Они не видались давно. От своих товарищей, писарей губернского правления, Веретицын слышал, что Ибраев очень строгий начальник. Эти воспоминания вызвали у Веретицына какое-то горькое желание смеяться. Он вчера видел у Хмелевских визитную карточку Ибраева, французскую, с двумя игреками. Софья ничего о нем не говорила...

«Ну, два года... Ну, хоть год один пожить,— думал Веретицын.— Как-нибудь выпустили бы хоть в отставку. Чтоб только опять быть самим собой, не зависеть, быть с людьми... Много людей не наберешь... да все равно! Хоть иметь право гнать от себя тех, кто противен, и то хорошо...»

Туча, которых много прошло в этот день, поднялась опять; снова полил дождь и прогнал Веретицына с его прогулки. Одну минуту Веретицын подумал с досады, что лучше мокнуть под дождем, чем возвращаться домой, но тут же засмеялся этой ребяческой выходке, разгибая усталую спину, которой стало и больно и холодно, и пошел, прибавляя шагу. На углу площади и улицы была страшнейшая лужа; Веретицын обходил ее, никак не усвоив ловкости своих товарищей, которые умели перепрыгивать по камешкам. Его обогнали отличные закрытые дрожки, запряженные отличным рысаком: Ибраев ехал из присутствия, но обыкновенно позже всех других начальников; он выглянул, конечно узнал приятеля, потому что между ними не было и двух шагов расстояния, и не поклонился. Почти подходя к своему дому, Веретицын встретил Леленьку, которая бежала под большим, но прорванным зонтиком, держась за руку работницы; старенький серый бурнусик был весь в черных пятнах от дождя; мокрые ленты шляпки из розовых полиловели и хлестали девочку по лицу, платьице было подобрано. Леленька, конечно, не могла быть довольна встречей.

— А! мое почтение! — сказал, приостановясь, Веретицын.— Путь науки труден, но приятен.

— Ну, проходи, что ли,— закричала на него сердито работница,— что пристаешь к барышне! Озорники эти приказные! — ворчала она, идя дальше.— Вот барину

надо сказать. Это казначейшин брат. Так на улице и норовит поймать; нашел место...

— Нет, уж не говори папеньке, бог с ним,— сказала Леленька.

— И то правда, бог с ним. Крику у нас и без того не мало.

Самые сильные характеры покоряются влиянию обстановки. Природа имеет уж несомненное влияние на расположение духа. Дождь на улице, возня дома до того отуманили Леленьку, что она почти забыла, что произошло на экзамене, и на вопрос маменьки: «Ну что, как там с тобой?» — отвечала: «Ничего-с».

Маменька удовольствовалась ответом, а Леленька собралась с мыслями только к вечеру и, уйдя в сад, обдумывала свое положение. Было холодновато, сумрачно; сосед не приходил. Трое из четырех братьев Леленьки были привязаны в комнате к ножкам стола, с букварями; четвертый был посажен подле них, для компании и научения примером, и потому Леленьке ничто не мешало размышлять и прогуливаться. Одна, она решилась сделать то же, что делал сосед: поглядеть через плетень, но для этого, при ее росте, ей надо было влезть на нижний ряд плетня. Леленька исполнила это успешно и целый час наблюдала не только над пустой дорожкой сада, но над тем, что делалось дальше, во дворе соседей. В доме их зажглись огни и замелькали, переходя из одного окна в другое. Леленька чуть не вскрикнула: единственное окно, примыкавшее к саду, осветилось, отворилось, ей показалось, что его отворил Веретицын. Но ему, должно быть, показалось холодно: окно заперлось почти в ту же минуту; Леленька услышала только стук рамы. Свеча стояла так близко к стеклам, что ничего нельзя было рассмотреть в глубину комнаты.

«Я глупости делаю»,— сказала себе Леленька, соскочив с плетня, о который исцарапала руки.

Ее звали домой, где ждал ее ужин и брань, что она «баклуши бьет», бегает...

VII

На другой день Леленька воротилась с экзамена математики и географии с таким же успехом, как накануне. На этот раз она сама не знала, как это случилось: она не могла ничего сообразить, а выученное наизусть позабыла.

Подруги глядели на нее почти со страхом, спрашивали, не сглазил ли ее кто-нибудь, советовали хорошенько помолиться, обещать свечку. Леленьке казалось, что она больна; в голове у нее было мутно. Дома, как нарочно, случились неприятность за неприятностью: один брат больно убился, упал с чердака, другой перебил посуду; маменька не досчиталась белья и разочла работницу; папенька получил выговор, и оттого все пошло еще хуже. Между прочим, он сказал и Леленьке:

— Ты смотри, модница, я сегодня отца Евсевия встретил; ты, говорят, ничему не учишься — сохрани тебя бог! Ты у меня своих не узнаешь... И не смей мне ничего отвечать! А еще замуж сбирается...

Последние слова были загадкой для Леленьки. Замуж? за кого же? И ей всего пятнадцать лет... Папенька, верно, шутит.

Леленьке вспомнились как-то все подобные шутки; на расстроенное сердце они легли тяжело; разгоряченная голова приняла их иначе, чем прежде. Девочка спросила себя: «За что все это?»

«Чем я модница? я не прошу нарядов. Я одеваюсь во все, что сошьют. Подруги не раз говорили, что я одета дурно. Мне никогда и на мысль не приходило пожелать чего-нибудь новенького, красивого. Я знаю, что все дорого, что папеньке надо всех нас содержать; я бережлива... За что же меня попрекают? Я не должна сметь отвечать... Да ведь другие отвечают! А со мной потому так говорят, что знают меня, знают, что я не то, что другие — не отвечу...»

Маменька, узнав об отзыве отца Евсевия, заметила тоже:

— Кто тебя, дуру, за себя замуж возьмет? Попробуй у меня только не получи листа или бо книги, не пересядь в старшие, я тебя, как бог свят, заместо работницы хлебы месить заставлю!

Леленька взяла книгу и хотела твердить, но между строками у нее замелькало размышление:

«Зачем мне твердить? я все знаю, и то знаю, что напутала *там* и вчера и сегодня. Мне-то самой все равно, как бы я ни отвечала, хорошо или дурно: мое при мне останется. Я учусь для себя, не для учителя, не для начальницы, не для листа, не для книги — для себя, для того, чтоб знать... И еще — вздор какой! разве это ученье? это чепуха какая-то: «Помпадур, сия пиявица Франции...» По-

теха, право! Кто такая эта Помпадур? ничего не сказано, а тверди...»

Леленька вся вспыхнула, сложила книгу и встала; из окна тянуло свежим ветром, запахом липы.

— Куда ты? — спросила мать.

— В сад пойду, жарко,— отвечала девочка.

— В сад пойду! Книжку возьми, бессовестная! Я тебе дам сад! Вот я завтра сама в пансион схожу, узнаю, что ты там делаешь. Барышней ее посадили, ничего на ней не спрашивается, а она еще вон что, лениться выдумала... Уж помни мое слово, Алена, будешь у корыта стирать...

Леленька ушла поскорее; она услышала, что папенька проснулся от послеобеденного сна, а он просыпался всегда сердитый. Ей стало страшно.

«И в самом деле,— подумала она, с трудом отворяя калитку, потому что дрожали руки,— со мной могут что хотят сделать...»

Вся взволнованная, она прошлась несколько раз по дорожке; воздух казался ей тяжел над головою; грудь стеснило; слезы несколько раз выступали на глазах и прятались. Она бросила книгу в траву и выговорила громко:

«Что за несчастье!»

Она сама не знала, что называла несчастьем,— все. Экзамен, пустота ученья, гнев папеньки и маменьки и, главное, что-то в ней самой начинало казаться ей несчастьем, что-то в ней самой мешало ей быть спокойной, как прежде... Вдруг, решившись, она подошла к плетню, привстав, оперлась на него и взглянула. Веретицын был у себя в саду, но далеко. Леленька ждала несколько минут, а когда он обратился в ее сторону, закричала ему:

— Здравствуйте!

— Здравствуйте! — отвечал издали Веретицын и прошел мимо.

Леленька совсем бессознательно осталась на своем месте. Веретицын обошел весь круг своего сада, поравнявшись с нею, оглянулся и засмеялся.

— Какой вы птицей сидите на жердочке! — сказал он.— Смотрите не упадите!

Он опять опустил глаза в книгу, которую читал. Леленька боялась, что он уйдет, и поспешила спросить:

— А что же, вы обещали мне книжку?

— Какую?

— Шекспира.

— Ох, Леленька! виноват, забыл,— сказал он, подходя.— Как вы вспомнили? Вам, я думаю, не до Шекспира?

— Почему же? — спросила она, побледнев, когда он назвал ее по имени.

— Заучились, затрудились, заэкзаменовались. Ну что, как баллы? четыре, пять?

— Меньше единицы,— отвечала она и захохотала.

— Скромность есть украшение женщины,— сказал серьезно Веретицын,— тем более девицы, тем еще более примерной дочери, трудящейся для утешения родителей. Извините, что я спросил; я из участия.

— Нет, в самом деле,— продолжала Леленька, бледнея и смеясь, между тем как голос прерывался от дрожи,— я вот два экзамена все сбиваюсь, ни на один вопрос не отвечаю... Я не шучу, право, не скромничаю...

— Что ж это с вами?

— Так, не знаю. Отвечать не хочется, скучно.

— Каприз нашел?

— Каприз! — отвечала она, потупя голову.— Я для себя учусь. Пусть мне ставят какие хотят баллы, я знаю, что знаю,— вот и все.

— Да-с; но ведь учителя-то этого не знают, если вы все путаете.

— Ну что ж?

— Ну, вас и оставят в последних.

— Пожалуй...— выговорила она, сдержав слезы.

— А как же маменька с папенькой?

— Я им скажу, что знаю,— это мое дело... Чему вы смеетесь?

— Так. Хорошо, если папенька с маменькой вам поверят.

— Я отроду не лгала. Они должны мне поверить.

— Ох, должны! — повторил Веретицын.— Еще отроду папеньки с маменьками не считали, что «должны» что-нибудь перед детьми...

— Что вы сказали? Я не вслушалась.

— Ничего. Конечно, если вы так уверены в ваших родных, то можете не беспокоиться,— это большое счастье. Только, будь я папенькой, я бы не потерпел таких вещей.

Леленька смотрела ему в глаза.

— Не потерпел бы,— повторил Веретицын.— Сегодня вы не расположены экзаменоваться, завтра вы не распо-

ложены идти замуж, за кого отцу угодно, что вы за дочь? Что это за отец, которого в грош не ставят? «Ах, папенька, вы должны мне верить!» Отец хлопотал, трудился, выносил, может быть, не знаю что, может быть, до унижений, может быть, душой кривил и согрешил не раз, чтоб иметь возможность дать дочери воспитание, а она даже не хочет его ничем потешить — каприз нашел! — «Учусь для себя!» — Да дочь-то сама чья, не отцовская?.. Стало быть, она рассчитывает, что придет время, вот она заживет для себя, не будет папенькина и маменькина...

— Вы смеетесь или не шутя говорите? — прервала Леленька.

— Какая шутка, когда целый свет так думает! — возразил Веретицын,— разве вы никогда этого не слыхали, ну не от вашего папеньки с маменькой, так от других; их, слава богу, вволю! Разве это самое никогда при вас не говорилось?

Леленька не отвечала.

— А что все говорят, то, стало быть, правда,— продолжал Веретицын,— нечего капризничать, нечего раздумывать. Кто выдумал, что так надо жить, тот был умнее нас: всем покойно. Вы по себе можете судить: вы благополучно кончите ваш экзамен, на акте... Акт будет у вас?

— Будет.

— На акте губернатор даст вам похвальный лист, архиерей вас благословит, вы его поцелуете в ручку; так хорошо. Придете домой. Беленькое платьице на вас, алые ленты, за обедом пирог. Папенька с маменькой веселы. Детям и в руки не дадут вашего листа, чтоб не запачкали, издали позволят посмотреть: с золотом. И на целую неделю рассказы, как Леленька отличилась.

— Вы говорите со мной, как с маленькой девочкой,— прервала она,— я не хочу ничего этого; ни награды, ни ласки... ничего!

Она была бледна и отвернулась, испугавшись слова, которое сорвалось у нее. Веретицын улыбнулся, смотрел на нее и ждал.

— Я не хочу, чтоб меня за вздор награждали,— продолжала она,— я не хочу учиться вздору. Вы же сами сказали, что все это вздор; я не хочу его знать... Вон я в крапиву закинула...

— Как, уж и закинули! — вскричал, хохоча, Веретицын.

— Кому кажутся умны эти Помпадуры, тот пусть их и учит,— говорила Леленька, волнуясь и забываясь,— я из таких глупостей не стану обижать моих подруг, перебивать у них награды. Мне их дружба дороже всех наград... Кто труслив, кто боится, тот пусть старается, а я не боюсь: пусть меня сделают в доме кухаркой, работницей... я не раба!..

Она вдруг заплакала и убежала. Веретицын стоял на своем месте и смотрел ей вслед, догадываясь, что она не пойдет домой. В самом деле, ее пелеринка белела вдали, в кустах. Веретицын пошел к себе в комнату, взял «Ромео и Джульетту» вместе с риторикой Кошанского, отложенных рядом, и воротился к плетню. В соседнем саду уже бегали дети; Леленька бродила, будто прячась и не оглядываясь.

— Подите сюда,— сказал вполголоса Веретицын, выждав, когда дети ушли подальше,— вот вам Шекспир.

Она подошла, взглянула ему в глаза, застыдилась его взгляда, полунасмешливого, полуласкового, и взяла тонкую тетрадку.

— Спрячьте в карман, согните вчетверо,— продолжал Веретицын,— а это — ваше.

Она протянула руку за Кошанским, покраснела и улыбнулась.

— Не прогневайтесь, Леленька,— сказал Веретицын,— вы еще совсем маленькая девочка, только хорошая девочка.

Она была сконфужена, чему-то рада, наклонила голову, чтоб спрятаться от Веретицына, а когда самой захотелось взглянуть на него, его уже не было ни за плетнем, ни в саду.

VIII

Следующий день был праздник в приходе, и маменька Леленьки, к большому ее удивлению, сказала ей еще с вечера, чтоб она на экзамен не ходила, а встала бы пораньше и собралась к обедне. Утром маменька выгладила ленты и выправила шляпку Леленьки, прибавила под поля четыре розовые бутончика, хранившиеся издавна в комоде. Нельзя сказать, чтоб шляпка стала оттого красивее; она как-то вздернулась кверху, но ма-

меньке это очень нравилось. Из комода же, тоже давно хранившуюся и потому получившую несколько неотгладимых складок, маменька достала мантилью светло-голубую пу-де-суа и палевый галстучек, который должен был идти к Леленьке, потому что Леленька брюнетка. Все это было надето на Леленьку вместе с белым кисейным платьем, приготовленным было для акта. Маменька была встревожена и приказывала все надевать с крестом и молитвою. Сбирались так долго, что к часам уж отзвонили; папенька торопил; он был в вицмундире и тоже шел к обедне. Торопила и Пелагея Семеновна, которая пришла, чтоб идти молиться вместе, и подавала свои советы в туалете Леленьке. Леленьку так затормошили, что она успела только запрятать под свой тюфяк тетрадку соседа. Грешница — она думала почти всю обедню, как бы дети не вытащили без нее этой тетрадки. Она думала еще, что теперь идет немецкий экзамен, что вчера начальница говорила: надо кончить их скорее, сегодня, и потому в это утро назначено три предмета. Потом у нее вертелись в голове имена собственные — не примеры грамматики, не исторические имена, а те, которые вчера, почти в потемках, прочла она, заглянув в ту тетрадку. Там что-то занимательно: дуэли, маски...

— Истукан истуканом,— заметила ей мать уже на паперти. Папенька разговаривал с какими-то господами,— кажется, с сыновьями Пелагеи Семеновны. Леленьке вздумалось посмотреть на них, но она не удивилась, хотя бы и могла удивиться, что папенька говорит с молодыми людьми, что трое этих молодых людей идут с ними до перекрестка. Какие они что-то странные! говорят — как-то взвизгивают; один тросточкой играет, старуху прохожую задел; другой все часы вынимает, смотрит,— тот, с которым разговаривает папенька; все так мелко завиты...

— Зевай еще по сторонам! — опять шепнула маменька, которая шла рядом с Пелагеей Семеновной и в молчании.

Перекресток был близок. Старший сын Пелагеи Семеновны, тот, что с тросточкой, давал это заметить молодому человеку с часами, толкая его под бок.

— Отвяжись, братец ты мой,— возразил тот, занимаясь разговором с папенькой,— я тебя самого в лужу столкну.

Он игриво рассмеялся. Папеньке это, казалось, нрави-

лось: он смеялся тоже. Леленька чего-то сконфузилась; ей стало скучно и, уж конечно без всякой причины, вдруг вспомнился смех Веретицына, его тихий, какой-то полный голос, его худые руки на плетне, волосы, которые он всегда так мнет фуражкой, темно-серые глаза, которые взглядывают пристально. Как он сказал вчера: «хорошая девочка». Как же он смеет говорить «Леленька»?

Леленька и не заметила, как простились молодые люди и Пелагея Семеновна и как папенька, маменька и она сама дошли домой. Маменька приказала ей переодеться и идти кончить свои экзамены. Было всего одиннадцать часов. Леленька была рассеяна и своим туалетом, и разнообразием впечатлений с утра, и множеством народа, который видела. Ей было приятно быть на открытом воздухе, пройтись еще, хотя до пансиона; что будет в пансионе — представлялось ей смутно. Она два раза забывала, какие книги взять с собой, и возвратилась за ними с крыльца, но не забыла «Ромео» и унесла его в кармане, как научил Веретицын; затем вдруг вообразила, что ей надо зачем-то забежать к себе в сад, примчалась туда бегом к плетню и заглянула: на дорожке никого не было, но окно в сад, то, которое она приметила, было отворено; под окном сидел Веретицын и писал что-то. Новая работница кликала барышню, провожать ее; маменька услышала и, когда Леленька проходила через двор, спросила, где была она. Леленька как-то нечаянно, невольно отвечала, что ходила за карандашом, который оставила вчера в саду. Ей стало так горько, так стыдно после своих слов, что она чуть не заплакала дорогой. Раскаиваясь, она, конечно, не могла ничего припомнить из того, что было нужно для экзаменов; она застала еще немецкий; ей пришлось сказать какие-то стихи, которых она никогда не понимала, а затвердила вдолбяшку; едва придя, едва сев на место, не опомнясь, она перепутала рифмы — единственное, чем руководилась, а затем и все перепутала. Учитель-немец пошутил очень остроумно, но эта новая неудача еще более сбила Леленьку. Немца сменил француз, француза — учитель истории, ужасно скоро один за другим; француз продиктовал на доске такой пример из какографии о particip passè, который и сам затруднялся решить, и потому только вышел из себя. Учитель истории стал спрашивать о каких-то войнах. За минуту перед этим, пока переменялись экзаменаторы, Леленька по-

смотрела в «Ромео», будто справляясь с учебной книжкой, и нашла там, почти на первой странице, о нелепости и грехе кровопролития. Рядом подруга, Оленька Беляева, отвечала на вопрос и называла великих людей.

«Какие это великие люди? — злодеи»,— решила Леленька, веря тетрадке Веретицына, думая о Веретицыне, о его смехе. Вдруг помянули Лудовика Вселюбезнейшего, Леленька не выдержала больше и засмеялась громко. На нее «нашел стих» смеяться; этот «стих», вслед за ним выговор, вопрос ей самой, а затем упрямое, жаркое, вдруг проснувшееся убеждение, что *это* все вздор, что *это* ни на что не нужно — все перевернуло ей, и мысли и сердце: она начала отвечать сбиваясь; на замечание учителя возразила, что сбиться немудрено, когда в книге так неясно; а когда ей сказали, чтоб она не рассуждала, а говорила, что выучила,— сказала, увлекаясь, очень смело, что этого и учить не стоит, разве для того, чтоб перезабыть да выучить вновь в каких-нибудь других книгах... Учитель был поражен: он преподавал двадцать пять лет и дослуживался до пенсиона, а ничего такого с ним еще не случалось.

Этот скандал заключил экзамен в пансионе. Нечего и говорить, что мадемуазель Беляева перешла в старший класс с наградой, а Леленька была оставлена в меньших и из пятой попала в пятнадцатые.

— За дерзость вас бы исключить следовало,— сказала ей начальница.

Она не исключила ее, однако, потому что лишняя ученица все-таки расчет. Леленька смотрела в глаза подругам, думая найти участие, но подруги сторонились, не столько занятые своим делом, сколько — бог их знает из какого чувства. Против Леленьки было все начальство — как же идти против начальства? Неудача Леленьки была неожиданна; невозможно, чтоб она в самом деле перезабыла, не знала, но кто ее знает? Она сказала что-то будто похожее на дело, но что — кому за надобность до этого дела? Для чего же еще отдают в пансион и учат, как не для того, чтоб кончить курс и получить награду?

Леленька ушла домой. Через два дня был акт, и ее родители узнали, какую штуку она им приготовила. Ей пришлось и поплакать: маменька прибила ее, и не один раз.

Эти катастрофы, шум в доме и потом молчание по целым дням, средь тесноты, множества детей, неприбора

сделали с Леленькой то, что она точно отупела. Наплакавшись, она вдруг перестала — не то от равнодушия, не то от отчаянности; она заметила, что с ней обращались хуже, когда она плакала; но ее слезы прошли вдруг, без всякого расчета; напротив, она подумала, что хоть бы и легче ей было от этого, но она слезы не выронит. Мать собрала целый узел старых детских чулок и рубашек и бросила их Леленьке: заставила ее чинить; кроме того, ей задавали уроки в пяльцах. Леленька работала от заутрени до темноты, вставая только для обеда, но это доставалось ей так тяжело, что она охотно не пошла бы обедать, тем более что ничего не ела. Минутами, пред вечером особенно, когда ветер залетал в окно и шелестил по пяльцам, она приподнимала голову, оглядываясь; что-то будто жгло ей глаза, и мелькала мысль уйти куда-нибудь. Она была целый день на глазах у отца, у матери, у детей, спала в одной комнате с детьми! не было свободной минуты посидеть спокойно и подумать, даже ночью, но ночью и некогда: она засыпала скоро и крепко. Раз с вечера она вздумала было поплакать в постели — дети не дали, пристали, дразнили. Им сначала приказано было дразнить ее и не слушаться; потом это продолжалось без приказаний. Леленьке один раз, так, внезапно, вошло в голову: «Если я вдруг с ума сойду?»

Она не придумывала дальше ни подробностей, ни приключений — выдумки, какими успокоивается печаль и почти приятно раздражаются нервы. В ней было что-то посильнее всех этих выдумок. Мать сказала ей один раз:

— Что ты никому в глаза прямо не смотришь?

Леленька взглянула на нее и отвернулась: ей стало как-то страшно. Она сказала себе, что это грех ее мучит. Ей хотелось умереть...

Это продолжалось с неделю. Пелагея Семеновна зашла напиться чаю и застала, как всегда, маменьку у одного окна, Леленьку у другого.

— Рукодельница барышня! — заметила она ласково.— Да что же это вы, матушка, все ее за работой держите? День сегодня воскресный; хоть бы на музыку, так-то...

— Не в чем ей разгуливать идти,— возразила маменька,— нарядов не нашили.

— Что же так?

— Не заслужила. Это вот ее сами спросите, бесстыд-

ницу, как мне при всех ее мадама хвалила, что нет ее хуже, безграмотная...

— Вы их очень не конфузьте,— прервала гостья, погладив Леленьку по головке,— дочка у вас милая, хорошая. Ну, что, грех да беда на кого не живет? На что они, науки-то, мать моя? Хуже ли мы без них с вами? А право, был бы достаток! Вот вы их помаленьку к хозяйству приучайте, вы на то мастерица, да там что надо музыки... Вы, красавица, умеете что музыки сыграть? Вальс там или польку какую?

Леленька молчала; ей все еще казалось, что Пелагея Семеновна водит рукой по ее волосам.

— Или кадриль, что ли?

— Язык-то есть у тебя отвечать? — вскричала маменька.— Умеешь, что ли?

— Умею,— отвечала Леленька.

— Соври еще, как тогда! — продолжала маменька.— Вот как до дела дойдет, ты опять ни тиль-тиль, все равно как на экзамене.

— Нет, это вы уж, красавица, поучите,— вступилась ласково гостья,— без этого уж никак нельзя... Да что вы зарукодельничались? Право, маменька, милая, вы отпустите их хоть в свой сад разгуляться, а мы тут с вами... у меня к вам дельце...

— Ну, пошла! — сказала маменька.

Леленька встала, убрала пяльцы и вышла; у нее как-то подгибались колени: она несколько дней не делала и двадцати шагов по комнатам.

— Какое же дельце? — спросила маменька.

— Да все о женихе, родная моя,— отвечала гостья...

К Леленьке через Пелагею Семеновну сватался жених, чиновник Фарфоров, тот самый франт при часах, приятель сыновей Пелагеи Семеновны, который приходил смотреть Леленьку за обедней и потом был так «вежлив» с папенькой. Франт должен был получить этим годом чин: стало быть, пора было думать и о жене. Леленьке этим годом исполнится шестнадцать: стало быть, пора ее пристроить. Франт один сын у матери; мать — старуха злющая, да зато хворая, и деньги есть; Алене Васильевне, может, что пожалует крестная маменька, тетушка Алена Гавриловна, так вот и слава богу! А *он* ее красотой прельстился. «Только мне,— говорит,— с музыкой надобно; без этого уж никак нельзя». Как чин получит, так и благословить.

— Ей, молоденькой, лестно будет за такого красавца выйти,— заключила гостья,— а вы только к сестрице Алене Гавриловне в Петербург отпишите насчет награждения, да приданого...

Маменька стала считать вместе с гостьей, сколько и чего именно нужно для приданого. Жених, кроме музыки, просил шесть шелковых платьев; маменька почти соглашалась на четыре...

IX

Дети по случаю воскресного дня были все отпущены в луга с другими соседними детьми; Леленька была одна в своем саду. Она как-то уж не радовалась и свободе: очень ли она засиделась и устала, или ее сердце, как все крепкое и сильно измятое, не могло разом расправиться. Леленька шла тихо и только старалась вздохнуть посильнее. Ей не пришло на мысль, по обыкновению, что «Пелагея Семеновна несносная, и охота маменьке с нею!» — напротив, ей показалось, что «пусть они себе, им хорошо вместе». Одну минуту ей самой захотелось, чтоб с ней была которая-нибудь из подруг... но которая же? К ней не ходила ни одна подруга. Им весело теперь, может быть; может быть, идут гулять; вот в городском саду начинается музыка... И что ж, это всякий день так будет?..

Ей захотелось броситься на траву и наплакаться, она удержалась, как-то невольно взглянув на соседний сад. Веретицын стоял, облокотясь на плетень.

Он давно стоял там, еще до прихода Леленьки, подойдя и облокотясь машинально, по привычке. У него на душе было тяжелее обыкновенного, как случается, когда человек даст себе раздуматься и распустить нервы на волю. В далекой музыке было что-то томящее, раздражающее, но музыка успокоивает только или эгоиста, или ребенка, хотя бы этот ребенок был давно взрослый...

Веретицын не слышал даже шороха платья Леленьки и заметил ее, когда она его заметила.

— Что вас давно не видно? — спросил он и протянул ей руку.

Леленька дала свою, без удивления, без всякого чувства; ей только стало холодно.

— Некогда было,— отвечала она.

— Да!.. Ну что, как дела?

— Кончены.

— Поздравляю.

— Не с чем: я осталась в маленьких и последняя. Веретицын покачал головой.

— Вы это нарочно сделали?

— Нет, сама не знаю... Да, почти нарочно.

— Для чего ж?

— Вы знаете... Что об этом толковать! скучно. Вы лучше всех, лучше меня знаете.

— Я-то, Леленька?

— Ну да. Ведь вы же говорили... Что вы тут говорили — вспомните.

— Помилуйте! Но что б я ни говорил, я мог и ошибиться, мог и шутить...

— Вы не шутили; я всегда вас спрашивала, шутите ли вы? вы говорили: нет. А что вы говорили правду... это уж я знаю. Все правду, обо всем, обо всех правду!..

— Например?

Она смутилась. Мысль об отце и матери заставила ее сжать губы, удерживать и слова и слезы. Веретицын посмотрел ей в лицо и повторил, улыбаясь:

— Например, какую ж правду я говорил?

— Хоть ту, что гордиться, выставляться напоказ дурно.

— Я, Леленька, не говорил этого.

— Я так поняла,— отвечала она очень твердо,— я так и сделала.

— Вам за это благодарен кто-нибудь? — спросил он,— похвалили вас? Подруги, для которых вы принесли такую жертву, бросились вам на шею?.. Что? никто?

— Конечно, никто,— отвечала она, чем-то обидясь,— но я хорошо сделала.

— Вы романическая голова, Леленька. Подайте мне Шекспира назад. Вы начитаетесь — еще хуже будет.

— Что ж будет хуже? — спросила она, стараясь разобрать, шутит ли он.— О, да вы смеетесь!

— Смеюсь, над вами. Сами рассудите: ваши папенька с маменькой должны быть сердиты не приведи бог как; подруги над вами смеются; вы не знаете, что делать; скучно вам до смерти, а вы твердите: «Я хорошо сделала». Упрямица вы — вот что!

— Побраните еще! — сказала она, взглянув ему в глаза.

Веретицын улыбнулся на ее взгляд и опять подал ей

руку; она захватила ее в обе. Веретицын взял свою руку назад.

— Как же вы проживете на свете? — спросил он.

— Как-нибудь.

— Как-нибудь нельзя. Сантиментальничать, вольничать — последствия невеселые, да и неприличные.

— Как это? что это — неприличные?

— Вот что. Вы понимаете, что людям надо как-нибудь уживаться друг с другом; они все на разный лад сотворены, и потому придуманы законы, правила, приличия, чтоб склеиться между собою. Как в таком и таком случае поступает один, так непременно должны поступать другие: иначе всякий потянет в свою сторону. Что ж это выйдет? Не понравилась наука — давай другую! Не понравилось у папеньки с маменькой — давай бежать! Хорошо, слава богу, что таких охотников еще немного, а которые выскакивают, на тех есть управа. Это вольничанье — беспорядок. Будьте довольны тем, что вам дают. А сантиментальность? Зачем себе набивать голову, что должно любить подруг каких-нибудь, не выставляться перед ними и прочее? Ведь подруги для вас этого не сделают?

— Ну так что ж? — прервала она.

— Опять! — возразил он.— Да не годится, милая моя Леленька! После этого, вы свое добро кому случится уступите, любимого человека уступите — и вам никто спасибо не скажет!..

Он засмеялся, потому что она засмеялась весело, но не глядя на него и краснея.

— Что ж вы будете делать? — продолжал Веретицын.

— Когда?

— Ну вот хоть скоро, этими днями. В пансион больше не пойдете?

— Не пойду; меня совсем возьмут.

— Видите! Что ж сидеть за пяльцами... Гости у вас бывают?

— Бывают... дрянь какая-то.

— Леленька! это что за гордость? Как вы смеете называть их дрянью? Ваш папенька с маменькой их любят, вы старшая дочь, вы должны их принимать, занимать.

Леленька опустила голову.

— Я не шучу,— продолжал Веретицын,— гости не по вас; может быть, и занятия в доме не по вас? Чего ж вы хотите?

— Ничего не хочу,— проговорила она тихо.— Сделайте милость, не смейтесь надо мной.

— Тут не до смеха,— отвечал, хохоча, Веретицын,— девица должна быть скромна, трудолюбива, почтительна к родителям, всем довольна, к хозяйству рачительна, с посторонними любезна — а вы что?

— Не знаю... я, должно быть, пропащая! — отвечала она.

— Ну, не пропадете! — сказал он, еще смеясь, но ласково.— Да вы не плачьте, Леленька.

— Я никогда этой глупости не делаю.

— Следовало бы иногда, о ваших других глупостях.

— Вас не разберешь! — возразила она, опять взглянув на него, и замолчала.

Веретицын тоже замолчал, подняв голову и прислушиваясь к музыке.

— Вы всегда будете здесь жить? — спросила Леленька.

Он оглянулся.

— Что?

— Нет... я спросила... Вы что делаете весь день?

— Служу отечеству.

— Вам не скучно?

— Как можно!

— У вас есть знакомые?

— Вот я знаком с вами.

Она вздохнула. Веретицын был рассеян и слушал.

— Я еще не прочла вашу книжку. Когда прочту, дадите другую?

— Что?.. Да, пожалуй.

— Я буду переучиваться,— сказала она робко.

Веретицын смотрел вдаль; он слышал и не слышал, что говорила Леленька, ее последние вопросы, звуки издали; ветер влажный, ласкающий, какой он бывает по вечерам, перевернул ему душу. В светлые вечера бывают особенные минуты, в которые сильнее вспоминается напрасный день, а за ним, дальше, другие напрасные дни, напрасные желания, все, чему измученное сердце, как догорающая заря неконченой работе, говорит — поздно!

— Я все переучу сызнова, как вы,— говорила Леленька.

— Похвальное намерение! — отвечал Веретицын, не обращаясь к ней.— Ваш папенька с маменькой будут за что-нибудь вздорить, а вы покуда сидите, размышляйте о

новых открытиях в астрономии — очень полезное развлечение и очень спокойно: никто вам не помешает. Гости придут; они вам начнут: «Слышали вы, дьякон на дьячка просьбу подал?» Или: «Ах, сударыня, у вас глаза прелестные!» — а вы им самый свеженький вопросец: «Какого вы мнения о coup d'Etat [1] президента Бонапарте?..» Это так приятно, так кстати. Я вам советую.

— Вы ничего не говорите толком.

— Как же еще? И вам самим будет так легко с людьми, которые так хорошо будут понимать вас; сердцу отрадно. Вы, по вашему обычаю, весь мир забудете с книжкой,— обернетесь, а этот мир перед вами — нечесаное чудище, и вы видите, что можно забыть его с книжкой, да спрятаться-то от него в книжку нельзя... Советую вам: учитесь. Еще сумасшедшей вас не называли?

— Да что ж мне делать? — спросила Леленька.

— Право, не знаю, Леленька,— отвечал он тихо.

— Вам, верно, самому очень скучно? скажите правду.

— Что мне делается? С меня экзаменов не спрашивают.

— Полноте все шутить. Вы как живете?

— Как видите.

— Это все не то! — возразила она нетерпеливо.

— Ну, не знаю, что вам еще надо,— отвечал он.

Они оба замолчали. Веретицын задумался, Леленька не отходила.

— Что ж, вы просили прощения у папеньки с маменькой? — спросил он, оглянувшись и потому вспомнив о ней.

— Зачем?

— Так, попробуйте. Вот вас простят, повеселят, гулять поведут.

— Здесь лучше,— отвечала она.

Веретицын не сказал ни слова; он не думал о ней. В его саду стукнула калитка, и по дорожке раздался шум походки особенно изящной, производимой только изящной обувью. Веретицын оглянулся.

— Ибраев, здравствуй! — сказал он и пошел к нему навстречу.

Ибраев казался взволнован.

— Я на минуту, еду в клуб,— начал он, едва они сошлись и поздоровались.

---

[1] государственный переворот *(франц.)*.

— Не смею и задерживать,— отвечал Веретицын.
— Веретицын, такие вещи не делаются!
— Какие вещи?
— Вы просились в отпуск?
— Просился.
— Почему?
— Надоело губернское правление, и грудь болит.
— То есть Хмелевские уехали в деревню.
— И я хочу к ним съездить. Это до вас не касается.
— Но вы моим именем проситесь у вашего начальника?
— С чего вы взяли? И не воображал.
— Вы ссылаетесь на мое покровительство; я знаю вас, но я вам не протежирую...
— Посмотрел бы я, как бы вы вздумали мне протежировать,— отвечал очень тихо Веретицын,— я на вас не ссылался.
— Ваш старший советник говорит мне: «Я отпускаю Веретицына на свой страх, потому только, что вы с ним приятельски знакомы...»
— Успокойтесь; я не хвалился вашим знакомством.
— Из того, что я бывал у вас, рискуя компрометироваться...
— Вот то-то,— прервал Веретицын,— я вас предупреждал, что это вам нездорово. Так потрудитесь больше не компрометироваться.
Он показал на калитку.
— Что ж это?..— начал Ибраев.
— Да ничего; я писарь под присмотром полиции: со мной ссориться не стоит. Вы можете доказать, что вы мне не протежируете. Позаботьтесь, чтоб не пустили меня в отпуск, чтоб послали куда-нибудь попрохладнее... Уходи, я тебе сказал!
Ибраев ушел, чтоб не дать ему разговориться громче. Веретицын воротился к скамейке под хмелем и просидел там до темноты...

X

Влияние Пелагеи Семеновны на маменьку оказалось благодетельно для Леленьки. Леленьке давали отдых; ее не сажали за починку рубашек, ей не задавали больше урока в пяльцах.

— А то она у вас совсем заморится,— заметила Пелагея Семеновна маменьке.

Потом, рассудив, что еще не бог знает какая беда не знать разных наук и что и без них барышня — все-таки барышня, решили сделать Леленьке шляпку и повести ее в люди. Случились именины какого-то чиновника; маменька была там с Леленькой, чай пили; кроме них, старой четы хозяев и другой старой четы гостей, никого больше не было.

Жених непременно требовал музыки. Леленьке ничего не говорили о женихе, ни о его требованиях. Из шептаний маменьки с приятельницей, из таинственных переговоров маменьки с папенькой Леленька ничего не могла отгадать, нелюбопытная и ненаблюдательная от природы. Маменька не напрасно часто называла ее истуканом. Вследствие требований жениха маменька постаралась достать у одной дамы, переселявшейся на покой в монастырь, фортепиано в четыре с половиной октавы, с сурдинкой. Фортепиано было взято «на подержание», покуда, может, кому понравится и продастся. Леленьке было приказано играть всякий день и как можно шибче. Собака всякий раз начинала выть под окном, как начинала играть Леленька.

Леленька была рада тому, что выдавались свободные часы, в которые можно было уходить в сад и читать. Маменька зашумела было против этих книжек, но Пелагея Семеновна успокоила ее:

— Что ж, что барышня наклонность имеет? пусть себе и по-французскому...

Леленька и читала только французское, единственное, что имела,— «Ромео и Джульетту». Ей пришла догадка, и стало стыдно этой догадки: можно не прятать книгу, когда никто не понимает, что в ней, и никто не спрашивает, откуда она.

«Но что ж тут хорошего?» — спрашивала она сама себя, читая в первый раз.

Слова мудреные, все такие запутанные. Леленька всему училась прилежно, по-французски особенно, потому что, на счастье, был порядочный учитель. Учитель заставлял много читать и переводить в классе трудного, из хрестоматии, из Шатобриана; но все-таки Леленька была недовольно сильна, чтоб понимать все без диксионера [1]. Но ей хотелось понимать — она догадывалась; чем

---

[1] словаря (от *франц.* dictionaire).

дальше, тем шло легче... Содержание прелестное, что говорить! Однако оно только заинтересовало ее, а не поразило, когда она прочла в первый раз: этот первый раз стоил слишком большого труда. Она не плакала ни над сценами любви, ни над последними. Кончив, она не раздумывала, но из ее памяти вставали неожиданно, отрывочно, подробности, слова. Подробности тревожили, заставляли улыбаться... царица Маб — что за прелесть! Нет ли ее где-нибудь тут, в траве, на колеснице из скорлупы и стрекозиных крыльев!.. Ночь, темный склеп, рассвет, жаворонок — одно за другим точно мелькало перед глазами...

«Роза все роза, как ни называй ее,— повторила Леленька, хотя и не учила наизусть.— Брось свое имя, и за него возьми всю меня... Моя единственная ненависть стала моей единственной любовью...»

И так же невольно почти схватила она тетрадку и стала отыскивать эти слова, перечитала, вертела страницы, опять перечитывала.

«В воздухе судьбы висит надо мной несчастье...»

Она уронила тетрадку на траву, легла на нее лицом и горько заплакала — не о Джульетте, не о Ромео, не о себе, хоть перед этим было тяжело на сердце; это как-то совсем забылось; плакалось оттого, что вот бог знает что делается на свете, и *это* так хорошо, и бог знает чем хорошо...

— Тебя, матушка, заря вгонит, заря выгонит,— сказала маменька, поймав на другой день Леленьку, когда она, еще до заутрень, вскочила и бежала в сад.

Леленька не старалась видеть и соседа: ей было не до него в этот день. Но сосед не приходил ни в этот день, ни в следующие два дня. Леленьку это смутило и очень странно обеспокоило, как будто этого не случалось прежде. Но ей казалось: непременно нужно узнать, что с ним. Как узнать? от кого? Ни души знакомой в доме у соседей, да и нигде. До этой поры Леленьке не было нужно ничье знакомство; оно, пожалуй, не нужно и теперь, лишь бы только узнать... Ей было нужно его видеть не для того, чтоб сказать ему что-нибудь, а так, спросить его, что ей делать, потому что так жить нельзя; какая-то неладица кругом. Прежде то же было, правда, но теперь, бог знает почему, как-то все ближе к сердцу. Люди живут иначе, то есть люди, не то что вот Пелагея Семеновна с сыновьями, дочери протопопицы, Оленька

Беляева. Мужики как-то лучше живут. Леленька расспрашивала свою новую работницу; та пришла к ним прямо из деревни и рассказывала: там лучше, там свое дело делают... Ну зачем этот воротник вышивать? Маменьке его надеть некуда, дома она в неделю раз причешется — он сгниет у нее в комоде. Продать его — никто не купит. Купят если — на что эти деньги? все еда, все дрова, свечки... Трудиться для этого, конечно, надо, да зачем же все говорить об этом одном? Будто не о чем больше?

«В самом деле *им* не о чем больше»,— заключила Леленька, и сердце у нее повернулось.

Она была одна; было тихо; часы стучали,— хоть заснуть. Вдруг на дворе поднялся крик: маменька гневалась на детей: раздался плач: детей били...

— Господи! и всякий день все то же! — выговорила Леленька громко.

Она вскочила из-за пялец, побежала к матери и, вся в слезах, вступилась за братьев. Маменька была слишком расстроена и прогнала Леленьку в комнату.

— Видишь, какая умная родилась! — вскричала маменька,— своих заведи, тогда и умничай! Выйди-ка замуж, попробуй каково!

«Неужели у меня будут когда-нибудь дети? неужели я буду жить так же?» — спрашивала себя Леленька, глядя туманными глазами в узор, после того как сильная рука маменьки нагнула ее к пяльцам.

Папенька воротился спокойнее обыкновенного.

— Фарфорова к чину представили,— сказал он маменьке, садясь за стол.

— Слава тебе господи! — воскликнула с восхищением маменька.— Теперь что Пелагея Семеновна скажет...

— Что бы ни сказала, нечего при этой козе болтать (папенька указал на Леленьку). А вот писать мне надо к сестрице. Куда к ней писать? Где ее письмо?

— Ах, батюшки! куда, в самом деле, к ней писать-то? — вскричала маменька.— Алена, где тетеньки Алены Гавриловны письмо? Батюшки! куда оно девалось! Ведь за зеркалом было заложено, с самой святой лежало. Пострелы, должно быть, утащили да изорвали, вот тебе теперь и здравствуй! Куда теперь напишешь?

Дети божились, что не уносили и не рвали никакого письма. Начались поиски. Маменька была в отчаянии, металась, кляла жизнь свою, подозревала, что письмо кем-нибудь украдено для каких-нибудь целей. От голоса

папеньки дрожали переводины на чердаке. Папенька покушал и пошел почивать, объявив, чтоб письмо было. Шуметь было можно, несмотря на сон папеньки: его никакой шум не мог потревожить. Маменька и не стеснялась.

— Да ведь все из-за тебя толк, дура бесчувственная! — сказала она Леленьке.

Леленька была совсем как потерянная, до слез, и не понимала, почему это все из-за нее толк — разве потому, что тетушка Алена Гавриловна ей крестная мать...

Маменька помчалась искать письмо по чуланам, сундук работницы был уже обыскан. Оставшись одна, Леленька нашла письмо: оно просто завалилось из-за зеркала, куда было заткнуто, за комод, стоявший под зеркалом. Леленька была рада минутной тишине и не торопилась звать маменьку и объявить о находке. Она открыла письмо, чтоб убедиться, точно ли это, и, кстати, узнать, что важного в нем, кроме петербургского адреса тетки. Ничего; поздравление с светлым праздником, уведомление о здоровье, два слова о том, что писать больше нечего, и адрес. Леленька прочла два раза... «Какой хорошенький почерк у тетушки, и все точки на месте!» — подумала она, между тем как в ушах у нее шумело и голова кружилась.

Папенька принял письмо без особенной радости и опять заткнул за зеркало; хотя завтра был почтовый день, но папенька раздумал, отложил ответ, когда будет свободнее, сказал маменьке, чтоб не приставали, и ушел в гости пить чай. Маменька несколько времени гневалась на папеньку, что он ни о чем не заботится, и побежала к Пелагее Семеновне. Леленька ушла в сад.

На нее нашел припадок веселости; вдруг как-то забылись все неприятности; ей хотелось бегать, кружиться, если б было с кем, она бы смеялась всякому вздору. Она подбежала к плетню и целый час ждала соседа; он не приходил, его окно было заперто.

«Что ж с ним сделалось? — подумала Леленька.— В гости ушел? уехал? К нему приходил тогда господин какой-то... к нему, может быть. Легко сказать, шесть дней не видала!..»

Калитка скрипнула, маменька воротилась.

«Да он, может быть, приходил, как меня не было»,— заключила Леленька, убегая домой.

Ее звали. Маменька принесла от Пелагеи Семеновны сверток холста и стала кроить мужские рубашки. Одну

из них с вечера она выдала Леленьке, приказав ей встать пораньше и шить, чтоб не видал папенька. Леленька подумала, что это работа заказная, и маменька желает скрыть от папеньки, что работает для денег.

«Но почему же бы и не работать для денег? — спросила себя Леленька.— Другие живут этим. Что ж, что папенька чиновник?»

Но вместо этих соображений ей пришло другое: можно встать чем свет и унести шитье с собой в сад. Она так и сделала. Маменька это видела и сказала ей, что она умница. Леленька не подозревала, что шьет приданое своему жениху и маменька прячется с ним, боясь гнева папеньки за то, что холст взят в долг, за то, что принялась, еще не совсем порешив, за то, что папеньку не спросилась,— за многие причины. Но работа шла плохо. Леленька все прислушивалась, конечно, не к шагам папеньки, который никогда не навещал своего сада, а к малейшему шороху по дорожке у соседа. Утро было славное, июньское; в монастыре отзвонили к средней обедне,— значит, уж восемь часов. Еще немножко, и будет поздно: в половине девятого служащие идут в должность; сосед уйдет тоже...

За плетнем послышались его шаги. Леленька вскочила; полотно полетело в траву, наперсток, ножницы очутились бог знает где; руки девочки уцепились за колья, одна из них была расцарапана в кровь, но девочка этого не чувствовала.

— А! Леленька! — сказал Веретицын, когда ее покрасневшее личико выглянуло из-за плетня.

— Я думала, вы уехали,— сказала она.

— Куда? Я никуда не еду.

— Что же вы не приходили? Ведь шесть дней... Вы все дома были?

— Все дома; нездоровится.

— Вы больны?

Она с первой секунды заметила, что он бледен, и в ту же секунду подумала, что это так только; в эту секунду она уж ничего не думала.

— Что ж это вы?.. Чем вы больны?

— Так. А вы как поживаете?

— Ничего... Но вы совсем так и не выходите? Ведь это нехорошо (ей хотелось заплакать)... Погода, смотрите, какая чудесная.

— Что ж делать! Прощайте, Леленька!

— Куда же вы?

— Домой; пойду лягу.

Она смотрела ему вслед, в саду, во дворе, увидела его еще одну минуту, когда он отворил окно своей комнаты. Он не показался больше.

«Должно быть, лег»,— сказала себе Леленька.

Она села под липу и рыдала, заливаясь горькими слезами. Приди в эту минуту маменька, папенька — ей было все равно; сделай они с нею, что только им вздумается — ей было все равно. Она подумала: не дать ли богу какое-нибудь обещание и, не думая, надавала их множество, самых неисполнимых. Что-то, казалось ей, кончилось, и вся жизнь с этим кончилась, потому что до этих пор можно было все сносить: и скуку и обиды, и никого не было нужно, что-то другое было, не один вздор, сплетни, ученье без толку... А вот теперь он умрет — и все кончено.

Леленька так долго плакала, что забыла и время. Ее пришли звать обедать. Маменька ухаживала за папенькой, чтоб поддержать его в мирном расположении духа, а потому не обратила внимания на заплаканные глаза Леленьки. Едва улегся папенька, Леленька опять ушла в сад. Она вспомнила о своем деле, отыскала ножницы и наперсток и стала шить. Ей пришло в голову, что, может быть, сосед придет опять, вечером.

Вечер пришел и прошел — Веретицын не был. Леленька давно бросила работать и смотрела на огонь в его окне.

— Что ты тут, галок, что ли, считаешь? — закричала маменька, вдруг появившись сзади нее.

Наработано было мало, «барышню» застали у чужого плетня... Леленьке досталось за все. В заключение, так как секрет все еще сохранялся от папеньки, ей было приказано уходить шить не в сад, а в людскую, к работнице.

XI

Прошло еще дня три. В воскресенье Леленьку повели к обедне, в приход. Общее внимание всех, бывших в церкви, обратила на себя дама в прекраснейшем гранатном бархатном бурнусе и соломенной шляпке с блондой и голубыми перьями: такие роскошные туалеты были редкостью для дальнего прихода. Дама пришла поздно и держалась модно, подвинула за плечи весьма удивленную

этим поступком девочку, закутанную в ковровый платок, не знавшую потом, как посторониться от обеспокоенных юбок дамы. Дама прислонилась к решетке клироса, вставала, становясь на колени. Ей принесли две просвиры, а в конце обедни церковный староста с большим поклоном подал третью.

— Это — казначейша,— сказала маменька Пелагее Семеновне,— как это она не в соборе?

Маменька была так заинтересована появлением такой важной особы, что едва обратилась на поклон юного чиновника Фарфорова; чиновник отвесил поклон еще глубже госпоже казначейше; но этот остался уж вовсе без ответа; подошел к Леленьке, но Леленька тоже смотрела на казначейшу.

Казначейша в это время удостоивала ответа знакомую даму, тоже в бархате, которая тоже спрашивала, как это она сюда вздумала и почему она не в соборе.

— Опоздала,— говорила она, стараясь сохранить аристократическую неподвижность, отчего едва отворяла рот и только слегка покачивала головой сверху вниз, чтоб придать величавое колебание своим перьям,— встала поздно. Вчера очень поздно легла; обеспокоилась с вечера.

— Чем же? — спрашивала знакомая.

— Брат у меня болен,— отвечала казначейша неохотно,— и без того такое неудовольствие, что он тут, а тут ему еще хуже сделалось...

— Это крест на вас,— заметила с участием другая дама, которая хотя и не была знакома с казначейшей, но не могла удержаться от искушения подойти к ее кружку.

Казначейша едва взглянула на нее и прошла.

Леленька была бледна как смерть; чиновник Фарфоров приписывал ее молчание удовольствию, доставленному его присутствием, и объяснил маменьке:

— Это действительно, что это на них крест. Я в одном столе сижу с их братцем. Они здесь, знаете, на самом дурном замечании... за стихи сюда прислан... самый вредный человек.

— В доме у них, однако, не слышно,— заметила маменька,— тих, должно быть.

— Матушка, еще бы не тихому быть! — вступилась Пелагея Семеновна,— на всем сестрином да зятнином живет.

— Мы полагали,— продолжал Фарфоров,— они в должность не ходят оттого, что рассердились: в отпуске им отказали, а видно, в самом деле хворает.

— Э, уж лучше прибрал бы его бог! — прибавила Пелагея Семеновна.

— Развязал бы их! — заключила маменька.

Леленька посмотрела на них. Дома маменька поговорила еще об этом с работницей, потом с папенькой. Леленька ничего не ела весь день, не говорила ни слова. Папенька заметил ей:

— Что ты, волчонок, по углам прячешься?

Целую неделю, которая прошла за этими днями, Леленька не помнила ничего, что делалось кругом, что ей говорили, что с ней делали. Она не знала, что и сама она делала; по какой-то привычке, едва представлялась свободная минута, она бежала в сад, к плетню, возвращалась чуть дыша за свою работу и шила молча, опять до свободной минуты. Вечера, когда папенька с маменькой уходили со двора или приходила Пелагея Семеновна, Леленька проводила все у плетня. Окно было едва освещено; должно быть, горел ночник.

В воскресенье маменька не сбиралась к обедне; Леленьку послали с Пелагеей Семеновной. Ее мучило такое нетерпение, что она не могла больше вынести, убежала из-под глаз маменьки, прилетела в сад, взглянула — Веретицын сидел у своего открытого окна...

— Ну, уж, милая,— говорила этим вечером Пелагея Семеновна маменьке,— сегодня за обедней его мать была, дивилась на вашу дочку: «Вот, говорит, богомольница; ниже куда взглянет, оборотится. В придел пошла, к чудотворному образу, уж она поклоны клала, клала, смотреть хорошо». Я и говорю старухе: вот, говорю, какое сокровище сыну вашему бог посылает. На что злющая, и та удивилась.

На другой день папенька был особенно гневен за то, что еще не написали сестрице Алене Гавриловне, хотя писать сбирался он один, что наконец и исполнил. Что было в письме его — никто не знал; он погнал и маменьку, когда она вошла в его «покой», где он занимался этим делом. Кончив, он позвал Леленьку.

— Ты небось, француженка, не умеешь двух строк сложить. Ты когда-нибудь писала к крестной матери,— а? не писала? Садись, пиши вот здесь. Перо-то как следует возьми, руками. Пиши!

Папенька диктовал, и все предлинными словами, было и «благоговение», и «благоусмотрение». Леленьке казалось, что она списывает из Кошанского; почему-то ей было весело, хотя и подумалось одну секунду, что тетушка примет ее за полоумную. Когда она подписалась покорной восприемной дочерью и племянницей, папенька собственноручно вывел на этих словах два кудрявые «ятя».

— Батюшка мой, да это все не то! — воскликнула маменька, слышавшая диктовку,— ведь тут о награждении ничего нет.

— Я писал! писал, слышишь? Я, отец, сам писал! — вскричал папенька,— не твое дело!

Он был так разгневан и расстроен, что испортил надпись на двух конвертах, приказал Леленьке надписать третий, наблюдая, чтоб это было сделано четко, без ошибок. Леленька постаралась, ей пять раз крикнули в уши и Васильевский остров, и проспект, и линию. Папенька сам унес письмо на почту.

Леленька все это скоро забыла, она не слышала слез маменьки, что там, в письме, может быть, бог весть чего напутано, а толком не сказано; что Алена ни с чем останется; что тетушка «съедет», может быть, на образе да на шляпке какой-нибудь, которую, шляпку, может быть, сама тетушка прежде таскала, а теперь только поновить даст. Леленька шила прилежно и думала, улыбаясь... Наконец, когда солнышко подошло к полдню, самый тепленький, здоровый час, она встала и сказала:

— Я, маменька, в сад пойду работать.

Пелагея Семеновна всходила на крыльцо, и не одна, а с торговкой и с большим узлом. Она и маменька уж несколько дней присматривались и приторговывались к шубе, крытой сатен-дублем. Маменька только махнула рукой на Леленьку.

Несколько дней прошли для Леленьки за работой в саду; она нашла местечко, с которого не сгоняло ее даже солнце, входившее в полдень. С этого местечка ей стоило поднять голову, чтоб видеть прямо окно Веретицына. Она стала примечать, в какое время оно отворялось и затворялось; раз она видела, как Веретицын обедал. Почему ей захотелось плакать, глядя на это, почему потом вдруг стало на себя досадно за такую глупость, и смешно, и стыдно опять до слез — бог знает. Ей наконец стало страшно, и, приди сейчас Веретицын к плетню, она бы убежала.

В одно утро на окне явились горшки с цветами. Леленька рассмотрела: волькамелия и гелиотроп.

«Должно быть, его любимые,— подумала она,— если б я знала... У Оленьки Беляевой давно цветут гелиотропы, когда он приходил сюда, я могла бы достать хоть веточку...»

Но цветы закрыли все окно, только изредка просовывалась худая рука с кружкой воды и поливала их осторожно, под корень. Леленька выдернула бы их с корнем.

В одно после обеда, когда все почивало в ее доме, когда, сколько она могла заметить, обыкновенно спал и сосед, Леленька вспомнила его книжку «Ромео» и сбегала за нею. Ей не хотелось читать сначала, и в середине были сцены, которые как-то не интересовали ее; но ей вдруг вспомнились вещи, которые показалось необходимо перечитать. Она отыскивала их нетерпеливо, стала читать, будто спеша, и ей самой казалось странно, что язык и слог, которые прежде так затрудняли, теперь были понятны без всякого труда, как-то переводились в уме, в сердце, не словами, но каким-то ощущением яснее и полнее слов. Когда Леленька подняла голову от книги, ее испугали ветки липы, которые темнели над нею; на окно она не осмелилась оглянуться и вдруг убежала из сада.

Она не возвращалась туда до следующего вечера, и то пошла с детьми, и то подальше, и не подошла к плетню.

Маменька уже несколько дней твердила, что надо насушить липового цвета на зиму и наконец решилась пойти за ним.

— Возьми платок, во что собрать, да стул, влезешь, наломаешь,— сказала она Леленьке.

Маменька теребила нижние ветки, между тем как Леленька, стоя на стуле, старалась не испортить хотя верхних. Сзади ее, в соседнем саду, стукнула калитка.

— Видишь ты, казначейшин брат-то не умер...— сказала маменька.— Умница, ты не свались мне на голову!

Леленька удержалась за ветки; оглянувшись, она увидела только, что Веретицын уходил из сада: стало быть, он был там давно и он уже гуляет; стало быть, он может прийти завтра, только не рано утром и не поздно вечером.

Она дождалась этого завтра. Веретицын два раза

обошел свой сад; она была в двух шагах от него, хотела позвать, заговорить, и оба раза, как он проходил близко, пряталась за плетень. Ей было страшно... Это повторилось и в следующие дни: Веретицын приходил, ложился в тени в то самое время, как Леленька сидела у себя в тени и шила. Так проходил час, два. Леленька видела его серое пальто, слышала шелест его книги, хотела кликнуть и все не могла. Ей было страшно... Она перестала спать, стала плакать по ночам.

Папенька по случаю двух праздников сряду уехал за город. Маменька собралась пешком на богомолье в недалекий монастырь; ее спутница была Пелагея Семеновна; воротиться должны были вечером, Леленька просилась с ними: у нее на душе лежало много обещаний, но, главное, она сама не знала, почему ей хотелось уйти куда-нибудь; ей было так тяжело, что не порадовала даже перспектива целого свободного дня; все было не то, чтоб немило, было бы даже горько до слез уйти на целый день, беспокоиться, как тут все будет без нее, но хотелось попробовать, не лучше ли будет от этих слез и беспокойства... Маменька отказала под очень дельным предлогом: кто ж присмотрит за детьми? и ушла в заутреню.

Леленька дала себе слово не смотреть за детьми, но дети сами, и не спрашивая ее, убежали к соседям, а трех меньших, тоже не спрашивая ее, работница увела в луга. Обедать не готовили: детям довольно было холодного, вчерашнего. Леленька заперла все окна, сени, калитку, взяла шитье и ушла в сад.

«Если кто стукнет в ворота, я услышу»,— сказала она себе и слушала.

В ворота ее дома не стукнул никто. Шаги соседа раздавались по дорожке, но недолго: он ушел в тень, лег и читал. Леленька сосчитала, что около трех недель не говорила с ним.

«И лучше: отвыкну,— подумала она.— Что привыкать к глупостям? Ведь в самом деле, нельзя жить так, что только и думать, как бы повиснуть на плетне да говорить бог знает что. Я ни к чему толком не приучаюсь — ни к хозяйству, ни к делу, а мне шестнадцатый год. Люди добрые ходят, встречаются, я не умею слова сказать... Училась — все перезабывать стала. Перед папенькой и маменькой... это надо на духу сказать. Все во мне как-то перевернулось. Разве так живут в мои годы? Вот другие барышни...»

И вдруг она сбросила с колен работу, смяла ее в комок, бросила оземь и заплакала горько, почти с криком.

— Что ж это за жизнь? Что ж это за хозяйство — брань, пустяки, возня целый день! Какие это люди — Пелагея Семеновна, Фарфоров этот, дурак? Ученье — долбленье без толку? Папенька, маменька... Господи, да кто же бы слово сказал, если б не он, если б не он...

Леленька побежала к плетню, она не успела выглянуть из-за него, как в саду у соседа раздалось восклицание:

— Александр Иваныч, где вы?

Веретицын выскочил из-за кустов, очень проворно для человека недавно умиравшего, и бросился навстречу той, которая входила. Это была молодая особа в белом платье с голубыми и розовыми цветочками; Леленька рассмотрела как-то все разом. Платье, и просто и пышно, волновалось особенно красиво; соломенная шляпка, тоже очень простая, но круглая и широкая, каких тогда и не видали в N. Гостья будто осветила сад; от нее все кругом стало будто лучше.

— Софья Александровна, как это вы здесь одни? — спросил Веретицын.

— Из деревни, одна,— отвечала она.

Леленька в жизнь свою не слышала ничего милее этого голоса: что-то звонкое, нежное, ласковое, не то пение птицы, не то голос ребенка.

— Приехала в город покупать разные разности для работы, а к знакомым — только к вам, узнать, что вы. Вашей сестры, говорят, дома нет, вы — в саду, я просила проводить меня в сад. Ну, что же? что с вами?

— Ничего, теперь здоров.

— Вы так напугали... мы ждали вас... Постойте, вот вам деревенский гостинец.

Она осторожно развернула большой сверток бумаги, который держала, и вынула из него две большие свежие розы.

— Первые. Я так берегла, когда везла,— боялась смять.

Веретицын смял их, целуя ее руки. Из-под полей шляпы были видны ее рот и щеки, свежее и восхитительнее цветов.

— Жарко! — сказала она, снимая шляпку.— Сядемте где-нибудь.

На солнце волосы ее отливали розовым золотом, такой

же золотой отлив был в ее карих, почти черных глазах, когда она подняла их, оглядываясь кругом.

Веретицын тоже оглянулся, но с досадой, на свою скамейку.

— Солнце,— сказал он,— где сесть?

— А вот где,— сказала она, садясь на траву недалеко от плетня,— достанет здесь тени на полчаса?

— И больше. Немного удобств я предлагаю вам в моих... и даже не в моих владениях.

— Послушайте, когда же вы к нам? Маменька велела звать вас непременно.

— Никогда, я думаю.

— Почему?

— Не пускают! — отвечал Веретицын.

— Как же это? На прошлой неделе... На прошлой неделе были именины маменьки, у нас был кое-кто из города, в том числе Ибраев. Я не знала, что вы с ним знакомы. Вы дружны?

— Бог миловал,— отвечал Веретицын.

— Он спросил о вас и жалел, что вас нет. Я сказала, что вы больны. Он этого не знал. Он был уверен, что вам дали отпуск, сам о нем просил.

— То есть он вам солгал, чтоб заодно выказать и чувствительность своего сердца, и свободу своих мнений. Вот где неудобно этим кокетничать, так он поет другое. Этот друг и либерал наговорил на меня моему начальству такие страхи, что начальство, полагаясь на слово такого человека, вообразило, что позволить мне на две недели выехать из города — все равно что спустить с цепи бешеную собаку... Я его не пускаю к себе на порог, этого друга. Он, вероятно, без свидетелей говорил обо мне?

Софья не отвечала.

— Вы меня извините,— продолжал через минуту Веретицын,— я так глупо привык говорить вам все, что думаю, что и теперь выговорился, может быть, некстати.

— Что такое?

— Да вот о Ибраеве. Может быть, следовало и помолчать.

— Почему?

— Так... Вы, может быть, понимаете его иначе; человек он порядочный, из общества... А я уж до того одичал, одурел, сужу о людях по их отношениям лично ко мне:

это так ограниченно, так жалко, мелко... Пожалуйста, извините. Я беру назад, если что сказал.

— Возьмите назад вот то, последнее, что вы сейчас сказали,— тихо возразила Софья,— вам прощается потому только, что вы недавно были больны и всегда раздражены.

— То-то я и думаю, раздражен! — прервал Веретицын.— Из чего раздражен? Право-то где — раздражаться? Ведь, в самом деле, я не непризнанный великий человек. В тысяча восемьсот пятьдесят втором году по рождестве Христовом нет такого урожая на великих людей, чтоб и на мою долю выпало величие. Положение мое, конечно, не совсем приятное, но я не заслужил таких почестей несчастья; я страдаю много за немногое,— так ли? Вы ведь знаете мою историю, Софья Александровна?

— Положим, так,— сказала она,— но...

— Но, позвольте! — стало быть, если я не непризнанное величие, то ничего больше, как нашумевшая посредственность. Следовательно, такие люди, как господин Ибраев и компания, совершенно правы, не знаясь со мною, отказываясь от меня: я даже не интересен, я глуп для них; я попался в пустяках, как мелкий воришка. Они избрали себе путь и идут по нем доблестно, с их точки зрения. Я поступил, как мне показалось, доблестно с моей точки зрения, прогнал от себя Ибраева; но прав ли я был в самом деле...

— Вы виноваты перед самим собой,— прервала Софья.

— Это новость. Сделайте милость, объясните.

— Я вам почти сказала... Вы раздражаетесь за мелочи.

— Я ведь то же сказал,— возразил Веретицын,— вспыхнув и засмеявшись,— я человек мелкий, так, заодно, срываю сердце, раздражаюсь мелочами.

— Не сердитесь, ради бога,— прервала она кротко,— скажите правду, признайтесь: вы горды, вы ваше достоинство понимаете, как же позволять себе — извините! — унижаться до злости на какого-нибудь Ибраева, на человека, которого вы презираете? За что себя портить? стоит ли волноваться? Полноте! На вас смотреть тяжело: всякую мелочь к сердцу! Возьмитесь за жизнь полегче.

— Дайте жизнь полегче! — прервал Веретицын.— В мелочах измельчаешь поневоле. Разве один Ибраев,— извините, Софья Александровна... рассказывать, что я вы-

ношу по мелочи... это вслух не говорится, пощадите меня! Вот вы в гостях у меня, а на земле сидите; если б не ваши книги, я разучился бы грамоте... Если б я был из таких, что пишут уложения... такие вот не мельчают ни на понтонах, ни на каторге, а я — с меня довольно и этого! Если это когда-нибудь кончится, я знаю, что выйду не человеком, идиотом, животным.

— Перестаньте! — возразила Софья,— ведь это отчаяние...

— А отчаяние — смертный грех,— продолжал он, засмеявшись.— Ну, вы так добры, как-нибудь отмолите за меня. «Помяни грехи мои в молитвах...» Я знаю, что я смешон — это уж моя такая судьба: и несчастье глупое, и жалобы мелочные, и выход из всего — ничтожество. Я себя так и готовлю. Вот подождите, оперюсь: за благонадежное поведение и способности сделают меня помощником столоначальника, и так далее, далее, по этой карьере; я, человек напуганный, сумею кланяться пониже; узнал цену медного гроша — выучусь воровать, и все пойдет отлично! Книжки сгубили, ну, их в сторону! преферанс с сподвижниками по службе, по праздникам рекреации в трактире...

— Александр Иваныч, опомнитесь,— прервала Софья,— вы ли это?

— Это я в будущем,— отвечал он, смеясь, и отвернулся, разглядывая высокий куст травы, подле которого сидел.

— Помилуйте! — сказала она чрез минуту, ласково и вместе с смущением, так что задрожал ее голос.— Нехорошо! за что вы себя напрасно мучите? ко всему горю — еще это!

Веретицын не оглядывался.

— Послушайте,— продолжала Софья, слегка дотрогиваясь до его рукава своими тоненькими пальчиками,— ведь вы на себя бог знает что говорите? Ведь это неправда, и вы знаете, что неправда, так зачем же? Разве вам легче? ведь вам самому хуже от таких слов.

— Все равно,— тихо выговорил Веретицын.

— Нет, не все равно,— возразила она.

Он обернулся, сильно взял ее руку и стал целовать ее. Софья поцеловала его в голову; у нее навернулись слезы.

— Право, ведь я не мораль вам читаю,— сказала она

тихо,— но что ж хорошего? Вы как-нибудь потерпите, подождите.

— Чего ждать? — прервал он, еще не поднимая лица от ее руки.— Чтоб вы меня полюбили?

Она не ахнула, не шевельнулась, только взглянула на него с испугом. Их взгляды встретились.

— Я вас люблю, я вас два года люблю,— сказал твердо Веретицын,— ведь вы меня не полюбите? Никогда?

Софья молчала. Он смотрел ей в глаза.

— Вот тогда было бы для чего терпеть, было бы для чего ждать... но ведь вы меня не полюбите?

Она все молчала. Он был бледен как смерть, задыхался, но продолжал твердо и все глядя на нее:

— Я постарался бы остаться порядочным человеком, не загрубеть, не оглупеть; я бы сберегал силы, чтоб быть в состоянии заработывать честный кусок хлеба: вам, я знаю, такого куска довольно... я бы не морил себя физически, потому что и до этого доходит.

— Я буду любить вас,— выговорила она, побледнев тоже.

— Из сострадания-то? из самоотвержения? — вскричал он с своим странным смехом.— Покорно вас благодарю, не надо!

— Почему же вы думаете...— начала она.

— Да ведь вы лгать не умеете,— прервал Веретицын,— я ведь целый час смотрю вам в глаза! Полноте, не принуждайте себя, не надо: я самоотвержения боюсь; я человек дурной,— я за него заплатить не сумею, я за него благодарить не умею! Пожалуйста, не воображайте, что ваша доброта обязывает вас на жертву: я уж понял, что это жертва — я ее не прошу, я знаю, что вы — совершенство... от совершенства нам, грешным, очень тяжело!

Она встала.

— Послушайте...

— Что слушать! — вскричал Веретицын.— Ведь я вас знаю! За что же я вас люблю, как не за эту доброту, за это совершенство, за эту правду? Ну, скажите правду, прямо: вы меня не любите?

— Нет,— отвечала она, наклоняя голову и со слезами.

— Вот так, прекрасно! И я не буду больше напрасно добиваться: насильно мил не будешь. Чего нет, того нет... Простите все, что я наговорил, и прощайте: вы, кажется, уж хотите уйти?

Софья обернулась вдруг и протянула ему руки.

— Если б вы знали,— сказала она в слезах,— я не могу... мне так больно.

— Не принуждайте себя: ведь вы не виноваты!— отвечал Веретицын и засмеялся.

— А вы жестоки! — сказала она, рыдая.

— Так тем простительнее оставить меня на произвол судьбы,— возразил он.

— Послушайте, приходите к нам, приезжайте к нам! Все, что в моих силах, все, что может вас утешить по-прежнему...

— Что же мне дразнить себя, Софья Александровна: меня может утешить только то, что не в ваших силах. Не беспокойтесь обо мне.

— Но что же это будет?

— А вы понимаете, что будет невесело? Ничего. Будет вот этот огород, вот этот дом, губернское правление... Авось ненадолго!

— Я вас люблю! — вскричала она.

— Не лгите,— возразил он.

Она зажала руками лицо и побежала к калитке. Веретицын не трогался с места.

— Если б вы говорили правду,— сказал он ей вслед, смеясь и громко,— вы бы не ушли отсюда!

XII

Леленька встала, держась за плетень, у которого сидела на земле; у нее подгибались колени, стучало сердце, голова была сжата; ей было холодно.

«Я точно угорела»,— сказала она себе.

Ее губы, которые шевельнулись, чтоб выговорить это, сжались вдруг судорожно; она вскрикнула и побежала в дом.

Два часа металась она на своей постельке и рыдала не умолкая. Работница воротилась, не достучалась и была принуждена перелезть через забор, чтоб отворить калитку и впустить детей, которых собрала и привела обедать. Увидя слезы барышни, работница предположила, что барышня, оставшись одна, чего-нибудь испугалась, и потому наказала детям, когда воротится папенька с маменькой, не говорить им, что сестрица плакала: достанется, зачем все уходили и дом стоял пустой. Резон был дельный, и детям, кроме того, было мало дела до слез старшей

сестры. Леленька встала, слабая, как больная, к вечеру убрала, что было нужно, чтоб маменька, воротясь, не сердилась, сходила в сад, отыскала свою работу и села с нею в комнате у окна. Маменька воротилась с Пелагеей Семеновной; нанесли множество просвир; по случаю того, что папеньки не было дома, Пелагея Семеновна осталась ночевать; очень долго пили чай, ужинали, разговаривали, несмотря на усталость; эта усталость дала знать о себе часов в десять вечера храпением, которое раздалось по всему дому.

Леленька легла и опять встала; все спало, конечно, только в их доме и переулке. Вдали слышался еще шум: гулявшие расходились по домам, город еще не затих. Нежный лунный свет сквозил в щели ставень. Леленька оделась в полутемноте, пробралась мимо сонных детей, отворила дверь на крыльцо и вышла. Собака заворчала и, узнав ее, улеглась спать.

«Уйду куда-нибудь...» — сказала Леленька.

Она оглядывалась на пустой, узенький двор, на запертую калитку. Месяц светил бледно, как всегда в летние ночи; в воздухе ничто не шелохнулось; понемногу затихал шум вдали; Леленьке становилось страшно: никогда в жизнь свою не была она так одна, без спроса, ночью.

«Уйду куда-нибудь...— повторила она, вздрагивая и будто спрашивая себя, достанет ли у нее на это смелости.— Только куда уйти?»

Она зажала себе руками лицо, и вдруг ей вспомнилось точно такое движение красавицы, которую она видела поутру, которая ушла точно в таких же слезах... «Есть о чем ей плакать! Вот попробовала бы вынесла...»

Леленька хотела метаться, рыдать, кричать, не понимая, что делает; она побежала в сад,— дорога знакомая.

В голове ее закружились, одна за другой, самые странные мысли: ей хотелось умереть; ей хотелось, чтоб умер кто-нибудь, чтоб вот сейчас все кончилось, потому что так жить нельзя... Она бежала. Бог знает почему, вдруг вспомнились ей,— а эти слова еще так ей нравились: «Любовь летит к предмету любви, как школьник бежит от книги...»

Проклятая книга, в которой это написано! Эта книга, смятая, сложенная вчетверо (так научили!), была тут, в кармане, привыкла лежать в нем... Леленька выхватила ее и, разбежавшись, бросила через плетень в соседний

сад. Она точно оторвала свое сердце и бросила. Листы тетрадки едва зашелестели, легко падая на траву. Леленька еще одну минуту взглянула, куда она упала, и схватилась за плетень, чтобы не упасть самой; Веретицын ходил по своей дорожке, потупя голову, не оглянувшись на шорох.

— Все по ней тоскует! — сказала Леленька, глядя ему вслед, между тем как его фигура, удаляясь, сглаживалась в полутьме.— Все по ней... А спросил бы, тут легко ли?.. Кто это все наделал? Если б не он, если б он не говорил, не мутил... Вот же ему! Хорошо, что бог его наказал...

Ее слезы так и скатывались, одна за другою.

— Пусть на себе испытает, каково, когда все отнимут! Все немило, вся жизнь немила,— пусть и ему то же! Он всему смеется,— вот пусть эта красавица над ним посмеется! Бывало... бывало, так всю душу перевернет, как что скажет... Зачем он говорил? На что ему было доводить бедную такую, заброшенную девочку до горя? Ну, разговаривал бы с своими красавицами! Какое ему дело, знаю я Кошанского или нет? разве... Господи боже мой! разве веселее ему стало, как он доказал, что я ничего не знаю? Характер мой испортил... ведь он должен был понимать, что всякое его слово все равно что нож по сердцу, что после него я уж ни на кого смотреть не могу... кажется, умный человек, должен был понять. Нужно вот было... И пусть его бог наказывает, пусть ему еще хуже...

Она рыдала и вдруг, заметив, что сосед остановился и как будто прислушивался, стремглав убежала из сада домой и осторожно добралась до своей постели. Там, в темноте, в жаркой комнате, ей не спалось и пришла другая забота: что ж наделала она, бросив книжку? Ну если он ее не найдет, собаки изорвут, а он пришлет за ней как-нибудь или сам спросит... Сам-то не спросит, он в сад глаз не покажет, ну, пришлет; папенька спросит, от кого...

Забота начала принимать характер несбыточного; усталость и поздний час сделали свое. Леленька заснула.

Следующий день был тот другой праздник, которому семейство было обязано отсутствием папеньки. Отсутствие папеньки действовало тоже как-то празднично, успокоительно. Пелагея Семеновна осталась на весь день. Был

Петров пост, но по случаю отсутствия папеньки и праздника маменька рано утром сходила на базар за рыбой. Пока маменька занималась на кухне, Пелагея Семеновна изъявила желание побеседовать с дочкой, экзаменовала ее в хозяйстве.

— А вы, мой ангел, умеете, как маменька, что приготовить?

Леленька могла что умела и то больше по теории; на практике мать никогда не допускала ее ни к чему притронуться, и теперь маменька, услышав вопрос, откликнулась:

— И, матушка! пустить эту модницу, да она того настряпает, что собака есть не станет.

— Как есть барышня! — возразила, приятно улыбаясь, Пелагея Семеновна.— Ну, а на музыке вы, мой ангел, занимаетесь? Вы сыграйте полечку, я послушаю. Обедни-то уж, никак, отошли: можно.

Леленька стала играть, собака завыла.

— Что это она, пес! — сказала Пелагея Семеновна и открыла окошко во двор, утешаясь бешенством собаки.— Вправду пес какой у вас блажной!

Она любовалась на него и слушала его во все время польки.

— А по-французскому вы, мой ангел, читаете? Ну-ка почитайте, я послушаю; я хоть и не пойму, а все лестно.

— Зачем же, если не понимаете, Пелагея Семеновна?..

— Ну, рассуждай у меня! — отозвалась маменька.

— Да у меня и книги нет...

— Как нет! врешь! какую же ты все читала? Сейчас читай!

У Леленьки сдавило горло, уши горели от злости, от тоски; она сейчас бы, сейчас бы убежала куда-нибудь, сил нет! Хотелось не плакать, а кричать, рвать на себе волосы.

— Вы маменьку не беспокойте,— сказала ей шепотом Пелагея Семеновна,— эх, характер-то у вас какой! Отвыкайте вы, мой ангел, отвыкайте, сократите себя! Как в семье да с мужем жить придется... Ведь мужу под руку не попадайся,— ничто возьмешь. От папеньки с маменькой принять легко, а от мужа... ох, куда тяжело! Сама знаю... Вы почитайте так строчки три, красавица.

Леленька стала читать вслух французскую грам-

матику, слезы крупным градом сыпались на книжку. Пелагея Семеновна покачивала головой по направлению к кухне и забавлялась иностранными словами.

— Видишь, как катает, умница! — сказала она.— Ну, вот и будет, раскрасавица моя, потешились. Только покоряться, покоряться надо,— прибавила она шепотом.— А теперь мы с вами в садик, во зеленый сад пойдем, грусть-тоску разгуляем.

— Я не пойду в сад,— возразила Леленька.

Пелагея Семеновна увела ее за руку.

— Вишенья-то, вишенья что у вас нынешний год будет! — говорила она, таща за собой девочку.— Запирать сад надо, родная моя; вы тогда хоть на рыскало пса вашего тут привяжите, как поспевать станут. Забор-то у вас какой; вот тут как раз казначейские перелезут, оборвут. И, головорезы, стоят ваших ребят!.. Посмотреть к ним. Вот какой у вас сосед-кавалер прогуливается. Уж нечего сказать, распрекрасный! Вы, я думаю, ангел мой, никогда его и не видали, брата-то казначейшина! Вон он, из-под дальки, никак, выглядывает. И смотреть на него нечего. Вам такого ли, душа моя, надобно? Вам надо, чтобы был кровь с молоком, хороший, а это... и, прости господи! посмотришь-то, согрешишь, вчера только богу молиться ходила, на «деяниях» таких-то пишут... У вас там, никак, красавица, горох сахарный посажен, гряды я видела? Да, никак, и поспевать стал? Хорошо когда позабавиться...

Пелагея Семеновна пробиралась к грядам; маменька позвала ее кушать пирог и приказала Алене оборвать и принести, что поспело этого гороху.

Леленька осталась одна и стояла опустя голову. Вокруг нее было тихо, только пела какая-то птичка, но и она замолчала, и все явственнее стали слышаться шаги по соседней дорожке...

«Да что ж я? — вдруг сказала себе Леленька.— Мне скучно, да ведь и ему скучно. Почему же мне и не взглянуть на него?»

Она пошла к плетню все тише и робче, по мере того как подходила, но подошла, однако. Веретицын подходил тоже. Леленька испугалась: у него в руках был «Ромео», и убежать было уже невозможно.

— Здравствуйте,— сказал Веретицын своим обыкновенным шутливым тоном.— Что, вы забросили это по ошибке, вместо Кошанского?

— Упала...— выговорила Леленька и как-то невольно протянула руку за книгой.

— За десять шагов и в сторону?

Веретицын тихо улыбался и качал головою.

«Пусть скажет *не лгите*, как вчера, той...» — подумала Леленька в эту секунду...

Веретицын, вероятно, вспомнил то же.

— Нужна она вам? — спросил он серьезно и резко.

— Нет,— отвечала тоже резко Леленька.

— Не понравилось? Принесть вам Бову-королевича?

— Вы все надо мной смеетесь, все смеетесь, с первого дня... Я уж не знаю за что...— сказала она, вдруг огорчаясь до слез, так что прошла вся досада.

— Виноват,— отвечал Веретицын и повернулся, чтоб идти.

— Нет, послушайте, послушайте,— повторила она, протянув даже руку, чтоб остановить его.— Что вы со мной сделали, со мной... до чего вы меня довели?..

— Вас поймали с этой книгой и в угол поставили? — спросил он.

— Господи боже мой! да выслушайте толком хоть одну минуту! Я, по вашей милости, стала думать, стала понимать такие ужасные вещи... мне и дом, и отец, и мать... Ведь я несчастная! Если б вы, вы по крайней мере... если б от вас я видела... а вы...

— Леленька, мне и без вас скучно,— полноте блажить,— прервал Веретицын.

— А, слава богу, что вам скучно,— вскричала она, зарыдав.

— Ну вот и прекрасно,— отвечал он,— так проживете. До свидания.

Он ушел из сада, стукнув калиткой. Леленька вспомнила стук молотка, который она слышала один раз в жизни, быв на похоронах. Почему ей это вспомнилось, что делалось с ней — она не знала; она хотела уйти — не могла, села на землю, ничего не помня. Мать пришла за ней и, застав эти слезы, сама испугалась, сама повела ее в комнаты.

— Ты чего? да что с тобой, Алена,— а? Аленушка?

Пелагея Семеновна заметила шепотом маменьке, что, должно быть, барышня узнала о женихе, услышала как-нибудь, и оттого — дело девичье — убивается.

— И правда,— сказала маменька,— дурочка ты моя, ты поди сюда... ну поди.

Леленька вышла из-за перегородки, где лежала.

— Ты о Викторе Мартыныче слышала, что ли?

— Нечего, голубчик, плакать, как есть красавец мужчина,— примолвила гостья.

— И человек прекраснейший, с достатком; поди барыней жить будешь. Это надо господа бога благодарить, что такого сожителя посылает. Сама-то ты что такое? Ведь в люди показать тебя совестно: это над тобой милосердие божие. Чего реветь? Рано еще начала; дай вот успеньев день пройдет, чин господин Фарфоров получит, а тебе шестнадцать сравняется, вот тогда хоть целый день кричи. А ты хоть кричи не кричи, а я все-таки отдам. Я вот отцу скажу, дай еще! коли ты сейчас у меня, духом, не замолчишь. Отец не пошутит; ты его еще не знаешь.

— А вот к тому сроку крестная маменька из Санкт-Петербурга бурдесуа[1] пришлет: мы тогда платье подвенечное сделаем,— ффа! с оборками,— вступилась гостья.

— Вы, маменька, можете меня убить на месте, но я не пойду за Фарфорова! — выговорила Леленька очень твердо...

XIII

Этому прошло восемь лет.

В половине последнего августа, в один светлый, теплый день, какие случаются в Петербурге пред началом осени, в залах Эрмитажа было особенно много посетителей. Нарядные дамы, удивляющие шириной своих кринолин, спеленутые в круглые мантильи, ничему не удивляющиеся девицы, стянутые до неподвижности в модных казаках и подающие признак жизни только довольно негармоничным стуком каблуков по мрамору и паркету; блестящие и довольно шумные юноши, спутники этих дам и девиц; дамы менее нарядные, но с заметным требованием прав на знание и понимание, с громким восторгом пред именами; при них девицы, несколько грустные, и дети, несколько запуганные, и почти всегда их спутник, объясняющий предметы искусства с видом знатока, с уверенностью авторитета, очень пространно и не всегда понятно; провинциалы и провинциалки с непритворным умилением и запоздалыми туалетами; простые люди — мещане, лакеи, мастеровые, переходящие от картины к картине и от статуи к ста-

[1] шелковое тряпье (от *франц.* bourre de soie).

туе, непременно всей своей компанией в пять человек, нераздельно, довольные объяснением камер-лакея; господа очень порядочные и очень серьезные, вдвоем, редко втроем, неторопливые, смотрящие долго на что-нибудь одно, возвращающиеся из дальних зал к тому, что обратило на себя их внимание, и говорящие между собою так тихо, так оживленно и с вида так дельно, что невольно заставляют оглядываться художников, которые с своими мольбертами, табуретами и хозяйствами кистей и красок поместились около стен и прилежно трудятся, копируя великие произведения. Художникам нередко беда от посетителей; мольберт перед картиной вызывает любопытство даже самых равнодушных, в особенности дам; все непременно хотят видеть то, на что, не будь мольберта, может быть, и не взглянули бы. Учтивость требует посторониться; если можно обойтись без этого, приходится выслушивать над своей головой замечания, толки, подчас и забавные, всегда надоевшие... Но вместе — и бродящие и толкующие посетители, и трудящиеся художники — в светлый день оживляют эти прелестные залы; чудеса искусства снисходительно смотрят с темно-красных стен на посвященных и непосвященных; красота равно сияет для всех своими вечными образами как нечто высшее, прощая и слово профана, и заметку умника, и отвагу ученика-копировщика.

В испанской зале бродил молодой человек; он был совсем один и, казалось, не встречал знакомых, потому что не заговорил ни с кем, обойдя весь Эрмитаж... Становилось уже поздно, посетителей было все меньше; они уходили или в галереи драгоценностей, или вниз, к статуям. Скоро в испанской зале остались только камер-лакеи у двери, два-три художника за работой да молодой человек; в тишине слышались шаги тех, кто проходил рядом по коридору, легкий шорох упавшей кисти, шуршанье костяного ножа о палитру; солнце особенно мягко светило сквозь парусину в стеклянный потолок и рассыпало искры на золотые рамы, выдавало бледные лица на темных полотнах. Молодой человек прислонился к вазе из lapis lazuri в средине залы, выбрав место, с которого можно было лучше видеть маленького «Иоанна с агнцем» Мурильо, картину, вечно закрытую станками копирующих. И теперь против нее стоял станок, но, к удовольствию зрителя, художника не было. Молодой человек переносил свой взгляд с этой картины на другую, почти рядом, тоже Мурильо: «Маленький Христос и маленький

Иоанн», протягивающие друг другу ручки, чтоб обняться. Видно было, что он сравнивает и из двух любимых картин выбирает более любимую. Он, казалось, решился и перешел несколько шагов налево, чтоб видеть ближе последнюю; против нее стоял тоже станок, но, к счастью, не закрывал ее. Божественные лица детей с их добротой, нежностью, лаской, кругленькие, веселые головки ангелов в облаке, резвый ягненок в углу картины вызывали уже не восторг, но более — чувство какой-то примиряющей радости на лицо молодого человека. Он смотрел, не замечая, что на него тоже смотрят, и почти так же внимательно. За мольбертом, пред картиной, сидела художница; она уже несколько раз оглядывалась на молодого человека, пока он проходил, стоял у вазы; но тут, когда, став почти за ее плечами, он забылся, созерцая Мурильо, она обернулась совсем и смотрела ему в лицо.

— Monsieur Веретицын, если не ошибаюсь? — сказала она.

Он отвел глаза от картины.

— Madame... mademoiselle...

— Леленька,— досказала она и протянула руку.

— Вы! — почти вскричал он.

— Не забыли?

— Помню, хорошо помню! но... не может быть... Как же это вы здесь?..

— Как видите. Сядьте, пока я приберу палитру.

Она показывала на бархатный диван под картиной.

— Это вы!..— повторил изумленный Веретицын.— Но как же это случилось?.. Но вы почти не переменились... Сколько лет...

— Восемь лет. Я восемь лет живу у тетки, здесь.

— В Петербурге?, Я сам уже два года здесь.

— Что делаете?

— Служу, учу юношество.

— Прекрасно. А я учусь.

— И вот какие успехи.

— Да, этого, конечно, я не могла от себя ожидать там, в N. Как вы оттуда избавились?

— Наконец выпустили, с год добивался места — наконец нашел. Но вам как вздумалось переселиться?

— Я думаю,— возразила она, улыбнувшись,— что N-ский воздух всякому нездоров, и всякий для себя должен стараться из него вырваться. Я по крайней мере

дала себе слово никогда больше туда не заглядывать.

Ее глаза засветились и напомнили Веретицыну прежнюю Леленьку, ее детский гнев, их свидания через плетень. Леленька в самом деле мало выросла, мало переменилась лицом, ее, скорее, изменили наряд и грациозная прическа; но Веретицыну показалось неловко сказать прямо, что он подумал на ее последние слова, и он спросил только:

— А ваш отец и мать?

— Живы, там. Вы женаты, Александр Иванович?

— Нет. Вы — замужем, Елена?..

— Васильевна. Нет. Как вы располагаете вашим днем сегодня? свободны вы?

— До вечера. Вечером у меня публичная лекция.

— О, в какой вы чести! Как же я не знала? Где это?

— В одном училище, на Васильевском Острову.

— А я живу на Васильевском Острову; как же я не знала? Стало быть, недавно?

— Я начинаю сегодня.

— Теперь мне пора домой. Пойдемте вместе; обедайте у нас и вечером идите на вашу лекцию. Хотите?

— Очень рад.

Леленька заперла свой ящик с красками, взглянула на Веретицына и улыбнулась.

— Я много переменился, Елена Васильевна?

— Постарели. Пойдемте... Ох, вот это скучно нести!

Она подозвала камер-лакея и поручила ему спрятать до завтра склянки с маслом.

— Вы здесь привыкли, будто дома,— заметил Веретицын.

— Я целый год всякий день здесь.

— Изучаете?

— Да, и копирую на заказ. Я работаю,— договорила она, пока Веретицын на прощанье заглянул на доменикиновского «Амура» в дверях итальянской залы у выхода в коридор.

— Подержите, я пойду за шляпкой,— сказала ему Леленька, отдав ему ящик, когда они спустились с лестницы, и ушла в боковую комнату.

Веретицын, стоя в сенях, смотрел на великолепную белую мраморную лестницу с колоннадой вверху; в отворенную верхнюю дверь виднелась красная стена итальянской залы и «Мадонна» Андреа дель-Сарто. Печальная, она смотрит прямо, между тем как младенец отвернулся,

привстал на ее коленях; ее взгляд провожает тех, кто уходит...

— Вы любите искусство? — сказала, воротясь, Леленька.— Почему же вы не бываете здесь чаще?

— Некогда.

— Весело, когда много дела! — продолжала она, сбегая с подъезда.— Какое прелестное время! Выйдем скорее на набережную, направо.

Веретицын шел молча. Чем больше он смотрел на Леленьку, тем больше его удивляла — не неожиданность встречи, не резкая противоположность с прошедшим, которое в эти минуты так ясно вспомнилось ему, много простившему в прошедшем: его удивляла перемена этой девушки, ловкой, смелой, уверенной в себе.

«Вот как вырастают!» — подумал он, невольно наклоняя голову.

Леленька облокотилась на гранит и смотрела в воду; Веретицын сделал то же.

— Так-то, бывало, у плетня,— сказал он.

— Да; но только мы никогда не стояли рядом! — возразила она и засмеялась.— Как давно, это ужас! что за дикое время! Помните, вы часто бывали не в духе. Этого теперь не бывает?

— Почему ж не быть?

— Теперь, когда у вас занятия, работа, когда вы никому не обязаны, когда вы полезны, самостоятельны,— я этого не понимаю!

— Что ж делать! а так есть.

— Это почему же?

— Мне тридцать четыре, а не двадцать четыре года, Елена Васильевна.

— Не резон,— возразила она, покачав головой.

— Нет, резон. В молодости свернуло неожиданное, незаслуженное несчастье и томило семь лет. Легко сказать: отнять у человека семь лет! Лучшие годы жизни без дела, без книг. Бог знает в каком обществе, без права думать, не только говорить! Надо испытать, каково это, чтоб судить, легко ли, можно ли оправиться от этого... Вы сами сказали: дикое время! Я, должно быть, еще из крепких, потому что вынес из него только желчь да хандру.

Она все качала головой и улыбалась.

— И в правильно прожитой жизни,— продолжал Веретицын,— если с половины оглянуться на молодость,

наберется великий недочет в осуществлении разных надежд, идеалов, а уж в такой-то жизни...

Он остановился.

— Вы смеетесь, Елена Васильевна?

— Я этого окончательно не понимаю,— возразила она, подняв снова на руки свой тяжелый ящик,— не беспокойтесь, я донесу: я не люблю одолжаться другими, когда могу сделать сама...

— Старое правило говорит: «не делай сам того, что можешь заставить сделать других»,— возразил, смеясь, Веретицын,— отдайте мне ящик.

— О, ваши старые правила! — прервала она уже без шутки и с особенным увлечением.— От них все наше зло, все несчастье нашего поколения! Вы их поддерживали, вы им покорялись, вы довели до того, что мы принуждены биться, страдать, чтоб вырваться из-под этого гнета и выработать себе какую-нибудь возможность жить полегче!.. Вы говорите, что вам было тяжело и теперь тяжело, что вы люди сломанные. А зачем вы допустили сломать себя? зачем вы не отказались от ваших предрассудков, не победили вашей слабости, не трудились энергичнее? Вам скучно, у вас желчь, хандра, потому что вам все жаль чего-то, вспоминается что-то, хотелось бы сберечь что-нибудь старое, к чему вы привыкли! Вы все тосковали да мечтали и обленились до невозможности трудиться...

— «Ты все пела, это дело!» — прервал Веретицын,— и молодое поколение посоветует нам плясать?

— Молодое поколение не эгоисты,— отвечала она, смутясь и обидясь, как прежняя Леленька.

— Да ведь и старое не все только тосковало да мечтало,— возразил Веретицын.— Хорошо вам, свежим деревьям, но не браните надломленных, которым больно во всякую погоду... Мы философствуем, Елена Васильевна.

— И даже пустились в поэзию,— прибавила она.

— О, время! у плетня этого не бывало: вы наслаждались, кажется, Херасковым...

— А, что за пустяки! Не может быть!.. Нет, знаете, я очень рада, что встретила вас; я вас помню, но того времени я не хочу вспоминать. Перед моими глазами представляется столько нелепости... Прошло — и кончено! я живу настоящим.

— Между прочим, в настоящем, скажите мне о вашей тетушке: вы ведете меня знакомить.

— Моя тетушка добрая и умная женщина, была замужем за умным, хорошо образованным человеком, приехала с ним сюда и для него постаралась образоваться. Я ставлю ей это в огромную заслугу. Она приехала за мной в N и взяла меня к себе в то же лето, в которое мы с вами видались. В доме, где она живет, есть хороший пансион; она посылала меня учиться; у меня заметили способность к живописи; я стала ходить в рисовальную школу — и вот, видите, пишу в Эрмитаже. Я знаю три иностранные языка, перевожу и делаю компиляции. Этим я зарабатываю столько, что, могу сказать, я не лишняя тягость в доме: моя тетка небогата. Наше общество — профессора пансиона, где я училась, их семейства, художники, все люди занятые, и потому всякому дороги свободные часы и все стараются провести их приятно. Раз в неделю собираются у меня. Приходите.

Веретицын поблагодарил поклоном.

— Так вам живется легко? — спросил он.

— Еще бы! Я свободна! — отвечала Леленька.— Я никому ничем не обязана. Тетка, правда, дала мне воспитание, но, имея средства, она должна была это сделать, и я имела право принять. Но с тех пор, как я могу трудиться, я тружусь для себя: я ей ничего не стою. Я заработываю даже свои удовольствия: например, я два года абонировалась на одно место в галерее, в оперу; на нынешний год тетка вздумала сделать мне сюрприз и заплатила за меня. Я ничего ей не сказала, но продала свою копию с Греза и взяла на другой абонемент для нее и для себя два места в ложе у знакомых, под предлогом, что хочу слушать оперу два раза. Она, однако, поняла, что не должна стеснять меня, даже думая сделать мне приятное... Вы ходите в оперу?

— Редко. Некогда.

— Если хорошенько рассчесть время, то его достанет,— продолжала Леленька.— Вот и наша квартира. Вы запомнили дорогу?

Она вошла и начала подниматься очень высоко по лестнице одного из высочайших домов Среднего проспекта. Веретицын шел за нею. Этого восхождения нельзя было не запомнить, и Веретицыну пришло на мысль, что Леленьке лучше бы следовало сказать: «ми-

лости просим» и тем попросить хотя терпения у гостя.

Леленька позвонила. Горничная отворила им и взяла пальто Веретицына.

— Елены Гавриловны дома нет,— сказала она.

— Давно?

— Давно. Она сказала, что обедает в гостях, а вечером в театре, и чтоб вы приехали в театр, если угодно; там она оставила записку.

— Мне не угодно,— отвечала Леленька.— Давайте обедать.

Она пригласила Веретицына войти. Приемная комната была мило убрана, со множеством зелени в углах и на окнах; Леленьку ждал накрытый стол; горничная поставила прибор для Веретицына.

— Садитесь, я очень голодна,— сказала ему Леленька.

Обедая, она потянула с ближнего стола лист газеты и читала вслух, отрывками; завязался очень живой разговор об итальянской войне и итальянской свободе. Леленька знала и постоянно читала очень много. Обед прошел незаметно в этих толках. Светлый день к вечеру выказался осенним: кусочек неба над трубами соседнего дома побледнел и примеркнул, окна затуманились.

— Пойдемте ко мне,— сказала Леленька, вставая из-за стола,— я велю затопить камин; мы наговорились об Италии, а там и зимой не холоднее этого.

Рядом с приемной была ее комната, гостиная, мастерская, кабинет,— все вместе. По стенам было несколько картин в рамах, на полу неконченые этюды и полотна, обернутые изнанкой; на мольберте начатый портрет, вероятно, тетки; палитра кокетливо висела на резьбе зеркала; гипсовые бюсты, статуэтки, слепки с античных голов были расставлены на полочках и тумбах. Большой письменный стол и две этажерки в углах были полны книг; к камину уютно сдвинута кушетка и несколько мягких кресел. Только один этот уголок напоминал об отдыхе; все остальное твердило об усиленной, беспрерывной, по часам рассчитанной работе. Леленька в самом деле взглянула на часы.

— Я вам дам чаю,— сказала она Веретицыну на пороге и ушла, предоставив ему войти, если хочет.

Воротясь, она застала его среди комнаты: он осматривался кругом.

— Не правда ли, у меня недурно? — спросила она.—

Хозяин дома был так любезен, что, по моему желанию, наклеил здесь красные обои — слабое подражание залам Эрмитажа! Зато по вторникам, когда у меня *вечера* и я освещаю a giorno,— выходит великолепно... Вы задумались, как это выходит великолепно?

— Скажите, вы ли это? — прервал Веретицын.— Право, минутами я не верю глазам! Это перерождение!

— Что же тут особенного? — возразила она с удивлением.

— Но вспомните только...

— Я ничего не вспоминаю,— отвечала она,— я вам уж сказала, кажется? Если уж есть людям охота вспоминать, то пусть вспоминают свой характер с детства, и тогда всем станет ясно, что иначе и быть не может, как то, что случается с ними... Если бы вы меня знали, вы бы не удивлялись, что я сбросила с себя свое иго и не хочу о нем помнить.

— Да, вам тяжело, трудно...

— Вы думаете о моей семье? — прервала она.— Ничего не тяжело и не трудно! Я не помню, чтоб не обременять моей памяти; так же, как не помню вздоров, которые слышала, читала... Вам это странно?

— Не странно, но несколько решительно.

— Нисколько! Это великодушно.

Веретицын глядел на нее, пока она поправляла уголь в камине; сумерки и огонь придавали странный свет красной комнате; этот свет и резкие тени шли к оживленному лицу девушки. Она села, покойно сжавшись, в кресло; в ее движениях и взгляде было желание отдыхать, наслаждение отдыха, но не раздумье.

— Ну, давайте вспоминать старое,— сказала она, помолчав и улыбнувшись.— Что mademoiselle Sophie?

— Sophie? — повторил Веретицын.

— Да, Sophie, Софья... Александровна... а фамилия...

— Хмелевская,— сказал Веретицын.— Почему вы ее знаете?

— Я ее видела,— отвечала, смеясь, Леленька.— Но что же особенного, что, живя в N, я знала о Хмелевской?.. Я ее видела у вас в саду.

— А!..— сказал Веретицын, глядя на огонь.

— Это, кажется, была замечательная девушка, совершенство?

— Да.

— Образованна, талантлива, умна? — продолжала Леленька.— Скажите, где она теперь? В наше время, когда...

— И прочее,— подсказал Веретицын.

— Да,— подтвердила, не улыбнувшись, Леленька,— в наше время такая женщина много бы могла сделать, действовать; женщина развитая, с светлым взглядом, с этой правдой, которой надо было в ней удивляться, с неженской прямотой — не только ее пример, одно ее слово... Она не здесь, не в Петербурге?

— Нет, в деревне. Она замужем.

— Замужем! — вскричала Леленька.

— Замужем,— повторил Веретицын.

— Кто ж этот счастливец, который удостоился владеть этим совершенством?

— Добрый малый, N-ский помещик.

Леленька привстала с места.

— Monseuer Веретицын!.. и это совершенство?..

— Более, нежели когда-нибудь,— отвечал он тихо, не сводя глаз с огня.

— Совершенство — женщина, которая продала свою волю, бросилась в пустоту...

— Не продала, а только отдала: ее умоляла мать, а уступить она могла: она никого не любила. Ее муж, человек честный, неглупый... ну, конечно, не передовой, не деятель... Да ведь что ж все отдавать сокровища богачам: бедным они нужнее.

— Что ж она сделала для этих бедных?

— Она дала матери спокойный угол перед смертью, помирила мужа с его отцом, заставила старика жить более человеческим образом, научила мужа заниматься, сколько в его средствах, дала вздохнуть тем, кто от них зависел...

— О, подвиги! — прервала Леленька.— И тратиться на это? на уборку спальни для маменьки, на семейные примирения, на укрощение побоев! учить мужа азбуке! И это существу высшему...

— Кому ж, как не высшему? — возразил Веретицын.— Низшие или не умеют, или брезгают! Высшее то и есть, которое жертвует собой до конца, и только жертвы совершенств ведут к чему-нибудь...

— Несколько тысяч лет продолжаются эти жертвы совершенств! — сказала Леленька.

— Оттого и стало полегче теперь, нежели за тысячу

лет,— отвечал Веретицын.— Понемногу, понемногу, но остается влияние, память...

— Утешительное «понемногу»! — возразила Леленька.— Это просто отговорки, подвиги эгоистов, ленивых, которым не хочется взять дело поважнее! Вот увидите, когда в несколько лет Sophie, ваше совершенство, примирится, отупеет...

— Скорее умрет! — вскричал Веретицын.

— А смерть к чему-нибудь служит? Супруг на другой женится, батюшка опять примется драться, оба вместе будут смеяться над нею.

— Умерла на работе,— сказал Веретицын.

— А свободная была бы жива, была бы счастлива!

— Как это?

— Вот так! — отвечала Леленька, показав вокруг себя рукою.— Трудилась бы для всех,— круг широк!

— Вы замечали, что на воде широкие круги слабее маленьких?

— О, без поэтических сравнений!

— Но разве это (он также показал вокруг себя рукою), разве это труд для всех?

— Конечно, это не мировые труды,— возразила Леленька,— но, смею думать, это тоже часть тех трудов; я все-таки приношу свой вклад, служу мысли...

— Софья учит своих детей.

— Вы поэтизируете, потому что все еще влюблены в нее,— прервала Леленька, засмеявшись.— «Ее белокурая головка, их кудрявые головки...» А взглянуть с настоящей точки зрения, что это такое? Рабство, семья!.. Женщина высшая подчинена какому-то доброму малому, пожертвовала собой для прихоти матери-эгоистки, примирила, то есть свела опять, двух дурных людей, чтоб они вдвоем больше зла наделали! Как-нибудь, среди стеснений, из-под насмешек передает что-нибудь человеческое детям... Но человеческое ли, здравое ли? Она передает им те же несчастные заповеди самоотвержения, от которых погибает сама! Заповеди покорности произволу!.. Она виновата, ваша Софья! Она служит злу, учит злу, она готовит страдалиц! Она должна бы понимать это...

— Она и понимает, что лучшая мать та, которая умеет воспитать мучеников.

— Но вы ли это? — я спрошу в свою очередь,— вскричала Леленька.— Вы забыли, но я помню, вы первый сказали мне первое слово свободы,— вы ли это теперь?

— Я,— отвечал Веретицын,— помню, точно, я говорил вам, но слово свободы, а не разъединения...

— Разъединения?

— Да. Вы одни. Вы это понимаете?

— Знаю. Я одна. Разумное существо должно уметь быть одно.

— Когда приведется остаться одному,— возразил Веретицын,— но когда есть еще люди...

— Для меня их нет,— прервала она, вспыхнув.— Вы не знали тогда, но догадываться могли, что́ была моя жизнь, какие люди были со мною. Вы заставили меня в первый раз понять их. Я вам верила... Вы не знаете, что я вас любила? Да, как никогда потом! Я поняла, какое иго любовь, как она заставляет смотреть глазами другого, исчезать пред волей другого. Я никогда не полюблю — некогда, глупо. Тогда хоть было еще кстати: у меня явилась сила освободиться. Несправедливости, гонения надо мной дошли до крайности. Мне предлагали даже мужа!.. Я решилась бежать. Теперь я убежала бы на улицу — тогда я еще искала приюта. Я написала к тетке; у меня не было гривенника отдать на почту! никогда не забуду унижения, что я выпросила его, со слезами, чуть не с земными поклонами, у работницы... Не вправе ли я была желать вырваться, возненавидеть память прошедшего?

— Никто не вправе осудить, что вы бежали. Вырваться вы вправе, ненавидеть — никогда. Если вы поняли больше этих людей, вы должны уметь простить...

— Вы не то говорили! — прервала Леленька.— Вы проповедовали разъединение полнейшее! Это перерождение тоже! Вы ли это? я буду спрашивать тысячу раз...

— Я,— повторил Веретицын,— но с тех пор времени прошло довольно...

— И вас года укротили?.. старость?

— Да, с годами люди делаются тише...

— Терпеливее?

— Умнее.

— О! если б только кто-нибудь, кто б нибудь сейчас повторил вам то, что вы говорили тогда! — вскричала Леленька.

— Крайности? — спросил он.— Может быть. Но когда отпускается несколько лет на размышление, можно рассмотреть, годятся ли крайности. От них человек отказывается невольно...

— И мирится?

— Прощает.

— То есть шаг назад, опять к старому? — вскричала Леленька.

— Зачем? Простить, не упрекать, не помнить...

— Да, может быть, это и очень возвышенно,— прервала она холодно,— но кто был оскорблен, кто понял, что самому себе, только своему мужеству обязан тем, что не дал погубить себя, тот не так легко забывает, не так легко прощает... Но это личности: довольно обо мне. Я поклялась, что не дам больше никому власти над собою, что не буду служить этому варварскому старому закону ни примером, ни словом... Напротив, я говорю всем: делайте как я, освобождайтесь все, у кого есть руки и твердая воля! Живите одни — вот жизнь: работа, знание и свобода...

— А на долю сердца что останется? — спросил тихо Веретицын.

— Вы счастливы с вашим сердцем? — спросила она насмешливо.

— Да и вы неблагополучны,— возразил он,— у нас оно хоть и болит, но есть, а у вас нет его.

— «У нас»? — повторила Леленька,— у вас и Sophie?

— Вы ее не понимаете,— тихо возразил Веретицын,— не смейтесь. Вы зовете всех на свободу, и по вашим убеждениям, которые, точно, достались вам не легко, с вашей точки зрения, во многом тоже верной — вы правы. Но до совершенства Софьи вам далеко! Вы заработываете себе легко, без страдания, покойное житье-бытье, удовольствие, приязнь вашего кружка; между этим делом вы служите и обществу очень приятной службой. Ваш труд — еще вполовину труд — и меньше... Софья взяла весь свой. Она пошла учить добру и правде без уверенности в успехе, только с верой в свое дело. Она пошла на грубость, эгоизм, полуобразование, оскорбление, жестокость, пошла, как шли мученицы на исповедание и смерть! Это конечное исполнение обязанности, которую налагает сознание истины и жажда добра! В наш век нет подвига выше. Он даже не образец: за него может взяться только та женщина, которая захочет высшего совершенства, которая почувствует в себе силу служить правде, своему верованию, служить во всей полноте, охотно, радостно, забывая себя... Вы удивляетесь сестрам милосердия? Вы кричите в восторге

пред теми женщинами, которые подают мужьям и любезным патроны во время сражений? Это не легче, мужества надо не меньше; это не менее возмутительно; тут нет увлечения, нет одобрения кругом, дело не блестящее с вида и долгое-долгое, на всю жизнь.

— Вы ее очень любите,— сказала Леленька.

Веретицын не отвечал и встал. Часы били семь.

— Видите,— сказал он наконец,— вот она, хваленая свободная жизнь, потому что теперь, в настоящее время, она одинакова для вас и для меня: пришло время — расходись, не кончив слова; чувствовать некогда, вспоминать некогда. Мы, свободные,— рабы дела, которое взяли себе на плечи... многие, пожалуй, любя, но большая часть только уверяя себя, что любят, и только избранные (к ним причисляю себя) говорят откровенно, что дело — тот же прием опиума и средство тянуть жизнь все для дела же... Радостей для нас нет, любви уж и вовсе быть не может: некогда... Вместо их берется так что-нибудь, на лету, не имеющее ни цели, ни значения... Это называется — состареться.

— Неправда! — возразила Леленька.— Работа, знание не стареют, потому что они вечны.

— Пожалуй, если не замечать, что часть души — чувство — уже умерла или лежит в апоплексическом ударе. Обманывать себя можно.

— Я не хочу себя обманывать. Что ж! пусть хоть так.

— Будьте счастливы!

— А вы счастливы?..

— Мне пора идти, Елена Васильевна...

Она торопливо оглянулась на часы.

— Так до свидания. Приходите во вторник; я познакомлю вас с теткой, еще с хорошими людьми. Придете?

— Некогда... Если успею.

Леленька проводила его со свечой до лестницы, воротилась к себе и, не останавливаясь ни минуты, придвинула кресло к столу, достала тетради и диксионер, и скоро в комнате слышались только стук часов, падание догоравшего угля в камине и шорох пера по бумаге...

ПЕРВАЯ БОРЬБА

Из записок
1869

Беспрестанно, и едва ли не на каждом шагу, слышу я жалобы, что людей ломает жизнь; что общество, где они бывают поставлены, что старшие, имеющие над ними власть, заставляют их изменять себе, идти против своих наклонностей, тратить силы и мельчать; что в этой тяжкой, напряженной борьбе гибнут способности, которые, если бы сохранились, принесли бы пользу обществу и счастье своим обладателям. Ни от кого так часто, как от людей моего поколения, недавно вступившего на поприще деятельности, не слышу я этих жалоб. Они мне надоели. Мне самому еще нет тридцати лет, и вынес я довольно,— не меньше, если еще не побольше этих жалующихся...

Да, больше. Мне почти с детства досталась на долю нравственная борьба. Я не заслужил бы ни малейшего упрека в малодушии, если бы изменился; одинокий, без примера, без совета, без дружбы и поддержки, я был бы даже вправе измельчать. Я не измельчал.

Я набросал заметки об этой борьбе моей ранней юности. В ней сложилось все, что руководило меня в жизни, и хотя впоследствии моя жизнь и богаче драмою, но вся ее сущность в этом начале. Эта бедная история глубока содержанием.

Я не называю этого рассказа «исповедью». Я не нахожу сам и, полагаю, ни один здравомыслящий человек не найдет в моих поступках и побуждениях ничего тягостного для совести,— такого, в чем принято раскаиваться и в чем публичное покаяние считается подвигом. Я не назову рассказа и «признаниями». В них нет для меня ничего неловкого и щекотливого, такого, что передается чужому слуху по необходимости или в минуты сантиментального увлечения. Я не увлекаюсь; у меня нет людей, к которым бы меня притягивало это предательски-глупое чувство. У меня нет

и житейской необходимости разъяснять мои поступки. Я не чувствую потребности ни оправдываться, ни доверяться,— я доволен собою.

Знаю, потому что не раз слышал, упрек, который делается за подобные слова. Но если они искренни? Более того: если чувство, вызвавшее их, справедливо? Тот, кто, разобрав себя, выговаривает их с полным сознанием, должен ли, может ли подвергаться упреку в гордости?

Но, положим, и так. Только это — гордость законная. Такая гордость имеет право делать указания. Человек, устоявший в борьбе, имеет право ставить себя в пример малодушным плакальщикам, самолюбивым крикунам, замечтавшимся фразерам...

Но я заражаюсь их примером: я волнуюсь! Нет, они того не сто́ят. Эти господа вовсе не имеют в моих глазах такой важности, чтоб я стал беспокоиться, серьезно спорить с ними. Они мне просто надоели... Меня поймут и оценят люди с чувством более тонким. Пожалуй, может быть, и те, тоскующие, что сломаны жизнью, вопиющие о грубости среды, о скудости насущного хлеба, о стеснении мысли, задумаются над моим рассказом, положив руку на сердце, сравнят свое и мое испытание и сознаются (выражаясь их слогом), что не им одним «подчас приходится круто...».

У меня огромная память. Эта счастливая способность, конечно, много помогла моему развитию. Обстоятельства, даже раннего детства, люди, обстановка,— все будто еще перед глазами. Записывая, я не буду стесняться выбором этих образов. Мне попадутся под руку, может быть, и не самые яркие,— что нужды? Как в жизни, исполняя свои желания, я говорил: «Так должно»,— так и в рассказе буду отдаваться настроению минуты: что вызовет оно, то и скажется. Что бы ни сказалось, моя личность достаточно отделиться от темного фона моей обстановки,— моей *среды*, имевшей все средства и все поползновения *заесть* меня...

Я начинаю помнить себя с пяти лет. Я был единственный у отца с матерью. Это были люди бедные. Жили мы в уездном городе. Отец как-то служил. Мне было пять лет, когда умерла мать. Я не помню ее и вообще подробностей того, что за этим было. Мне рассказывали потом, что отец очень любил ее, был поражен ее смертью, и по-

сторонние люди, принимавшие в нем участие, боялись за его жизнь. Узнав впоследствии моего отца покороче, я мало верю такой чувствительности; но мне говорили, что он совсем потерялся, бросил службу, не хотел никого видеть, ни даже меня; он сходил с ума. У него были приятели, купцы (другого общества нет в уездном городе и для мелкого чиновника); они предложили отцу, чтобы забыться и куда-нибудь деваться — ехать по разным их делам в северные губернии. Меня эти приятели предлагали взять к себе на все время отсутствия отца, хоть бы на несколько лет. Отец,— это он говорил мне сам,— оживился такой перспективой деятельности, путешествия, труда для людей, которые так дружески заботились о нем и о его ребенке; он согласился. Мне предстояла перспектива воспитания в купеческой семье, в уездном училище... Судьба меня пощадила. В то самое время, когда уж почти решалась моя участь, чрез город проезжала одна дальняя родственница моего отца, молодая, богатая женщина. Ей были нужны какие-то деловые справки; она отыскала моего отца и, случайно узнав о его намерениях, случайно увидев меня, пожелала взять меня к себе. Это был мгновенный порыв молодой чувствительной женщины, но она привела его в исполнение и увезла меня с собою в Москву.

— Поверишь ли ты,— рассказывала она мне впоследствии,— что твой отец долго и упорно отказывался, что я была принуждена настаивать, умолять, что он уступил только моему обещанию дать тебе основательное образование? Я плакала, будто виноватая, предлагая благодеяние, но мне хотелось спасти прелестного ребенка...

Она говорила это только мне, но никогда никому постороннему, никогда не хвалилась, что сделала мне добро, и ничем не отличала меня от своих детей: я был будто ее собственное дитя, может быть, даже любимое. Потому все скоро сделалось моей собственностью в роскошной обстановке, которая меня окружала; я скоро привык к дому, где мне все подчинялось, к обществу, которого я не дичился. Я был очень хорош собою и держался прекрасно. Судьба справедливо поставила на настоящую дорогу того, кто был достоин этой дороги. Мой ум и природные способности развивались быстро и счастливо; моя необыкновенная память облегчала для меня все трудности. Меня учили языкам, искусствам; я успевал на зависть моим сверстникам. Ma tante, забывая эгоистическое чув-

ство матери, восхищалась мною, выставляя на вид мои таланты. Семи лет я совершенно перещеголял в танцах кузена Валерьяна, а одиннадцати одержал победу над четырьмя соперниками, завладев на целый бал прекрасной Нанни, которая была годом старше меня. Это был bal costumé, в нем участвовали и взрослые; я был в средневековом костюме пажа. Мне особенно нравились костюмированные балы; их ensemble наряднее, разнообразнее, одушевленнее; можно, сообразно с костюмом, играть роль представляемого лица. Это было совершенно в моем характере. Я страстно любил театр, и ma tante никогда не отказывала мне в этом удовольствии. Врожденное чувство изящного делало меня хорошим ценителем сценического искусства. Я редко смотрел драму: французские давались мало, русские были для меня невыносимы. Я ходил в русский театр единственно для балета; во французском отличное знание языка делало для меня доступными все тонкости острот водевиля, и я легко их усвоивал. Театр развивал меня. Я необыкновенно много читал и в особенности успел в этот год. Я прочел Е. Сю, А. Дюма, Феваля,— все богатства литературы тех годов, узнал много наизусть и сам писал стихи по-французски. Ma tante и ее знакомые называли меня поэтом; я иногда импровизировал для них на случай, на заданные слова или заданные рифмы. Я был оживлением, прелестью этого кружка. Меня лелеяли, как мальчика, меня остерегались, как взрослого. Женщины относились ко мне с особенно тонко шутливым кокетством, полным грации, возможным только в лучшем обществе. Я быстро и блестяще развивался и очень заботился о своем таланте; оставаясь один или долго не засыпая ночью, я упражнялся, складывая двустишия или подбирая рифмы. Это сделалось моей страстью, моей жизненной задачей. Я был поэт. Я не думал об уроках, об играх, я не мечтал, я подбирал рифмы. Голова моя была полна рифм. Я писал днем то, что задумывал ночью...

Одно обстоятельство,— маленькое несчастье, кончившееся большой удачей,— убедило меня окончательно в моем таланте.

— Скорее, Serge,— сказала мне ma tante при посторонних,— рифму: Sucre?..[1]

Я онемел, я томился, я убежал, как школьник, глупо

---

[1] сахар *(франц.)*.

молча, и наедине залился слезами. Всю ночь проклятый Sucre вертелся у меня в голове. «Невозможно,— думал я,— невозможно, чтобы существовало слово без созвучия! Созвучие должно быть, есть,— но где оно?..»

Следующий день был праздник. Я отказался от прогулки и, сидя у окна, закрыв глаза, искал созвучия. У другого окна сидел наш гувернер, молодой француз, к которому пришел какой-то француз — commis [1], его приятель. Они читали:

Lève-toi, Jacques, lève-toi
Voici venir l'huissier du roi...[2]

Неграциозный припев и грубый стих всей песни резали мне ухо, прерывали мое умственное занятие, выводили меня из терпения. Вдруг раздалось:

Beaucoup de peine et peu de lucre!
Quand d'un porc aurons-nous la chair?
Tout ce qui nourrit est si cher!
Et le sel aussi — notre sucre![3]

Я вскочил вне себя. Так, я был прав, я не напрасно ждал, я рассчитывал верно — созвучие есть! Перл нашелся в безобразной песне, недостойной имени своего поэта, но все равно: я был прав! Я побежал к ma tante. Ее гостиная была полна; были и свидетели моей вчерашней неудачи... Дорогой у меня сложился ответ:

Ma muse, du Parnasse en fréquentant la cime,
Pour les choses d'en bas ne cherche pas de rime,—
Mais voici venir un monsieur Beranger
Qui s'avise le *sucre* avec *lucre* arranger...[4]

Если я и был еще мальчик годами, но уж, как взрослый, понимал свое торжество: это было торжество дарования, превосходства... Всякий день росло мое значение в обществе, мой авторитет в доме, мое влияние на ma tante... Последнему была, впрочем, довольно простая причина, но все-таки нужен был такт, чтобы ею восполь-

---

[1] приказчик *(франц.)*.

[2] Подымайся, Жак, подымайся,
Вот-вот явится королевский пристав... *(франц.)*

[3] Много труда, да мало дохода!
Будет ли у нас когда-нибудь свинина?
Еда ведь так дорога!
И даже соль — наш сахар! *(франц.)*

[4] Посещая вершину Парнаса, моя муза не ищет рифм для обыденных вещей,— но вот явился некий господин Беранже и умудрился срифмовать сахар с доходом... *(франц.)*

зоваться. У ma tante был муж, человек еще молодой, красивый, апатичный. Мы видали его иногда за обедом или редко в ранний вечер; он обыкновенно спал после обеда до девяти часов, а потом уезжал куда-нибудь. Он вел светскую жизнь, как и ma tante, но она принимала у себя, а он редко показывался в ее гостиной: вялый и недовольно образованный, он был незанимателен. В доме жил еще молодой человек, кузен или дальний племянник ma tante,— не знаю; мы звали его «Мишель». Знаю, что у него не было состояния, но об этом никогда не говорилось. Муж ma tante доставил ему место; Мишель служил, а в свете был замечен как изящный, порядочный молодой человек. Он в самом деле превосходно держался и одевался, на его вкус можно было всегда положиться, ему можно было слепо довериться во всяком светском деле. Я только не находил его красавцем,— но так решали женщины громадным большинством... Ma tante его любила. Я однажды застал, как она его целовала. Чтение уже настолько ознакомило меня с жизнью, что я не удивился, что женщина, непонятая своим мужем, искала утешения в любви к другому. Я был не так глуп, чтоб не понять значения этих поцелуев или, поняв, сконфузиться. Я засмеялся, поклонился и вышел. Ma tante позвала меня к себе. Тут в первый раз увидел я слабые стороны ее характера, который считал твердым до этой минуты. Я был холоден и спокоен. Она, робко, будто шуткой, пыталась оправдаться; я отвечал шуткой, но сказал, что не принимаю оправдания. Она обиделась и стала уверять, что я не видал того, что видел. Я рассмеялся. Она испугалась и строго сказала, что я дерзок, неблагодарен.

— Я не потерплю оскорблений,— возразил я,— оскорбляя меня, вы уничтожаете все, что для меня сделали; мы квиты. Теперь я считаю моей обязанностью все рассказать вашему мужу.

Она обратилась к моему великодушию, умоляла, заплакала. Я был обезоружен, но я понял, как поняла и она, что с этой минуты она в моей власти. По крайней мере она поступила с тактом, высказалась прямо и сблизила меня с Мишелем. Эта доверчивость поставила нас всех в настоящее положение. Меня не стереглись больше. Я знал все их тайны, передавал записки, исполнял поручения, предупреждал многие неприятности. Мое присутствие отклоняло подозрения не только глупого мужа, но домашних и посторонних. Я был ловок; хорошее чте-

ние меня развило, а теперь я изучал по живым примерам. Не раз бывала полезна моя «школьная опытность», как шутя называла ее ma tante: мне случалось разъяснять недоразумения между ею и Мишелем, успокоивать ее ревность, мирить их... Это меня восхищало. Я говорил ma tante, что напишу роман из ее жизни...

Мне было около тринадцати лет. Кузен Валерьян и я дали друг другу слово, что, когда придет время, поступим вместе в какой-нибудь гвардейский кавалерийский полк. Наше воспитание должно было кончиться дома. Впрочем, мы об этом не думали.

Вдруг, в один вечер перед святками, я сидел в классе, когда меня позвали. Мне сказали, что воротился мой отец.

Я не знал отца, никогда не думал о нем, никак себе его не воображал. Немногое, что мне рассказала о нем ma tante, немного меня и заинтересовало. В восемь лет он, конечно, писал, но редко, к ma tante, которая очень затруднялась отвечать на его русские письма, часто затеривала его адрес, часто менявшийся (если только не ошибаюсь: я никогда не мог определить себе, где был мой отец), и поручала отвечать мне. Я отвечал — казенной страницей — о состоянии здоровья и желании всего лучшего. Отец был для меня — отвлеченное понятие или нечто где-то существующее, с чем, может быть, я когда-нибудь встречусь, но в каком месте, как и зачем — неизвестно и, во всяком случае, не скоро...

И вдруг, говорят, он тут... У меня упало сердце. Я попросил пойти с собой Валерьяна.

— Он чаем торговал? — спросил меня Валерьян дорогой в гостиную.

Я не знал, чаем или чем другим торговал мой отец и вообще что он делал. Вопрос Валерьяна поднял во мне другой страх,— какой, я сам не мог определить в первую минуту, и понял только тогда, когда, взглянув на отца, вздохнул свободнее: я боялся, что мой отец безобразен, смешон... Этого, к счастью, не было. С ma tante сидел немного сумрачный, худощавый, высокий, но красивый и еще молодой господин, в сюртуке...

«В сюртуке, вечером, на первый визит!..» — завертелось у меня в голове.

— Вот дети,— сказала ma tante.

— Который же мой? — спросил отец.— Сережа!

Я хотел учтиво поклониться, между тем как у меня

мелькнула мысль, что меня никто так не называет, что я «Serge» или «Сергей Николаевич»,— но кланяться было некогда: отец обхватил меня крепко и прижал к себе.

— Mon père!..— сказал я, но это слышал разве его жилет, и потому, когда мне стало возможно передохнуть, я повторил свое восклицание. Мне вспомнились читанные мною сцены в этом роде, и было приятно, что и со мной то же случается.

Но чрез минуту я не знал больше, что мне делать: кончив объятия, отец не сказал ни одного увлекательного слова, не сделал ни одного движения, в котором бы выразилось чувство,— я ждал, что он бросится к ногам ma tante,— нет, он сел и смотрел как-то совершенно спокойно. Это меня затрудняло. Я ждал патетической сцены. Положим, не готовый, не расположенный к ней, я мог быть ненаходчив на ответы, неодушевлен, некрасноречив,— но, так и быть, я перенес бы это; мне было неприятнее видеть такую неловкость в моем отце. Я ждал, не поднесет ли он по крайней мере платок к глазам, чтобы воспользоваться этой минутой и тихо, значительно пожать ему руку. Нет; он разговаривал с мужем ma tante, которого разбудили занимать моего отца. Говорили, я помню, о строившейся тогда Петербургской железной дороге. Отец сообщал подробности, которые знал, должно быть интересовавшие собеседника.

— Что ты так молчалив, Serge? — спросила ma tante.

— В такие минуты не легко найти слово! — отвечал я ей по-французски, выразительно и несколько с упреком, хотя бегло взглянув на отца.

Он обратил на меня свои проницательные глаза и, как мне показалось, улыбнулся. Для того, кто провел несколько лет в северной глуши, за грубым делом, с грубыми людьми, конечно, приятно найти в сыне образованного человека. Но лицо отца не выражало, чтоб он понимал то, что было сказано. Это, натурально, возбудило во мне тягостное чувство, которого я не скрывал. Я молчал упорно.

— Он всегда такой тихий? — спросил отец.

— Ах, неужели вы думаете, что он запуган? — вскричала ma tante.

— Нет, он не робок,— вмешался ее муж.

— Неужели вы думаете, что с ним были строги, не-

ласковы...— продолжала ma tante, испугавшись и расстроенная чуть не до слез,— mais, Serge, parlez donc! [1]

— Вы ошибаетесь, mon pѐre,— сказал я по-русски,— я бываю весел и оживлен, как вообще в моем возрасте; но мое настоящее положение слишком серьезно и не могло не иметь своего влияния.

Он опять улыбнулся и опять ничего не сказал. Я терял терпение от этих улыбок и этой тупой ненаходчивости. К ma tante приехали гости; гостиная оживилась говором, шелестом шелка, прелестью образованной жизни. Отца, конечно, представили, но он, едва выждав минуту, поднялся с места и, кивнув мне, прошел в залу. Это было сделано так неловко, что я помедлил идти за ним и, уходя, не скрывал, что иду неохотно. Одна гостья, хорошенькая женщина, с которой я постоянно спорил и играл в вопросы и ответы, закричала мне вслед:

— Vous me quittez? [2]

— Madame,— отвечал я тоже по-французски, остановясь в дверях залы,— есть обязанности, которые кто-то назвал священными!

Отец стоял тоже в дверях залы, за драпировкой, и ждал меня. Он обнял меня рукою за шею, и мы пошли с ним ходить по зале. Посредине ее, у большого стола, Валерьян и две его сестры играли в карты; я видел, что Лиза постоянно путала игру, и мне было досадно. Отец молчал. Вдруг, когда мы отошли далеко, почти в угол, он наклонился и крепко несколько раз поцеловал меня в голову, так крепко, что мне стало больно. Это нисколько не располагало отвечать ему лаской, тем более что и положение мое было очень неловкое. Он спутал мне волосы, и кузины расхохотались бы, если бы я так прошел мимо их. Я оправился как мог.

— Мальчуган!..— сказал тихо отец.— Какой большой вырос! Здоров ты?

— Благодарю вас,— отвечал я учтиво.

Он, вероятно, не расслышал и повторил:

— Здоров ли ты?

Незадолго пред тем я прочел, что молодому человеку с поэтической натурой неприлично быть здоровым. Мысль, может быть, не совсем верная, но она меня поразила и увлекла. Я принял это убеждение и, следуя ему, часто

---

[1] ну, Серж, скажите же! *(франц.)*
[2] Вы меня покидаете? *(франц.)*

сопровождал легким кашлем свое чтение, импровизации и даже разговоры. Я кашлянул.

— Мой доктор находит, что у меня грудь слаба. Меня расстраивает занятие.

— Бегать надо больше, шалить... Ты, я думаю, не прочь? — спросил он, похлопав меня тихонько по плечу и потом сжав его в горсть очень крепко.— Любишь деревню? Много можешь пройти?

— Мы живем летом в Петровском парке и гуляем по два часа утром и вечером. Но усиленное движение мне тоже вредно; я предпочитаю прогулку в экипаже. Вот что скажет верховая езда; весною у меня будет лошадь... В деревне верховая езда не удовольствие, а необходимость,— продолжал я, думая, что надо же занимать его,— в деревне надо объезжать поля... Нынешним летом урожай был посредственный...

Он ничего не сказал. Я говорил что мог, очень затрудняясь выбором предметов по его вкусу, умственным средствам и знанию общества,— коснулся удовольствий, театров, политики, слегка литературы. Он слушал и продолжал молчать. Я начинал утомляться. Наконец он взглянул на часы; я заметил, что они у него толстые, серебряные, на широкой черной ленте.

— Вы долго здесь пробудете? — спросил я.

— Дня три, четыре.

— А потом?

— Потом поедем в N.

Меня будто укололо: о ком это он сказал — *поедем*?

— Это также по торговым делам ваших компаньонов?

Он улыбнулся.

— Каких?

— Но вы... (Я затруднялся.) Вы участвовали в большом торговом предприятии... Это, конечно, имеет свою выгодную сторону.

— Я ни в каком предприятии не участвовал,— отвечал он, как-то особенно отчеканивая слова,— я был приказчиком у купцов Нырковых, а теперь достал себе должность в N.

— N далеко от Москвы?

— Двести верст. Разве ты не знаешь?

— Ах, да, N... Знаете, папа, когда живешь в столице, губернские города кажутся так далеки; они так однообразны... Вы займете значительную должность?

— Должность казначея, счетную. Ты силен в математике?

Это был его первый вопрос о моих познаниях. В нем выразился весь человек, все его наклонности и привычки. Отцу не было дела ни до чего изящного, он не заметил ни моего уменья вести разговор, ни моего такта, ни моей грации; он не обратил внимания на то, что ему сказали о моем поэтическом таланте; он спросил — знаю ли я цифры!..

Я понял этого человека в эту минуту... У меня мелькнула мысль, что он имеет надо мною некоторые права... Так пусть же и он поймет, что имеет дело с сильным характером!

— Математика — слишком сухая наука,— отвечал я небрежно.

— Покуда прощай, Сережа,— сказал он, посмотрев опять на свои толстые часы, и на этот раз — перед лампой!

Лиза и Натали вытаращили на них глаза, а из гостиной подходила сама ma tante с хорошенькой гостьей.

— Вы уезжаете, Николай Петрович? — спросила ma tante и подала ему руку.

Она была необыкновенно обходительна.

— Зайду завтра утром, часов в одиннадцать,— отвечал он.

— Для ma tante это слишком рано,— заметил я, чувствуя, что краснею.

— О нет, я вас приму,— возразила она.

— Но в одиннадцать часов я хожу брать урок фехтования! — вскричал я.

— Не ходи,— отвечал он и ушел.

— On vous empêche de faire vos premières armes [1],— сказала мне хорошенькая гостья.

Я был расстроен и не в состоянии отвечать остроумно. Под предлогом нездоровья я простился и уходил к себе. Гостья спросила ma tante:

— Неужели вы с ним расстанетесь?

— О нет, это ужасно! — отвечала ma tante.

Я вошел в мою комнату вне себя и, посмотревшись в зеркало, увидел, что я бледен. Так, стало быть, уж была речь... меня возьмут отсюда, меня возьмет отец!.. Я зарыдал и упал на постель. Несчастье было так велико, что казалось невозможным...

---

[1] Помешают вашему боевому крещению *(франц.)*.

Однако оно свершилось. Свершилось в эти три, четыре дня, которые намеревался пробыть в Москве мой «батюшка». Он велел мне звать себя «батюшкой».

— Слово «папа»,— сказал он,— смешно среди русской речи.

Как будто я виноват, что с ним нужно говорить по-русски! — Это было сказано мне на другой день. Он приехал, пробыл с час и повез меня к себе, отказавшись обедать у ma tante.

— Мы с ним пообедаем вдвоем,— сказал он.

Мне еще и теперь досадно, как я был тогда глуп: ничего не подозревая, я полагал и ожидал, что он хочет устроить маленькую partie de plaisir [1], празднуя наше свидание, и мне было неловко, что он не приглашал Валерьяна. Я рассчитывал на прогулку в санях, на обед в ресторане и на спектакль вечером... Он привез меня прямо на подворье, где остановился, и в час,— в час пополудни, когда я привык только завтракать,— мы хлебали какие-то кислые щи нейзильберовыми [2] ложками. Потом он разбирал старые книги, купленные на толкучке, предложил мне ими заняться, а сам лег и спал часа два. День был зимний, пасмурный; окна комнаты маленькие, во двор. Проснувшись, отец спросил самовар, выпил стаканов шесть чаю, угощал меня вареньем и калачами,— от чего я, конечно, отказался,— объявил мне, что берет меня к себе в N, и велел звать себя «батюшкой».

Мне памятно то, что мы тогда говорили. Он осуждал светскую жизнь, светское воспитание, богатство, права богатых, прославлял труд, независимость,— и так далее. Словом, он проповедовал то же, что, пожалуй, еще и теперь кричат мальчишки, но в то время такие выходки были новость и им придавалось значение. Я не следил за этими вопросами, и потому многое в словах моего отца было мне не совсем понятно, но то, что я понимал, меня возмущало. Я не останавливался на этих посторонних вопросах, занятый своим собственным: дело касалось меня лично! Он составлял мне план моей жизни... Горько и смешно! Из убеждения, что отец и сын должны быть люди одинакового склада, он забывал свое же убеждение, что «всякий имеет право располагать собою». Какая жалкая смесь понятий! Он осуждал господ, сажавших

---

[1] прогулку *(франц.)*.
[2] мельхиоровыми.

«на тягло» столичного камердинера; он говорил, что этот человек отвык от сохи и будет бесполезен и несчастен; он помогал, даже деньгами, двум семинаристам, которые против воли своих родных ушли в университет,— а между тем ломал привычки, понятия родного сына, навязывал ему свой грубый образ жизни, не задумываясь посягал на его свободу!.. Я понимаю, что такое семейный деспотизм, я не один раз имел с ним дело...

В этот памятный день, вечер,— как его назвать? — в эти серые сумерки у самовара, я узнал, что мечта моего отца для меня — университет, это скопище буянов и разночинцев!.. Отец мог отгадать мое мнение по презрительному молчанию, с которым я выслушивал его фантазии, что чрез десять лет я буду кандидат, на дороге к профессорству. Я наконец не выдержал и прервал.

— Мне скоро тринадцать лет,— сказал я,— чрез четыре года домашнего воспитания я могу поступить юнкером и вслед за тем меня произведут в офицеры в кавалерийский полк. Это немного скорее профессорства... Но этому были примеры: в прошлом году в венгерскую кампанию производили пятнадцатилетних! — вскричал я, вспыхнув от негодования, потому что он захохотал, как будто в том, что я говорил, не было смысла.

— Ты, верно, не охотник до книжки? — спросил он, продолжая смеяться.— Нет, милый, офицерством ты меня не прельстишь. Бедным людям скороспелки дело неподходящее: что малина о святках, что пятнадцатилетний офицер,— и дорого стоит, и никуда не годится.

Откуда он набирал такие возмутительные шутки, как сам не замечал, что они неизящны? Я смотрел на него, не скрывая моего удивления; он смеялся.

— Ты, малый, не виноват, что из тебя шелуху сделали,— сказал он и вдруг, погладив меня по голове, стал серьезен.— Виноват я, что оставлял тебя на чужих руках. Но еще время не ушло. Все-таки ты что-нибудь знаешь; чего не знаешь — тому доучишься, а быть человеком — жизнь выучит. Я узнавал: в N хорошая гимназия...

«Так еще и гимназия!» — подумал я с ужасом. До этой минуты я еще надеялся; мне воображалось, что я буду дома готовиться к университету, как молодой барон Рейтинг, который приезжал к ma tante с лекций в прекрасной коляске парой; это еще на что-нибудь похоже, но гимназия!.. Валерьян, я, все наше общество было грозой

красных воротников. И вдруг я сам, я буду носить этот красный воротник!.. У меня выступили слезы.

— Я не хочу в гимназию,— сказал я.

Он будто не слышал и ел калач.

— Я не хочу в гимназию,— повторил я настоятельно.

— Почему?—спросил он очень спокойно, допил чай, встал и вынул из какой-то шкатулки, из-под замка, сигару. Он осматривал ее, обрезывал и зажигал с таким удовольствием, что мне стало противно: он лакомился. Это было мещанство в полном смысле слова: «по одной сигарочке про свят день!» Впоследствии я слышал от него и это выражение и сам убедился, что ящик дорогих сигар тянулся у него целый год.

— Вы мне позволите высказаться?—спросил я, понимая, что это решительная минута моей жизни.

— Говори смело,— отвечал он,— в семье так и следует. Если скажешь дельно, я тебя послушаюсь.

Он, конечно, не послушался!.. Я представил ему, как будет тяжела для меня разлука с ma tante, ее семьей, с обществом; как стеснительна обстановка казенного заведения, провинциальной жизни; я просил его вообразить, как смешны учителя в каком-нибудь N, когда их, порядочных, трудно найти и в Москве; я говорил ему, что не вынесу общества мальчишек, которые в классную перемену едят черепенники за воротами. Я не выдержал и зарыдал.

— Mon père! — вскричал я, бросаясь к его ногам.— Пощадите!.. у меня талант! если б вы могли прочесть и судить! Не противоречьте моему призванию, дайте мне сделать что-нибудь для моей славы,— я поэт!

— Да ведь ты сбираешься в кавалерию! — прервал он, захохотав.

Легче бы он меня ударил!

— Лермонтов служил в пехоте,— возразил я, уклоняясь от поцелуев, которыми он, вероятно, думал загладить свою неприличную шутку.

— Лермонтов чему-нибудь учился,— сказал он серьезно, как будто я не знал этого.— Перестань плакать. Я тебе сказал, что послушаюсь всякого дельного слова, но пустыми слезами с меня ничего не возьмешь.

— Я умею владеть собою,— отвечал я.

— И прекрасно!

— И сумею постоять за себя,— прибавил я.

— А это еще лучше,— сказал он без малейшей доса-

ды и насмешки,— жизнь велика; мало ли что может встретиться.

— Но разве вы не понимаете,— вскричал я вне себя,— что вот в настоящую минуту мое первое столкновение с жизнью, что я должен выйти с честью...

— Надеюсь, что выйдешь с честью: постараешься и выдержишь экзамен прямо в третий класс...

— Пословица справедлива: «нет хуже глухого, как тот, кто слушать не хочет!» — вскричал я.

Он, кажется, точно не слышал; он выходил, велел позвать извозчика и повез меня домой.

Дорогой меня терзала мысль: что скажу я Валерьяну об этом дне? Желание высказать свою печаль и стыд за свое положение боролись во мне. Но мы не были особенно дружны с Валерьяном, и я не был уверен, что смешная сторона всего этого не бросится ему в глаза больше самой драмы. Я боялся насмешек и вместе не имел сил страдать молча. Мы подъехали к дому, а я еще не решился...

Входя, я узнал, что у Валерьяна гости, двое Мерцовых. Они были очень богаты. Старший, четырнадцати лет, ухаживал за кузиной Натали; мы дразнили ее, что такой успех пришел не вовремя рано, а она поклялась, что удержит этого поклонника до тех пор, пока можно будет обвенчаться. Входя в освещенную комнату, слыша смех, звук рояля, чувствуя опять знакомый, теплый, надушенный воздух, я спросил себя: неужели еще три дня — и я расстанусь со всем этим навеки, и мое жилье будет такое же темное подворье, и такая же толстая работница в толстых котах, звеня медными серьгами, медными крестами, всем, что на ней навешано, будет мне прислуживать, смотреть на меня бессмысленно? Неужели это точно должно быть? Неужели все, что я сейчас испытал, было не во сне?.. Я остановился, задумчиво прислонясь в дверях, но меня заметили. Мерцовы подали мне руки, кузины стали расспрашивать, как я провел время. Была ли это с их стороны женская недогадливость или в мое отсутствие что-нибудь обо мне говорилось? С утра уж было известно ma tante, что отец хочет взять меня с собой. Она, вероятно, сказала это детям. Они, конечно, как новость сообщили гостям. Без сомнения, мое положение комментировалось и могло быть угадано... я погибал, я, бедняк, гимназист, уничтожался в глазах общества. Я решился пойти навстречу опасности. Расспросы кузин и дружеское внимание молодых богачей доказывали, что

покуда им еще ничего не известно, кроме возможности моего отъезда... Я мог в одну минуту утратить все свое значение... Меня спасла счастливая мысль.

— Мы должны скоро расстаться,— с чувством сказал я, взяв руки Лизы и Натали.— Я сейчас переговорил и согласился ехать с отцом. Глушь, провинция, разлука с вами, но делать нечего! Надо подумать о своем будущем.

У меня ловко сложился рассказ, что мой отец сделал себе огромное состояние торговыми предприятиями, что он желал иметь меня при себе и в случае моего отказа лишал меня всего: оригинал! Я описывал дорогие вещи, которые видел у него, в беспорядке, в хламе, в низенькой комнате, где мы целый день лежали с ним на коврах и подушках, вышитых золотом, которые он привез из Китая. Я увлекся рассказом и утешал самого себя блестящей импровизацией. Мечты облегчали мое горе и маскировали мое положение. Это было большое счастье. Я чувствовал, что оживаю, что восстановляюсь в глазах людей моего круга... Я вздохнул свободнее.

— Что подарил тебе отец? — спросила Натали.

Вопрос мог быть затруднителен, но в моем рассказе я уже так определенно обрисовал им характер отца, что ответ составился само собою.

— Ничего, mesdames et messieurs![1] Решительно ничего. Я могу располагать всем и ничего не смею назвать своим. И еще *располагать* только в таком случае, если соглашусь на несколько лет N-ского изгнания. Жребий брошен, я еду. N будет моя Калифорния...

Я не пошел в гостиную, где был отец, а он, повидавшись с ma tante, уехал, не позвав меня. Это спасло меня от неловких минут. Оставшись одна, ma tante позвала меня. Она была расстроена. Я понял, что все кончено.

— Tante adorée[2],— сказал я,— умоляю вас об одном — не говорите никому, не говорите вашим детям, что я беден...

— Noble enfant[3],— отвечала она,— я понимаю твои чувства! Я знаю, что тебя ждут лишения, но, успокойся, я не дам тебе их испытать. Ты будешь получать от меня маленькую сумму для твоих удовольствий, и твой отец этого не узнает.

---

[1] дамы и господа (*франц.*).
[2] Дражайшая тетушка (*франц.*).
[3] Благородное дитя (*франц.*).

Она сдержала слово и ничего не сказала, но ее муж не умел молчать, и дети узнали о моем несчастье... Мы свиделись с ними опять уже много позднее, уже взрослыми людьми, и, конечно, не вспоминали нашего детского прощанья, но оно осталось мне памятно, так же как мои последние два дня под одной кровлей с ними... Как все страшно ко мне переменились,— гувернер, гувернантка, все в доме, до казачка Фильки.

Этот мальчишка состоял при мне. Я старался выработать себе из него доверенного человека; мне хотелось, чтобы в нем соединялась молодая отважная ловкость с старческой преданной заботливостью. У меня был мой идеал слуги. Казалось, я достигал его... В последний день Филька мне изменил.

Мысленно прощаясь со всем, я вспомнил Нанни. Что она скажет, когда узнает от кузин о моем положении, когда Валерьян сообщит ей, что меня увезли, как мальчишку? Я написал ей:

«Нанни, я оставляю Москву и вас, потому что сам хочу этого, потому что иначе быть не должно,— потому, Нанни, что боюсь завлечь вас слишком далеко, отвечая на ваше чувство только вполовину... Я сам вызвал сюда моего отца, оторвал его от его предприятий, заставил его рисковать состоянием,— и все для того, чтобы я мог уехать с ним, хоть на край света,— я вижу гибель особы мне еще дорогой и мою собственную... Прощайте, Нанни, прощайте... О, я знаю, вы меня не забудете!..»

Черновое письмо сохранилось у меня в тетради моих стихотворений. Я написал его по-французски и подписался, как всегда, своим псевдонимом «De Sergy». Филька, вместо того чтоб отнести это письмо, как я приказывал, отдал его Валерьяну. Валерьян,— тут я узнал его вполне! — примчался в гостиную, где были ma tante, ее муж, кузины, мой отец,— и прочел письмо вслух. Ma tante ахнула, другие хохотали, отец молчал. Ma tante отняла письмо и унесла его...

Тут была ужасная минута. Все разошлись; в нарядной гостиной стало тихо. Мы оставались вдвоем с отцом.

Он еще помолчал, потом обратил на меня свои пронзительные глаза и спросил небрежно, не возвышая голоса:

— Это ты писал письмецо?

У меня подкосились ноги.

— Я...

— Принеси его мне... monsieur de Sergy,— договорил он и улыбнулся.

Так он знает по-французски? Так, стало быть, он всегда все понимал?.. Я бросился к ma tante.

— Soyez tranquille, mon enfant [1],— сказала она,— я сама передам ей твое письмо.

Отцу она сказала, что изорвала его.

Меня повезли в N. Я не могу пожаловаться на беспокойство самой дороги. Ma tante подарила мне прекрасное дорожное платье. Мы ехали в щегольской кибитке, с бронзой и меховой полостью; отец купил ее по чьему-то поручению и взялся доставить. В ней было положено много подушек и новенький ковер, купленный для меня. Сам он, как говорил, привык ездить как случится, следовательно, только для меня заботился об удобствах. Мне было по крайней мере не совестно, когда этот экипаж подъехал за мною к крыльцу. С ямщиком сидел какой-то мещанин, которого отец взялся довезти в N. Его сочли за нашего лакея. Прощаясь, я был тверд и не плакал. В последние дни я обдумал, что это семейство не стоило моих слез, и не допускал себя до нервной раздражительности. Я мог еще грустить о ma tante,— но и тут я видел, как много она сама теряла во мне; я не преувеличивал своего значения: ей было о чем плакать, она теряла во мне поверенного... Она увела меня в свою спальню, будто для того, чтобы благословить, поставила на колени пред киотом и заставила поклясться, что я никогда ничего о ней не напишу... Жалкая женщина!

Тогда же она отдала мне двадцать пять рублей, которые обещала. Глядя, как она была расстроена, неловка, как она становилась одинока, я подумал, что моя пенсия хорошо заслужена. Было довольно и забавного в этой сцене: ma tante отговаривалась, что, может быть, впоследствии не найдет оказии доставлять мне деньги тайно от отца. Я обещал доставить или устроить ей эту верную оказию, спрятал бумажку в карман и, помню, очень боялся, чтобы отец не увидал ее дорогой.

Путешествие развлекает, но мое было такого рода, что развлекать не могло. Мне было тепло, покойно, но я страдал нравственно. Поднялась маленькая метель, и отец настоял, чтоб мещанин пересел с нами рядом в кибитку. Место ему понравилось, и он не оставлял его боль-

[1] Успокойся, мое дитя *(франц.)*.

ше. Отец в дороге был веселее, чем в Москве, вздумал разговаривать со мною, рассказывал разные разности, обращал мое внимание на разные места, разные предметы: «здесь то-то случилось; это такое-то заведение, такая-то фабрика...» Это мне надоело. Я притворился спящим и мечтал; фантазируя, я составил целый роман, в котором действовали я сам и все мои знакомые. Это помогало мне переносить мое настоящее. Убедившись наконец, что я нерасположен ни говорить, ни слушать, отец разговаривал с попутчиком, с ямщиком; на постоялых дворах, где мы мешкали то для отдыха, то за неимением лошадей, он тащил сам себе подушки, расстилал на лавке свою страшную медвежью шубу, ложился, пил чай, угощал попутчика, хозяев. Наконец на одной станции он спросил обедать. Я стал бы есть, если бы он меня не потчевал. Я отказался и ушел на крыльцо. Глядя на сумерки и морозное небо, я думал, что мне жить недолго, и рассказывал себе сцену своей смерти, последнюю сцену романа, складывавшегося в моем воображении. Меня прервал отец; он тоже вышел на крыльцо, спрашивал, не холодно ли мне, не устал ли я, и решил, что я печален потому, что голоден... Как он много меня понимал!

— Ты лучше признайся, что гречневой каши не любишь. (Я в рот ее не брал.) Погоди, сейчас тебя угостят роскошно: хозяйка варит тебе три яйца всмятку.

Роскошь! Хозяйка, а за ней и мой отец, восхищались, что курица несется зимою. Мне было нестерпимо скучно и досадно. Я сказал, что ем яйца только за завтраком; он выразил положительное неудовольствие, и я проглотил эту «роскошь», скорее, чтоб не спорить... Все эти мелочи мне памятны; ими ознаменовалось мое вступление под родительскую власть.

Лошадей долго не было на этой несносной станции. Наехал обоз. Шум, толкотня, скрып полозьев, пар от лошадей... Вдруг вижу: мой батюшка обнимается с кем-то в этой толпе,— встретил приятеля-извозчика. Рослый, страшный мужик с замерзлой бородою,— я будто еще гляжу на него. Отец меня ему «представил». Я в душе хохотал; это делалось как-то умиленно, торжественно. Вероятно, воображая, что это меня интересует, оба наперерыв сообщали мне, как познакомились, как подружились: где-то один раз их вместе чуть волки не съели; другой раз как-то вместе ускакали они от разбойников в лесу; отец вез тогда большие деньги. За этим великим собы-

тием они поменялись крестами. Было забавно слушать, что они вспоминали не свою собственную опасность, а опасность этих купеческих тридцати тысяч; помнили, как хитро застегивалась сумка, в которой они лежали, помнили, с какой радостью они вручили их Нырковым.

— Что ж это вы,— сказал я,— пропустили такой хороший случай? Оставили бы деньги у себя да сказали на разбойников. Нырковы бы не разорились.

Извозчик расхохотался.

— Николай Петрович, парень у тебя веселый!

И медвежьей лаской потрепал меня по затылку. Я будто еще чувствую эту руку...

Папаша мой не улыбнулся. Тогда я подумал, что он из деликатности не показал неудовольствия на такую фамильярность приятеля; но много лет позднее я узнал, что он был недоволен — мною!..

Мы приехали в N. Исполнилось то, что я предчувствовал; меня окружила обстановка, которой мой отец уж дал мне образчик: маленькие, бедные четыре комнаты в переулке и одна кухарка для прислуги. Я должен отдать справедливость отцу: он постоянно был кроток, заботлив; у него не было грубых привычек, грубых наклонностей; у него даже не было никаких привычек, но весь склад его жизни был для меня невыносим. Он поднимался часов в шесть утра, иногда раньше, никогда позднее, сам убирал свою комнату и приказывал мне убирать мою. Третья считалась у нас гостиной; гостей никогда не бывало. Я спал у себя, но утром занимался и готовил уроки в комнате отца, на его глазах, и эти глаза постоянно встречались с моими, если я развлекался. В девятом часу мы уходили из дома: он — в должность, я — в гимназию. Я не запаздывал в класс, и это делалось просто, само собою, но это было невыносимо стеснительно... Я не ошибся, ожидая тупости и несправедливости от N-ских педагогов: меня приняли только в первый класс. Мой батюшка, казалось, не удивился и не делал мне ни выговоров, ни наставлений. Впрочем, может быть, он понимал, что сам недовольно образован для наставлений. Он проходил со мной уроки, налегая на русский язык и несносную математику. Несколько раз я напрасно старался его вразумить, что порядочный человек может прожить и без тонкостей российской грамоты, что счетной должности я не возьму вовеки, что мои наклонности изящнее и что я желаю учиться играть на флейте.

— Ты говорил, у тебя грудь слаба,— возражал он хладнокровно.

Всякое утро он проводил в должности, приносил бумаги с собою, а если не было их, все-таки не оставался без дела. Выспавшись свой час после обеда, он занимался со мной или читал газеты и книги, которые брал в библиотеке клуба. Он ходил в клуб только для перемены книг. Часто он читал вслух или заставлял читать меня. Я читаю превосходно. Я развил в себе это дарование: изучал декламацию, вслушивался в интонацию артистов на сцене. Чтения в гостиной ma tante бывали моим торжеством; я к ним готовился, предварительно прочитав для себя вслух выбранную повесть или драму. Но с отцом мы не читали ни драм, ни повестей. В одном из моих писем к ma tante я так охарактеризовал эти чтения:

«Изучение сил природы — выше сил человеческого терпения. Изучение человечества — в его подонках. Изучение изящного — в нравах дикарей Нового Света».

Мне было приятно впоследствии найти это остроумное определение в печати: ma tante сообщила его одному своему знакомому французу-литератору, который им воспользовался. Я писал ей всегда по-французски. Едва приехав в N, я постарался устроить наши сношения так, чтобы у нее не было отговорки написать мне тайно или прислать денег. В нашем приходе был старик священник; он с первой встречи как-то полюбил меня. Я постарался упрочить за собой его милости, подходя к нему под благословение при всех встречах, а между тем послал ma tante его адрес и научил ее упросить почтенного отца принять на себя тайную передачу писем и пособий юноше, которого она воспитывала, как сына. Я сам сочинил ей эту красноречивую и убедительную просьбу; ей стоило только переписать и послать. Она так и сделала. Почтенный отец был до слез умилен, согласился, и все пошло отлично. Я мог писать ma tante, сколько мне было угодно, и отдавал письма на почту сам; ответы приходили чрез священника. Мой отец ничего этого не знал. Он давал мне денег, которых доставало на почтовые издержки, на духи и помаду,— и никогда не спрашивал отчета. Изредка, для видимости, я писал ma tante «официально» и предлагал приписать и ему, что он и делал, но всегда чем-то затрудняясь, и по-русски. Для меня перестало быть тайною, что он знал по-французски и по-немецки, но, когда я спросил его, для чего он не пользуется этим знанием, хотя бы в

своей корреспонденции, он отвечал, что «языкам учатся не для того только, чтоб болтать и писать вздор на разных языках». Вследствие этого убеждения он говорил по-французски редко, тяжеловато, скучно, произносил неприятно, заставлял меня читать скучнейшие вещи и в заключение уверял, что я не знаю грамматики!..

Я изнывал от скуки. Оставаясь один, когда отец был занят, или ложась спать, я, признаюсь, горько плакал. Была зима, январь, самый веселый месяц зимы; карнавал в том году был недолгий; в Москве им спешили воспользоваться; Валерьян и кузины беспрестанно танцевали... А мне было обещано, «если будут деньги», сводить меня в N-ский театр на масленице! Мне было сказано, что я могу приглашать к себе товарищей, с которыми сойдусь!.. Я, конечно, ни с кем не сошелся. Только упрямо-ослепленный мой отец мог не замечать, какую противоположность составлял я с этими «товарищами», как я был чужд их. Я «отличался хорошим поведением», как говорили надзиратели, но это мне не стоило никакого труда: мне, по моему воспитанию, были противны шумные игры, глупые выдумки, из-за которых у гимназистов выходят ссоры и драки; мне было физически неприятно в толпе шалунов; я каждую минуту презирал их и стыдился, что осужден сидеть с ними на одной скамейке. Я учился рассеянно,— может быть, именно от этого нравственного страдания,— во всяком случае, от скуки этого казенного, неизящного учения. Впрочем, от нечего делать, от долбленья моего батюшки я, случалось, выучивал уроки особенно для меня несносные. Моя привычная, порядочная вежливость, оттенок хорошего тона на всем моем обращении заставляли учителей быть снисходительнее. Неприятностей со мной не случалось; наружно моя жизнь шла спокойно, внутренне — я томился... Я искал утешения в своем таланте, писал стихи по ночам и задумал драму. Я набросал ее подробный план и послал ma tante. Я высказал ей, и она должна была понять, что это — плод того внутреннего огня, который сжигал меня, которому было необходимо проявиться, которому было необходимо сочувствие... Ma chère tante отозвалась очень равнодушно, едва ли не шутливо, что «получила мои вдохновения, но не имеет времени и откладывает о них до более покойного настроения». Я долго ждал, наконец попросил возвратить мне мой план. Она возвратила, и еще потеряла листок из средины, из третьего акта...

Наступила масленица. Я серьезно думал, что должно поискать выхода из этого положения...

Когда распускали учеников по домам, после последнего класса перед масленицей, надзиратель принес несколько билетов на бал для детей и adolescent[1], дававшийся в собрании; директор посылал эти билеты в подарок старшим ученикам. Мне не было билета. Конечно, я был в меньшом классе, но мог рассчитывать на это маленькое внимание: господин директор мог бы сообразить, что его «примерные, трудолюбивые и благонравные юноши» большею частью далеко не презентабельны. Мое самолюбие было задето, и мне страстно хотелось на бал... Мы вышли толпою на улицу. Я слышал, как один из приглашенных просил своего приятеля, не имевшего билета, взять билет в кассе собрания.

— Вместе будем, будем vis-à-vis. У тебя есть знакомые, а то я не знаю, как быть.

Я вслушивался в этот глухой, грубоватый шепот, свойственный только гимназистам, и внутренно смеялся. Но мне хотелось на бал. Приятель наконец внял молениям, и оба направились к дому собрания. Я следил за ними, видел, как они вошли и вышли, радостные, будто совершили подвиг, и зашагали дальше, будто кто за ними гнался. Деньги ma tante бывали всегда при мне; я вошел в собрание и взял билет. Только выйдя на улицу, я вспомнил, что надо сказать отцу. Это было затруднительно: денег, которые он мне дал и о которых, конечно, помнил, недостало бы на такую издержку; он спросил бы, откуда я взял их... Придя домой, я сказал, что директор подарил мне билет как отличившемуся. Отец не бывал у директора и не стал бы наводить справок. Он поверил, но не изъявил особенного удовольствия.

— Нашел чем награждать мальчишку! — сказал он.

Я возразил, что директор обязан доставить молодому человеку, ему вверенному, случай познакомиться с обществом. Он, по обыкновению, засмеялся.

— Это ты-то молодой человек?.. Впрочем, ступай себе, пожалуй: там будут старшие товарищи.

Я тут только сообразил, что он мог меня не отпустить!

— Жаль, денег у меня на-мале, а тебе нужны перчатки. Не осталось ли московских?

Я невольно улыбнулся: в первый раз с тех пор, как я

---

[1] юношей *(франц.)*.

его знал, он признавал необходимость перчаток! Я сказал, что не счел за нужное привозить всякое старье. Он не возразил, и сам после обеда сходил за перчатками. Они были русские, каких я не надевал никогда. Но я обдумал, как действовать, и ничего не сказал. Я объявил отцу, что гимназисты сбираются идти все вместе, а потому оделся несколько раньше, зашел в магазин и выбрал две пары перчаток; я обыкновенно менял их в половине бала. Мой мундир был шит в Москве, заботами ma tante; форменный, пуговицы золочены чрез огонь, но матовые, почему и не бросались глупо в глаза. Привычка одеваться сделала, что я умел носить красный воротник: я будто не замечал его на себе как неизбежное. Я высок ростом и казался старше своих лет. У меня были часы — подарок Мишеля, которые отец запретил мне надевать. Я неприметно унес их, поверил у часовщика, зашел в кондитерскую и спросил чаю: я не люблю приезжать на бал слишком рано, хотя меня и интересовало, как будет сбираться провинциальная публика, которую удобнее рассматривать поодиночке. В кондитерскую вошли двое старших гимназистов; они покупали леденцы в бумажках, вероятно, намереваясь потчевать своих дам; третий прибежал завитой из ближней цирюльни. Я взглянул на часы и спросил газету. Толстая прислужница в ситцевой кофте затруднилась моим требованием и призвала немца-хозяина; тот, будто в первый раз в жизни, услышал слова: «Echo de Feuilletons», «Voleur», «Figaro»[1],— и, подумав, послал мальчишку куда-то «через улицу». Мне принесли засаленный нумер «Северной пчелы». Гимназисты оглянулись.

— Господа, слышите? кареты? съезжаются! — вскричал один.

Торопясь, они сожгли втроем одну папироску и ринулись вон, нагремев колокольчиком.

— Вероятно, эти господа боятся не найти себе места на бале,— заметил я хозяину.

Он меня не понял и ушел во внутреннюю комнату. Покупателей больше не являлось. Прислужница время от времени выглядывала на меня из-за двери. Мимо окон гремели кареты, сверкая фонарями. Эта обстановка и чтение нисколько не настроивали меня на приятное расположение духа; напротив, я чувствовал, что тупею от ту-

---

[1] «Фельетонная хроника», «Вор», «Фигаро» *(франц.)*.

пости фельетона, который читал. Во мне поднимались грустные мысли; я говорил себе, что вот, как теперь эти пошлости убивают мое изящное одушевление, так провинциальная жизнь убьет мои способности. Я делался мрачен. Надо было прервать это. Вспомнив Мишеля и его совет, я велел подать себе бисквитов и рюмку ликеру. Прислужница покосилась на меня, исполняя приказание, и спросила, долго ли я еще просижу.

— Сколько мне вздумается,— отвечал я.

— Добро бы народ, а то для одного гимназиста огонь жечь. Хозяин велел запирать. Спать пора.

Я хотел возразить ей и этому хозяину, что порядочный кафе не запирается, покуда есть в нем хоть один посетитель, но подумал, что это будет напрасная трата слов, а если еще выйдет неприятность, о ней может узнать мой отец.

— Желаю вам сладких снов,— сказал я, выпивая ликер.

Она, конечно, не поняла моей насмешки и, едва я поднялся с места, бросилась гасить лампу. Я, однако, умерил ее порыв, заставив подать мне шинель.

До собрания было недалеко. С лестницы слышалась музыка... Я понимаю чувство девушек, у которых звуки вальса заставляют биться сердце. Освещенная зала напомнила мне мое недавнее, невозвратное прошлое; горесть утраты смешалась с пламенным желанием наслаждения. Во мне пробудились все мои силы, все сознание моего достоинства и значения; во мне воскресла поэзия. Так должен чувствовать изгнанник, ступающий после долгой разлуки на берега родины.

У меня не было знакомых. Я тотчас нашел в толпе нашего директора и пошел к нему. Он говорил с Зернищевым, губернатором, которого я как-то однажды видел в гимназии. Я поклонился, делая вид, что ожидаю конца их разговора.

— Что вам нужно? — спросил директор.

Я объяснил по-французски, что, не имея чести быть знакомым его семейству, я не смею приглашать танцевать его дочерей и прошу меня им представить. Мой превосходный выговор и порядочность заметно его поразили. Он отвечал тихо, также по-французски.

— С удовольствием. Ваше имя?

Я назвал себя и, в выражение благодарности, еще слегка поклонился. Начало было сделано: я обратил на

себя внимание. Дочери директора были нехороши собою, но я пригласил обеих. После первого вальса племянник Зернищева, правовед, немного меня постарше, просил меня быть vis-à-vis на весь вечер. Я видел, что он сделал это по указанию своего дядюшки. Он представил меня своей тетке, кузинам, еще другим девушкам и молодым людям, и я сразу вошел в лучшее общество. Мы танцевали своим отдельным кружком, между тем как гимназисты, кадеты, дети мелких чиновников топали в другом конце залы. У них распоряжались два юнкера и изобретали невероятные финалы для кадрилей. Это доставляло нам темы смешить наших дам. Леон Зернищев был веселый малый, и я, чтоб не конфузить его и лучше сблизиться, не выказывал серьезных сторон моего характера: я был счастлив уж тем, что нашел людей моего воспитания. Но в мазурке с старшей Зернищевой, несколько заинтересовавшей меня брюнеткой, я дал волю своим воспоминаниям, чувству, воображению; я поверял этой молодой девушке мое прошлое, мои надежды, прочел ей «Le Sultan et la Rose»[1] — один из лучших моих сонетов; у меня вырвалась жалоба, что я — dépaysé[2].

Прелестное слово! наш грубый язык его не имеет!

Но не буду неблагодарен: этот грубый язык в тот же вечер, в тот же миг, оказал мне услуги. Гувернантка-англичанка подошла напомнить, что пора ехать. Я был взволнован, сжал руку Полины и сказал по-русски:

— Где и когда я вас еще увижу?

Гувернантка не понимала ни слова. Я почувствовал слабое ответное пожатие крошечной ручки.

— Не уходите далеко! — шепнула Полина и пошла к матери.

Через минуту ко мне подошел Леон.

— Тетушка зовет тебя,— сказал он.

Мы говорили друг другу ты. Я пошел за ним. M-me Зернищева пригласила меня к себе на вечер завтра.

Я проводил их. Бал опустел для меня с отъездом моего общества. Я еще воротился взглянуть, как красные воротники отплясывали на весь целковый, который отдали за билет. Мне было грустно и чуждо; мне минутами было смешно. Ко мне вздумал подойти гимназист четвертого класса Ветлин, сын исправника, довольно красивый маль-

---

[1] «Султан и Роза» *(франц.)*.
[2] выбит из колеи *(франц.)*.

чик, очень тихий, не совсем глупый, лет четырнадцати. В течение вечера он тоже танцевал с меньшой Зернищевой, сестрой Полины, и даже, я видел, шел звать ее на мазурку, но у него лопнули перчатки.

Он неуклюже начал расхваливать, какие губернаторские дочки хорошенькие барышни.

— Буду иметь удовольствие сообщить им ваше мнение,— сказал я,— я танцую у них завтра.

Показалось ли это уж слишком необыкновенным, но он как будто испугался. Мне стало жаль его.

— Чего же вы оробели?— спросил я.— Разве такое важное событие — вечер у губернатора? Вот провинциальность!.. Я давно вас заметил и, признаюсь откровенно, давно хотел вам сказать, что вы держитесь ребенком.

Я был настроен; мне хотелось откровенности, дружбы. Мне пришло на мысль, что я сам виноват пред собою, сам напрасно трачусь в бездействии; что мне стоит захотеть — и я сгруппирую вокруг себя кружок из менее тупоумных моих товарищей, буду иметь влияние на них благодетельное, а для меня полезное, как нравственный моцион. Я стал объяснять это Ветлину, начав — очень помню — прямо и открыто с того, что ни один порядочный человек не запрятывает воротника и рукавов рубашки так, чтобы не оставалось признаков белья; что так, пожалуй, делается в их дикой гимназии, но в обществе можно бы подумать об этом серьезнее. Он слушал внимательно; мне было трогательно его уважение. Мне было приятно давать ему урок на практике: ему еще хотелось танцевать, а я, повторяя о хорошем тоне, заставлял его воздерживаться и не прерывать разговора. Заключением моей речи я поставил его в окончательное затруднение.

— Спать пора,— сказал я, зевнув и взглянув на часы,— вас, может быть, *это* еще интересует...

Я показал на прыгающих барышень и ушел, предоставив моему собеседнику на выбор — или броситься в общество, которого ничтожность была ему доказана, или последовать за мною. Он потом говорил мне, как для него была трудна эта минута.

По милости моего батюшки, я провел минуты потруднее. Когда на другой день утром я сказал ему, что меня звала m-me Зернищева, он ничего не отвечал. Он спросил меня, впрочем, весело ли мне было, хороша ли музыка, хорошо ли освещена зала, хороши ли конфекты? Я от-

вечал, что залу клуба он знает, музыка обыкновенная, полковая, а конфект на балах я никогда не ем!

— Для меня главное — общество, в котором я бываю,— прибавил я.

— Много было твоих товарищей?

— Да, кажется, довольно,— отвечал я.

Меня разбирало нетерпение. Мне хотелось воспользоваться случаем и высказать ему один раз навсегда, как я понимаю этот народ, который он навязывал мне в товарищи. Но было бы неосторожно раздражать его. Я ограничился тем, что рассказал, как просил директора представить меня своему семейству и как за этим знакомством, натурально, последовало другое — с семейством губернатора.

— Иначе я был бы как в лесу,— прибавил я, теряя терпение от его молчания.

— Тебе стоило сказать товарищам: у них и сестры и знакомые.

Я не выдержал.

— Я с ними не знаюсь,— возразил я.— Ветлин еще так себе, а другие — дрянь. У меня нет с ними ни общих интересов, ни убеждений. Взглянуть на нас, Леон Зернищев, я — люди из другого мира.

Он молчал. Маланья убирала самовар. Я приказал ей выгладить мне белье к вечеру. Когда она вышла, отец поднялся с места за своей праздничной сигарой.

— Ты пойдешь сегодня на вечер, если этот Леон из другого мира будет у тебя поутру,— сказал он.— Я представляюсь его дяде три раза в год, в мундире и при шпаге, и он вправе не платить мне этих визитов; но если он позовет меня обедать, я не пойду, потому что сам не зову его есть мои щи и кашу. Разбери — почему; ты размышлять можешь.

— Благодарю, что признаете за мной эту способность, но я этого не понимаю! — возразил я.

— Жаль. Так я объясню. Ты сын казначея и беден. У тебя с богатыми людьми нет приязни, которая сглаживает неравенство средств; за тобой нет заслуг, которые уничтожают разницу положения. Ясно ли, что где человек неравный, там он последний?

— Может быть, и первый! — возразил я.

— Чем?

— Воспитанием.

— Ты это о себе воображаешь!

Меня взорвало.

— Во всяком случае, по воспитанию я там не последний, а равный! — вскричал я.

— Виноват, я ошибся,— отвечал он хладнокровно,— вы точно равно скверно воспитаны. Но именно потому нечего тебе к ним пристроиваться: при вашем-то воспитании люди и отвертываются от тех, у кого карманы пусты.

— Но как же молодые люди без средств начинают свою дорогу? — прервал я.

— Где?

— В обществе!

Он не понимал или притворялся, будто не понимает. Я увлекся. Я сказал ему, что если он этого на своем веку не видал, то мог бы по крайней мере прочесть — и указал ему на Бальзака. Он не возражал, слушал внимательно, и, только когда я, увлекаясь, начал рассказывать ему «Le Père Goriot» [1] — первое вступление в свет Растиньяка, этого первообраза светского человека,— он заметил:

— Я это знаю.

Я остановился. Он нахмурился; ему, конечно, было неприятно сознаться, что опровергнуть меня он не в силах. Надо было найти другой выход; он бросился в пошлость.

— Герой этот... как его?

Я двадцать раз назвал Растиньяка. Я приметил, что господа вроде моего батюшки, желая выразить пренебрежение, притворяются, будто забывают имена, корчат аристократов — не удостоивая понять, что аристократам, в их огромном кругу знакомства, мудрено помнить имя всякого встречного.

— Герой, во-первых, не честен. Бальзак и не думает ставить его в пример для подражания... Немножко рано было тебе, по тринадцатому году, читать такие истории, но уж если прочел, то понимай как следует, а не навыворот... Пользоваться всякими средствами нечестно...

— Ну, вы сели на вашего конька и поехали! — вскричал я, неосторожно не удержавшись от смеха: так он отчеканил свою истину.

Он вспылил по-своему.

— Едва мы свиделись, я тебе сказал, что всегда тебя выслушаю, не откажусь спорить и уступлю, если ты бу-

---

[1] «Отец Горио» *(франц.)*.

дешь прав. Ты вместо разъяснений позволяешь себе шуточки. Я их не признаю: шутка — в своем роде зажиманье рта. Так и я в свою очередь зажимаю тебе рот: ты не пойдешь в дом, где твой отец почему-нибудь не может или не хочет знакомиться; ты не пойдешь прихвостничать к богачам. Вырастешь — твоя воля, а покуда — усядься.

Он пошел к себе в комнату.

— Деспотизм! — закричал я ему вслед, но он не оглянулся...

Признаюсь я рыдал и рвал на себе волосы.

Я не был у губернатора; я не был в спектакле любителей, который устроился в клубе; я нигде не был в порядочном обществе всю масленицу. Зато мой батюшка, под своим прикрытием, водил меня два раза к какому-то своему приятелю, чиновнику, где был десяток девиц и девчонок в ситцевых платьях, где подавали чай в стаканах и пряники, где товарищи мои, гимназисты, затевали фанты и жмурки, где был ученый кот, скакавший через руки — предмет общего восхищения и, в особенности, любви одной из меньших хозяек. Я смотрел, как все это толклось на пространстве десятиаршинной комнаты. Как я узнал, некоторые из этих гимназистов давали уроки этим девицам; из любопытства я послушал их беседы...

Есть, в самом деле, другой мир, над которым мы бесконечно возвысились, но который, по этому самому, сделался нам уже недоступен: мы больше не вольны опять спуститься в него; мы не в силах не только опять усвоить, но даже понять его обычаи; мы даже в шутку не умеем говорить его языком. Как, бывало, благородные изгнанники, скрываясь между чернью, никак не могли достаточно, до неузнаваемости загрязнить своих рук, так образованный человек не может не выдать себя движением, жестом, полусловом, для него самого незначащим, но резко заметным, диковинным для низшей толпы... Я испытал это на себе. Девчонки стали от меня бегать, после того как я, как-то проходя и заставив одну из них посторониться, извинился, по привычке, по-французски. Старшие девицы, должно быть, считали меня ребенком. Я не провел и двух часов в этой компании, как в ней в отношении ко мне завелся какой-то лукавый, учтиво-насмешливый тон. Впоследствии, став опытнее, я понял, что такая насмешка — бедное плебейское оружие, которым этот народ бессильно отбивается от тягостного для него превосходства. Впоследствии я принимал эту насмешку спо-

койно, но в первые годы моей борьбы она была мне очень неприятна. К тому же дикие гимназисты доводили ее до неизящного, барышни хихикали. Я не хотел уступить без боя и пробовал остроумным разговором, изысканной вежливостью, особенной грациозностью перетянуть победу на свою сторону... Но я имел дело с окончательными тупицами. Если бы я был один, я взял бы шляпу и ушел, но я зависел от моего батюшки. Этим временем какой-то гарнизонный капитан и старая мать хозяина с великим торжеством и хохотом обыграли его на несколько пятаков медью; потом все, и старые и молодые, затеяли петь хором какую-то извозчичью или бурлацкую песню; потом вздумали танцевать под разбитое фортепиано. Составилась кадриль. Я отказался. Мне было приятно, что отец видел, как я холодно и резко отказался.

Он водил меня еще на вечер к какому-то попу-музыканту, где собрались такие же любители, два чиновника и дьякон, и исполняли чей-то допотопный квартет. Там общество разнообразилось еще семинаристами, сыновьями хозяина.

Так прошла моя масленица. В первый день классов Ветлин спросил меня, почему я не был у губернатора. Он был там, приглашенный с своим отцом!

— А я вас ждал; хотел просить vis-à-vis,— сказал он.

Что мне оставалось отвечать?

— Я пролежал всю неделю,— сказал я,— у меня начиналось воспаление. Не поберегся, выходя из собрания...

Этот ответ доставил мне довольно неприятностей: мальчишки, герои чиновничьих вечеринок, уж успели разблаговестить о них по гимназии. Мне пришлось отговариваться, объясняться, выносить неизящное подсмеиванье этой дерзкой толпы. Но, сталкиваясь с нею, я узнал в ней и *своих* людей, тех, кому мог протянуть руку, кто мог понимать меня; я узнал целый кружок молодежи, стоявшей отдельно от прочих, и поспешил примкнуть к нему. С двумя товарищами я довольно близко сошелся. Один был — Кармаков, несколько старше меня, человек богатый. Его родные не жили в N и поместили его у директора. Другой товарищ — Талицын, жил у своей матери, особы с состоянием, образованной, вдовы, для которой сын был единственным сокровищем. Они бывали у меня, почему мой батюшка допускал меня бывать у них. Мать Талицына много читала; у меня опять явились мои любимые писатели, возобновилась поэтическая жизнь,

прерванная с отъезда из Москвы. Но я был осторожен. Когда приходили товарищи, я поставил себе правилом затворять дверь моей комнаты. Отец разве чрез стену мог слышать наши разговоры, но мы имели предосторожность говорить тихо, всегда по-французски, и притом он был бы не в состоянии понять наш светский язык. Кармаков и Талицын сообщали мне, что делалось в городе, в свете, где они жили. Я оживал. Для того чтобы предупредить их на всякий случай, я объяснил им характер моего отца. Смеясь, они обещали быть осторожными.

Отец ни о чем не расспрашивал. Он будто наблюдал, как я борюсь с волнами жизни, в которую он толкнул меня, и равнодушно ждал, я ли справлюсь с нею или она меня затопит. Казалось, он рассчитывал на силу необходимости, на силу привычки. Меня возмущала та постоянная кротость, с которой он неумолимо, неуклонно продолжал действовать по-своему, навязывать мне волей или неволей мелкое, копотливое существованьице. Склад жизни был неизменный; во всем соблюдалась самая мелочная экономия; несмотря на то что ко мне ходили гости, не зажигалось лишней свечки. В конце каждого месяца, пред получением жалованья, у отца никогда не бывало денег; до лишений не доходило, но нельзя уже было рассчитывать ни на какую лишнюю затрату. Но что я называю лишением или излишком? Лишения могли быть только — не пить чаю, а излишек — взять извозчика, когда грязь N-ских улиц делалась непроходима. Я позволял себе вознаграждаться за наш обед в кондитерской или в гостинице, находя предлог выйти из дома и зная, что мой батюшка никогда не посещает этих мест; к знакомым я никогда не ходил пешком. Чтобы как-нибудь благовидно представить в их глазах мою обстановку, я допускал товарищей предполагать, что отец заработал кое-что у Нырковых и кстати приобрел там и купеческую расчетливость. Я сам, признаюсь, на это надеялся. Но проникнуть в его дела не было возможности; не пряча бумаг, не запирая шкатулки, он как-то умел делать, что у него нечего было найти. Должность казначея, я знаю, прибыльная; но не мог же он прятать все, что получал, в один свой старый бумажник, который тоже всегда оставался на виду, на столе. Было ясно, что он не заботился упрочить мне состояние, и хотя я не был еще вполне уверен, но предчувствовал, что мой батюшка оставит меня на соломе. Расспрашивать было, конечно, неловко, но один раз, видя

его в затруднении, я решился и спросил, какие наши средства.

— Никаких нет,— отвечал он.— Мы с твоей матерью женились бедно и рано. Не все богатым жениться. Мы были счастливы. Счастья деньгой не купишь.

Я улыбнулся на его сантиментальные сентенции; они — самые лучшие отговорки. Я не выразил своей мысли и только заметил:

— Надо было, однако, думать о будущем.

— Еще никто его не рассчитал, будущего,— возразил он.

— Я слыхал, напротив,— сказал я.

— Да, ты слыхал общие места. Общие места уж давно никуда не годятся, только этого не хотят заметить. К будущему можно приготовить *себя*, а денег не наготовишься.

— Например? — спросил я.

— Например — отец накопил сыну тысячи, а воспитал его без царя в голове. Надолго ли станет тысяч и может ли отец сказать, что обеспечил будущее сына?

Он произносил это будто вопросы из арифметики, даже как будто нарочно подделывался под тон этих вопросов... Еще до сих пор это звенит у меня в ушах!..

Так я не узнал ничего. Это было неутешительно. Раздумываясь о своем положении, я часто уступал тяжелому унынию. Ничего в настоящем, ничего впереди...

Мне памятны мелкие обстоятельства, мелкие мучения, которых была полна моя ранняя молодость... И этому свидетелю, этому творцу моих страданий не входило на мысль, как блекнет от них пышный, свежий цвет молодости! Он воображал, что я доволен!..

Пришла весна, святая неделя. У ma tante обыкновенно в эти дни комнаты убирались цветами. Я купил себе цветов и убрал окна своей комнаты и свой письменный стол. Меня очень удивило, что отцу это понравилось; он был даже как-то странно умилен; с ним иногда случались такие умиления. Вечером он сказал мне:

— Я знаю, ты балаганов не любишь. Хочешь, завтра позови своих приятелей, Кармакова, Талицына; я найму лодку, и поедем за реку, в деревню, там роща; возьмем с собой чаю, пирогов, нагуляемся, а к вечеру домой.

Я был возмущен до глубины души: не обращая никакого внимания ни на мои вкусы, ни на мои привычки, ни на мои умственные потребности, этот человек позволял

себе судить о моих отношениях к людям, называя *приятелями* моих простых знакомых; навязывался с предложениями увеселений неудобных, неизящных, мещанских; не соображал, что мне совестно пригласить порядочных молодых людей — лезть в грязную лодку, есть холодные пироги стряпанья Маланьи,— да еще в обществе его, самого моего батюшки!.. Я едва воздержался и отвечал:

— Мои «приятели», как вам угодно их назвать, вероятно, уже заранее и несколько занимательнее расположили своим завтрашним днем. Приглашать их поздно, и я знаю, что напрасно. И я сам не люблю воды.

— Жаль,— сказал он хладнокровно,— так ты не умеешь плавать?

— Конечно нет. У меня грудь слаба.

Кажется, его начала беспокоить эта отговорка, которую я повторял,— случалось — забывшись, случалось — намеренно: мне хотелось чем-нибудь обратить внимание этого человека на то, каково достается мне жизнь. У него наконец исчезла его скептическая улыбка, являвшаяся при моей жалобе. Он стал задумываться и позвал доктора. Я с первых приемов узнал невежду и потешался, сбивая его с толку. Не знаю, что он объяснил моему батюшке, но батюшка совершенно успокоился.

Он меня не любил; это было ясно...

Меня не перевели во второй класс. Это, я видел, не понравилось отцу, но мне было решительно все равно. Я понял, что я скучал от недостатка общества,— теперь оно у меня было, я чувствовал себя не одиноким, и это придавало мне оживления и бодрости. Летнюю вакацию я провел в городе, довольно свободно, потому что отец ходил в должность, а я, оставаясь дома, мог заниматься чем хотел. Кармаков тоже не уезжал в деревню; мы бывали постоянно вместе. Он сразу понял характер отца, и, не сговариваясь, мы знали, как избегать столкновений и ограждать нашу независимость. Предполагалось, что мы занимаемся вместе, что нам недосуг,— и к тому же летние вечера и недолги, и манят на воздух,— а потому мои чтения с отцом прекратились. Это сделалось будто само собою. Вдвоем всякое дело легче, и вдвоем с Кармаковым моя борьба с отцом пошла успешнее. Я действовал молча. Когда опять начались классы, я стал заниматься и готовить уроки один, в своей комнате. Отец пред-

ложил было возобновить свои лекции; я отказался, объяснив, что одному мне удобнее, и попросил не стеснять меня. Мои прекрасные способности помогли мне опровергнуть его опасения, тем более что в этот год я проходил в классе уже знакомое. В следующие два года, хотя и скучая глупой гимназией, я не запаздывал в классах. Я присоединился к аристократическому, порядочному кружку, в главе которого был Кармаков, но которого я был душою. Нас любил директор. Он мог на нас полагаться: мы не скрывали от него шалостей и мнений остальной толпы учеников, так же как и поступков и мнений самих господ учителей. Мы можем смело сказать, что без нас директор не знал бы своей гимназии; мы были полезны как деятели. Со всем тем на нас не мог пожаловаться ни один из учителей или надзирателей: мы сами берегли их и даже предупреждали в случаях, если класс готовил им неприятности. Они зависели от нас и чувствовали, что для них было бы невыгодно, если бы мы пристали к недовольным. Мы умели внушить уважение по крайней мере большинству господ учителей, а упрямое меньшинство нам было нестрашно: оно дорожило своими местами — в те времена довольно шаткими — и не очень возвышало голос в гимназических советах. Как бы ни занимались мы в течение года, мы знали, что на годичных экзаменах наши баллы зависят от директора.

Отец мог следить за мною, сколько ему было угодно: я не делал ни одного предосудительного поступка. Его забавная досада обрушилась на то, что я был слишком тих, порядочен, не по плечу ему. Наружно кругом нас ничто не изменялось, но внутренно я не сумею проследить, как постепенно я избавлялся от его тяготеющей власти. Конечно, это было следствием моей собственной сильной воли, но иногда мне казалось, что он как будто утомился и отступал. Столкновения между нами становились все реже. Сказав себе, что это человек отсталый, с которым впереди, в жизни, у меня не представится ничего общего, я щадил себя, не растрачивая даром свои силы. Я знал его манеру — действовать не возвышая голоса, и принял точно такую же; я только ставил его в необходимость сознаваться, что если он стеснит меня в чем-нибудь, то поступит не по справедливости, а по капризу, следовательно, будет виноват, на основании своих собственных убеждений. Я не раз смеялся, ставя его в такое положение, и любовался, как он терялся и запутывался, стараясь до-

казать что-то и не доказывая ничего, кроме собственного необразованного упрямства.

— Однако ты ничего не делаешь,— заметил он мне однажды.

— Я пятый год в гимназии и в четвертом классе,— возразил я.

— Да, но тебе шестнадцать. Кроме классных занятий, добрые люди думают, как бы еще чем-нибудь убрать себе голову.

— Я читаю довольно.

— Вздоров,— сказал он, показав на книгу, которую я держал.

— Это «La Tulipe noire»[1], исторический роман.

— Александра Дюма. Потрудись рассказать мне исторические факты, на которых построен этот роман.

— Я думаю, эти факты никогда мне не понадобятся, по крайней мере не видал, чтоб они кому-нибудь понадобились.

— А эта чепуха — понадобится?

— Я художник,— возразил я,— я любуюсь ярким вымыслом, как всем, что есть изящного в природе. Кому охота, пусть копается до корней, а я довольствуюсь цветами.

— А ягодки этих цветочков?

— Я вас не понимаю,— отвечал я и обратился к книге.

Я всегда так делал, чтоб отвязаться; сначала он было пробовал объяснять мне мои «непонимания», но наконец отступился.

— Ты меня очень давно, как мы только сюда ехали, выучил славной поговорке: «нет хуже глухого, как тот, кто слушать не хочет»,— сказал он мне однажды с злопамятным смехом.

Он точно был злопамятен, хоть и кроток с вида; я не раз имел случай в этом убедиться и поставил себе единственным правилом не обращать ни на что внимания ради собственного спокойствия... Это спокойствие доставалось мне трудно.

Но я помнил, я сознавал, что я должен жить, жить для общества, для себя, для жизни. Я не хотел пропадать в моем темном углу. Меня знал мой кружок, но — и только.

---

[1] «Черный тюльпан» *(франц.)*.

Мне хотелось знакомств, разнообразия. Я воспользовался первым случаем и, как всегда, не ошибся.

Тогда в гимназиях еще бывали торжественные публичные акты. Раз я читал на этом акте стихи, но это было какое-то российское произведение, не обратившее ничьего внимания, иеремиада дурного тона. Ее выбрал для чтения учитель словесности; директор не прочел предварительно и был мне очень благодарен за то, что я, читая, сгладил или выпустил места, на которые, пожалуй, обратили бы иные внимание; в отчете об акте и не помянули об этом стихотворении. После экзамена в третий класс я попросил у директора позволения сказать на акте небольшую речь к посетителям, по-французски. Я написал эту речь, директор просмотрел ее (единственно для формы),— она была сказана и произвела фурор. Мой батюшка уже не мог мне запретить быть в этот день у губернатора: я был приглашен обедать к нему вместе с выпущенными учениками. Правда, были приглашены также Кармаков, Талицын, Ветлин, ничем не отличившиеся, но я был рад их обществу: выпущенные были все не из *наших*. M-me Зернищева была чрезвычайно приветлива; дочери, Полина в особенности, уж держались взрослыми девушками; это производило небольшую холодность в их обращении, но эта же холодность доказывала, что мы в их глазах уже не мальчики, а молодые люди их поколения, с которыми уже нужна осторожность. Полина была очаровательна; она сказала мне, что на зиму они обе с матерью уедут в Петербург. Я напомнил ей нашу первую бальную встречу; она отвечала уклончиво, будто не могла или не хотела говорить. Я пошутил ей этими женскими, милыми недоговорками; она будто обиделась и, делая вид, что не обращает на меня внимания, занималась другими, выпущенными гимназистами. Я прислушался к ее вопросам: все были на один образец — о семье, об университетских факультетах. Мне нравилась в ней эта неловкая, истинно светская снисходительность; она исполняла обязанность молодой хозяйки в отношении к protégé своего отца и делала это грациозно и бесстрастно. Я слышал, что в Петербурге ее будут вывозить в свет и представят ко дворцу. В самом деле, провинция ее не стоила...

Подружась с Кармаковым, я бывал очень часто в доме директора, гулял в городском саду с его семейством, танцевал у них, если сбирались. Ко дню рождения жены ди-

ректора я подал мысль устроить небольшой праздник с charades en action [1] и поздравительными куплетами, которые спела ее любимая, вторая, дочь. Слова были мои. Кармаков, недурно игравший на фортепиано, прибрал к ним музыку. Я чуть с ним не поссорился. Ему нравилась старшая девица, которая и пела получше, и он долго не мог понять, что тут важнее было угодить чувству любви родительской, нежели доставить даме своего сердца удовольствие блеснуть талантом. Он, впрочем, был самым искренним образом влюблен в эту некрасивую особу, которая отвечала ему тем же. Родители видели это, конечно, но не препятствовали. Кармакова берегли и лелеяли; малый простоватый, богатый, с невзыскательной родней, которая только присылала деньги, не спрашивая ни о чем дальше, он был славный жених. Ему в доме директора жилось как родному сыну; тем приятнее было для его гостей. Там приходилось встречаться и с другими гимназистами, но Кармаков и я, приняв в наш кружок еще немногих, с остальными ограничивались только неизбежными сношениями. Талицын, живя у матери, был знаком со всем городом и доставил мне много знакомств. У него приятно сбирались по вечерам. M-me Талицына, обожавшая сына, уезжала этими вечерами куда-нибудь, чтобы доставить нам более простора; чаще, правда, мы сходились запросто, небольшой компанией, но почти всегда устроивалась игра, в которой я участвовал. Это бывало кстати, когда истощался мой маленький капитал; хотя я играл счастливо, но, помня, как невелики мои средства, бывал не раз принужден удерживаться от игры. Это была новая мука, новое лишение: жаркое волнение игры меня одушевляло и вдохновляло; возвратясь от Талицына, я проводил ночи с пером в руках; я был счастлив, возбужден, я жил полной жизнью; забывалась и провинциальная скука, и монотонные классы, и даже соседство моего батюшки за стеною! Мне мерещились волшебные сны, и я ставил себе задачей жизни перевести их в действительность...

Задача нелегкая, с каждым днем становившаяся труднее.

Я был в четвертом классе; это был мой самый тяжелый

---

[1] с постановкой шарад *(франц.)*.

год. Мои потребности возрастали, а средств не прибавлялось. Ma chère tante, присылавшая мне в разные сроки от двадцати пяти до тридцати рублей, не беспокоилась рассчитать, что если этого, может быть, и довольно для двенадцатилетнего мальчика, то уж очень мало для молодого человека. Я давно писал ей об этом, намекал — она не понимала, говорил прямо — она будто не обращала внимания, и даже не раз, случалось, медлила высылать и это немногое. Я наконец не выдержал и написал ей письмо, полное просьб и упреков. Она не отвечала. Я лихорадочно ждал письма неделю, другую — ответа не было. Я послал еще письмо — и тоже напрасное ожидание; ma tante не подавала признака жизни. Так провел я летнюю вакацию; скоро должны были начаться классы и вечера нашего кружка, я был решительно в крайности. Все начинавшие жизнь меня поймут.

Должать по мелочи — значит уронить себя. С Талицыным я играл, а потому заем у него был невозможен. Я решился обратиться к Кармакову. Он перед вакацией, не держа экзамена, вышел совсем из гимназии и уехал в деревню к родным. Я полагал, что он сделал это от очень натуральной скуки и оттого, что не надеялся перейти из своего пятого класса, где сидел уже два года. Но вдруг, в начале августа, он возвратился, держал экзамен прямо в старший, седьмой, класс и выдержал блистательно: из посредственных Кармаков явился вторым учеником гимназии. В простоте души, он не скрывал тайны этого чуда, но такие тайны давно известны. Он опять поселился у директора и был принят совсем как свой. (Через год в самом деле директор женил его на своей дочке, а Зернищев дал ему место, сначала в своей канцелярии, а потом каким-то чиновником каких-то поручений.) Зная хорошо, что он при деньгах, я попросил дать мне на время. Он отказал. Я был принужден принять отказ хладнокровно, обратить в шутку его оскорбительное подшучиванье... Я все это сделал ловко, с тактом, но что я вынес!

На другой день, измученный, отчаянный, я сидел вдвоем с отцом. Он читал, кажется, газету и заговаривал со мною время от времени о разных общественных вопросах. Я тысячу раз давал себе слово не заводить с ним таких разговоров, но тут был расстроен, не владел собою и не удержался. Он к чему-то помянул «неравенство состояний».

Помню этот разговор почти слово в слово; он был у меня с ним последний в этом роде.

— Ввиду этого громадного неравенства,— сказал я,— я не считаю предосудительным, если человек, чтоб вознаградить себя за несправедливость судьбы, воспользуется всяким средством, какое найдется под рукою, какие бы ни были эти средства...

— То есть какие же именно?—спросил мой отец.

— Всякие! — отвечал я горячо.— У других — все, у меня — ничего. Этим все оправдано. Я могу быть счастлив от малости, которой лишится другой...

— То есть как же лишится?—опять прервал он.

— Как бы ни случилось!

— Хотя бы и так, как ты один раз выговаривал Игнатию и мне, зачем мы не украли тридцати тысяч и не сказали на разбойников?

— У вас прекрасная память,— сказал я.

— Недурна. Так ты в самом деле не считаешь за грех — украсть?

Я попросил его объяснить мне, что такое грех. Вероятно, догадавшись, что мистическими угрозами с меня ничего не возьмешь, он отвечал:

— Всякая подлость.

— Это довольно неопределенно. Что должно разуметь под этим словом?

— Все, за что общество имеет право побить,— отвечал он хладнокровно.

— Но когда общество так прекрасно устроено, что ставит человека в крайность?—вскричал я.

— О ком ты говоришь?—прервал он,— о крестьянах в голодный год? О рабочих без работы?

Это был его конек.

— Я этих избитых вопросов не трогаю,— возразил я равнодушно, чтоб еще раз показать ему, как они мне наскучили.

— Так кого же ты разумеешь?

— Образованного человека.

— Образованный человек всегда хлеб найдет.

— В грубой среде, где его знания, дарования отвергнуты?

— Такой среды нет.

— Ну, где они неприложимы!

— Он найдет себе занятие попроще, — ремесло.

— Он его не умеет!

— Выучится.

— Он не в силах выучиться!

— Не трудно.

— Не трудно тому, кому не нужно себя переламывать, чтобы стать в уровень с тупой средою! тому, чье образование так ничтожно, что не жаль его бросить в пошлость!

— Да, пожалуй,— сказал он спокойно, не замечая или не желая заметить моего явного намека на его прошлое,— пожалуй, ты и прав: гению или особенно даровитому человеку тяжело себя переламывать, бросать свою и приниматься за общую черную работу. Но в наш век гении и высшие дарования и не доходят до такой крайности: у них своя дорога; а обыкновенный образованный человек черной работой не потяготится и не побрезгает, стало быть, красть ему все-таки не представляется необходимости: с голода не умрет.

— Кто вам говорит о голодной смерти! — вскричал я.— Вы меня не понимаете и не можете понять! я говорю о высших потребностях образованного человека! Ну, по-вашему, обеспечен он, образованный человек; есть у него, по-вашему, кусок хлеба, служба, ученые книжки, друзья-халатники, грошовые удовольствия, но не может он, не может, не в силах этим довольствоваться, засесть в углу, покориться, томиться мукой Тантала! Чтоб вынесть эту муку, нужно геройство! Этому человеку необходим простор, блеск, успехи, роскошь, жизнь, полная всех удовлетворений! Общество смотрит на него с ожиданием, удовлетворение — его долг.

— Ну,— прервал он,— теперь я наконец понял, что такое «образованный человек». Только чего же от таких молодцов может ждать общество?

— Всего! — вскричал я.— Эти люди — свет общества! Они не допускают его погрязнуть в посредственности, они развивают его вкус, его воображение, они вызывают в нем потребности, достойные высшего значения человека! Они дают толчок силам и промышленности; от этих людей богатеют государства... да, без сомнения! Если б не изящные потребности этих людей, ваши мужики знали бы одну свою соху, ваши бабы пряли бы свою дерюгу да строились бы у нас только вот такие конуры, которые мы называем «теплыми квартирами»!..

Я показал жестом вокруг себя.

— Они заставляют трудиться! по их милости кипит

деятельность массы! Эти рельсы железных дорог, эти тысячи занятых станков, эти выставки, театры, комфорт, усовершенствования,— все, словом, все вызвано той жаждой наслаждения, которую природа вложила в грудь избранных людей, плодотворной жаждой, разгорающейся в животворящий огонь...

Я был красноречив, как никогда! У ранней молодости бывают такие порывы, такие счастливые минуты вдохновения. Им нужны свидетели, нужна внимательная толпа... А судьба допускает этот пыл остывать одиноко или, хуже,— гаснуть мгновенно пред нелепостью грубого непонимания!..

— Эти люди — боги! — вскричал я в заключение.— Все для них, потому что без них — ничего!

— Из чего следует,— сказал мой батюшка, слушавший хладнокровно,— что и гении, которые учат, и самоотверженные дарования, которые трудятся с простыми людьми наравне, все-таки в конце концов трудятся для тех же образованных господ. Но ведь жизнь долга. Чем же сами-то они занимаются в течение своей жизни?

— Они живут! — отвечал я восторженно.

— Потом и кровью других,— выговорил он тихо, с выражением, какого я еще никогда не видал у него. Оно мелькнуло только на секунду, но осталось мне памятно; я не раз жалел, что я не художник: я бы передал на полотне это лицо злого плебея.

Он встал, походил по комнате и помолчал.

— Вот что, Сергей,— сказал он, останавливаясь передо мною,— тебе семнадцатый год, а мне сорок; хотя и немного, да уж укачало... Сживаться нам друг с другом поздно...

Я хотел сказать, что и невозможно; он не дал мне начать:

— Но мы люди близкие; я еще за твои мнения и поступки отвечаю...

— Я, кажется, не заставлял вас краснеть,— прервал я.

— Сто раз! — почти вскрикнул он, раздражаясь, и тотчас же укротился, догадавшись, может быть, что хладнокровие — его единственный перевес. Он только покраснел, побледнел и зашагал по комнате. Я молчал и отвернулся к окну.

— В горе человек не понимает, что делает,— заговорил он, будто рассказывая кому-нибудь.— Не надо было

мне отдавать тебя — туда... (Он махнул в сторону головою.) Да жаль стало... Она умерла; хотелось получше приютить ребенка... И нашел гнездо — сорочье!.. Как они бога не боятся, растят вот этаких, все этаких до скончания века! Или не ведают, что творят? Нет, ведают, да живется-то им хорошо... боги!

Я улыбнулся и не возражал. У меня прошло настроение говорить и опять воротилось беспокойное, мучительное раздумье о том, что я в крайности...

— Мы четвертый год живем вместе, Сергей,— продолжал он, расхаживая и оттого еще несвязнее высказывая то, что, очевидно, несвязно бродило у него в голове.— Тебе, может быть, не по вкусу наше бедное житье. Не взыщи: средств больше нет; ты это знаешь. Ты все знаешь. Я перед тобой никогда ничего не скрывал. Ты должен сознаться, что я не стеснял тебя ни в чем, никогда не читал тебе морали. Я предоставлял твои поступки на твою собственную волю, а сам был всегда весь налицо пред тобою: ты видел и знал меня, следовательно, знал, каким я хотел, чтобы ты был. Я доверяюсь тебе всегда и вполне; ты от меня скрывал, конечно, многое. Я не вмешивался... вот только недавно, признаюсь, узнал о твоих сношениях с теткой...

— Monsieur!..— вскричал я, вскочив с места.

— У тебя завелись разные вещи, безделки... ты стал часто бывать в театре...

— Monsieur,— повторил я,— вы шпионили!

— Тьфу! — вскричал он,— да ведь я думал, что ты играешь! А после вот этого всего... не отвечаю за себя — я бы подумал, что ты украл!

Я побледнел от испуга: он в самом деле мог узнать, что я играю...

— Я не подсматривал за тобой, ты сам себя выдал,— продолжал он,— как-то три дня сряду бегал к отцу Павлу...

— И вы пошли за мной следом и расспросили?

— Пошел и расспросил.

— Давно ли это было?

— С тех пор ты не получаешь от твоей тетушки ни писем, ни денег,— отвечал он и засмеялся.

Не помню, что было со мною. В ужасе я мог только выговорить:

— Вы ей написали?

— Написал.

— Но как же вы осмелились...— вскричал я.

— Твоя правда: я самодур. Но ты меня три года обманывал.

— И это ваше мщение? лишить меня средств?

Он не отвечал и ходил молча.

— Как назвать ваш поступок?—продолжал я в отчаянии.— Можете ли вы содержать меня прилично, чтоб мне не было стыдно хоть тех дураков, которых вы навязали мне в товарищи? В ваших ли средствах доставить мне возможность как-нибудь по-человечески проводить мое время? Есть ли у вас общество, где бы умели ценить ум и дарования? Чем вы можете меня вознаградить, что вы можете мне дать — а вы меня обобрали!

Помню тут у себя одно движение сострадания: я взглянул ему в лицо; он показался мне так поражен, так уничтожен, как будто только что получил первое понятие о значении своего поступка. Мне стало неловко подвергать его пытке моего взгляда, и я отвернулся. Этого, конечно, было довольно, чтобы дать ему оправиться.

— Ты, конечно, не ожидаешь,— заговорил он хладнокровно, но я слышал, как дрогнул его голос,— чтобы я тотчас и предложил тебе денег. Начать с того, что у меня их нет, а были бы — я нашел бы им получше место. Оглянись на себя: ты не нищий и не калека, чтобы жить милостыней. Случилась необходимость — заработай; захотел повеселиться — заслужи...

— Прилежанием и благонравием?—прервал я и захохотал, но — не выдержал — захохотал сквозь рыдания.

— Да,— сказал он как-то тихо и странно,— тогда, пожалуй, с тобой вместе и я бы наградил себя за прилежание и благонравие.

— Вы?—вскричал я вне себя.— Но что же может быть у нас с вами вместе? Вы разорвали мои отношения с ma tante... А подумали ли вы, что ma tante, ее семья для меня одни-единственные на свете, что у меня нет никого...

Я не договорил, у меня захватило грудь от рыданий. Я вообразил свою бедность, беспомощность, нравственное унижение; я вообразил Кармакова, расспросы, насмешки... Мне хотелось бы упасть в обморок.

Отец стоял и глядел в окно.

— Все это, может быть, и так,— сказал он наконец, выговаривая с трудом, как будто у него пересохло в горле,— но я тебе сказал: я за тебя еще отвечаю, так и по-

забочусь покуда, чтоб ты не до конца перед людьми срамился... Со мной — можешь быть чем тебе угодно.

Он ушел к себе. Я выпил воды, послал Маланью в аптеку взять лавровишнёвых капель и обдумывал свое положение...

Я решился не видаться с отцом ни в этот день, ни в следующий. Это было легко сделать. Стояли прекрасные осенние дни; я ушел гулять и воротился поздно вечером. Отца не было дома. Прогулка меня освежила; я напился чаю один у себя в комнате, написал длинное письмо ma tante и заснул, прежде чем отец воротился.

На другой день я встал рано и, не видавшись с ним, пошел отдать свое письмо на почту, оттуда в класс, а из класса — бродить по городу. Я бродил часа три. Нужно мужество, чтоб добровольно провести целый день без крова. Скоро явилось другое страдание: я почувствовал голод. У меня в кармане оставалось только несколько грошей, на которые можно было купить разве кусок ситника и колбасы на базаре, но, кроме того, что это отвратительно, где бы стал я есть это?.. я ослабевал и томился. У меня уж начинала мелькать мысль, что можно, купив эту дрянь, уйти с нею под гору, к реке, где никогда не бывает гуляющих, где не могут встретиться знакомые; но ужас, что я, я сделаю это — удержал меня. Я отнял у себя даже возможность искушения. Мальчишки дрались на улице. С отчаянием человека, спасающего свою честь ценою жизни, я бросил в их свалку свои гроши и ушел не оглядываясь... Средств больше не оставалось.

Мои страдания усилились; у меня сжимало в горле, мои мысли мешались; одна была особенно неотвязна: зачем вчера, когда Маланья подавала мне самовар в мою комнату, я не запер окна и дверей и не бросил куска свечки в этот самовар... Теперь все уж было бы кончено.

— Но это еще не ушло!! — сказал я себе с горькой иронией.

Мне только стало жаль своей молодости, всего недожитого, несвершенного. Мне хотелось глубже обсудить вопрос: не обязан ли человек сохранить свою жизнь для общества, когда она представляет столько свежих, полезных задатков. Я решился подождать письма ma tante...

Между тем я все-таки имел мужество следить за своими страданиями: у меня делались судороги в желудке. Я удивлялся, что еще имею силу идти, и идти бодро... В церквах звонили всенощную. Я раскланялся с двумя

знакомыми дамами, проехавшими в коляске; они мило мне улыбнулись. Я подумал, что они, вероятно, возвращаются с обеда, и горько улыбнулся тоже: пред их глазами, неведомо, проходила драма!

«А он признает драмы только в лохмотьях...» — отчетливо сказалось у меня в голове.

Вместе с едким воспоминанием об отце у меня прошла мысль, что это замечание очень метко его обрисовывает. Я всегда вносил в записную книжку свои счастливые выражения. Теперь я захотел сделать то же, я был верен себе до конца: страдания, негодование, забота были не в силах сломать меня — я мыслил...

Я был на бульваре, всегда пустом. Я вынул книжку, присел на скамейку под деревом и стал писать. Несколько минут меня заняла работа, но, вероятно, меня поддерживала до тех пор только раздражающая ходьба, потому что в спокойном положении меня схватила жестокая, невыносимая боль... Книжка упала на песок дорожки; я чуть не вскрикнул и не упал сам, но удержался, услыша шаги.

Проходил гимназист второго класса, мальчишка лет одиннадцати; он и между своими считался неумным; тихий, откормленный, веселый. Увидя меня, он снял фуражку и остановился, вытаращив глаза; он был особенно весел.

— Что вы по улицам таскаетесь? — сказал я, не владея собою.

— Да я, тут...— начал он и радостно усмехнулся.— Ко мне приехали из моей деревни...

У этой тли была деревня!

— Так я ходил... Запас привезли, деньжонок привезли,— высчитывал он с наслаждением, как настоящий сын полей, помещик и будущий практический человек — тип очень любопытный в зародыше.— Яблок мамаша прислала; хотите? Хотите кренделька сдобного?

Он готовился развязать узел, который тащил. Там, должно быть, было всего этого вдоволь.

— Убирайтесь с дороги,— сказал я.

Он глупо засмеялся, нагнулся, сорвал травку и опять обратился ко мне:

— Чет или нечет?

У мальчишки была страсть спрашивать это всякую минуту; он надоел этим всей гимназии.

— Убирайтесь! — закричал я.

— Ну, милый, хороший, скажите,— приставал он, вертясь вокруг меня.

— Нечет,— отвечал я, чтоб отвязаться.

— Ах, не отгадали — две травки! Не отгадали! А я отгадаю, спросите! О чем хотите,— поспорим — отгадаю!

Он не давал мне пройти.

— Хотите на яблоки? Не хотите? Ну, о чем же хотите? Ну, хотите, если я не отгадаю — сколько будет у вас на руке, столько рублей заплачу? Хотите?

Мне вздумалось проучить его.

— Хорошо,— сказал я,— по рублю, извольте.

Я наклонился, сделал вид, будто прячу что-то, и заложил пустые руки за спину. Мальчишка визжал от радости и прыгал.

— Ну-с, чет или нечет?

— Ах, славно, ей-богу! Чет, чет!

Я показал свои пять пальцев.

— Пять пальцев — нечет. Давайте деньги.

— Да что ж это такое? Там ничего нет!

— Пять пальцев.

— Да ведь я сказал...

— Вы сказали: сколько будет *на руке*. На руке — пальцы, вы бы сказали: *в руке*. Вы и русского языка-то не знаете. Проучить вас следует. Давайте деньги.

— Э, вздор! — закричал он и хотел бежать.

Мне был противен мальчишка, который позволял себе такие вещи. Я схватил его и остановил.

— Нет, погодите. Извольте платить. Вам не позволят дерзостей с людьми постарше вас: вам сделали снисхождение, с вами играли, а вы... Ведь если бы я проиграл, вы взяли бы пять рублей? взяли бы?

— Да вы бы тогда сказали, что ничего нет, или бы обе руки показали! — пищал он.

— Как вы смеете? — вскричал я.— Хотел смошенничать, его поймали, а он еще... Давайте деньги.

Он струсил, достал круглый бисерный кошелек с стальным замочком — очевидно, работа маменьки, наследство после покойного папеньки — и вынул ассигнацию. В глубине засветилось еще немножко мелочи.

— Да ведь вы тоже проиграли,— сказал он нерешительно.

— Когда?

— А два-то, сейчас?

— Тогда еще уговору не было,— возразил я,— а вот это еще больше доказывает, что вы мошенник.

Я ушел. Мальчишка грохнул своими яблоками оземь и, мне показалось, заплакал. Я поспешил в гостиницу и спросил кусок чего-нибудь; полного обеда я не смел взять: надо было беречь деньги. Я хотел идти к Талицыну, где, наверно, будет игра; мне было необходимо по крайней мере удвоить свой капитал, чтобы спокойно возвратиться домой и обеспечить себя хоть несколько вперед — не голодать и не обязываться обедом моему батюшке. У меня было предчувствие, что мне удастся. Предчувствие меня обмануло.

У Талицына были гости. Он сам не играл и встретил меня очень оживленный.

— Поздравь,— закричал он, едва увидел,— я уезжаю в Петербург. Ты слышал, что приехала Зернищева? Она была у нас...

— И с Полиной,— прибавил Кармаков, которого я тут только увидел.

Мне показалось, что он взглянул на меня как-то насмешливо; я спросил хладнокровно:

— Совсем возвратилась madame Зернищева?

— Конечно нет; к зиме уедет опять.

— Да ведь это все равно,— заметил Кармаков,— покуда таскаешь этот красный воротник, никуда глаз не покажешь.

Он, как любимец директора и ученик старшего класса, ходил дома и в гости в статском платье. Я сделал вид, что не понимаю намека, и обратился к Талицыну:

— Зачем же ты в Петербург?

— Maman устроила чрез Зернищева: меня переводят в лицей. Об этом давно хлопотали, с год. Наконец-то!

— Отчего же ты не говорил ни слова?

— Боялся, что ты перебьешь у него дорогу,— вмешался Кармаков.

Он хохотал так обидно, что я вспыхнул.

— Вернее, боялся, что я посмеюсь, если он заранее нахвастает, да не удастся,— возразил я,— деньгами ведь не все можно достать. Впрочем, Талицын, ты человек предусмотрительный; теперь война, а через несколько лет понадобятся дипломаты: ты как раз поспеешь.

— Вот еще глупости,— прервал он, обидясь,— войне этой скоро конец, а там — выпишусь в кавалерию.

— В гвардейскую, конечно?

— С ума я сошел — парады да вытяжки! Нет — в благословенную Украйну... Мы не честолюбивы, Сергей Николаевич,— прибавил он злобно.

Он злился, что я не выражал ни восхищения, ни зависти. Я холодно замолчал. Талицын пошептался с Кармаковым. Все это окончательно лишило меня оживления. Я машинально подошел к играющим и машинально проиграл все, что у меня было. Мне кажется, я продолжал бы играть, не думая, что я делаю, если бы Талицын не извинился пред своим обществом, что должен его оставить.

— Надо к Зернищевым, там maman, и меня звали... Не желаешь ли со мной? Я представлю,— обратился он ко мне.

— Благодарю,— отвечал я,— ты еще сам их protégé, не спеши у них протежировать; это бывает нездорово...

Я ушел, взволнованный. Эти люди показались мне гадки; во мне поднялось болезненное плебейское чувство ненависти. Я стал обдумывать; голова моя кружилась. Мне хотелось найти какую-нибудь точку опоры, как-нибудь ограничить, определить свои желания, рассчитать как-нибудь свою жизнь хоть на несколько дней вперед... средств не было. Мне хотелось к Зернищевым. В тоске я пошел бродить около их дома. Уж стемнело, становилось поздно. Окна светились сквозь шелк и кружева; у подъезда были экипажи; прозвучали два-три стройных аккорда... У меня разрывалось сердце.

Это был не званый вечер, не бал, это было лучше: там собрались избранные, кружок, где больше простора остроумию, где меньшая сдержанность дает новый оттенок грации и красоте, кружок, куда не допускаются лишние...

— А меня там нет! я лишний! — почти вскрикнул я с отчаянием.— Я, отверженный, непризнанный, одинокий, стою, заглядываю в окна, между тем как какой-нибудь Талицын...

У меня невольно сжался кулак...

Квартальный, торчавший у подъезда, оглянул меня. Эта ничтожность считала себя властью!.. Все-таки в отношении ко мне — ко мне, в эту минуту! — он был сила.

Я отошел, прошел до конца улицы и остановился. Так опять туда, домой?.. Я возвращался беднее, чем вышел:

у меня не было больше товарищей, у меня не было общества. Так обязываться средствами отцу?..

Но почему ж и не так? Не обязываться, а брать мне законно принадлежащее. Ведь он же сам говорит, что «за меня отвечает». Так не я, а он обязан по крайней мере хоть поддержать мое существование... Не велика забота!

Я пришел домой. В комнате отца еще был свет, но я, конечно, не зашел туда. Я бросился в постель. Туман расстилался пред моими глазами; низкий потолок давил меня; по нем кружилась копоть сального огарка, бегали тени; все кругом было бедно, безобразно. Приподнявшись, я увидел свое лицо в маленьком зеркале на столе. Мне стало стыдно самого себя...

И так — всю жизнь?.. Нет, это невозможно!

Мною овладело отчаяние. Никогда еще так сильно не выказывалась мне унизительная сторона моего положения. Что могло быть ужаснее: по моим собственным убеждениям, я *должен* был презирать самого себя! Я сам — существо без значения, приниженное, робкое, грязное, зависящее, откинутое, ничтожное, как те, которым я стыжусь подать руку!.. Я слыхал и читал бредни о чердаках, где в двадцать лет хорошо живется, на которых поэты готовили свету свои творения, где будто бы созревали мыслители, где будто бы выработывались характеры. У меня нет суеверий, нет предрассудков, и глупых бредней я не признавал и в детстве. Может быть, где-нибудь, не у нас, существуют эти плодоносные чердаки и подвалы, но в моем отечестве, в моем кругу я не встречал ничего подобного. Все родившееся в этом темном, затхлом мире — министры из семинаристов, генералы из сдаточных, поэты из прасолов, публицисты из-за прилавка — все это до конца своих дней носило следы паутины, из которой вылезло. И сколько еще билось оно, чтобы вылезти!

Я смотрел на свое молодое, прекрасное лицо, окаймленное первым пухом и вьющимися волосами: мягкие и темные, они ярче выдавали белизну и нежность кожи; взгляд был и смел и задумчив; ужимка губ равно тонко и отчетливо выражала и снисходительное сочувствие, и холодное презрение... И эта молодость должна завянуть напрасно? И эти черты должны окостенеть в тупой гримасе покорности, самоумаления, трепета пред начальством? Эти тонкие пальцы должны зачерстветь в чернилах,

натереться мозолями на медных грошах? Эта кудрявая, вдохновенная голова должна облысеть над какими-нибудь логарифмами, чтоб потом передавать их каким-нибудь неумытым мальчишкам? Это жаркое, поэтическое сердце должно вечно биться под толстой рубашкой?.. О, лучше ему разорваться!

Отец обвиняет воспитание, давшее мне *такие* понятия. Нет, не воспитание дало их; они — следствие чувства справедливости, свойственного всякому развитому человеку. Благословляю мое воспитание, если оно их во мне укрепило и расширило!.. Есть люди,— пожалуй, даже большинство,— самой природой обреченные на темноту. Они и родятся с грубыми нервами, с грубым телом, с черствой кожей, с черствым умом. Им и соха в руки! Им и корпенье в аудиториях, грязь следственных допросов, распекания начальства, четвертаковые места в райке, фраки, перекупленные из третьих рук, именинные торжества в кухмистерских!.. Но разве я из таких людей? Разве то, что совершается со мною, не безобразно, не постыдно, не ужасно?..

Много лет прошло, а рука моя еще дрожит, записывая эти строки. Мое испытание было не легко...

Измученный всем, что вынес, я проснулся поздно. Маланья мне объявила, что я ночью чуть не сжег дома; хорошо, что папенька увидел, зашел, а то свечка догорела, бумага запылала, и прочее... Так папенька позволял себе по ночам посещать мою комнату? Впрочем, пожар от сального огарка показался мне гадок.

Папенька встал особенно рано, ходил к обедне, что ли; был праздник. Он сидел в нашем салоне, за чайным столом. Я поклонился, входя.

С первых дней, как мы жили вместе, он объявил, что не терпит целований руки и вообще не охотник целоваться; он, вероятно, понял, что эти церемонии будут мне противны, а потому отклонил их заранее. В этом отношении мне было чрезвычайно приятно беспрекословно подчиняться его вкусу. Впрочем, на него иногда находили припадки нежности, чаще всего после долгого хождения по нашей единственной комнате, отчего у меня рябило в глазах,— после долгих размышлений в молчании. Он вдруг обнимал меня, раз, другой, до боли крепко, потом сейчас же спокойно принимался за свое дело или уходил. Здороваясь и прощаясь, он подавал мне руку.

На этот раз он не подал мне руки. Я сел к столу, и у

меня мелькнула мысль отказаться от чая. Это был бы вполне заслуженный ответ на его вызов: я был учтив с ним; я, входя, ему поклонился. Но я подумал, что не сто́ит томить себя голодом из-за его дерзости.

Вдруг он начал:

— Можешь ли ты давать уроки французского языка?

Я взглянул на него, стараясь моим удивлением дать ему понять, что не ожидал услышать его голоса.

— Лучше меня никто не говорит по-французски во всей гимназии, да, я думаю, и во всем городе,— отвечал я, выждав минуту и спокойно.

— Я спрашиваю, можешь ли ты давать уроки. Можно знать что-нибудь, но не уметь передать другому.

— Полагаю, небольшая трудность.

— Ну, нет...

Он, видно, соскучился молчать целые сутки и разговорился. Предмет был из его любимых, наводящих на разные философствования. Он распространялся об основательности познаний, о методах, о том, что следует и чего не следует долбить. Я не мог понять, говорится ли это для собственного удовольствия или в назидание мне. Я был занят другой мыслью, слушать мне надоело, и я прервал:

— К чему вы это говорите?

Его красноречие вдруг остыло.

— Урок предлагают.

— Мне?

— Пожалуй, тебе, если возьмешься.

Мне вспомнилось, как унизительно и забавно гимназисты гонялись за уроками... И вот мне предстояло то же! Что скажут люди моего общества?.. Но где они? где мое общество? Что есть у меня? Куда денусь я, даже сегодня?.. Не попробовать ли этого средства, чтобы существовать как-нибудь, по крайней мере, пока я добьюсь толку от ma tante?..

— У кого это урок? — спросил я.

— У Смутовых. Воспитаннице.

Смутовы были пара старых девиц, которых мой батюшка посещал по праздникам. Это знакомство было сделано в последние два года; я был уже самостоятелен, наотрез отказался бывать у них и не помню, встречал ли когда-нибудь.

— Взрослая девушка? — спросил я, продолжая пить чай.

— Лет одиннадцати. Взрослые не учатся у ребят, не кончивших курса.

— Каковы взрослые,— заметил я равнодушно.— Надо видеть, что это такое; может быть, придется начинать с азбуки...

— Вот допьешь чай, пойдем к ним.

Я учтиво попросил дать мне время одеться. Одеваясь, я раздумывал. Дума была горькая. Вчера я видел, как мать, целым годом просьб и забот, устроила карьеру сына... пожалуй, и мой батюшка заботился,— поискал мне урока! Вся кровь во мне перевернулась: он мне протежировал! Он и теперь вел меня представлять! Мне хотелось закричать ему, что я ничего не хочу, и убежать из дома... Куда бы я побежал?

Стиснув зубы и бледный, я остановился пред зеркалом. У меня лопнула перчатка.

«Хорошо,— сказал я себе,— я принимаю его заботу, его милость; можно будет по крайней мере всякий день два лишних часа не видать его, не скитаясь по улицам; можно будет показаться в люди прилично...»

Чтобы яснее выразить ему, что я считаю себя независимым, я в его глазах, входя в гостиную, надел свои часы. Я не расставался с ними ни в какой крайности. Он ждал меня, задумавшись, и оглянулся на мои движения с каким-то странным выражением удовольствия. Он, вероятно, торжествовал, что *смирил* меня... Я проследил за его взглядом.

— Мальчишка-гимназист не должен щеголять,— сказал я равнодушно, опуская часы в карман,— но преподаватель имеет право считать свое время.

Он ничего не сказал. Мы пошли.

Смутовы жили далеко, на другом конце города, в своем собственном доме, окнами на площадь, среди которой стояла церковь. По этой немощеной площади, заросшей травою, пролегала одна пыльная проезжая дорога и тропинки, протоптанные по разным направлениям, будто по деревенскому двору. Рядом с домом и за ним виднелся огромный сад. Настоящее жилище старых дев. Обедня кончилась; на площади не было ни экипажей, ни прохожих; мальчишки спускали змея; собаки рыскали стаями и грызлись; из окон их укрощали хозяева.

— В этой патриархальной благодати небезопасно осенним вечером,— заметил я, прерывая молчание в первый раз с тех пор, как мы вышли из дома.

Мой батюшка не мог возразить против очевидности, тем более потому, что из окна высунулась старушечья голова и прокричала:

— Да вот он и сам! Милости просим! И кофей готов!

Мы взошли. Подъезд был с улицы, с длинной открытой галерейкой, откуда входящему открывались все прелести двора, кухонных окон, сараев, курятников. Правда, все было прибрано и чисто, но гость сразу посвящался во все тайны домашнего быта хозяек. В одно время с нами чрез боковое крылечко вошла в дом кухарка, нарядная по-праздничному; она поклонилась нам на ходу; она несла из погреба молочник со сливками. В прихожей, приветствуя нас, приняла этот молочник одна из хозяек, младшая, седая особа без чепца, необыкновенно веселая.

— Кофей на столе-с! — объявила она с пригласительным жестом в гостиную, которая была прямо из прихожей.— Как раз тут и есть! И сама вас с полной чашей встречаю — примета к добру!

В дверях стояла старшая сестра, та, что окликала в окошко. Она была в чепце.

— То-то, я вижу, с ним молодой человек; это он с сыном. Спасибо.

Отец, здороваясь, поцеловал у нее руку. Я поклонился — представлять меня было лишнее.

— Садись, батюшка, милости просим,— продолжала она, пока меньшая суетилась около накрытого стола.— А я вот в вашу сторону к обедне сходила, да и без ног; устала. Зато тебя нынче другой раз вижу. Сын-то молодец, какой большой.

— Смотри ты у меня, Любушка, не заветреничай,— отозвалась младшая сестра,— право, по чужим приходам к ранней обедне ходит, на молодых людей засматривается!

Она, смеясь, кивнула головой какой-то особе, повязанной платочком, сидевшей у стола, не то попадье, не то купчихе, и подала ей первую налитую чашку.

— Проказница эта Сашенька,— сказала старшая, смеясь степенно и подвигая себе кресло к столу.— Я его мать еще вот такую знала.

Она показала на аршин от полу.

— Красавица была,— прибавила она с умилением и вздохнула, обращаясь к отцу: — Тебя вот только недавно привел бог узнать.

Должно быть, старческий воздух, который охватил меня в этом доме, сделал то, что я старчески помню подробности этого первого визита. Впрочем, я мало слушал, что говорилось. Кажется, вспоминали, как нечаянно встретились с моим отцом и сочлись *своими* людьми. Мне эти люди были чужие; я молчал, глядя, как они пили и ели, и сам пил и ел очень много, потому что вслед за кофе явился пирог и младшая хозяйка угощала без пощады. Должно отдать справедливость, что угощение было очень хорошо, а кофе подан в старинных саксонских чашках, которым эти девы цены не знали. Правда, что на подносе было изображено какое-то необыкновенное сражение, что белье было толсто, но все в этом доме сверкало чистотою. Это меня успокоило.

Вероятно, разговор был занимателен. Седовласые хозяйки перекликались «Сашенькой» и «Любушкой»; гостья смеялась; рассмеялся даже сам мой батюшка. В удивлении, я прислушался: рассказывались какие-то детские шалости.

— Ах, грех с вами! — вскричала Александра Александровна.— Я так девочку и забыла, а она ничего не ела, в саду бегает.

Она бросилась звать в дверь.

— Кто там есть? (Затем с десяток женских имен.) Позовите Авдотью Ивановну кушать!

Ей не откликались.

— Что же ты зовешь? — возразила спокойно Любовь Александровна.— Нынче праздник, у них гости.

— И в самом деле. Я сама позову,— сказала Александра Александровна и отправилась.

— Какой солидный,— обратилась вдруг ко мне Любовь Александровна чинно и ласково,— мы, старики, хохочем, а он не улыбнется. Вот, мой друг, сейчас увидишь горе-девочку. Конечно, еще ребенок, всего не понимает, всей потери... Летом нынешним отца ее — чиновником он служил в уезде — лошади убили. Матери это вдруг неосторожно сказали, а она была в таком положении... ну, его святая воля!.. и младенец мертвый, и она сама к вечеру на стол легла. А Дунечка — одиннадцатый год девочке — круглая сирота.

Любовь Александровна отмигивалась от слез, которые набегали ей в глаза и в голос.

— Ты уж ей виду не подавай: пусть дитя забудется,— продолжала она, положив мне на плечо свою мяг-

кую руку,— полюби ее. Участь у вас с ней похожая, да у тебя отец, ты — мальчик... Вот она, никак, идет с Сашенькой... Она очень способный ребенок. Мать ее институтка была, учила ее. Не учить девочку — все равно что погубить. Характер ангельский... И во всем мире один дядя, отцовский брат... ну, такой человек! (Она махнула рукой.) Опекуном его назначили, а мы уж и упросили его нам ее отдать... Да и что опекать, какое состояние? Назначил он ей давать семьдесят пять рублей в год; на книги достанет да вот учителю... Возьмешься?

Она улыбнулась мне, желая ли задобрить, чтоб я не запросил дорого, или надеясь, что я приму на себя обязанность учителя по всем предметам. Я поспешил разочаровать ее.

— У меня нет времени,— сказал я,— я могу заниматься только французским языком, и то не каждый день.

Оказалось, что от меня только этого и желали. Рядом с нами жил сосед, бывший учитель какой-то гимназии, отставленный от службы за болезнью; к нему ходило много учеников и учениц; он вызвался бесплатно учить Дунечку. Я тут только узнал, что мой батюшка знаком с ним, даже дружески, и бывает у него часто. Друг за болезнью редко платил визиты и, так случилось, ни разу не встречал меня... Я подумал, как розно мы жили с отцом, и в раздумье не слышал программы всего, что преподает этот мудрец.

— А закону божию — обещал отец Алексей,— заключила хозяйка, показывая на гостью.

Я должен был догадаться, что это супруга отца Алексея. За затворенной дверью слышалась возня. Дунечка, вероятно, переодевалась. Я не совсем ошибся. Александра Александровна воротилась одна.

— Она еще рученьки моет: помогала Никифору вишни отсаживать. Я ему говорю: «Что это ты вздумал в праздник?» А он: «И, барышня, я уж и намолился и наелся,— что день терять...» Золотой человек.

— Ох, да ведь и скучно без дела, хоть бы и в праздник! — сказала Любовь Александровна и смеясь и будто извиняясь.— Еще утро как-нибудь пройдет, или книга есть, а то... спасибо Никифору, что напомнил: что день терять!

Она развернула какое-то громадное вязанье,— чей-то заказ или подряд. Мой батюшка стал рассматривать и похваливать.

Наконец вошла и Дунечка: еще затворяя за собою дверь, она сделала нам книксен. У женщин есть несчастный возраст — от десяти до четырнадцати лет. Они тогда некрасивы, нескладны, и их спасают только наряды, врожденная грация, постоянная заботливость воспитательниц. Эта Дунечка будто и теперь передо мной с своим книксеном. Белокурая как лен, худенькая; очень большие голубые глаза; бледно-розовые щеки; волосы на две толстые косы кругом головы; ситцевое черное платье довольно помятое, но новое, потому что гремело; большие ноги, кожаные башмаки.

— Где ты это, сударыня, бегала? — сказала ей Любовь Александровна, будто сердясь, и, поймав ее, поцеловала.

— Поди, матушка,— позвала ее тихо Александра Александровна и налила ей кофе,— садись тут.

Дунечка поцеловалась и с ней и с попадьей и стала есть.

— Что, много вишен насажала? — спросила ее Любовь Александровна.

— Целый ряд,— отвечала она.

— Это она на свое счастье сажает,— объяснила Александра Александровна,— еще лето, даст бог, проживем, а на тот год — и кушай с своих собственных.

— И меня позови, Дунечка,— сказал мой батюшка.

Она потупилась в свою чашку, потом отвечала:

— Я вам варенья наварю.

— Разве умеешь?

— Чего эта девочка не умеет! — сказала будто про себя Любовь Александровна и со вздохом отвернулась к окну.

Все это, однако, начало меня одолевать, а между тем об уроке ничего не было условлено. Я уж хотел прервать любезности моего батюшки и спросить прямо, на чем они решат; меня предупредила Александра Александровна.

— Дунечка, знаешь, это кто сидит? Это тебе учитель, француз, Николая Петровича сын.

Она залилась смехом на свое остроумие, ей вторила ее сестрица, восклицая: «Ах, Сашенька!» Смеялся и мой батюшка, хотя,— я это видел,— принужденно. Он должен был чувствовать, что наши отношения не допускают шуток, а мне было приятно видеть, как он старался это скрыть. Я не трудился скрывать свои чувства; я при-

стально, серьезно и спокойно посмотрел на отца и перевел взгляд на Дунечку, которая покраснела и сконфузилась.

— Не беспокойся, милка,— сказала ей успокоительно Любовь Александровна,— этот учитель с тобой в саду набегается.

— Да еще и на яблоню слазит! — прибавила остроумная сестрица.

— Нет,— возразил я, видя, что это заходит далеко,— я не люблю терять моего времени; потому и теперь попрошу сказать мне скорее и определеннее, чего от меня желают.

Мой спокойный тон заставил притихнуть всю компанию.

— Да вот по-французски ее учить,— заговорила с недоумением Любовь Александровна,— она уж читает, пишет... Ты читаешь, Дунечка?

— Да...

— Ты и слов много знаешь. Ты скажи, душка, не конфузься.

— Знаю... Я и глаголы знаю.

— Вы можете как-нибудь объясняться? — обратился я к ней.

Молчание.

— Вы можете как-нибудь говорить? — повторил я.

— Я все говорю; я с маменькой всегда говорила,— отвечала она чуть не сквозь слезы.

Это было невыносимо!.. Я оставил небольшую паузу, чтобы лучше высказать, как мне неприятна, как неприлична эта сцена,— но вдруг все повернуло иначе: к подъезду подкатили щегольские дрожки, запряженные отличным серым рысаком, и с них соскочила нарядная дама.

— Ведь это Марья Васильевна! ах, сумасшедшая! — вскрикнула Александра Александровна и бросилась встречать.

Отец брал фуражку.

— Куда ты? не уходи, она недолго посидит; останься,— шепнула ему Любовь Александровна.

Александра Александровна между тем возилась в передней, что-то оправляя в наряде гостьи; обе звонко смеялись, наконец обе вошли. Гостья придерживала свое светлое шелковое платье.

— Здравствуйте, тетенька,— заговорила она, целу-

ясь с Любовью Александровной,— а я у вас на подъезде вся оборвалась; вот как!

Она показывала из-под платья роскошно вышитую юбку.

— Да ведь ты скачешь,— заметила Любовь Александровна,— где это, мать моя, рыскала?

— Как, рыскала? Я от архиерейской обедни; проморил он сегодня — до часу.

Она взглянула на часы у своего корсажа и кивнула попадье.

— Здравствуй, Додо. Тетенька, покормите меня; я с утра голодная.

Александра Александровна уже суетилась. Должно быть, в этом доме всегда все было наготове, потому что минуты не прошло, как горничная принесла еще дымящийся кофейник и еще полный молочник. Марья Васильевна сняла шляпку и бросила ее на пяльцы, стоявшие у стены.

— Ах, тетенька, будете вы причиной моей смерти! кофе у вас чудесный, я удержаться не могу и все толстею. Дома я не велю себе давать... Полюбуйтесь на мою лошадку, тетенька, Николай Петрович... Она меня сегодня чуть не разбила; орловский рысак. Тетенька, вы полюбуйтесь.

— Да чем любоваться? — возразила Любовь Александровна.— Ну, вижу, должно быть, бешеная, в твоем вкусе.

— Ах, тетенька, душенька моя, выдумает! Точно в моем вкусе!

— А дорого дала за нее? — спросила Александра Александровна.

— И не говорите,— разорилась! Зато как мчит! Я ее прозвала *Демон*, так и кучеру велела звать.

— И, матушка! — сказала тихо, с отвращением Любовь Александровна.

— Что ж, тетенька, разве грех? Ведь это не человек.

— И животное не должно так называть...

— Ну-с, а певчие нынче отличились,— заговорила Марья Васильевна и стала рассказывать, кого видела в соборе.

Я между тем смотрел на нее. Это была особа не первой молодости, за двадцать лет, свежая, потому что полная, но очень стройная. Полнота шла к ней. У нее были маленькие, хорошенькие руки, точно перетянутые ниточ-

кой, с длинными ногтями и множеством колец на пухленьких пальчиках; они глядели как-то мило-смешно; щеки были нежно румяны и пушисты; маленькое черное пятнышко на белом виске, глаза большие, серые, как мне показалось,— я менее всего обращаю внимания на глаза женщин. Темные волосы были великолепны, толстая коса с трудом держалась на затылке, прикрученная длинными толстыми косами переднего пробора, положенными сверху. Я знаю подробности женского туалета: из фальшивых волос такой прически устроить невозможно. Провинциалка заметно кокетничала красотой своих волос и вообще всей своей особой. Это было приятно видеть. Я давно не встречал такого оживленного, цветущего лица; между старушечьими оно выдавалось еще ярче.

Она приметила мой пристальный взгляд и улыбнулась. Я улыбнулся ей тоже, не невольно, а чтобы показать, что видел ее улыбку. Раз-другой, покуда она щебетала, мы еще обменялись взглядами и улыбками, но она как будто уж старалась делать это неприметно для других. Я взглянул на нее значительно; она будто споткнулась в разговоре и покраснела.

— Ох, пора домой,— сказала она, вдруг вставая,— что ж вы меня сегодня ни за что не браните, тетеньки? Право, Николай Петрович, уж у меня в привычку вошло: как я к тетенькам, так они меня распекать,— и я ветреница, и я мотовка... Так, что ли, тетеньки?

Она стала целовать Любовь Александровну; та растрогалась.

— Господь с тобой... дуришь ты, а сердце у тебя чистое...

Дунечка подавала шляпку гостье.

— Эх, Дуня, цветочки хороши! — сказала Александра Александровна.

— Такие у нас в саду есть,— сказала Дунечка.

— Астры,— отвечала Марья Васильевна, надевая шляпку и, как будто для того, чтоб она ловчее надвинулась, покачивая головой из стороны в сторону.— Нравится тебе, Додо?

— Да.

— Мне нравится, что осенью вы носите осенние цветы,— заметил я, заговорив первый раз.

— Очень рада, что вам нравится.

Она покраснела опять, засмеялась и подала руку моему отцу, чего не сделала, здороваясь.

— А что стоит это удовольствие? — спросила Александра Александровна.— Здесь делали?

— Вот еще, здесь! Московская.

— Ну, как же ты не мотовка? — отозвалась Любовь Александровна.

— Погоди, выйдешь замуж, муж уймет! — закричала Александра Александровна.

Марья Васильевна подняла руки к шляпке, будто зажимая уши, выбежала в прихожую, на крыльцо, прыгнула на свои дрожки и помчалась.

— Видишь, проворная, и слушать не хочет! — сказала Александра Александровна.

Мой батюшка стал прощаться; я боялся, чтоб его не уговорили остаться обедать; Александра Александровна уж предлагала мне пойти побегать в саду. К счастью, батюшка устоял, отговорившись, что хочет навестить Егора Егоровича, отставного учителя,— и нас наконец отпустили.

— Я хочу тоже видеть своих знакомых,— сказал я, прежде чем мы вышли, чтоб отнять у него надежду, будто я могу ему сопутствовать.

Он ничего не сказал; мы сошли с крыльца, он налево, я прямо.

— Я не возвращусь до вечера,— сказал я.

— Как хочешь.

Мне было необходимо отдохнуть от всего, что я вынес во все эти дни, накануне, в это утро. Мне была нужна перемена воздуха, перемена общества. Я вспомнил Ветлина. Его отец продолжал быть исправником и наживаться; сам он запоздал в гимназию и только что перешел в шестой класс, глупо тратил деньги и жил весело. Мать не отказывала ему ни в чем, готовая простить даже безобразные шалости. Но он был малый тихий и робкий, готовый поддаться первому сильному влиянию. Я давно говорил это Кармакову, но он только смеялся тому, что я предлагал развить Ветлина. Он вспомнился мне теперь. Я решился взять его под свое влияние, организовать у него кружок, наперекор кружку Кармакова, который я решился оставить. Этот кружок был бы вполне *моим*, в моем духе...

Мне было суждено разочароваться. Я провел день и обедал у Ветлина, видел всю семью и убедился, как чужд мне и непорядочен этот барский провинциальный склад. Те же сборища чиновников, только побогаче, и, если

только возможно, еще менее смыслящие; еще более самоуверенности и неуважения к достоинству; покровительственный тон и лакейский трепет... «Les va-nu-pieds sont plus supportables que les parvenus» [1],— говаривал Мишель. Я с ним вполне согласен: от первых есть все средства отделаться, вторые к нам сами лезут... Впрочем, я еще не решил отдалиться от Ветлина; это было бы нерасчетливо на безлюдье и в моем положении; я только разочаровался в надежде сделать из этого молодого человека что-нибудь самостоятельное. Им было удобно, можно и, следовательно, должно пользоваться... Я одушевил этот семейный круг моей любезностью, веселостью, оригинальностью; родители пришли в восхищение: они меня не знали до этого дня; встречая редко, они считали меня человеком угрюмым, «гордецом», как наивно выразилась m-me Ветлина, обнаружив этим словечком свое близкое родство с купеческим прилавком... Я испытывал чувство, еще мне незнакомое: страдание изящной скуки среди комфортной обстановки. Меня поддерживало сознание моего превосходства и, пожалуй, приветливость этих людей, невольно заставлявшая быть к ним снисходительнее...

День был табельный; вечером была иллюминация, гулянье и музыка в городском саду. Ветлину так хотелось поглазеть на все это, что я сделал ему удовольствие, пошел с ним. В саду была толпа, теснота, не встречалось души порядочной. Я и Ветлин пробирались к площадке, где сбиралось общество, когда в одной пестрой и шумной группе барынь мелькнуло лицо Марьи Васильевны; она поклонилась в нашу сторону. Я, конечно, не отвечал на поклон, но Ветлин приподнял фуражку.

— Кому ты это? — спросил я.

— Барышне. Разве ты не видал?

— Помилуй, разве можно кланяться кому-нибудь в этом содоме?

— Да как же быть? Это маменькина знакомая.

— Кто она?

— Мамзель Смутова. Здесь был казначей Смутов... Да что ж я? вот твой отец поступил на его место... Смутов нажился, никак лет тридцать сидел, и скряга был. Вышел в отставку, как года выслужил, жил в каком-то

---

[1] Босяки более сносны, чем выскочки *(франц.)*.

чулане, почти не пил, не ел и все корпел над деньгами. У него вот эта дочь; он, когда служил, ее в пансион отдавал учиться, а потом взял домой; она у него в ключах ходила, на базар...

— Une existence charmante [1],— заметил я,— и воспитание, должно быть, прелестное.

— Нет, ничего. Отец, к счастью, через год, что ли, умер. Денег много, она нарядила в чепец какую-то свою тетушку, бабушку, которая прежде у них на кухне стряпала... ведь девушке нельзя жить одной, неприлично.

— Понимаю, un chaperon... [2]

— Как ты сказал?.. Да все равно, эта тетушка никому не показывается; знаю только, что есть тетушка. Нет, Марья Васильевна умно сделала: как умер отец, она в Москву; наделала себе нарядов, повеселилась, кое-чему поучилась...

— И по праздникам французит? — заметил я.

— Нет, что ты, в самом деле...— сказал он и сконфузился.— Нет, она добрая. У нее теперь и знакомые есть, живет хозяйкой, прилично, принимает. Конечно, аристократия наша к ней не ездит, да ведь что же...

— Это очень вульгарная особа,— заметил я,— конечно, наша аристократия не бог знает что, но все-таки...

Он еще более сконфузился и повесил голову. У меня прошла мысль: я не мог принудить себя поклониться Марье Васильевне, но нужда обрекала меня на посещение ее родственниц, старух еще более вульгарных. Это узнают, об этом заговорят в *моем* обществе — у директора и Талицыных. Как объясню я это сближение?

— Скучно,— сказал я,— толкотня надоедает; пойдем к какой-нибудь скамейке, где потемнее... Ты человек положительный, Ветлин, ты не понимаешь, какие бывают иногда минуты, что весь род людской, все кажется так ничтожно...

— А что? — спросил он.

— Так, скучно... Пустота. Дикие фантазии приходят от скуки; вот мне пришла фантазия — поближе посмотреть, что это за люди.

— Какие люди?

— Да вот эти. Как ты назвал эту девицу?

---

[1] Прелестный образ жизни *(франц.)*.
[2] охранительница *(франц.)*.

— Смутова.

— Ты мне напомнил. У моего отца престранные знакомства... Меня просят взять на себя учить по-французски девочку у одних его знакомых, Смутовых... Натурально, даром, когда мне вздумается. Я не решаюсь.

— Отчего же? Вот только что даром...

— Ты не воображаешь ли, что я, как поденщик, намерен когда-нибудь работать из-за денег? Воздержись от таких предположений! — прервал я, испугав его моим смехом, и продолжал снисходительнее, чтобы дать ему оправиться: — Я не решаюсь потому, что предвижу для себя тоску бешеную в кругу, где львицей какая-нибудь Марья Васильевна. Я отроду с такими не знался... Я даже хотел спросить именно тебя: ты... ты везде бываешь, у тебя и купцы родня... Извини, я ничего не осуждаю; ты знаешь, давно сказано: «Мы не выбираем себе родственников»...

Он этого, конечно, не знал, но мое пожатие руки его ободрило.

— А что это для меня дико, ты сам поймешь,— продолжал я с чувством,— ребенком я был замечен на костюмированном бале во дворце, и вдруг...

Я остановился, охваченный воспоминанием.

— Ты понимаешь?.. С таким прошедшим разорвать нельзя!

Увлекаясь, я рассказал ему об этом прошедшем, о первых блестящих шагах моего детства, и удержался говорить о печалях настоящего... Меня поймут те, кому случалось невольно высказываться пред непонимающим! Я умолк. Он сидел, прислушиваясь, как полковые трубачи гремели польку.

— Лихо! — сказал он, когда они кончили.

Я сжал руки и глядел на пруд, где отражались бедные плошки.

— Что ж,— начал я опять, чувствуя сам, как изменился мой голос,— брать мне этот урок или нет?

— У Смутовых-то?.. Бери, ей-богу, ничего. Что было — прошло, не воротишь, а жить надо.

Я был поражен: откуда такая решительная философия?

— Ей-богу, бери. Хоть что-нибудь да будет. Ну, Кармаков там, другие станут трунить, что за беда. Талицын скоро уедет. Да что нам они? давно пора от них отстать и на них не глядеть. Талицын таким фоном-бароном, что

в Петербург едет... Смешно смотреть! будто невесть что этот Петербург. А тебе особенно, не знаю, что за охота с ними связываться; если б ты только послушал...

Бесцеремонно, наивно, бессознательно-неделикатно он начал пересказывать мне, как заочно относились ко мне мои друзья. Лгать ему не было выгоды, да он бы и не сумел. Между прочим, я узнал, что мою шутку в *чет* и *нечет* глупый мальчишка рассказал уже в гимназии и старшие *моего* кружка взяли его под свое покровительство: мне готовили скандал. Я был вне себя. Я погибал,— меня обвиняли в грабеже...

— Негодяй, лгун,— вскричал я,— я ни за что не пойду в класс, если передо мной не извинятся. Это была шутка!

— Но ведь надо отдать ему деньги,— возразил Ветлин.

— Чтобы я стал еще говорить с этой дрянью! Вот деньги, возьмите, бросьте их завтра при всех ему в лицо и скажите, что я велел вам это сделать... С старшими я разделаюсь, или... спросите, извинятся они? Тогда я приду в класс.

— Хорошо,— сказал он,— все сделаю, все скажу. Давай деньги.

У меня их не было... Что мне было делать?

— Боже мой,— вскричал я,— со мной нет бумажника!.. Ну, теперь и вы, Ветлин, и вы мне не поверите...

— Право, я не знаю, что ты это так принимаешь,— заговорил он, сконфузясь,— а вот мне обидно: все вы говорили мне *ты*, а теперь вдруг... Словно я виноват...

— Не вы, а судьба, которая лишает меня последнего друга,— сказал я и встал, чтоб идти.— Прощайте.

Он преуморительно испугался.

— Послушайте, я, право, не знаю, что с вами такое,— сказал он, удерживая меня,— ну, с вами теперь бумажника нет,— ну, я отдам завтра свои... у меня есть...

— Неужели? — вскричал я.— Неужели вы доверяете мне настолько, что на целые сутки одолжаете мне пять рублей?

Я в эту минуту ненавидел все человечество... Меня обезоружил кроткий, окончательно потерянный взгляд этого юноши. Я постарался выразиться для него понятнее.

— Хорошо, спасибо; заплати завтра, а там...

Он с такой радостью схватил мою руку, что мне хотелось сказать этой преданной душе: «Я награжу тебя, пользуясь твоей преданностью до конца, я никогда не отдам тебе назад этих денег...» Но я удержался: такие слова могли навести его на раздумье.

— Прощай,— дружески сказал я.

— Куда же ты? не к нам?

— Нет, не гожусь сегодня... До завтра.

Я, конечно, не пошел и не мог пойти к нему завтра. Я не пошел в класс, половину дня бродил по улицам, другую просидел запершись у себя. Так прошло несколько дней. Я собрал что у меня было книг Талицына, отнес к нему в дом и отдал лакею, не спрашивая, дома ли он сам. Мы с ним больше не видались. Пред отъездом, я знаю, он был у многих товарищей, прощался, у него на прощанье обедали. Меня он не посетил и не звал обедать.

Я не бывал больше у Кармакова, и он у меня. Мое общество распалось; у меня было отнято не многое, последнее, что было. Надо было искать новых средств, новых путей... Я терялся. Минутами я малодушно приходил в отчаяние. Ma tante не писала ни слова. Я был в крайней нужде...

Мой батюшка играл со мною «комедию нестеснения». Он будто не замечал, что я не хожу в класс, и, хотя прошло больше недели после нашего визита к старым девам, он не напоминал мне об уроке. Мне было бы любопытно посмотреть, долго ли протянется это скромное невмешательство, искренно оно или притворно, но обстоятельства были нетерпящие: урок у Смутовых являлся для меня спасением.

— Я думаю,— сказал я однажды за обедом как мог равнодушнее,— Смутовы уже взяли своей воспитаннице какого-нибудь учителя французского языка.

— Как же можно, когда условились с тобой?

— Мы не условились еще... Да наконец, сколько меня ни ждать...

— У тебя могло не быть времени,— сказал он так, что я не мог понять, говорит ли он серьезно или насмехается.

— Теперь и пойти к ним даже неловко,— продолжал я,— найдешь занятое место...

— Тебя ждут,— коротко отвечал он и ушел за свое дело, предоставляя меня моим размышлениям.

Моим первым размышлением было — не идти: если он говорил, что ждут, то знал это наверное; мне было любо-

пытно, долго ли еще прождут. Я ушел в свою комнату, по обыкновению, отдохнуть, читая. Книг не было... Этого было довольно, чтоб поставить меня опять лицом к лицу со всеми ужасами моего положения: у меня не было даже книг!

Раздумывать больше было нечего. Пошлеть так пошлеть; скорее, головою в омут! Я решился идти на урок.

Я оглупел, едва решился; сам не знаю для чего, я подошел к двери отца и сказал:

— Я сейчас иду к Смутовым. Вы ничего не поручите?

— Ничего,— отвечал он, не оглядываясь.

Чего я хотел? зачем я спрашивал? Какое странное чувство прошло по моей душе в эту минуту! Неловкость, покорность, какое-то смирение, какой-то страх,— все вместе. Я шел, действовал будто в тумане, не сознавал настоящего, не понимал, что мне нужно от людей... Поддаться этому чувству один раз — и человек погибает навсегда.

Было, кажется, первое сентября, и довольно холодно. Идти было далеко. Мне как-то хотелось дразнить себя усталостью, холодом, всей гадостью положения бедняка, который отбивает сапоги по урокам. Я точно будто сказывал сам себе мучительную сказку: это был я и не я. Я шел машинально, зная, что приду, зная, куда приду, но и место и цель казались мне как-то далеки и неопределенны. Я знал людей, которых увижу, знал, что у них для меня есть дело, но что я скажу этим людям, что я буду делать... Я не собрался с мыслью, даже взойдя на крыльцо...

Звонить было не во что, но и не нужно: этот дом запирался только ночью. Прислуги никого не было; я сам отыскивал вешалку для своей шинели. На мой шорох из гостиной раздался вопрос: «Кто там?» — и Александра Александровна явилась стремительно.

— Да вот кто, Сергей Николаевич. Пожалуйте, пожалуйте, дорогой гость, очень рады!

Они всегда радовались гостям, а выбегать навстречу была привычка Александры Александровны. Любовь Александровна, погруженная в кресло и покрытая попоной, которую вязала, не могла приподняться и приветствовала меня с места.

— Вот он, здравствуйте!

Я слышал, как в других комнатах суетились горничные; женский голос провизжал:

— Учитель!

Александра Александровна еще определеннее напомнила мне цель моего посещения.

— Дунечка,— громко и радостно сказала она, притворив дверь,— иди-ка; к тебе Сергей Николаевич пришел.

Любовь Александровна таинственно поманила меня к себе ближе и зашептала:

— Голубчик мой, тогда ты ничего не сказал, но ведь ты слышал: она приготовлена; тебе с самым скучным, с азбукой не возиться... Поучи ее, как тебе досуг, два раза или хоть один раз в неделю; как можно, как вздумаешь... Ну, а цена... Мы больших средств не имеем... Довольно будет в месяц шести рублей?

— Извольте,— сказал я, слегка поклонясь.

— Голубчик мой, тебя бог наградит!..

Дунечка вошла и сделала книксен. Она была в цветном платье; траурное надевалось по праздникам, а это донашивалось из экономии. Мне все это объяснили, расспрашивали о здоровье батюшки, рассказывали о нем, чего я и сам не знал, забыли об уроке. Я напомнил:

— Где же мы займемся?

— А вот, пожалуйте... Дуня, ты там свечку зажги. Уморительная эта девочка,— продолжала Александра Александровна ей вслед,— она уж и стол себе убрала, все вас ждала. Так она все это любит — парадно. Книжки свои, бумагу, перья разложила...

— Надо ей чернильницу хорошенькую купить,— отозвалась Любовь Александровна,— девочку утешить.

— Готово,— сказала Дунечка, являясь на пороге.

Я пошел за нею. Любовь Александровна удержала ее, поцеловала, перекрестила и умилилась.

Комната была довольно большая; главную мебель составляли комоды и буфетный шкап. «Парад» состоял в том, что письменный стол был накрыт каким-то клетчатым шерстяным платком; мне было подвинуто кресло. Дунечка, садясь, перекрестилась.

— Вам страшно? — спросил я, поглядев на нее пристально и засмеявшись.

Она как-то глупо не поняла и не отвечала.

— Прочтите что-нибудь.

Она взяла какую-то детскую книгу и стала читать.

Произносила она хорошо и читала без запинки, даже с выражением, нисколько не робея. Я слушал машинально, покуда не надоело.

— Можете перевесть то, что прочли?

Она не отвечала и стала переводить очень бойко; затрудняясь чем-нибудь, она устремляла глаза прямо перед собою, припоминала и продолжала. Раз она остановила на мне эти голубые глаза; я хотел подсказать; она махнула рукой и принялась еще проворнее. Ее голос тревожил мне нервы.

— Довольно,— сказал я.

Она замолчала и ждала.

— Вы, верно, это сто раз переводили,— заметил я.

Ответа опять не было. Мне было скучно; я не знал, что еще делать. Если бы эта девочка ничего не знала, мне по крайней мере было бы что замечать, за что рассердиться и, следовательно, было бы чем оживиться. Но она спокойно показывала свои познания и ждала, что ей дадут дальше, а учительские приемы были мне решительно чужды. Если б она робела,— я мог бы смеяться или заботиться ободрить ее. Если б она была грациозна, игрива, она одушевила бы это тупое занятие той кокетливой, кошачьей шаловливостью, которая служит задатком будущего развития женщины... Я задумался. Я знал девушек,— девочек, мучение учителей, но какое прелестное мучение! Каким светом наполняли они класс, как быстро, живо мелькали их шаловливые ручки, выхватывая тетради! Как нетерпеливо, капризно топали под столом их крошечные ножки, как шелестели их пышные, свежие платья! Какие очаровательные гримасы делались за спиной учителя, и учитель видел их, отраженные в зеркало, и был обязан рассердиться, и не мог, начинал выговор, улыбаясь, а кончал — целуя ручку насмешницы,— потому что у нее уж дрожали губки и сверкали слезы. Но плакать она нисколько не хотела. Эти прелестные создания умеют вызвать у себя слезы, когда им вздумается, и какие алмазные, грациозные слезы! Это их талант, это одно из их непобедимых очарований...

— Не будем ли диктовать? — вдруг спросила Дунечка, прерывая мое раздумье.

— Хорошо...— сказал я, вспомнив, что можно еще делать.

Она достала приготовленную новую тетрадь; на обертке было выведено готическими буквами: «Dictée».

— Кто это писал? — спросил я.

— Я,— отвечала она, подвигая мне книгу, и взялась за перо.

Мои мысли были далеко... Белокурые волосы этой девочки напомнили мне другой образ: он воздушно мелькнул предо мною во всей своей прелести... Ко мне сошло вдохновение.

— Я вам продиктую стихотворение,— сказал я, закрывая рукою глаза.

— Как заглавие? — спросила она.

— Не спешите.

Я стал диктовать, увлекаясь:

A NANNY

Nanny, premier rayon et — triste destinée!
Première erreur d'amour, première fleur fanée,
Qui, embaumant toujours son vase de cristal,
Meurt, pâle, languissante au lendemain du bal...[1]

Остальное исчезло из моей памяти... Не мудрено! прошли многие годы с тех пор, как юноша, полный тревоги и воспоминания своего первого увлечения, томясь от скуки и окружающего безобразия, нашел в душе своей страстные, пламенные строки — и не имел мужества перечитать их: так они были изуродованы пропусками, полны ошибок орфографии, так лишены запятых и точек...

— Это ни на что не похоже! — вскричал я.

— Да я ничего тут не понимаю,— возразила она невозмутимо.

— Это доказывает только, что вы ничего не читали,— сказал я,— поправлять нет возможности.

Одну минуту мне хотелось вырвать и взять себе эту страницу; меня остановила поэтическая мысль. Пусть погибнет этот вдохновенный листок; пусть улетит он, как улетает моя молодость! Все же он горькое и отрадное доказательство нравственной силы, поэзии, не засыпающей среди всей пошлости обстановки...

Я взглянул на свои часы: урок продолжался полтора; можно было кончить. Я вышел в гостиную. Там уж был готов чайный стол, но вечно движущаяся Александра

---

[1] К НАННИ

Нанни, первый проблеск и — печальная судьба! Первое заблуждение любви, первый увядший цветок; благоухая в хрустальной вазе, он блекнет, изнемогает и гибнет на другой день после бала... *(франц.)*

Александровна была занята другим; она разбирала какой-то большой узел и подносила показывать вещи из него неподвижной Любови Александровне. Я поискал фуражку.

— Нет, куда же вы? — сказала жалобно, будто испугавшись, Любовь Александровна.

— Нет, батюшка, у нас не такие порядки,— возразила Александра Александровна, на ходу отняв у меня фуражку.— Вот я чай заварю, да варенья нового попробуем. Папушник сейчас из печки горячий. Садитесь-ка. Иди, Любушка.

Любовь Александровна тяжело переместилась с своего кресла к столу, подле меня.

— Ну что, как Дунечка? — спросила она таинственно и с таким беспокойством ждала ответа, что мне стало смешно.

— Ничего...— отвечал я, слегка пожав плечами.

— Милый мой, ты с ней как-нибудь поласковее,— заговорила она, растрогавшись,— ведь еще ребенок... А может она успеть?

— Да,— отвечал я, хохоча внутренно и подделываясь под тон наставников,— у нее способности... она прилежна... если заняться...

— Займись, займись с ней, голубчик! — подхватила она, обрадованная.

Дунечка пришла и села к столу. Александра Александровна поставила перед нею нечто в роде купели, ее любимую чашку, как тут же мне объяснили, и сказала в виде любезности:

— А вот учитель-то твой говорит, тебя надо без чая оставить: ленива очень.

Дунечка молча обратила на меня свои большие глаза.

— Шутит! — возразила Любовь Александровна, успокоительно улыбаясь и кивая головой на сестру, и обратилась ко мне: — Для меня даже мучительно слышать, когда детей наказывают, не дают им чего-нибудь. Грех это даже: господь всем пищу дал равно: и правым и виноватым. А на ребенке какие вины? Чему улыбнулся? — продолжала она, улыбаясь тоже.— Оставить его одного, пусть поскучает; а между тем обдумает, что сделал дурно, раскается да богу помолится, чтоб вперед не делать...

Я, конечно, не опровергал ее убеждений, тем более что чай был превосходный.

— Варенье ты, Сашенька, на славу подала,— заметила с удовольствием Любовь Александровна.

— Да уж для дорогого гостя! — отвечала она.

Была бы охота, я мог бы угощаться тут до ночи. Хозяйки не требовали от гостя ни любезности, ни разговорчивости; они занимали меня сами, рассказывая о себе, о своих знакомых, в особенности об отставном учителе Егоре Егоровиче. Все знакомые были прекрасные люди, но Егор Егорович лучше всех, нечто высшее; ему почти поклонялись. Ему назначалась попона работы Любовь Александровны, «теплое одеяло к зиме», объясняли мне, «человек он нездоровый». Когда вслед за чаем на столе явились яблоки, в самом деле замечательно крупные, Любовь Александровна спросила:

— А Егору Егоровичу, Сашенька, послали?

— Разве ему таких! я получше отобрала и отправила. Это из нашего сада,— обратилась ко мне Александра Александровна,— не хвастаясь сказать: во всем городе лучше нашего сада нет.

И мне была рассказана вся история, как назад тому пятнадцать лет дом у них в деревне пришел в ветхость, а поправить было нечем, а главное, они соскучились в деревне, где знакомые — кто выехал, кто умер,— и разочли купить себе это гнездо,— место прекрасное, к церкви близко. Деньги одолжил прекраснейший человек, сосед их по деревне, Бревнов; две тысячи рублей. Тысячу они уж выплатили, а на другую вексель, и живут покойно, платя проценты. Бревнов — человек богатый, а главное, прекраснейший. Должницы они верные, и обеспечение, на случай чего,— дом. Дом, пожалуй, невелик, но при нем сад. Они этот сад нашли запущенный, убрали; насадили вновь, хлопотали за ним, и теперь там чего душе угодно; одних ягод на столько-то рублей продают в лето... Они, вероятно, полагали, что это для меня очень интересно. В самом деле, я в первый раз в жизни видел, как люди придают важность какой-нибудь десятине земли, старому строению, четверику яблок.

— Но у вас есть имение? — спросил я.

— И, голубчик мой, двадцать душ! — сказала Любовь Александровна,— ведь им тоже жить нужно. Оделили их, и осталось наших десятин сорок земли в найму,— вот и все. Вот я рябину люблю; они мне на поклон мороженую иногда привозят. Орехи возили, да уж у нас зубов нет, щелкать некому.

— Теперь есть кому! — вскричала, одушевляясь, Александра Александровна.— Как на базаре будет кто оттуда, так велю привезти орехов. Это вот Авдотье Ивановне, да и Сергей Николаевич от каленых в меду не откажется.

Я, однако, отказался, чего она не ожидала. Восхищение Дунечки в надежде орехов напомнило еще что-то Александре Александровне.

— Ах, да что ж я! Дуня, гляди-ка сколько тебе прислала гостинцу Марья Васильевна. И косыночки, и платочки, и всякая штука, и платье шелковое.

В знаменитом узле, которого величину я тут увидел ближе, были старые вещи, подарок Марьи Васильевны «сиротке». Любовь Александровна еще раз умилилась.

— А это каково? — вскричала Александра Александровна, открывая пред круглыми глазами Дунечки коробочку, где сверкнули круглые толстые серьги.

Они занялись. Я взял фуражку и откланялся.

Вдруг мне пришло в голову спросить:

— Часто вы видитесь с Марьей Васильевной?

— Она часто заезжает; добрая она девушка,— отвечала Любовь Александровна и вышла за мною в прихожую.— Голубчик мой,— зашептала она,— ведь тебе, я думаю, деньги нужны; возьми вот покуда... Я хотела уж сполна за два месяца, да недостало (она как-то улыбнулась). Не взыщи; после сочтемся...

И, мягко пожимая мне руку, она всунула в нее бумажку. На крыльце я разглядел десятирублевую ассигнацию.

Я, может быть, потому запомнил эти подробности, что никому о них не рассказывал. Отец, правда, спрашивал меня о моей ученице и, казалось, не удовлетворялся моими короткими ответами, но я не давал других.

Это было особенно скучное, молчаливое, самое тяжелое время моей молодости. Осень, короткие дни, особенно темные в бедной квартире, особенно невыразимо длинные вечера, которых девать было некуда. Мое общество распалось, другого я себе еще не составил, да и составить не было случая и возможности: Кармаков и, на прощанье, Талицын повредили мне где могли и как могли; история *чета и нечета*, несмотря на объяснения Ветлина, продолжала толковаться для меня весьма неприятно; некоторые из господ учителей, подметив, что я больше не в дружбе с нареченным директорским зятем (каким почти явно

признавали Кармакова), начали ко мне придираться. Я изнывал; я чувствовал, что завядаю, теряюсь, упадаю духом, тупею. Я был одинок. От скуки, от необходимости я начал сильно учить уроки, но ужаснулся сам: я втягивался в мой образ жизни!

Да, не было сомнения: я принимал тот склад, которого добивался мой батюшка. Класс в гимназии, класс у Смутовых; газеты, читаемые вместе с родителем; трудовая копейка, цифра которой известна родителю, так же как день и час ее получения,— он, правда, не требует в ней отчета, но знает, что она есть!.. Он начинал быть доволен мною; это доказывало его изменившееся расположение духа: он начинал уже вызываться на разговоры и охотно, оживленно поддерживал разговор, если я заводил его о чем бы ни было... Эта потеха продолжалась уже целый месяц.

Я оглянулся в пору: еще немного прилежания — и я стал бы веровать в познания наших учителей и трепетать *цензуры*... Оглянувшись, я сразу протестовал тем, что три дня сряду не ходил в классы. Вечером на третий день отец спросил, не болен ли я.

— Нисколько. Почему вам показалось?

— Ты не выходишь из дома.

— Нет, я вчера ходил к Смутовым,— возразил я и захохотал: так неловко и забавно он обошел прямой вопрос.

Он не спросил, чему я смеюсь, победа осталась за мною... Говорят, мелочи заставляют мельчать характер: неправда. Я знал, что я силен, и убеждался в этом еще более, упражняя свою силу. Четыре года моей задачей было — не давать над собою воли. Неужели уступить теперь, когда с возрастом мои права сделались еще законнее? Нет! я поставил себе обязанностью быть вечно настороже, я выучился еще лучше владеть собою, и батюшке не удавалось отгадать, что происходило в моей голове, покуда он произносил свои ораторские речи. Я оградил свою независимость,— но, понемногу, кто знает, что могло произойти во мне? Я был обязан сохранить себя, я должен был поддержать в себе жизненность. Но чем? Газеты были мое единственное чтение; вся эта тогда только начавшаяся севастопольская история меня очень мало интересовала. Отголоски общественной жизни столиц доходили немногие, отрывочно, по рассказам фельетонистов; они только дразнили мое любопытство, мучили

меня неудовлетворенной жаждой, доводили мои стремления до страдания. Никогда не создавал я себе разных идеалов любви, дружбы и тому подобных сентиментальных отвлеченностей, которыми тешились кругом меня люди моего возраста, благоговейно принимавшие свечку за солнце; следовательно, у меня не могло найтись развлечения по части любви и дружбы: я знал цену всего этого. Но если бы даже как-нибудь я и допустил себя мечтать — что в моей среде могло наводить на мечтания? Любить особу с поддельными кораллами на шее! призывать друга, который потому не идет, что отдал в починку калоши!.. Нет, нет! Тут ужасна даже шутка! Мне было необходимо лучшее, высшее, то, что я видал в детстве и что оставалось вечно передо мною, как светлое видение...

Я приходил в отчаяние. Я хотел описать свои чувства; но писать для себя,— что это такое? Если б не было публики, никогда бы не было поэтов. Вздор все, что толкуют о созерцании, анализе, углублении в самого себя. Если это повторяют и писатели, то ради собственной важности. Вдохновляют рукоплескания, шепот удивления, зависть соперников, улыбки женщин... Кому б я прочел мои произведения? Моему батюшке? Александре Александровне, которая каждый класс уставляла стол смоквами, мочеными, печеными и всякими яблоками, ублажая меня за свою Дунечку? Знаменитому Егору Егоровичу, которого я наконец удостоился видеть?..

Я был один... В часы бессонниц, в эти часы, когда-то полные мечтаний и вдохновений, я с горьким презрением спрашивал себя: неужели скука, безлюдье доведут меня до того, что я пожелаю общества моего отца, пожелаю сблизиться с моим отцом?.. Ужасная мысль! я решился не спорить с ним, чтоб не волновать себя, слушать его речи машинально, как слушают стук маятника; но кто знает? — от скуки, от безлюдья, по впечатлительности моей натуры эти речи все-таки могут сделать на меня впечатление; незаметно для самого себя я могу усвоить мнения этого человека... Уж не совершается ли это со мною? Уж не действует ли на меня это неуловимое влияние? Он что-то стал покойнее... Ужасная мысль! я все-таки для него собеседник, олицетворенное внимание, хотя бы даже и не слушал его речей; я доставляю ему развлечение уж одним моим присутствием; я потешаю его самолюбие моим молчанием,— он считает его за согласие! он вооб-

ражает, будто делает мне снисхождение! он, торжествуя, надеется овладеть моим умом!..

Я перестал выходить из своей комнаты. Проходили целые дни, что в доме не произносилось других слов, кроме «здравствуй» и «прощай». Даже Маланья, я слышал, жаловалась хозяйке, что в доме у нас тоска...

О, ужас! я прислушивался к речам Маланьи!..

Я решился спать половину дня, чтоб не допускать себя до подобных впечатлений...

Я погибал. Судьба спасла меня. Мог ли я вообразить, где встретится это спасение?.. Теперь, конечно, оно мне забавно, но первые шаги всегда важны...

Раз, поправляя ошибки dictée моей ученицы, при свете единственной свечки, среди глубочайшей тишины, нарушаемой только стуком ножа, которым Александра Александровна разрезала арбуз в гостиной, я был развлечен шумом потоков, вдруг ударивших в окно. Я поднял голову.

— Дождик,— сказала, улыбнувшись, Дунечка.

Чему было радо это глупое создание? Тому ли, что случилось нечто неожиданное, или тому, что я, учитель, поплетусь по грязи пешком? В их «прекрасном месте, от церкви близко», никогда не встречалось извозчика, а в такую погоду особенно. Выходя из дома, я не рассчитывал на это удовольствие.

— Как вы пойдете?..— заметила, все улыбаясь, Дунечка.

Мне она была так противна в эту минуту, что я шаркнул пером от верху до низу страницы, не кончив поправок, и сказал, вставая:

— Je suis très mécontent de vous, mademoiselle [1].

Я взял фуражку, перчатки и пошел в гостиную. Там меня встретила тем же Любовь Александровна:

— Как ты это пойдешь!

— Да как,— ногами! — подхватила остроумная Александра Александровна.— Вот он посидит, переждет, а там что бог даст.

Любовь Александровна стала утешать меня, что это милость божеская: осень слишком сухая, мужики жалуются, октябрь на дворе, а всего первый дождь. Но эта

[1] Я вами очень недоволен, мадемуазель *(франц.)*.

«милость божеская» все-таки должна была промочить меня до нитки. За извозчиком послать было некого: девка не знала улиц.

— Э, да ночуйте у нас,— решила Александра Александровна,— пуховик вам здесь постелем; батюшка знает, где вы, беспокоиться не станет...

Обе заговорили разом. Выгоды, удобство, занимательность и приятность этой выдумки принимали такие огромные размеры, что я решился бежать, хотя бы по колено в воде, лишь бы избавиться. Я накидывал шинель; сенная дверь распахнулась передо мною; в нее, вместе с шумом всего, что лило на дворе, вбежало мне навстречу, чуть не свалив меня, чуть не упав на порог, что-то закутанное, забрызганное, хохоча во все горло.

— Тетенька, это я! приютите!

— Машенька! — воскликнули обе девы.

— Я, я, тетенька! — отвечала она, освобождаясь от большого платка, бурнуса и бросая все мне на руки.— Ах, это вы, Сергей Николаевич! извините, и не взвидела!

— Да откуда ты?

— В гости ехала. Как это полило — я к вам... Бог с ними; к старухам ехала, так и быть. У вас лучше.

— Ах ты проказница! а мы разве не старухи? — сказала Любовь Александровна.

— Это она вот молодого человека увидела,— заметила Александра Александровна.

— Да молодой-то человек бежит.

— Кто бежит? — спросила Марья Васильевна.— Вы?

Она обратилась ко мне.

— Я.

— Вот вздор какой. Оставайтесь. Сидите. Я вас довезу.

— Так позвольте мне лучше воспользоваться вашим экипажем, покуда вы остаетесь здесь,— сказал я.

— Нечем пользоваться: я пролетку домой отправила, верх надеть. Сидите, покуда я сижу.

Пришлось возвратиться в гостиную. Мое возвращение и приезд этой девицы необыкновенно обрадовали хозяек. Любовь Александровна по-праздничному не взяла работы. На столе между арбузом и смоквами явилась колода карт. Александра Александровна раскладывала пасьянс. Одна Дунечка на другом столе привинтила стальную подушечку и принесла шитье.

— Отдохни,— заметила Любовь Александровна, проходя мимо и погладив ее по голове.

Но моя ученица была печальна вследствие выраженного мною неудовольствия. Я был молчалив и серьезен. Марья Васильевна, хохотавшая без умолку, расхохоталась и этому.

— Какой страшный! — вскричала она.— Будет вам сердиться. Дайте карточки, тетенька; вот я его дураком десять раз оставлю, он и повеселеет.

Мы стали играть. Ее румяное лицо, темные волосы, еще влажные и распустившиеся, ее яркие глаза были красивы при свечах. Хохоча, она показывала мелкие, как сахар белые зубы. Я заглядывался на нее и беспрестанно проигрывал; мне было приятно ее оживление, и, чтобы поддержать его, я дурачился, проигрывал нарочно и притворялся, что мне это очень обидно.

— Да что мы даром играем! — вскричала она.— Тетенька, дайте чепчик! он из него не выйдет. Или нет, Дуня, дай мой капор!

В один миг она схватила его и накинула мне на голову. Капор был темный, бархатный, очень легкий и нежный; от него пахло резедой. Хвастаясь своей красивой вещью или кокетничая, Марья Васильевна дернула его мне на лоб и прижала к щекам.

— Завяжите,— сказал я, покорно протянув подбородок.

Она завязала, хохоча, но краснея, и тщательно расправила широкий бант. Я принял серьезную мину, от которой покатилась со смеху Александра Александровна и даже степенная старшая сестрица. Не забавлялась только Дунечка; она даже не оглянулась, не переставая звенеть наперстком о свою стальную подушечку. Эта девчонка возбуждала во мне необъяснимо неприятное чувство, и именно в те минуты, когда я хотел развлечься, забыться, когда я решался дурачиться. Она точно протестовала своей неподвижной холодностью, точно позволяла себе судить мои поступки. Нетерпеливая, вспыльчивая досада помогла мне оживиться... «Борьба везде, со всем, даже с этой Дунечкой!» — подумал я, и мне стало смешно. Мне стало даже не скучно. Борьба так борьба! Это меня подстрекнуло. Я припомнил школьничанья гимназистов на вечеринках, куда меня некогда водил мой батюшка; это все можно было пускать в ход с незатейливой Марьей Васильевной. Проигрывая

наромно каждую игру, я притворялся сердитым, огорченным, брал, на счастье, руку Любови Александровны, которая взяла меня под свое покровительство и удивлялась моему неуменью, шептал и ворожил над картами, бранил их, бросал под стол, спорил, шумел, бранил Марью Васильевну, чему она хохотала, и улыбался ей из-под капора, чего она будто не замечала. Наконец я поймал ее за руки, крича, что она мошенничает, и вслед за тем так неожиданно оставил ее в дурах, что она ахнула.

— Извольте вам! — вскричал я, сбрасывая капор. Она как-то вдруг пресмешно сконфузилась.

— Что, Машенька, не век пировать? — отозвалась ее защитница, Александра Александровна, мгновенно переходя на сторону победителя.

— Что ж капор? надевайте, Марья Васильевна!

— Вот домой поеду — надену.

— Как? за что ж я даром играл? мне нужно вознаграждение.

— Конечно, конечно,— подхватили старые девы.

— Какое же вам вознаграждение?

— Придумайте.

— Сами придумайте, выдумывать долго.

— Извольте, за мной дело не станет, я сейчас придумаю!

— Нет, уж поздно,— возразила она,— вот и пролетка приехала.

— И точно, поздно, девять часов,— решила Любовь Александровна.

Простились. Я посадил в дрожки свою даму и сел подле нее. Дождь перестал; было особенно тепло и тихо; из-за немногих последних облаков светил полный месяц.

— Вам не сейчас нужно домой? — спросила моя притихнувшая спутница, когда мы отъехали несколько шагов.

— Мне все равно.

— А мне хочется прокатиться... Поезжай чрез вал; там и езда лучше,— сказала она кучеру и обратилась опять ко мне: — Люблю я такую погоду.

— Я очень равнодушен к красотам такой природы,— отвечал я, подпрыгнув на толчке.

— Какую же вы природу любите?

— Ту, которая получше нашей.

— Где ж это?

— Ну, Швейцария, Италия.

— Да ведь вы там не были?

— По крайней мере знаю.

— Э, журавли в небе! Лучше синицу в руки,— возразила она и засмеялась,— то чужое, а вот это — мое, я знаю.

Я не отвечал. Она помолчала и опять спросила:

— Который вам год?

— В январе будет семнадцать.

Ее вопрос был роковой: он напомнил мне всю пустоту моей жизни... И эта глупая поговорка о журавлях...

— Что ж я вам проиграла? — спросила она опять, желая, что ли, занимать меня.

Мне стало смешно; меня взяло раздумье... Может быть, это — синица?..

— Слышите? что я вам проиграла? я не хочу быть в долгу.

— Поцелуй,— отвечал я коротко.

— Вот вздор какой!

Она, казалось, обиделась. Я спросил серьезно:

— Почему вздор?

— Вы не маленький ребенок.

— Я бы тогда и просить не стал: я сам терпеть не могу целовать ребят.

— Ох, какой вы уморительный! — вскричала она и засмеялась.

Я поцеловал ее в эту минуту не один, а десяток раз; она не ответила ни одним. Кучер был занят колеями, на которых чуть не опрокинулись дрожки.

— Перестаньте; вы с ума сошли,— сказала Марья Васильевна.— Ступай домой,— прибавила она кучеру,— а потом вот еще надо их отвезти.

Она не сказала больше ни слова; впрочем, мы скоро доехали. Я высадил ее у ее подъезда, ввел на крыльцо, позвонил, дождался, когда ей отворили, и тогда уж простился и поехал. Она или не понимала моей учтивости, или ждала, что я, непрошеный, ворвусь к ней, потому что все повторяла:

— Что вы беспокоитесь?..

Это маленькое приключение меня оживило. Разобрав, я нашел, что забавляться с Марьей Васильевной — позволительно. Комизм этого удовольствия так очевиден, что мне не грозит ни серьезное увлечение, ни стра-

дание. Удовольствие это, конечно, не изящно, но Марья Васильевна все-таки недурна собой, и ничего не представляется лучше. Она не поэтична, но я давно знал, что поэтические женщины существуют только в поэмах и кипсеках и что наши собственные чувства все вообще являются возвышенны только тогда, когда мы сами потрудимся украсить их воображением. Уступая необходимости, чтобы быть понятным и доступным моей героине, я решился несколько изменить свое обращение, свой склад; приходилось нисходить до маленьких пошлостей, известных мне по теории, по примерам других. Так, для начала, в первый случившийся праздник я отправился к обедне в собор, зная, что Марья Васильевна всегда там бывает. Она увидела меня и часто оглядывалась. Я делал вид, что не замечаю, и поклонился ей только тогда, когда она проходила мимо меня по окончании службы. Она предложила «подвезти» меня домой; я отказался.

На другой день она явилась к Смутовым и пришла под конец класса в комнату, где я занимался с ученицей; предлог был, как она громко объявила, входя,— «посмотреть, что у них делается».

— Вот что. Не хотите ли заняться? — сказал я, подав ей грамматику и продолжая диктовать.

Она тихо взяла книгу, заглянула в нее, села, молчала и слушала.

— Какой вы терпеливый,— сказала она, когда я кончил,— что бы вам меня учить?

Я не отвечал. Когда Дунечка вышла, убирая свои книги, Марья Васильевна не поднялась с места и спросила меня, понижая голос, зачем я вчера не подошел к ней в церкви.

— Зачем вы там были? — спросил я очень серьезно.

— Ах, господи, зачем все бывают! Богу молиться.

— Я это знал и не смел вам мешать.

— Вы бы и не помешали.

— Благодарю,— сказал я, слегка поклонившись.— Значит, я так ничтожен в ваших глазах, что вы не обратили бы на меня внимания. Стало быть, я умно догадался и не навязывался.

Она вспыхнула, смутилась и вдруг вскричала, краснея еще гуще:

— Ну что вы это говорите! Да я сама звала вас ехать с собою!

— Извините,— отвечал я, пожав плечами,— я затрудняюсь вам объяснить... Там было столько ваших знакомых... Что сказали бы, если бы я сел с вами и поехал?

— Ничего бы никто не сказал.

— Еще лучше! — возразил я, захохотав.— Выходит, что я — окончательная ничтожность, когда меня можно подхватить на улице, мчать куда угодно, не компрометируясь!

Я продолжал смеяться, глядя ей в лицо; она краснела до слез.

— Вы, пожалуйста, так не смейтесь.

— Вам не нравится?

— Какой вы злой!

Я пожал плечами.

— Нет, ради бога, вы меня простите... я не знала... Ведь вы еще гимназист...

— Но не ребенок... Вы это сами недавно сказали,— выговорил я, напирая на слова и продолжая глядеть ей в лицо.

Она взглянула на меня, как будто испуганная. Я улыбнулся и подал ей руку.

Я стал чаще ходить к Смутовым; классы сделались не скучны. Марья Васильевна являлась почти всякий раз. Она завела себе тоже какое-то громадное вязанье и приезжала учиться у Любови Александровны. Но все-таки ей приходилось дожидаться в гостиной окончания класса, а я не всегда оставался долго сидеть и не всегда принимал ее предложение — ехать домой с нею. Я отказывался по многим причинам: это «одолжение экипажем» несколько роняло мое достоинство; это наскучило мне как повторение; это было не изящно и так далее. К тому же я не желал делаться слишком доступным: тогда забава потеряла бы для меня последнюю занимательность. Мне хотелось еще посмотреть, как найдется Марья Васильевна, если ей встретятся затруднения видеть меня долго и часто. Она нашлась, и даже очень ловко. Она сказала старухам, что, глядя на Дунечку, как та учится, как прилежна,— она сама еще больше горюет о своем невежестве, что ей хотелось бы хоть получше выучиться по-французски, а для того она будет слушать, как занимается Дунечка. И она

явилась в класс с своим вязаньем. На деле вышло, конечно, что она ничего не вязала, и мы болтали с ней, покуда Дунечка переводила «Le génie du christianisme»[1], которого я постарался достать для нее в гимназической библиотеке. Не знаю, что такое выходило из ее перевода; должно быть, она успевала, потому что Любовь Александровна однажды, умилившись, сказала мне, что Дунечка показывала свои тетради Егору Егоровичу, и он был доволен.

— Конечно, ребенок способный, но и тебя-то нам сам бог послал,— заключила она уж со слезами,— трудишься ты...

Я был тоже очень доволен таким результатом моих трудов и боялся только, чтобы слишком быстрые и блестящие успехи Дунечки не внушили ее покровительницам мысли, что учиться достаточно. Отгадала ли Марья Васильевна мои опасения, но она принялась твердить старухам, что девочке именно потому, что она способна, и нужно как можно больше, сильнее заниматься. Егор Егорович, услыша это, похвалил Марью Васильевну за такие мнения, поддержал их, а после этого можно было уж ни о чем не беспокоиться. За мной было упрочено место и слава преподавателя. Марья Васильевна несколько классов не являлась, так что я натолковался с Дунечкой опять надолго и выказал ей столько неудовольствия, что отнял всякую возможность возмечтать, будто своими успехами она обязана своим собственным талантам. Она, пожалуй, могла бы как-нибудь выразить это своим покровительницам или Егору Егоровичу; я себя обеспечил на всякий случай. Но эта девчонка была преглупо лишена всякого самолюбия, всякой женственной хитрости; я убедился, что мог быть несправедливым к ней, сколько мне угодно, лишь бы задавал ей урок, лишь бы, выговаривая, объяснял то, что ее затрудняло. Часто меня просто сердило ее совершенное, вполне искреннее невнимание к присутствию Марьи Васильевны, к тому, что мы говорили: в моих глазах росло дерево, а не женщина!..

Зима проходила однообразно, как вообще все мое время. Марья Васильевна не выдержала характера и позвала меня к себе. Правда, на первый раз это было сделано официально, церемонно; она приглашала и те-

---

[1] «Дух христианства» *(франц.)*.

ток к себе пить чай по случаю какого-то торжества; звали даже и моего батюшку,— он догадался отказаться.

— Извини меня перед нею,— сказал он мне,— дела много, некогда, так и скажи, чтоб она не подумала, будто я не хотел прийти.

Я думал, что больше об этом не будет речи, и очень удивился, когда он заговорил, в сумерки, во время своей прогулки из угла в угол:

— Она добрая, искренняя, неглупая девушка. Пуста, к несчастию. Праздность губит. Обрадовалась, что на воле, состояние есть... Понятно, что обрадовалась, но что ж — все одни наряды да смех. Жаль ее; из такой девушки, при ее сердце, был бы прок, да голова-то у ней праздная. Сегодня вздор, завтра вздор, а глядишь — и жизнь прошла...

Чтоб не расхохотаться этому надгробному слову, я поспешил отправиться к живой и живучей Марье Васильевне. Ради того, что в этот день ей исполнилось двадцать три года, она была вся в розовом, называла себя старухой и закатилась самым радостным смехом, когда я тихо и серьезно сказал ей, чтоб она не смела при мне повторять этих глупостей.

— Как глупостей? а в самом деле, состареюсь? морщины пойдут?

— Le coeur n'a pas de rides [1],— отвечал я.

У нее в доме было недурно, уютно, опрятно, даже со вкусом. Сходились гости, все мне незнакомые; она принимала развязно, щебетала, потчевала вроде своих теток и конфузилась, взглядывая на меня. Я был серьезен и пробыл не более часа.

С этого времени я стал бывать у нее, но редко, чтобы не дать ей привыкнуть к моим посещениям, а отчасти и оттого, что эти посещения не всегда и меня занимали: для них нужно было особенное настроение — настроение забавляться. Вообще я держался с нею неровно: был то через меру весел, и именно тогда, когда она была невесела, то упорно молчал, не отзываясь на шутки, то неожиданно смущал ее какой-нибудь похвалой, то дразнил насмешками. Когда я бывал не в духе и хмурился, она робела, краснела, просила извинения и тихонько по десятку раз умоляла сказать, что со мною, готовая заплакать. Чтоб угодить мне, она стала читать

---

[1] На сердце нет морщин *(франц.)*.

разрозненные русские журналы — если не ошибаюсь, «Пантеон», и достала себе «Les mémoires du diable»[1] и «Arthur»[2] по-французски. Я доставлял ей удовольствие, читал вслух; литературных суждений не было, но нередко речь заходила о любви. Бывая в духе, я позволял себе шалить, говорил долго, патетически, приводил мою слушательницу в восторг и вдруг обрывал все какой-нибудь прозаической шуткой, которую слушательница не знала, как понять, падая с неба, почти испуганная. Раз она зафантазировалась сама, строила разные воздушные замки, и даже довольно грациозно; я слушал молча, вдруг встал и, не простясь, ушел. На другой день, не вытерпев, она явилась к Смутовым, но не посмела войти в класс. После класса я уселся на диванчик в углу гостиной и сказал громко:

— Присядьте сюда, Марья Васильевна, скажите сказочку; я вчера под нее славно вздремнул.

Старухи спросили, что за сказка. У меня хорошая память,— я пересказал все, но в самом комическом виде. Александра Александровна хохотала, Дунечка таращила глаза, а Любовь Александровна сказала тихо и с пренебрежением:

— И, матушка, бред какой! Как в голову приходит говорить это молодому мальчику...

Марье Васильевне делали выговор за меня! Это было так прелестно, что я хохотал. Она рассердилась, конечно ненадолго. Вообще я отучал ее сердиться. Мне было любопытно, как я подчинял ее моей воле. Над собою я не давал ей никаких прав. Конечно, все вертелось на безделицах, но ей никогда не удавалось уговорить меня остаться даже несколько лишних минут, если я был намерен уйти; ей нравились мои вьющиеся волосы,— я остригся. Приезжал один московский артист; я как-то сказал, что хочу его видеть; она взяла ложу и умоляла ехать с нею,— я отказался; она взяла в другой раз,— я был в театре и не зашел к ней. Она выспрашивала меня о нарядах, старалась одеваться по моему вкусу,— я делал вид, что не замечаю. Наконец, сбираясь однажды на бал в собрание, она упросила меня прийти взглянуть на ее туалет. Я пришел; она вертелась перед зеркалом. Я так разобрал все, от прически до башмака,

---

[1] «Записки дьявола» *(франц.)*.
[2] «Артур» *(франц.)*.

что ей оставалось только раздеться и остаться. Она этого, конечно, не сделала и поехала.

— С богом! — сказал я, провожая ее на крыльцо.— И я глуп: тратил слова напрасно: какая барышня, ради чувства изящного, откажется от кадрили с гарнизонным офицером!

У нее было необыкновенно незлобивое сердце. Она пренаивно, с великим раскаянием рассказала мне на другой день, что с ней никто не танцевал, вероятно потому, что она была дурно одета.

— А гарнизонным я сама отказывала... С тех пор как вы про них сказали, не могу их видеть!

Она влюблялась в меня, я это видел, и это меня занимало. Когда я оглядываюсь теперь,— все это было глупо, неизящно, но это — первое испытание моих молодых сил, молодой гордости. Я мог бы увлечься, как многие юноши моих лет, влюбиться сам, поддаться влиянию провинциальной девы и кончить тем, что эта же дева, занявшись мною за неимением взрослого поклонника, осмеяла бы меня потом,— в угоду таковому поклоннику или в очищение собственной совести, что «занималась мальчишкой»... Женщины, когда оставляют игрушку, то ломают ее. Это делают даже такие, которым, казалось бы, и не к лицу и не по чину роскошь самолюбия и мщения. Я понял это с моего первого шага, а потому и не отворачиваюсь от моего первого приключения, не возмущаюсь его неизящностью. Я позволял себя любить и не позволял владеть собою.

В день моего рождения, в январе, чтобы показать моему батюшке, что я нисколько не желаю праздновать, я ушел утром в класс, обедал у Ветлина, от него — прямо на урок к Смутовым. Приехала Марья Васильевна, пришла в класс и, когда вышла Дунечка, принялась поздравлять меня как-то глупо, потихоньку и вручила подарок — шелковый кошелек собственной работы.

— Хотела я положить в него или новенький пятачок, или новенький золотой на счастье,— говорила она,— да не смела...

— И прекрасно сделали, что не смели,— отвечал я, смеясь, принимая подарок, будто шутку, и расшаркиваясь.

Я пошел показать его старухам, шутил, школьничал, рассмешил их, расшалился с Дунечкой, посадил ее почти насильно играть в дураки и в ту же минуту проиграл ей кошелек.

Марья Васильевна обиделась, вернее огорчилась, и два дня не была у Смутовых. Я не шел к ней. Она опять не выдержала, приехала в класс и заговорила первая. Я был молчалив; вечер не клеился. Она предложила отвезти меня домой; я согласился, потому что шел резкий мелкий снег, но продолжал молчать и дорогой. Она еще раз не выдержала:

— Зачем вы не хотели взять кошелька?

— Я взял.

— И отдали Дунечке.

— Не отдал, а проиграл.

— Подарок-то!

— Я не люблю подарков.

— Но ведь это был не подарок,— сказала она, помолчав и надумавшись...

— А что же?

— Я вам проиграла, тогда... Помните? на первый раз...

— Вы тогда же расплатились. Я думаю, вы это тоже помните.

Она притихла. Я видел, как она жалась в своей шубке.

— Славно на дворе,— вдруг сказал я.— Хорошо прокатиться.

— Холодно,— проговорила она.

— Как хотите,— отвечал я и отвернулся.

Она приказала ехать к заставе. Конец был длинный; я сам боялся простудиться от нелепой шутки, но выдерживал характер, не подавал признака, что зябну, не говорил ни слова, не смотрел по сторонам. Вьюга стала сильнее.

— Вы намерены морозить до полуночи вашего кучера? — спросил я равнодушно.

— Ведь вы хотели... просили...— выговорила она.

— Я ничего не хотел и не просил.

Тут случился перекресток. Я велел остановиться и сошел.

— Куда же вы?

— Пройдусь пешком до дому; согреюсь хоть движением...

Она что-то закричала мне вслед, но кучер, обрадовавшись, что барыня наконец едет домой, погнал во всю прыть.

Я пришел домой запыхавшись. Когда я постучал в нашу дверь, она уже отворялась, будто мне шли на-

встречу. Отворял мне сам мой отец, и даже светил. Я был с головы до ног в снегу.

— Ты пешком? — спросил он.

— Да,— отвечал я и прошел прямо в свою комнату. Там топилась печь; это никогда не делалось по два раза в день. Было десять часов, а в гостиной шумел самовар, как будто запоздали с чаем. Меня, очевидно, ждали. Мой батюшка, однако, не выказывал большого нетерпения и возился со стаканами.

— Ну, Сергей, иди! — закричал он наконец.

Я в самом деле перезяб и пил с жадностью, не говоря ни слова. Протягивая стакан, чтобы его налили, я невольно передохнул и взглянул на отца. У него в лице светилась какая-то улыбка, глаза как-то сузились и блестели; особенно мелькнул мне в эту секунду его высокий лоб и красивые руки. Он, верно, все это время смотрел на меня пристально, потому что поймал мой взгляд.

— Что, молодец,— спросил он,— согрелся?

— Не совсем,— отвечал я, возмущенный этим ухаживанием и опять потупляясь в стакан,— впрочем, не беспокойтесь еще делать чай: я больше пить не буду.

— Тебе надо хорошенько согреться.

— Я не согреюсь, а только не засну.

Чтоб скорее покончить эту комедию, я выпил в несколько глотков второй стакан, встал и взял свечу.

— Ты приляжешь?

— Нет, буду заниматься.

Я ушел, не слушая, что он говорил. Переход от холода к теплу в самом деле расстроил меня, но расстроил приятно; в усталости была своя нега; по телу пробегала легкая нервная дрожь... самое счастливое физическое состояние для вечера в избранном кружке; ум возбужден несколько лихорадочно, фантазия живее, слова красноречивее... Я взял книги, потому что сказал, что хочу заниматься, но вместо геометрических задач мой карандаш чертил имена, отрывочные строки стихов, пламенем пролетавшие в моей памяти. Я серьезно спросил себя, когда же я начну мечтавшийся мне роман из моей собственной жизни? Не могло быть благоприятнее ни времени, ни настроения. Я подложил себе тетрадь бумаги и остановился. Мне хотелось начать роскошной сценой бала. Нужно было еще сильнее вызвать светлые образы, приблизить их к себе, уяснить, разобраться

в красках, вслушаться в звуки, надышаться ароматом. Все это только еще сливалось передо мною в одно золотое облако... Я бросился на постель, закинул руки за голову и стал мечтать...

Я опомнился, почувствовав на своем лбу чью-то руку. Это был мой отец.

— Ты уснул, Сергей? Тебе нездоровится!

Я видел перед собою ряды зал, убранных цветами, отражение люстр в паркет, тоненькие носки белых атласных башмачков... Надо мной гремели аккорды оркестра... Я сжимал в своей руке трепещущую, облитую перчаткою руку прелестной женщины...

— Еще рано, рано,— шептал я ей...

— Два часа,— раздалось над моим ухом,— встань, я помогу тебе раздеться.

Я встал, шатаясь; у меня пробежала мысль: неужели это горячка? было что-то неизъяснимо приятное в этой мысли, неизъяснимо нежащее. Отец — я видел его в тумане — возился над постелью; я позволил уложить себя и проговорил, закрывая глаза:

— Умереть... мне семнадцать лет...

Я рано проснулся; сквозь ставни едва белело.

Печь топилась; перед нею на полу сидела толстая Маланья и ее толстый кот. Дрова щелкали, в трубе выл ветер. Я чувствовал, что я бодр, свеж, здоров. Заснув с вечера без ужина, я страшно хотел есть, и все, что я видел кругом, меня бесило... Кто, после восхитительных снов, не просыпался в таком пандемонии, тот меня не поймет!

Глупая баба, обрадовавшись, что я не сплю, потому что это давало ей право стучать и кричать во все горло, объявила мне, что папеньки дома нет, что он тут ночь сидел, а в раннюю обедню ходил, да еще *там* было заперто, так теперь опять пошел, авось пустят.

— Куда это?

— Да к доктору.

Она пошла отворять ставни и воротилась, жалуясь, что на дворе «страсть господня». Я смотрел лежа, как в окне крутилась вьюга, как вырастали сугробы. Мне становилось грустно. Я охотно еще бы заснул, но сна более не было; я хотел спросить чаю, но удержался по какому-то враждебному движению. Мне было досадно, что я здоров.

Мой батюшка воротился с доктором. Я уж один раз

имел дело с этим невеждой и терпеть его не мог. Я сделал вид, что дремлю, и отвечал ему полусловами. Оба вышли в полуотворенную дверь; я слушал робкий шепот отца; доктор возражал сначала тихо, потом очень громко:

— Уверяю же вас честью: он здоров совсем и ничего ему не нужно. Коли есть охота лежать... Вы бы лучше о себе подумали...

Отец прервал его и заговорил тихо; тот отвечал так же тихо, говорили долго... Меня это возмутило. Легко успокоившись за молодую жизнь, он пользовался случаем консультации для себя! О каком недуге? Там даже что-то писалось. Надевая шубу, эскулап произнес,— я слышал все сквозь перегородку, тем более что он стукнул в нее рукой:

— Вы перед ним, перед сыном, обязаны...

Да, он много был обязан перед сыном!

Я не вставал с постели весь день. Отец предложил мне читать какой-то журнал. Я слушал, закрыв глаза, и в самом деле дремал от скуки. Он ходил на цыпочках; это было несносно. Если бы я знал, куда девать свое время, я бы встал, но это было все-таки разнообразие. К тому же мне не хотелось так скоро дать ему успокоиться. Я хорошо разобрал чувства этого человека: его ухаживанье, его беспокойство были следствия позднего раскаяния. Надо было дать ему сильнее понять его вины передо мною. Это было законно и полезно. Я видел, как он поглядывал на стены комнаты, в которой заключил меня; ясно: он воображал, что было бы, если бы опустела эта комната... Люди понимающие обязаны учить непонимающих, как дорожить невозвратным.

Еще день я давал ему этот урок, покуда у меня самого не стало терпения. На третий день я встал и молча, покорно взял свои книги. Это занятие всегда меня утомляло; я был бледен. Отец хмурился и украдкою заглядывал мне в лицо. Я кашлял так упорно, что наконец вызвал опасение самого доктора. Я много смеялся, убедившись, как нетрудно водить за нос непогрешающую науку.

С неделю, кажется, продолжалась эта комедия. Наконец в одно утро, когда я накидывал шинель, чтобы в первый раз идти в гимназию, отец остановил меня. Он был почти жалок; ему хотелось, чтоб я остался; он сначала шутил, потом упрашивал, приказывал.

— Полноте,— прервал я,— право, после всего из такой малости и хлопотать не стоит.

Мне вспоминается школьничанье в этот день. Диетный обед мне надоел; возвращаясь из гимназии, я думал о нем с комическим ужасом и с еще более комической радостью вспомнил, что деньги были у меня в кармане. На станциях железных дорог так не торопятся, как торопился я, наедаясь в гостинице; прибежав, запыхавшись, домой, я коротко и резко отказался от всякого потчеванья, сказал, что утомился, и бросился на постель. Лежа слушал, как Маланья упрекала барина, что сам-то он ничего не кушает.

— Что ж, и не сядете? Так со стола и убирать?

Школьничья потеха, что я оставил его без обеда, смешила меня до слез. Досадно было одно, что не с кем поделиться этой комедией.

Вечером я объявил, что иду к Смутовым. Отец сказал, что они присылали просить его к себе сегодня, следовательно, я могу не идти: он объяснил, что я болен...

— Мне откажут от урока,— возразил я, надевая перчатки,— может быть, и вас зовут для того, чтоб объявить это полегче.

— Смутовы не такие люди, чтоб это сделать,— отвечал он,— пора тебе выучиться узнавать людей. Ты раздражаешься от лихорадки, и тем более тебе следует сидеть дома.

— Я не потому раздражен, что болен,— возразил я,— а наоборот, я болен, потому что раздражен. Людей я хорошо узнал и, надеюсь, не так долго заживусь на свете, чтоб мне очень понадобилась эта мудрость.

У Смутовых мы застали новое лицо. Это был сын «прекраснейшего человека» г-на Бревнова, которому старые девы были должны под залог дома. «Прекраснейший человек» недавно умер. Когда его сын и наследник известил Смутовых, что желает с ними повидаться, старые девы чего-то перепугались и пригласили моего отца на всякий случай, на подкрепление. Посещение оказалось вовсе не страшно. Мы застали юного Бревнова уж там. Это был молодец в косую сажень ростом, завитый, распомаженный, румяный, глупый и скромный; он вертел в руках свою высочайшую шляпу, густо обмотанную крепом,— предмет моды и роскоши, с которым он не мог расстаться даже и для визита к девицам Смутовым. Он все помалчивал и улыбался и, казалось,

обрадовался, когда мы вошли. Хозяйки встретили нас с восторгом.

— Из мертвых воскресший! — вскричала, увидев меня и воздев руки, Александра Александровна.

Бревнов должен был дожидаться, чтоб воротиться к деловому разговору, покуда до последней подробности выспросят, что такое со мною было.

— Вот, Николай Петрович,— сказала наконец отцу Любовь Александровна, указывая на гостя,— затем к нам и приехал, чтоб нас успокоить; говорит, что как отец его нас не тревожил, так и он, покуда мы сами будем в возможности уплатить наш долг, хотя по частям...

— Да-с, как угодно... Я как папенька...— подтвердил наследник.

— Проценты тебе, мой родной, будут аккуратно...

— Да ведь у нас за прошлый год заплачены,— прибавила Александра Александровна.

— Как же-с, мне это известно,— отвечал наследник,— у батюшки была готова расписка для вас; да так это скоро случилось, что он скончался... Я вам эту расписку привез,— докончил он, открывая туго набитый портфель, и, не зная, которой из сестер подать бумагу, положил ее на стол.— Вот-с, его руки.

— Вот уж человек был так человек! — отозвалась Александра Александровна.

— Истинный христианин,— подтвердила старшая.

Ни та, ни другая не коснулась расписки; сцена была чувствительна. Бревнова стали (и, вероятно, не в первый раз) расспрашивать подробности о болезни и смерти его отца. Это грозило никогда не кончиться. Мой отец повернул разговор, спросив молодого человека, что он сам намерен делать.

— Я хотел в военную службу, в Севастополь-с. Папенька не пустили.

— Ведь вот, стало быть, предчувствие было! расстаться не хотел! — сказала Александра Александровна.

— А теперь уж вовсе нельзя, потому,— деревня. Вот как управлюсь... Мое желание есть.

— И с богом! хорошее дело! — сказала весело Александра Александровна.

Она уж хлопотала о чае. Отец и гость разговорились. Дунечки не было, и я решился спросить Любовь Александровну, где же она.

— Там что-нибудь у себя делает,— отвечала она

тихо,— да ты отдохни; ты себя для отца побереги... Что он?

— Да ничего,— отвечал я в недоумении от тревоги, с которой она расспрашивала, и вовремя припомнив, что эта особа вечно тревожилась.

— Ох, ведь он!.. (Она закачала головою.) К богу должно, душа моя, чаще прибегать. Он, милосердый, твои молитвы услышит... Ты молод; отец твой такой человек... ну, ты его еще лучше знаешь! А такие-то богу и нужны! — заключила она уж в слезах.

Мне было до крайности неловко. Хорошо, что бормотанье и слезы происходили в стороне от других, в углу, где не было свечки. Перемещаясь к чайному столу, Любовь Александровна еще вытирала глаза. Тут явилась и Дунечка. Ее рекомендовали Бревнову, который вскочил и расшаркался. Ему, конечно, объяснили, что она прилежна и все умеет делать, что она любит бегать в саду. По этому поводу, любезничая, Бревнов обещался ей на лето прислать из деревни цветочных семян, высадков и даже садовника.

— Ну вот, Дуня, утешайся, а то все горевала — цветов нет,— сказала Александра Александровна.— Оно, правда, покуда ягоды не поспели, ребенку в саду скучно,— пояснила она.— А знаете, наш сад какой? Диковинный. Тогда все от вашего батюшки брали, насаживали. Да, вот как — мне вчера, купец здешний Полозов,— знаете?

— Знаю-с. Он с вами рядом дом каменный строит.

— Да, вот дом-то он строит, каменное здание воздвиг, а повернуться негде: место тесно, сад наш и приглянулся. Вчера мне — встретил меня у ранней обедни — говорит: «Продайте, говорит, дом: не глядя, говорит, полторы тысячи дам». Я говорю: «Ошалел ты, отец родной: кто нам велит с такой благодатью расстаться, разве нужда придет». А он, знаете,— продолжала она таинственно,— как прослышал, что ваш батюшка скончался, а мы ему должны, ну, и полагал... Расчетец свой, коммерческий!

Она засмеялась.

— Нет-с, что же-с я... Как папенька, так и я...— заговорил Бревнов.

— Мы еще и сами поживем, да вот еще и свадьбу спразднуем, невеста растет! — заключила Александра Александровна, указывая на Дунечку.

— Прекрасная невеста,— сказал Бревнов.

— Слышала, Дуня? что ж не благодаришь?.. Да и женихи налицо, вот два сидят, любого выбирай.

— Я боюсь: стар; за меня не пойдет Авдотья Ивановна,— сказал, любезничая, Бревнов.

— Стар? А вам который год?

— Двадцать два-с.

— Ну, точно стар, ей не годитесь. Так тебе, Дуня, значит, Сергея Николаича?

— Нет, я его не возьму,— отвечала она, не конфузясь и глядя на меня прямо.

Все захохотали.

Я помню эту девчонку, потому что она — одна из самых моих резких антипатий. Я чужд самолюбия; конечно, не оно поднялось во мне при этом шутовском отказе: меня эстетически возмутили решительность, твердость, самоуверенность ее тупоумия. Мне хотелось отвечать ей дерзостью, но все кругом были так глупы! Я презрительно взглянул на нее и вынул свои часы. Я давно заметил, что мое молчание и мои равнодушные движения имели свойство охлаждать слишком разыгравшуюся пошлость. Все притихли. Александра Александровна еще было попробовала захохотать.

— Ой, какой он серьезный! Все у вас такие-то в гимназии?

— Нет, он, я вижу, благоразумен,— сказала Любовь Александровна,— уж десять часов скоро. Он в первый раз сегодня выехал. Ему надо отдохнуть.

— Ваша правда,— сказал мой отец и встал прощаться.

Мне показалось, что он взглянул на меня, будто хотел сказать: «тебя выгнали...»

Я вспыхнул и едва овладел своим бешенством. Старухи прощались приветливо, как ни в чем не бывало.

— О тебе вчера Машенька спрашивала,— сказала Любовь Александровна.

— Я завтра буду у нее и поблагодарю за внимание,— отвечал я.

Мы вышли; отец пошел вперед и докричался извозчика. Меня душила злость, мне хотелось высказаться.

— Послушайте...— начал я.

— Не говори на ветру, ради бога,— прервал он,— скажешь дома.

Дорогой я передумал. В самом деле, что мне ему было

высказать? Не все ли было давно ясно? Тем более что у него достало,— как это назвать? — лицемерия или непонимания, приехав домой, обходиться со мною как ни в чем не бывало, вроде девиц Смутовых!..

Одна из самых странных людских наклонностей — это старание настроивать себя на торжественность и благоговение в известные минуты, насильно вызывать в себе нежность и чувствительность; а когда не удалось — сожалеть и упрекать себя, будто в неисполнении какого-нибудь долга. Но если мы сотворены розно с другими, хотя бы в десять раз кровными людьми, если мы, по нашей натуре, не можем с ними сблизиться, хотя бы десять раз трудились умилиться над ними, благоговеть перед ними, сблизиться с ними,— из чего еще должны мы хлопотать? К чему натягивать это сближение, из чего себя уродовать, стесняясь, мучась, наконец,— мельчая? Примеряться поднимать то, что нам не по силам, безобразиться, наряжаясь в чужое... и эта нелепость возведена чуть ли не в закон! Добрые люди угрызаются совестью, если его не исполнили, а не оглянется никто, что от исполнения этого закона только размножается пошлость, которой, конечно, выгодно, когда достоинство, деликатно не желающее ее огорчить, уступает ей дорогу, простор, и она благоденствует, развертываясь во всю свою ширину...

И сколько умных людей подчинялись этому закону, даже искренно разделяли этот узенький, фальшивый взгляд! «Снисходительность,— говорили и говорят они,— гуманность...» Я признаю своим правом быть всегда самим собою и жить для себя. Мне возражали не раз рассуждениями об ограничениях этого права; я просил рассуждающих быть последовательными и объяснить, на чем наконец остановятся эти ограничения? И за что такое неравенство: ум должен стесняться, применяться; пошлость может делать все, что ей рассудится!..

Говоря спокойно и прямо, я не делал над собой подобных испытаний. Я жил, как жилось, как хотелось, и не раскаиваюсь, что бы ни сделал: стало быть, так было мне нужно. Я не раскаиваюсь, если в какие-нибудь минуты жизни у меня не было чувства, которое *принято иметь*. Не было так не было. Я не скрываюсь, не стыжусь. Стыднее было бы припоминать мелкие страхи, слезливые

сантиментальности, суеверные глупости, натяжки, извращения, лицемерие пред самим собой, все, от чего краснеют взрослые люди.

В марте занемог мой отец. Не знаю, как это началось. Мы видались только за обедом; я приказал подавать чай к себе в комнату со времени своей болезни. Я не имею привычки предлагать вопросов о здоровье и, не имея что говорить с человеком, не люблю глядеть ему в лицо. В одно утро я ушел в класс, он еще не вставал с постели; воротясь, я узнал, что он еще не вставал. Я отобедал один; в сумерки я зашел наведаться, что это, наконец, такое, и получил короткий ответ:

— Не тревожься. Так, нездоровится.

Я провел вечер у Марьи Васильевны и по возвращении, услыша от Маланьи одно таинственное: «Почивает»,— заперся у себя. Маланья шепнула мне в дверь, что был доктор. Тем лучше. Я убедился в истине этого визита, увидя поутру две склянки в комнате отца. Он спал. Я не стал дожидаться доктора и ушел в класс. Вечером опять то же — он спал. Наконец на третий день мне надоела и таинственность Маланьи, и беспорядок дома, и я решился не выходить и дождаться доктора. Я не пошел с ним в спальню, но в гостиной, где он присел писать, просил объяснить, что все это значит.

— Надеюсь, ничего серьезного,— прибавил я.

— Напротив, очень серьезное,— возразил он.

Зная ученость этого господина, я невольно улыбнулся и, должно быть, худо скрыл улыбку, потому что его будто укололо.

— Ваш отец болен давно,— продолжал он, помолчав и с какою-то злостью.

Я пожал плечами и заметил:

— Если он давно болен, то странно, что не принимал мер.

— Меры и принимались, да...

— Что «да»? — переспросил я, любуясь, как он расчеркнулся на целом листе, изорвал его, укусил перо и старался вдохновиться сызнова.

— Условия жизни такие, что не все меры действительны.

— Это — условия жизни тысячей людей,— возразил я серьезно.

— Не совсем верно,— отвечал он и взглянул на меня.— И под одной кровлей люди живут на разных условиях: вот в той комнате (он кивнул на мою) пол теплый, а в батюшкиной дует из всей панели.

— Квартиру выбирал мой отец,— отвечал я, тоже глядя на него в упор.

Он потупился в бумагу и рисовал на ней завитки.

— Что-нибудь сложное? — спросил я, помолчав и улыбаясь его затруднению.

Как сейчас вижу, он поднял голову и пристально, глупо, молча глядел на меня, будто намеревался делать мой портрет. Я доставил ему полнейшее удобство наблюдать: не шевельнул бровью и не сгладил улыбки. Наконец, насмотревшись, он встал, шумно откинул стул, будто забывая, что рядом лежит больной, засунул руки в карманы и прошел раза два пс комнате. Я уж забыл свой вопрос, когда он собрался с ответом.

— Очень несложное! все в двух словах! — вдруг сказал он.— Он был болен давно, а вот последнее еще подбавило.

— Что «последнее»?

— Когда вы его напугали,— грубо отвечал он,— простудился, взволновался, не спал несколько ночей...

— Я не могу принять всего этого на свою совесть,— возразил я,— я не виноват, что сам болен.

Он оглянулся на меня и продолжал ходить.

— Вы как будто боитесь сказать мне, что не надеетесь,— сказал я.

Он остановился и опять вытаращил глаза.

— Что же?

— Ну, да... Не надеюсь,— отвечал он с каким-то ожиданием, вероятно, того, что я упаду в обморок.

— Благодарю, что сказали,— продолжал я моим обыкновенным тоном,— я по крайней мере имею время позаботиться о своем собственном положении.

— Так поторопитесь,— сказал он сквозь зубы и будто пряча от меня свое лицо; сел опять к столу и обмакнул перо и опять ничего не написал. Мое присутствие его заметно конфузило. Мне вздумалось ободрить его и подарить ему отговорку.

— Видно, все напрасно? — спросил я.— Вы не находите больше средств?

Он, не отвечая, встал, прошел в комнату отца и притворил дверь. Они долго толковали. Я не слушал, что

именно, но отец говорил что-то очень твердо для человека, так близкого к смерти; он даже довольно громко рассмеялся... У меня мелькнула мысль, что со мною играют комедию. Я обдумывал, как показать, что я ее понимаю, хотел уйти и запереться в своей комнате, хотел уйти из дому, почти решался на последнее, когда опять появился доктор.

— Подите к отцу,— сказал он себе под нос, прошел в прихожую и уехал.

Я был еще очень молод. Во мне что-то дрогнуло. Помню, что в первую минуту я не понял чувства, которое меня смутило, но вслед за ним встал сознательный вопрос: если это не комедия, что же со мною будет?

— Сергей! — послышался голос отца.

Было ли что-нибудь особенное в звуке этого голоса, или это была последняя минута моего ребячества, но я бросился со всех ног, широко распахнул дверь и в один миг был у его постели.

— Что вам угодно, батюшка?

Он лежал навзничь, повернул ко мне голову и улыбнулся.

— Ничего. Посмотреть на тебя.

Я тоже взглянул на него. Занавеска была поднята, как оставил ее доктор; был светлый мартовский день. Может быть, от него резче выдавались предметы, но я никогда не видал такой худобы и бледности, как в эту минуту на лице моего отца. Я убедился мгновенно: это была смерть,— и, содрогнувшись от прикосновения горячих, сухих, черствеющих пальцев, невольно потянул назад мою руку, которую он взял. Он выпустил ее и продолжал улыбаться, полузакрывая глаза. Он хорошо делал, что закрывал их; они показались мне страшно велики, когда вдруг взглянули быстро. Я опустил голову.

— Тебе сказали?

Я молчал. Мне вспомнилось мое первое свидание с ним пять лет назад, в доме ma tante, но вспомнилось мельком. У меня было полное, отчетливое понимание моего настоящего положения; я, мысленно, был не где-нибудь, а именно тут, у постели умирающего; я знал, что этот умирающий — мой отец, но я этого не чувствовал. Я верил поэтам, верил, что люди, трепеща, дорожат каждой секундой агонии близкого существа, потому что эти секунды — вся их жизнь; но здесь они казались мне страшно долги, и это была еще не агония... Наконец,

эта смерть меня не поражала. Величавая драма была обставлена совсем по-провинциальному. Это, конечно, общая участь драм, но оттого-то, я заметил, они мало и производят впечатления. Внешность, следовательно, не вызывала чувства,— напротив, еще охлаждала его, напоминая о предстоящих дрязгах, среди которых необходимо самое прозаическое самообладание. Внутренно я очень определенно сознавал, что в настоящую минуту сердечно уже ничего не теряю, что если что и потеряно, то потеряно давно и не по моей вине. Вопрос: «Тебе сказали?» — напомнил мне о докторе и повернул мою желчь. Этого было довольно, чтобы возвратить мне всю силу моего характера, поколебавшуюся на минуту от неожиданности, от молодой непривычки. Мой отец, казалось, ставил себе задачей — мужественно умереть; для меня было вопросом чести доказать, что я сумею прожить. Для чего бы я стал изменять себе, выражать чувство, которого у меня не было, лицемеря или, что все равно, допуская себя нервически растрогаться! Меня ужаснуло безобразие смерти, потому что я видел его в первый раз; но одной уступки, одного невольного содрогания было довольно. Я был озабочен, смущен, но не настоящим, а будущим.

Он все смотрел на меня и молчал. Этот пристальный взгляд начинал раздражать меня. Я решился защититься от этого *очарования*, поставив силу против силы, и посмотрел на него так же пристально. Его глаза вдруг опять странно блеснули.

— Сергей!..— начал он как-то резко, не то приказывая, не то прося пощады, и вдруг удержался или был не в силах продолжать,— не знаю,— откинулся на подушке и вперил взгляд в потолок, так же неподвижно, как вперял в меня. Через несколько минут он пошарил рукой на столе. Я подал ему воды.

— Я просил,— сказал он едва слышно,— заехать к Егору Егоровичу...

Я понял, что дело шло о докторе.

— Тут будут, может быть, какие-нибудь формальности, хлопоты; ты не справишься... Впрочем, деньги есть и у тебя будут.

Он замолчал, и, казалось, забылся. Я с невольной улыбкой спросил себя, что же у меня будет? Предместник отца, родитель Марьи Васильевны, правда, заставлял ее лазить по погребам и амбарам, кормил трехгодовалыми запасами, но все-таки озаботился оставить ей приличное

состояние; говорят, он нажил его нечестно,— не знаю, но вижу, что он принес пользу хоть своей дочери, и она может наслаждаться своим наследством без угрызений совести: ведь (разбирая строго) люди никогда до подробности не знают, *чего* сто́ят их наследства, каких трудов, грешков, грехов и унижений... Но что и добираться до этих тонкостей? Давно сказал кто-то, что на деньгах не бывает пятен... Сколько помнится, мой батюшка не признавал этой истины. Так что же у меня будет?

Я был утомлен всей предыдущей сценой и молча сидел у окна. Прошло довольно времени, часы в гостиной что-то пробили; я не слушал, но мое раздумье было прервано внезапным вопросом:

— Сергей, что ж ты не обедаешь?

Был великий пост, а Маланья была так глубоко огорчена, что я едва удержался, не бросил в нее обедом, который она мне подала. Не считая сыновней обязанностью умирать с голоду, я хотел идти в гостиницу, но в окно увидел подъехавшие сани. С них спустился Егор Егорович и ожидал, пока следом подъехали другие. Оттуда он снял закутанную в шубах и платках Любовь Александровну; ему помогала в этом подвиге молодая горничная, которая с нею приехала, но которую за массой госпожи не было и видно до этой минуты. Все это втеснилось в нашу прихожую. Любовь Александровна, еще не опомнясь от совершенного путешествия, отправилась с Маланьей раскутываться в мою комнату. Егор Егорович,— маленькая фигурка, тщедушная, непрезентабельная, старавшаяся держаться с достоинством,— вошел торопливо и подал мне руку. Я очень холодно ответил на его рукопожатие, с первой минуты ограждая себя от сострадания и протекции, которые уж читал готовые в его глазах.

— Можно к батюшке? — спросил он.

— Если вам угодно,— отвечал я и дал дорогу.

Впрочем, я пошел за ним вслед. Они обнимались долго. Я прислонился к двери и слышал за нею всхлипыванье Любови Александровны. Я будто еще вижу эту сцену при свете бесконечного мартовского дня. Отец пожелал скорее начать «о деле». Подозвали меня, и Егор Егорович объявил, что отец оставляет мне с небольшим тысячу рублей. Эти деньги накоплены в течение двенадцати лет, клались в разное время в банк, в Москве, и должны были лежать там до моего поступления в университет.

— Почему же в Москве, а не здесь? — спросил я.— И почему мне об этом не говорили?

— Здесь при нужде могло быть искушение взять их и прожить,— отвечал Егор Егорович,— а, поступая в университет, студенту приятно вдруг узнать, что он обеспечен на несколько лет.

Я поблагодарил. Дела, касающиеся меня, были кончены. Егор Егорович спрашивал о разных служебных подробностях, подан ли рапорт о болезни, с кем нужно повидаться из сослуживцев, как и зачем обратиться к начальству. Мне до этого не было дела; я вышел. Любовь Александровна заключила меня в объятия и облила слезами. Я был утомлен до невозможности.

— Ты, душа моя, не убивай себя,— твердила она,— господь знает, что делает. Такие люди здесь не жильцы...

И прочее в этом тоне. Я не слушал. Мне еще яснее и ужаснее представилась моя будущность: ничего в целом мире! Потому что ведь жалкой тысячью рублей с пятаками не «обеспечен» же я на несколько лет, как выражается этот бывший кандидат, магистр,— кто его знает! И никого в целом мире!.. Не время было, а готов был я попросить моего отца признаться по совести, куда девались письма к ma tante, которых я отправил более десятка в последние десять месяцев, ни на одно не получив ответа... И я должен остаться здесь, жить здесь... Как жить? Где-нибудь на квартире, на хлебах,— как братия мои, гимназисты?..

Мое порывное движение обратило внимание и прервало красноречие Любовь Александровны.

— Душа моя,— заговорила она чрез минуту еще внушительнее,— такому отчаянию предаваться грешно. Поди лучше к себе, помолись, отдохни, сберись с силами; они тебе нужны. А я к нему пойду...

Она подала мне спасительную мысль. Я не заставил ее повторить и ушел в свою комнату. В доме ходили, посылали, распоряжались; приезжал доктор. Любовь Александровна совещалась с Маланьей, с хозяйкой; двигали мебелью, звенели посудой. В прихожей раздалось топанье тяжелых сапогов и хриплое откашливанье. Вдруг все притихло. На дворе стемнело; моя комната была полна голубых сумерек. Какой-то чужой голос заговорил за стеной, в комнате отца; отец говорил тоже... Это продолжалось недолго. Снова поднялись шум, возня, ходьба, стук сенными дверями, незнакомый говор. В щель моей

двери сверкнула полоска огня и потянуло какой-то гарью. Я узнал невыносимый мне запах ладана. Усталый, голодный, одурелый, я поднялся на постели, будто кто меня позвал.

Меня, точно, позвали. Вошла Любовь Александровна.

— Пойдем, мой друг, помолимся. Он желает исполнить весь долг христианский.

Она плакала и вела меня за руку. На пороге гостиной дьякон, ходивший с пуком зажженных свеч, сунул и мне свечку. Я оглянулся: народу было что-то очень много. «Кто, откуда?» — спрашивал я себя, протирая глаза от резкого перехода из темноты к мерцанью множества мелких, коптящих огоньков. Я прислонился к стене; из комнаты отца слышалось чтение и пение. Егор Егорович выкатился оттуда с оплывающей толстой свечою.

— Вы тут? — сказал он мне.— Пройдите же.

Он втолкнул меня в спальню.

Говорили, что отец очень утомился. Я думаю!.. Когда кончилась церемония, все подходили к его постели, кланялись и поздравляли.

— Поди, мой друг, поздравь его,— сказала мне Любовь Александровна, возвращаясь оттуда и уж не плача.

Я подошел, и если неохотно, то потому, что не хотел умножать собою число тех, кто его тревожил; я искренно сочувствовал страданию, которое видел на его измученном лице. Я взял его руку, горячо пожал ее и поднес к губам. Он оглянулся.

— Что ты это! — сказал он, встрепенувшись, но как-то бодро и весело, с выражением шутки и нежности, которое мелькнуло мне будто знакомое, и его рука, сжимая мою, впилась в нее. Он закрыл глаза. Я еще ждал.

— Позвольте...— сказал кто-то, тронув меня за плечо.

Я посторонился; его пальцы выскользнули. Подле меня кланялась в землю Александра Александровна, явившаяся неизвестно когда; она высвободила откуда-то Дунечку и приподняла ее под руки на постель. Дунечка ткнулась лицом в грудь отца, покуда Александра Александровна целовала его в лоб.

— Прощай, батюшка Николай Петрович,— выговорила она особенно явственно, без слез, будто причитанье.

Я растолкал кругом себя и выбежал из комнаты. Я очнулся на своей постели, без мысли, без движения, не отличая шума в собственной голове от шума, происходившего за перегородкой. Мой отдых был недолгий. Вошла

Любовь Александровна, ее горничная и Маланья со свечой отыскивать капоры и шубы; я лежал на них. Любовь Александровна говорила, что теперь я почему-то могу быть совершенно спокоен; сама она уезжает домой, Егор Егорович отвезет Дунечку; Александра Александровна остается здесь... нельзя же!

Чего «нельзя» — я не понимал, но мне было все равно. Она обняла меня и крестила. Я вышел за нею машинально и заглянул в гостиную; там сидели незнакомые люди и священники. Я отворил дверь к отцу,— там было тихо; в углу на покрытом столике перед образом горела тоненькая свечка. Он спал. Я возвратился к себе и не узнал своей комнаты. Бумаги, книги с письменного стола были свалены на постель, на месте их стоял самовар. Александра Александровна распоряжалась с помощью хозяйки и Маланьи. Это было оживленно, почти весело. У печки сидел старый дьячок, что-то рассказывал и пил чай. Мне тоже предложили стакан чаю.

— Знаешь что,— сказала мне Александра Александровна, выждав, когда на минуту вышла хозяйка,— ты переходи к нам жить. У нас комната есть, наверху,— не видал? светло, тепло. Я уж и Егору Егоровичу говорила. Тебе будет и покойно, и стол...

Сама она покамест завладела моей комнатой, хотя всю ночь не ложилась и совершала беспрестанные путешествия оттуда в комнату отца. Я прилег в гостиной на диване, и, всякий раз проходя со свечою, Александра Александровна окликала меня: «Спишь?» Рано утром она уехала; ее сменил Егор Егорович, и я мог хотя немного успокоиться.

Несколько следующих дней прошли в ожидании, без суеты и шума. Знакомые отца приходили навещать его, но он был постоянно без памяти, и они уходили скоро. Я нагляделся всякого народу. Со мной они разменивались только поклонами,— конечно, не оттого, что деликатно не желали меня тревожить, а просто не находили, что говорить. Их принимал Егор Егорович. И он почти так же держался со мною,— молча. Наступила страстная неделя. Хозяйка пожаловалась, что завтра вербное, так, пожалуй, к празднику ни с чем не справишься, и спросила, оставлю ли я за собой квартиру? скоро первое число.

— А то бы я себе покуда жильцов поискала,— прибавила она.

Егор Егорович вознегодовал, что она гонит с квартиры умирающего.

— Всякому свое; живой живое и думает,— возразил я, удовлетворяя его поговоркой.— Ищите себе жильцов,— прибавил я хозяйке.

— Что вы, Сергей Николаевич? Как же... Что вы сделаете...

Он оглянулся на спальню.

— Там кончится не сегодня, так завтра,— отвечал я, заметно пугая его моим хладнокровием,— а сам я думаю, что переселюсь в гостиницу.

— Не лучше ли ко мне...— начал он.

— Благодарю,— прервал я,— я вас стесню.

Кончилось, в самом деле, в эту ночь. По случаю страстной недели с похоронами спешили. Были и чиновники, были разные формальности. У меня голова шла кругом. Столько лиц, которых я не знал или не припоминал, и все меня знали или помнили; все приступали ко мне с расспросами, с утешительными сентенциями... Только к вечеру остался я один. Знакомые, друзья, утешители, плакальщицы исполнили свой долг и отправились отдыхать. Я сам испытывал благодатное ощущение отдыха, хотя в ушах еще звенели разговоры и пение, а в душных комнатах еще стоял ладан. Я позвал Маланью и приказал выставить одну зимнюю раму. Выставлять рамы, когда на дворе еще снег — дело неслыханное. Маланья сообщила свое изумление хозяйке; та прибежала протестовать, что я порчу ей дом. Я заставил ее молчать, напомнив, что до первого числа я хозяин, что других жильцов у нее еще нет и после покойника вряд ли скоро найдутся; а Маланье, когда она кончила с окном, велел сбирать свои пожитки и уходить, потому что мне ее больше совсем не нужно. Это было мое первое распоряжение на свободе.

Я отворил окно; было свежо и тихо, ручьи на тротуаре не застывали, в небе горели две-три звезды. Во мне поднялось какое-то новое ощущение; я разобрал его и понял, что любил бы природу, если бы она являлась мне в более привлекательном виде. Эта мысль напомнила что-то говоренное с Марьей Васильевной и самую Марью Васильевну. Она не приезжала этими днями, потому, как сказала мне Александра Александровна, что боится мертвых. Это на нее похоже. Я обещался выговорить ей об этом страхе и спросил себя, отчего же я его не чувствую? Мне только стало грустно. Оглядываясь и отыскивая

предметов страха, я как-то вдруг особенно ясно заметил, что я один.

— Вот пожаловать бы Марье Васильевне,— сказал я себе с горькой усмешкой.

Для молодого человека, полного сил и сознания, жизнь начиналась среди непробудной пошлости, бесцветно, безрадостно, бесстрастно. Ни средств, ни связей, ни общества, ни даже кружка, где бы вздохнуть привольнее. Правда, я не был дружен с товарищами, но из них были же еще знакомые. Во все время меня не навестил ни один, хотя бы из приличия... И все дело в деньгах! Если бы они знали, что я все-таки владею порядочной суммой, если бы я сам знал это года два назад...

Меня возмущала эта скрытность: боялся растратить, желал сделать сюрприз студенту, и потому молчал! Не вернее ли: боялся, что молодой человек законно потребует средств вовремя, когда душа просит, не дожидаясь, чтобы опошлилась голова и грудь вогнулась до чахотки? «Обеспечен на будущее!!» Кто возвратит прошедшее?..

И как же я обеспечен? что я буду делать? питаться на проценты?..

Я вскочил и заметался по комнате. До сих пор я знал нужду, теперь стояла нищета. О, я негодовал законно! Всякая печаль, всякое разнеживающее воспоминание были бы глупы, постыдны, унизительны. Я был оскорблен и обманут... Время изглаживает несчастия, но и оно не приносит прощения: я вечно помню эти минуты!

Мне было необходимо высказаться. Я зажег свечу, отыскал в беспорядке своей комнаты все нужное для письма и возвратился в гостиную. Часы принялись бить, когда я входил. Они вечно были мне ненавистны. Мне попала под руку толстая отцовская палка; я ударил ею по маятнику, по циферблату, не знаю; часы зазвенели, затрещали и упали наземь.

Я сел писать к ma tante. Но, подумав, я решился не говорить с нею тем откровенным, нежным языком, которым избаловал ее. Я просто рассказывал, что случилось; мое положение высказывалось само собою, если только она сколько-нибудь обращала внимание на все писанное ей прежде. Она не могла не получать моих писем; я обдумал это: я сам всегда отдавал их на почту; оставалось убедиться, были ли ответы. Я хотел справиться об этом завтра в почтовой конторе, а в настоящую минуту можно было поискать их в бумагах отца. Я пошел в его комнату.

Егор Егорович отдал мне ключи от шкатулки и стола, которые при мне запер; он не мог унести, если бы там что было. Я отворил; там было почти пусто, немного денег, немногие старые счеты, старые письма. Должно быть, отец ничего не хранил. Мне пришла поздняя догадка, что всего меньше стал бы он хранить перехваченную переписку. Я стоял, задумавшись, досадно теряя нить того, что хотел написать ma tante, и невольно прислушиваясь, как кругом меня все было тихо.

Вдруг раздался стук в сенную дверь. Я почти испугался, бросил назад в шкатулку все, что из нее вынул, защелкнул ключ и оставался на месте. Вероятно, напряженное состояние всех этих дней сделало меня таким нервным. В дверь еще постучали. Я вспомнил, что Маланья, получив свою отставку, а хозяйка, имея на меня неудовольствие, не побеспокоятся отворить, и пошел сам. Гость был Егор Егорович. Увидя, что я удивлен поздним визитом, он стал извиняться, что не мог прийти раньше, очень устал, расстроен, но между тем не мог и не думать обо мне: как я остаюсь один? и начал умолять меня отправиться ночевать к нему.

— Я не суеверен,— отвечал я, предлагая ему сесть и садясь,— как видите, я даже вполне владею собою, потому что занимаюсь.

Это его не удовлетворило; настаивая, что мне беспокойно, он, в самом деле, напомнил мне, что я без прислуги, а все эти дрязги меня утомили.

— Пожалуй, поедемте,— сказал я,— только позвольте мне собраться.

Я ушел в свою комнату, взял в дорожный мешок кое-какие вещи и, возвращаясь, увидел, что Егор Егорович стоит в размышлениях на пороге комнаты отца, в которую тянулся свет из двери гостиной.

— Ну-с,— сказал я и, проходя, захлопнул дверь.

— Вот видите,— заговорил он, засуетясь, утираясь клетчатым фуляром и ловя меня за рукав,— я понимаю, что вам не хотелось бы отсюда, особенно в первый же день; но сразу уж лучше, а то и вовсе не оторветесь... Или уж я с вами здесь останусь... А то, кажется, точно, будто я вас с первой минуты покинул...

Не отвечая, я накинул шинель и кликнул из кухни хозяйку. Егор Егорович бросился искать свою шапку. Я приказал запереть ставни, погасить огонь, позвал извозчика и, садясь, заплатил вперед за поездку. Егор Егорович не-

сколько оторопел. Я молчал всю дорогу, пока мы достигли его жилища.

— Извините же,— сказал я, входя,— если я без церемонии попрошу вас позволить мне сейчас лечь спать.

Старый холостяк жил довольно комфортно; он привел меня в чистенький кабинет, где мне была уж готова постель: меня ждали. Мне очень хотелось выспаться утром, но меня разбудили рано. Смутовы, узнавшие, что я ночую в их соседстве, прислали просить к себе. Егор Егорович уж встал и торопил повидаться до обедни, потому что они говели. Он пошел со мною.

— Друг мой,— несколько торжественно встретила меня Любовь Александровна,— я буду тебя просить — не откажи. Я сегодня исповедываюсь, готовлюсь к великому делу; это мне отрадой будет...

И обе принялись умолять меня жить у них; я не успевал вставить слова, как мне высчитывались все удобства и все их утешение. Мне наконец удалось выговорить, что я не желаю жить даром, а такие роскоши, пожалуй, будут мне не по средствам.

— Только-то? — закричали они в один голос, а затем Любовь Александровна расплакалась, а Александра Александровна расхохоталась.

— Ох, согрешишь с тобой в великую среду! Уморительный ты человек! Да ведь комната наверху стояла и век стоит пустая, а расход,— где трое, там четвертый, и пословица такая есть. Ну, свечку тебе лишнюю; покойник говаривал, что ты все глаза по ночам исчитал. Поди ты, какое разоренье! И нечего его слушать, Любушка. Я вот пойду сейчас отряжу с тобой Пелагею; ступай сбирай свое добро да вези сюда, покуда мороз держит.

Я настаивал на своем.

— Душа моя,— вступилась Любовь Александровна, будто вдохновляясь,— да ведь Дунечку ты учишь!

— Я не имею возможности давать уроков даром,— возразил я.

Любовь Александровна даже испугалась.

— Да я не хотела этого и сказать,— заговорила она,— как можно даром! Разве я могу тебе это предложить? Господь с тобой, как можно! Я хотела сказать, что за все, что ты, мой друг, для нашей Дунечки сделал, за все твое одолжение...

— Но я не хочу принимать одолжений! — прервал я.

— Но как же ты жить будешь?

— Конечно, бедно!
— Господи боже! С кем?
— С кем случится.
— Друг мой, что тебе за радость...
— Да еще с кем свяжешься! — прибавила Александра Александровна.
Спор был очень долгий.
— А ну тебя совсем, ей-богу, нагрешишь! — вскричала опять Александра Александровна.— Ну, давай торговаться, коли ты такой! Ты берешь за ученье шесть рублей в месяц,— бери половину и оставайся у нас.
— На три рубля мне жить нечем,— возразил я,— а живя у вас, я принужден буду отдавать все мое время Дунечке...
— Зачем же? — вмешался Егор Егорович.— Вас не стеснят в вашем времени. Я вам достану еще уроки.
Я колебался, потому что страшно устал.
— Ну, по рукам, что ли? — вскричала Александра Александровна.— С уступкой?
Она захохотала.
— Извольте,— сказал я,— я согласен.
— А я — нет,— прервала важно Любовь Александровна,— не хочу я никаких уступок, торгов этих. Уроки Дунечки сами по себе; кому еще он сам захочет давать,— как хочет, его воля. А я хочу, чтоб он у меня, в память его отца, как сын родной жил; чтоб успокоить мы его могли, сколько в наших силах...
На последних словах ее слезы закапали. Она протянула мне свои объятия. Было необходимо уступить ей и согласиться безусловно. И пора была: заблаговестили к обедне.
— Ну, слава богу! — сказала, крестясь и поднимаясь, Любовь Александровна.— Теперь я могу с спокойной душой... А возвращусь, тебя уж здесь найду, друг ты мой!
— А ты воротишься, чай на столе будет,— заключила, обращаясь ко мне, Александра Александровна.— Я не говею, к службе не пойду, бог простит. Мне еще тут дела много. Праздник вместе встретим...
— Великий праздник! «Избавление скорбей»! — прошептала Любовь Александровна, удаляясь.
Чрез несколько минут ее, в огромном капоре и шубе, переводила по лужам служанка; они шли в церковь. Дунечка, в таком же страшном капоре, прыгала за ними.

Я видел эту процессию, возвращаясь к Егору Егоровичу. Он удержал меня, когда я хотел ехать на свою квартиру, толковал что-то об опеке, которую, вероятно, назначат надо мной, но, так как у меня нет имения, это будет несложно и для меня нестеснительно. Обо всем, что мне нужно, он просил обращаться к нему.

— Так мы положили с батюшкой,— прибавил он,— а вот, как вы устроитесь на месте, возьмите у меня ваши билеты. Они всегда у меня хранились.

— От искушения? — сорвалось у меня невольно.

— От искушения,— отвечал он со вздохом,— вы сами знаете, что нужда бывала.

Я не видал нужды моего отца, но сам часто нуждался; объяснять это, конечно, не стоило.

— Однако пришло время початъ это сокровище,— сказал я,— я попрошу у вас теперь эти билеты: мне сейчас надо будет расплачиваться.

Он стал уверять, что там, на квартире, ничего не нужно, что у него еще остались деньги из выданных казной на похороны, показывал счеты. Все эти грошовые итоги мне надоели. Билеты он отдал, но навязался ехать со мною на квартиру. Впрочем, потом я был этому рад: он считался с хозяйкой, распоряжался перевозкой. Возня в старом хламе, в старом платье поднимала во мне тошноту. Я собрал свои вещи и книги и предоставил Егору Егоровичу заняться остальным.

— Мне ничего не нужно. Нельзя ли устроить, чтоб это мне и на глаза не попадалось? — сказал я.— Бросьте все куда-нибудь.

Он взглянул на меня с испугом; я едва держался на ногах от усталости.

— Вам дурно? — спросил он и подвинул мне кресло.

Стук этого кресла неприятно раздался в пустоте; я вздрогнул. Егор Егорович, растерявшись, засуетился еще больше.

— Я уеду,— сказал я.

— Да, да, лучше уезжайте, не расстраивайтесь. Я сберу. Я знаю, что вам оставить на память...

— Ничего! Бросьте все! — повторил я, уходя в прихожую.

Он следил за мной глазами, как будто я шел не в ту дверь. Я понял его мысль, остановился на минуту и прибавил:

— Я ничего не могу видеть!

Он возразил мне что-то, но я уж был на крыльце. Весенний теплый ветер освежил меня. Переулок был недалеко от главной улицы; я повернул туда. Там было как-то еще светлее, свободнее; чистая мостовая, несколько отворенных окон, цветы в окнах и колыхающиеся занавески, стук езды, движение,— все смотрело весело, по-праздничному. Праздник был в самом деле близко, к нему уж готовились. Пред магазинами стояли кареты, швеи бегали с картонками. Мне встретилась одна знакомая, белокуренькая, с вздернутым носиком, как сейчас ее вижу, хотя забыл ее имя. Она остановилась, пожаловалась, что много работы, пожалела, что со мной, к празднику, случилось несчастье, и спросила, не иду ли я себе за обновкой. Она напомнила необходимость, которую я давно сознавал. У меня явилось жаркое желание обновки и какая-то ребяческая радость, что я могу сейчас удовлетворить ему. Билеты лежали у меня в кармане. Менять их в лавках было бы долго, хлопотливо. Егор Егорович что-то говорил, будто я, несовершеннолетний, лучше сделаю, если не буду их показывать; что их следовало бы по смерти отца опечатать, кому-то заявить... Не помню. Мне был знаком содержатель гостиницы, где я питался. Я вошел туда и вызвал его в пустой номер. После очень недолгих переговоров он разменял мне один мелкий билет, сладко взглянув на другие, когда я выбирал его из бумажника. Он взял жидовский промен, но зато, когда я попросил позавтракать, угостил меня бесплатно образчиками того, что готовилось к святой, извиняясь, что в такой великий день, как настоящий, в страстную среду, у него ничего не было на кухне, даже постного. Я смеялся его извинениям, он сам не меньше, только просил не выдавать его: он был церковным старостой какого-то прихода.

Я, впрочем, спешил завтракать и отправился к портному. Лучший портной — всегда дорогой,— следовательно, в провинциальном городе не завален работой и берется шить в какой угодно срок, когда не торгуются. Многие стыдятся признаваться в том, что называют малодушными движениями. Я не считаю малодушием того радостного ощущения, которое испытывал, заказывая изящную пару платья, той заботы, с которой объяснял свой вкус и свои привычки, того удовольствия, когда убедился, что меня понимали. Только дикарь или упрямец не сознается, что неудавшаяся пара платья есть утрата — не материальная, а утрата ожиданий, надежд, оскорбление эстети-

ческого чувства. Великое последствие ничтожной причины: испорченный кусок ткани — портит характер человека!

Я поселился у Смутовых. Праздник был ранний, погода скверная, и пришлось сидеть дома. Это, впрочем, было кстати в моем положении. Слишком недавний траур не позволял мне принимать участие в общественных удовольствиях, и потому я ограничился некоторыми визитами — к матери Талицына, где можно было встретить порядочное общество, к Ветлиным, где мне были рады. Ветлин, хотя пустоватый, но добрый малый, жалел, что давно не сошелся со мною ближе. Я объяснил ему, что пропущенное еще не потеряно и что мы устроимся, как приятнее проводить время. Довольно бестактный прием m-me Талицыной поддержал мою прихоть посмотреть, что такое общество другого кружка. Я был и у Марьи Васильевны; она вздумала было соболезновать и ахать, но я раз навсегда объявил ей, что не терплю сострадания и не желаю вперед никогда заводить подобных речей. Дома я проводил весь день у себя наверху, читая, набрав книг из публичной библиотеки, где абонировался. Прежде эта библиотека была для меня недоступна; отец воображал, что я могу удовлетворяться классиками из гимназии и тем, что сам он предлагал мне по своему вкусу. Мои хозяйки, благоговея перед тем, что я лежу с книгой в руках, тревожили меня только для призыва кушать, что, впрочем, делалось раз шесть в день. Дунечка от меня пряталась. Это даже заметила Александра Александровна и успокоивала ее, что на праздниках я не задам ей уроков. Наевшись, оставалось спать. Сначала мне мешали колокола, звеневшие целый день на соседней церкви, потом я привык к ним и засыпал на громадном ложе, которое мне устроили. Комната была просторна и довольно высока; одно окно на площадь, другое в сад. Повторив еще раз Егору Егоровичу, что не хочу видеть ничего из того, что было у нас в доме, я избавил себя от надоевших мне предметов; выгода вышла двойная: я спас свое расположение духа и получил от Егора Егоровича порядочную сумму, вырученную от продажи этих вещей. Он даже представил мне счет. Но ненавистные часы, которые я, кажется, добросовестно постарался уничтожить, исправленные, отчищенные, опять щелкали на стене

у Егора Егоровича; он купил их, должно быть, для сувенира: надобности в них не было. Бывая у него, я делал вид, что их не замечаю, вообще не давал себя ловить на разных чувствительностях и скоро убедился, что делал благоразумно: мне бы не дали покоя. Благочестивые девы считали дни всяких поминовений и молений и устроивали все это необыкновенно торжественно. Я, конечно, покорялся только в редких случаях, когда приличия уже непременно требовали моего присутствия при обрядах. Впоследствии я привык к стуку калитки, который всякий день на заре возвещал, что Любовь Александровна отправилась к ранней обедне.

С окончанием праздников возобновились мои занятия в гимназии и уроки Дунечки. Егор Егорович, верный своему обещанию, предложил мне еще урок в одном богатом доме, где сам учил чему-то. Это было уж слишком поспешно. Протекция этого господина, неловкость положения, скука — все вообразилось мне разом, и я отговорился, что мне некогда, что я готовлюсь к экзамену, а, пожалуй, возьму этот урок, перейдя в пятый класс, летом, на вакацию — если только не уеду к своим родным в Москву. Я в самом деле это задумал. Узнав положительно на почте, что писем ко мне не было, я хотел разыскать ma chère tante. Она не отвечала мне и на последнее известие о смерти отца, хотя я послал его страховым и подробно дал свой адрес.

Весна начиналась прелестная. Отрадно вспоминаю эту первую весну моей юности; я был свободен, я был покоен. Кругом говорили, что времена тяжелые, что веселье никому на ум не идет, война, забота, дороговизна, неурожай, страхи, слезы... С какой гордой молодостью повторял я себе, что мне ни до чего этого нет дела! Странны казались мне унылые встречные лица; они будто негодовали на меня, между тем как я был больше вправе негодовать на них, разрушающих гармонию света, простора, покоя, которым я наслаждался. Меня смешили вздохи моих старых дев и нахмуренное чело Егора Егоровича, когда, бывало, оживленный, весело усталый, я возвращался вечером, и все это общество укоризненно поднимало на меня взоры из-за листов газеты, пораженное моей быстрой походкой, звонким смехом, вопросом, не относящимся к тому, что их поглощало. Я не мешал им горевать, если им это нравилось; не моя вина, если я не мог им сочувствовать. Однажды как-то Любовь Алек-

сандровна попыталась было возбудить во мне сочувствие к «великому делу», как она красноречиво выразилась, но контроверсы[1] с нею были бы смешны, а вмешательства Егора Егоровича я твердо решился не допускать. На одно его замечание я просто ответил, что не нуждаюсь в советах. Это было выражено так учтиво и ловко, что старый педант не сразу сообразил, что ему отказали от места наставника, но, сообразив, притих и только хмурился. Я поставил себе правилом не обращать внимания на подобные вещи. Меня не могли ни в чем упрекнуть: я всякий день бывал в гимназии, старательно занимался с моей ученицей, не заставлял ждать себя к обеду, а для поздних вечерних возвращений с разрешения хозяек на свои собственные деньги сделал в дверях подъезда замок, который мог отпираться и изнутри и снаружи. Я устроил это, едва у них поселился, и на первый раз это, как новизна, привело в восхищение Александру Александровну; Любовь Александровна трогательно поняла, что я никого не хочу беспокоить; легион вечно спящих горничных был мне очень благодарен, а я был свободен. Первое время я, конечно, редко пользовался моим двойным ключом, но когда составился наш клуб у Ветлина, когда стали устроиваться пикники, гулянья, разные удовольствия, мне случалось еще не успевать уснуть, как раздавался благовест к заутрене и шорох вставанья Любови Александровны. В доме никогда не знали обстоятельно часа моего возвращения; это было забавно.

Это знала Марья Васильевна, и ей это не нравилось; я рассказал ей из глупой откровенности, вернее, потому, что пришлось к слову. Она вздумала читать мне мораль, но Марье Васильевне, уж нисколько не церемонясь, я объявил, что не терплю морали. Она вскоре и сама убедилась, что этим только отдалит меня и ей же будет скучнее. Она тоже стала сбирать знакомых, делать вечеринки, устроивать прогулки; мое присутствие одушевляло эти затеи, следовательно, нужно было поддерживать хорошее расположение моего духа...

Мой экзамен шел удачно; я должен приписать это моей необыкновенной даровитости, потому что занимался мало, в промежутках удовольствий и лени — невольного, необходимого следствия физического утомления. Я обдумывал, как расположить моим временем. Было начало

---

[1] споры (от *франц.* controverse).

июня. Случайно в лавках двое незнакомых купцов помянули фамилию ma tante. Я вмешался в разговор и узнал, что они где-то на дороге встретили ее мужа, едущего в саратовскую деревню «с семейством». Я не мог доспроситься, из кого состояло это семейство — одни ли дочери, жена ли с ними. Искать ее в Москве было бы сомнительно. Летом Москва не представляла ничего заманчивого; война наводила на всех уж слишком много скуки, ехать не стоило.

Кончив с последними формальностями экзамена, получив свой билет, я возвращался из гимназии к Смутовым. Там ожидали этого великого события — моего перехода в пятый класс, и, едва я отворил дверь, Александра Александровна приветствовала меня громогласно:

— Честь имеем! Честь имеем!

— Я еще издали видела, как он шел, мой голубчик,— промолвила, прослезясь, Любовь Александровна.

Меня заключили в объятия, на столе явились пироги, и была отправлена посланница за Егором Егоровичем. Я уже давно привык ко всем празднованиям и всей обрядности, которые свято соблюдались в этом доме. Девы желали торжествовать мои успехи — я не мешал им, тем более что пирог был хорош и Александра Александровна с этого дня разрешила готовить для меня скоромное. Был какой-то пост.

— Поговел с нами недельку, и будет, а то похудеет,— приговаривала она.

Явилась и Марья Васильевна; ее будто не ждали, но она была особенно нарядна и, подавая мне руку, тихонько сказала:

— Поздравляю вас.

Это уж было глупо. Я нахмурился. Ей очень хотелось, чтобы я заметил ее наряд, с иголочки, по новой тогдашней патриотической моде: клетчатая юбка, в подражание крестьянским поневам, белая рубашка со множеством красного кумача, на шее корольки, гранаты и большой крест. Кажется, это называлось «ополченкой». Егор Егорович пришел в восхищение.

— Давно пора,— твердил он,— вспомнить родной костюм — свободно, ловко! А уж как к вам пристало! Только бы косу распустить — совсем русская красная девица!

— Да это недолго,— подхватила она, вытащила из

головы гребень, и тяжелая коса, как жгут, ударила ее по спине.— Давайте ленту, тетеньки!

Ей подали, она вплела себе бант и, войдя в роль, уж и держалась и говорила с крестьянским оттенком. Я молчал и смотрел в окно.

— Вам не нравится? — спросила она, не выдержав.

— Оригиналы, каковы бы ни были, все-таки сноснее подражания, а я скоро их увижу,— отвечал я равнодушно и обратился к Егору Егоровичу.— Вы говорили, что можете доставить мне урок на вакацию?

Урок точно был. Я спросил, чтоб подразнить Марью Васильевну, но потом и сам не обрадовался: куча ребят, с которыми надо было говорить по-французски, а двух старших готовить в первый класс гимназии.

— Все это дельно,— сказал я,— но, главное, мне бы хотелось отдохнуть в деревне; я был опасно болен зимою...

— Эта деревня — рай! — отвечал Егор Егорович.

— Только когда же им пользоваться, этим раем, если будет столько дела? Впрочем, так как предлагают большую плату...

— Я узнаю аккуратно.

— Узнайте. Необходимость заставит на все согласиться, хотя бы и с потерей здоровья.

Старухи глядели на меня с состраданием. Марья Васильевна притихла и щипала ленту в своей косе. Егор Егорович посмотрел на часы.

— *Они* дома теперь; я пойду и расспрошу, чтобы, в самом деле, не было для вас стеснительно.

— Да, мой друг, расспросите,— вмешалась Любовь Александровна,— я ведь вижу, что он хочет сказать, Сережа наш... Извини, так назвала... После такой потери... Занят он целый день. Здоровье в его года нужно беречь... просто оправиться нужно, как ребенку. Еще отец его сколько раз говаривал, что он на грудь жалуется...

Егор Егорович ушел. Марья Васильевна тихонько и будто украдкой подобрала свои волосы. Александра Александровна обратилась ко мне:

— Погляжу я, вздор ты затеваешь, друг мой сердечный, извини меня. Крайности тебе нет, деньгу копить — рано начинать, а для здоровья — на что тебе деревня лучше нашего сада? а то и луга — тут и есть. Пей себе

молоко — две коровы на дворе, да хоть с белой зари гуляй, право...

— И совершенная правда! — подтвердила Любовь Александровна.

— Ты, никак, Машенька, нынешним летом еще нашего сада не видала? — продолжала Александра Александровна.— Посмотри-ка, какие там затеи. Илья Семеныч Бревнов высадков цветочных наслал; садовник его там разными фигурами цветник разбил, беседку из акации заплел. Дунечка там целый день и шьет, и читает, и сама возится, полет, поливает. Сходи погляди.

— Вы были в саду? — спросила меня Марья Васильевна.

— Раза два.

— Проводите меня.

Я пошел за нею, но, придя туда, она не обратила внимания ни на цветник, ни на беседку, ни на Дунечку, которая, увидя нас, спрятала то, что читала. Она всегда прятала от меня свои книги, хотя, без сомнения, они все были высоконравственные: их давал Егор Егорович. Я, конечно, не брал на себя труда развивать ее, доставлять ей чтение и вообще, кроме класса, не говорил с нею десяти слов в день.

Марья Васильевна шла впереди меня все дальше, в чащу сада. Я заметил ей, что малина еще не поспела и стремиться не к чему. Она не отвечала, но, зайдя так далеко, что нас уже не могли видеть, села на траву и принялась плакать — точно будто выбирала для этого удобное место. Я постоял, подождал, когда это кончится, и наконец повернулся, чтоб уйти. Она схватила меня за руку.

— Ради самого бога... зачем вы хотите уехать?

— Затем, что здесь скука,— отвечал я.

Она рыдала еще пуще.

— Пустите же меня,— сказал я,— ведь так еще скучнее.

— И неправда! — вскричала она.— И вовсе вы не скучаете! Слава богу, приятелей у вас довольно, в гостях вы всякий день; на прошлой неделе на даче танцевали; у Грачовых театр взялись устроить...

— Что ж из этого? — возразил я.— Вы будто попрекаете меня пустяками. Ну, я прыгаю, играю в карты — наконец упрыгаешься, средства нужны...

— Да ведь у вас деньги есть?

Я захохотал и пошел. Она вскочила, бросилась за мной, заставила воротиться и сесть с ней рядом. Ветки зацепились мне за волосы; мне было неприятно.

— Милые волоски, простите меня! — вскричала она и робко, поспешно пригладила мне голову.— Послушайте, простите меня, я вздор сказала... Ну... Видите, что... Неужели уж вам так скучно?

— Конечно,— отвечал я,— все эти удовольствия без цели; ум не занят, сердце не занято.

— А, вот что! — сказала она и примолкла.

Она опять было сбиралась заплакать, но, догадываясь, что я уйду при первом поднесении платка к носу, удержалась и спросила:

— А там, в деревне, чем же вы займетесь?

— Буду учить детей, читать, напишу что-нибудь. Я давно хотел.

— Это все-таки для головы, а не для сердца. Это можно и здесь. Только ребят противных не будет, еще лучше. Будет с вас одной Дунечки...

Она улыбнулась, приметя мою улыбку; я отвернулся и молчал. Она продолжала, глупо смущаясь, смеясь от смущения и заглядывая мне в лицо:

— Вы не воображайте, что вам будет *свободно*. Эти господа дорого заплатят, пожалуй, но зато уж и потребуют. Ведь что же, смешно, право... Вы не обижайтесь!.. Вы учите Дунечку... Ну, не сердитесь, грех наш общий с вами! Покуда она что-нибудь делает, мы с вами болтаем свое. Знает она или не знает, вам все равно... никто не взыщет. А там маменька сама сидит в классе. Ведь вас берут, покуда настоящего француза нет; их теперь, в войну, мудрено достать... Эти господа из гордости ни с кем из соседей даже не знакомы; аристократический дом...

— Я сам вырос в аристократическом доме; этот склад, привычки — мне родные...

— Господи боже, да ведь вы там сами были родной! Сами же вы рассказывали, что вы вашему русскому учителю соль в чай сыпали, не знаю что ему делали, а он не смел жаловаться! Ведь тут ваша роль такая же: вы учитель, а они аристократы!..

— В какие вы пускаетесь рассуждения, Марья Васильевна! — прервал я, захохотав, хотя вспышка этой девицы вдруг как-то особенно осветила предо мною мое положение.

— Известно, что такое дети-аристократы: сорванцы! — сказала она, рассердясь.

— Извините, Марья Васильевна, но если вы так выразились обо мне, то я возражу и вам: так рассуждает только умственная малость. Потрудитесь понять: во всяком аристократическом ребенке болезненно затронуто чувство порядочности при виде плохо выбритого, унылого учителя в вытертом сюртуке; неприятное ощущение вызывает неприязнь; у ребенка она выражается школьной шалостью. Но и самая неприязнь, и ее последствия — натуральны, законны. Не детей надо винить, а учителям следует подумать, как держаться приличнее... Понимаете?

Она поняла, что я раздражен, но не унялась.

— Ваш гувернер-француз и прилично держался, а вы его презирали!

— Ай да Марья Васильевна! Я не ожидал от вас таких подвигов,— спорить!.. Но я-то, я? разве я то же, что эти люди?

— Господи,— вскричала она,— я знаю, что я глупа и не умею рассуждать, но... Жить с аристократами, так надо уж и самому быть аристократом... то есть богачом: бросаю свое пригоршнями и знать никого не хочу! а от них получать, зависеть, на жалованье быть... да сохрани господи! унижение одно!

Я не мог возразить: она указала мне бездну, от которой меня отделял один шаг. С ее стороны, конечно, это случилось нечаянно. Я не счел нужным открывать ей, насколько она меня поколебала, и долго молчал.

— Одно скучно,— сказал я наконец,— здоровья не поправишь и романа не напишешь. Времени не будет... А моя мысль мне дорога; я не один год ее берегу. Прощай, роман!

— Да здесь-то кто вам мешает его писать? — вскричала она.— Вот тут, на самом этом месте, в саду? Хорошо, густо, тихо,— посмотрите,— просто прелесть! Я вам стол пришлю; кушетку большую кожаную, мягкую, на пружинах,— лежать. Тетеньки сейчас согласятся. Никифору сама прикажу, чтоб на ночь или под дождь закрывал... два ковра пришлю, клеенку, рогожки пришлю...

— Как проворно! — вскричал я, расхохотавшись.

— Да чего же мешкать? — возразила она, сконфуженная и радостная.

— Подумать надо.

— Чего думать? Вы хотите писать, ну и пишите. И свободно тут, и — захотели, развлечения есть...

— Какие?

— Какие найдутся, а там вовсе никаких... А уж как вы тетенек утешите! ведь они какие славные... Чего вам, ей-богу, еще? Не поедете?

— Не поеду,— сказал я, помолчав.

— Ах, душка какой! — вскричала она и запрыгала.— Господи, как я рада!

Она быстро закрестилась своей кругленькой ручкой; я поймал эту ручку, мешая ей, и, смеясь, сжал ей пальцы; она закричала, что больно; я, прося прощения, обхватил ее за талию и поцеловал. Она вся покраснела и отвечала тихим поцелуем в голову.

— Это за то, что умник, здесь остаетесь,— сказала она серьезно, будто в оправдание, но тотчас же пошла вперед, и довольно скоро. Я догнал ее.

В доме мы нашли возвратившегося Егора Егоровича; он принес от своих «аристократов» необыкновенно выгодные условия: в гимназию никого не готовить; только два часа в день занятий с детьми, а остальное время как мне угодно; отдельный павильон в саду для жилья и прочее. Марья Васильевна взглянула со страхом и отвернулась к окну.

— А мне так полюбился ваш сад, *тетенька*,— сказал я, подходя к Любови Александровне,— что я никуда уезжать не хочу.

С минуту все примолкли.

— Умник, умник! — вскричала вдруг Александра Александровна.— Это он меня послушал!

— Это он Дунечку оставить не хочет,— прошептала Любовь Александровна,— нас, старух...

Она прослезилась и мягкими пальцами тихо пожала мои пальцы. Марья Васильевна вся высунулась в окно. Один Егор Егорович смотрел недоумевая, повертывая свои ястребиные глазки и острый нос. Я посмотрел на него с секунду в упор, чего, как я приметил, он боялся,— привел его в еще большее недоумение и вдруг, сказав, что я страшно устал, попросил позволения уйти в свою комнату и не обедать. Изумленную Александру Александровну я успокоил тем, что сыт пирогами, а проголодавшись, попрошу.

Не помню, где я прочел выражение: «se sentir vivre»[1]. Оно мне нравится, оно верно. Всякий молодой человек испытал это ощущение. Лежать, закрыв глаза, под листвою, не думать и только чувствовать, что живешь,— изящная нега, в которой крепнут силы. Ложь и заблуждение, будто они выработываются трудом. Каким трудом? Физическим? Неужели нужны примеры, что он огрубляет и отупляет и нравственно и физически? Мастеровой, которого все помышления сосредоточены на его верстаке, на его станке, а руки в мозолях — человек ли он?.. Или так называемый строгий, серьезный труд мысли? Желчное, безрадостное существо, осуждающее три четверти земных наслаждений (уж не потому ли, что они ему не по карману?..), односторонне сочувствующее только страданию — человек ли это?.. И этому, говорят, юношество должно поучаться! То есть сохнуть преждевременно, множить собою число нахмуренных «тружеников-мыслителей», как они себя величают,— попросту, несносных, беспокойных плакальщиков, которых так бесконечно много развелось в последнее время во имя кого-то, во имя чего-то и никому не в пользу!

Я жил, прожил и живу счастливо. Я сам помог себе выйти на путь жизни, сохранив себе все свое достоинство. Я тот же и теперь, в двадцать семь лет, когда пишу эти строки.

Я знаю, меня упрекают в эгоизме. Но, спрошу я серьезно,— эти господа хлопотуны за человечество, не точно ли такие же они эгоисты? Ведь они сами кричат, что были бы удовлетворены *лично*, счастливы *лично*, если б им удалось устроить безмятежный, трудовой мирок по своему вкусу. «Мы бы,— говорят они,— блаженствовали». Так для кого же, как не для себя, они стараются? И в чем же разница между ими и мною? В том, что я разумно понял глупость их стремлений, неизящность их затей и, отвернувшись, беру свое благо из источников более привлекательных, не забочусь о людях, которые обо мне не заботятся, не навязываюсь в опекуны и не допускаю над собой опеки. *Всякий за себя*,— пусть другие делают то же. Если и выйдет разладица, то, господа мудрецы, хуже не будет того, что было и есть, а на наш век еще достанет и тепла и корму на земном шаре!..

---

[1] «ощущение жизни» *(франц.)*.

Обстоятельства складывались так, что могли бы втянуть меня если не навсегда, то надолго в пошленькую колею провинциальной жизни. В этой жизни есть своя заманчивость. Это остаток нашего старинного барского лежанья на пуховиках с его сладкой едой и бесконтрольным произволом. Это восточная нега; иногда она может казаться неизящна, но, в сущности, она завлекательна. Только перемените, украсьте обстановку, дайте настоящую роскошь,— золото, шелк, перлы, розы, пальмы, фонтаны,— и кто не мечтал об этих наслаждениях, кто им не завидовал, кто, когда мог, не искал их?.. Но человек способен уступать во многом, мириться со многим; он обрезал свою фантазию, обесцветил свою мечту, уступил невозможности, помирился с неграциозностью формы — и вместо восточного кейфа явилась провинциальная полудремота. Ее первообраз слишком завлекателен, и потому столько завлекательности в ее первых минутах; но она — плод укрощенного воображения, измельчавшего чувства и потому, продолжаясь, заставляет человека мельчать.

Мне грозила эта опасность измельчания, омертвения. Молодой, впечатлительный, неопытный, я был готов поддаться растлевающему влиянию. Сильный пред деспотизмом, пред грубостью, пред невежеством, я мог не устоять пред обольщением отдыха, свободы, приволья. Опасность не меньшая. Мне были нужны совет и помощь...

Судьба послала мне человека...

Недели две-три я жил эпикурейцем, или настоящим провинциалом, в покое и безделье. Лето, говорили, было грозное,— на самом деле даже без дождей, не только гроз,— но эту метафору усвоили N-ские жители, читавшие газеты и реляции и толковавшие о политике у порога всякой лавчонки. Ополченцы и рекруты то и дело проходили партиями, оглашая пением улицы и слободы; на плацу, где учились солдаты, с утра до ночи трещал барабан. В знойный день это одолевало.

В городе не оставалось никого из порядочного круга, но в последнее время я отдалился от этого круга; он стал мне как-то неприятен. Необъяснимая прихоть впечатлительных натур! я предпочитал брать то, что было у меня под рукою. С утра я уходил в сад, писал, чаще ложился в тени, читал или мечтал; приходила Марья Васильевна.

Время тянулось однообразно, покойно и незатейливо весело до обеда. Она редко оставалась обедать у старух и, не прощаясь с ними, уходила домой прямо из сада. Иногда и я делал то же. Это не совсем нравилось старухам, но мы не обращали внимания. Мы бежали к Марье Васильевне; приходили ее знакомые, устроивалось какое-нибудь катанье или гулянье в большой компании. На открытом воздухе общество среднего кружка выносимее, чем в комнатах: хохот не так раздирает уши; девицы и юноши, не умеющие говорить, все-таки умеют бегать в горелки...

И я бегал в горелки! И я слушал, как отпускались пошлые любезности и пелись романсы с аккомпанементом гитары! Общество понимало мое превосходство, мою снисходительность, и мне не раз говорили:

— Вам с нами скучно.

Но мне не было скучно. Конечно, я забавлялся не благами этой жизни, но их отрицанием. Я смеялся, шутил, наблюдал, импровизировал эпиграммы, приноравливаясь к понятиям моей публики. Конечно, я читал их не в кружке, а каждой слушательнице порознь, но в скромности слушательниц был уверен: меня боялись. Мужская часть общества — мелкие чиновники, гарнизонные офицеры боялись меня еще больше. Они заискивали моего расположения, копировали меня как могли и умели и, при случае, выдавали мне один другого. С ними, впрочем, я был осторожнее, чем с женщинами. Четыре года в гимназии заставили меня убедиться, что и у ничтожества бывает своя дерзость,— дерзость, опасная именно своей пошлостью, на которую неприготовленный порядочный человек не вдруг найдется ответить. Холодный без высокомерия, снисходительный к мелким оплошностям, часто серьезный,— отчего больше ценилась шутка,— изобретательный для оживления кружка, я приобрел авторитет непоколебимый. Я знал и чувствовал, как много значу для этого маленького мира: я давал ему движение, я его облагороживал. Чувство собственного значения возвышает нас в собственных глазах. Я не соглашусь, если в настоящем случае это назовут мелким тщеславием. Это была законная гордость. Мирок был невелик, но до меня ведь никто же не взялся им управлять? Ведь он коснел и тупел, никого не интересуя, никому не нужный, даже для потехи. Теперь он служил мне, и я пробовал на нем свою силу. В семнадцать лет это замечательная деятельность. Впо-

следствии я не говорил о ней в своем кругу: меня бы не поняли; меня бы приняли с недоверием, как провинциального франта,— репутация, гибельнее которой нет. Теперь, сто̀я уже твердо, я спокойно рассказываю свое прошедшее; оно уже не может повредить мне, а только возвысит мне цену: мое общество меня знает. Вероятнее, что оно удивится, узнав в первый раз из этих строк, что de-Sergu был когда-то львом и законодателем провинциального муравейника...

«Законодатель» не пустое слово. В короткое время, сознательно или несознательно, забавляясь, первенствуя, научая, а я сделал свое дело. Мои уроки, порицания или одобрения вспомнит не раз в своей жизни и не один из обитателей этого мирка. Я могу смело приписать себе все порядочное, что легло на них, хотя бы слабым, незаметным оттенком. Не доверяя никому того, что перенес я сам в пять лет испытания под одной кровлей с отцом, я умел намеком, предостережением указать на необходимость стойкости в подобной борьбе, на необходимость хладнокровного расчета, на опасность откровенностей, на забавную сторону дружбы, на нелепость увлечений. Я осмеивал педантство в его малейших проявлениях; я преследовал плебейскую заносчивость и остроумным сарказмом сбивал с ног либеральничанье. Я охлаждал глупую сантиментальность, мещански-драматические порывы, которые делают женщин неграциозными, а любовь их смешною. Прямо и смело, не ублажая их, я отказывал женщинам в праве раздумывать над собою и обращал их к их настоящему назначению: быть цветками нашей жизни и заботиться единственно о своей изящности. Я учил жить легко — этой первой задаче жизни! Я учил вкусу, обращению, приличиям, и все это я начинал с азбуки... Господа профессоры воскресных школ, госпожи насадительницы детских садов! если, как говорят, ваши труды велики,— мой труд был не легче и гораздо шире по своему значению: я развивал, я создавал общество...

Впрочем, тогда я и сам не так полно понимал всю важность моей деятельности. Я жил, увлекаясь, не думая, надолго ли станет во мне одушевляющего огня, если я буду, не щадя, раздавать его,— и в этой нерасчетливости была моя опасность: применяясь, хотя бы для того, чтобы властвовать, я все-таки умалялся. Но мне было не скучно, и этого покуда мне было довольно.

Я тратил много, это было необходимо. Мой мирок

вышел бы из повиновения, если бы заметил, что я нуждаюсь. Моим затратам завидовали, но не очень удивлялись, что мне было, с одной стороны, приятно: стало быть, меня не считали бедняком. Я не разочаровывал и не спрашивал пояснения. Наконец это высказали.

Раз мы играли у Ветлина. Я играл несчастливо и для расплаты подал ему один билет. Хотя его мамаша достаточно снабжала его из взяток папаши и сундука бородатого дедушки, но у него не набралось сдачи. Ему помогли в размене другие игроки, вытаращившие глаза на мой бумажник и еще больше на мое равнодушие. Ветлин был рад выигрышу.

— Вот ты как! — вскричал он в сердечном излиянии.— А ведь, знаешь, твоего отца здесь прозвали *собака на сене*... а он, видно, того, как все грешные!..

Я не возражал. Не рассказывать же целому свету свои дела, не оскорблять же людей, когда они мне нужны, не негодовать же за понятия, которыми они жили, живут и век будут жить,— тем более что в глубине души я не мог совершенно осудить этих понятий: «благородные убеждения» моего родителя оставили меня нищим... Расстроенный всем, что вдруг и разом поднялось у меня в мысли и в сердце, я не изменил себе и оживил ужин, для которого на свой счет послал за шампанским. Ветлин было обиделся и заспорил как хозяин.

— Les battus paient l'amende [1],— возразил я весело, укрощая его совестливость, и перевел поговорку непонимавшим.

Шампанское, которое редко доставалось этим господам, скоро их одурило и склонило почивать. На меня оно всегда имело обратное действие; в Москве после вечеров ma tante я часто до зари болтал с Мишелем; на вечерах Талицына я обыгрывал всех после ужина. В этот раз мне не нашлось товарища ни на какое дальнейшее удовольствие и оставалось только идти домой. Я медленно брел по пустым улицам; ночь была ясная, безлунная и душная; ставни везде заперты, ни извозчика, ни прохожего, ни собаки. Я шел куда глаза глядели. Вдруг мне мелькнуло среди запертых одно отворенное окно и в глубине, в темноте комнаты, маленькое мерцанье лампадки. Я осмотрелся и узнал — это был переулок, дом, комната Марьи Васильевны. Вглядываясь с противоположного тротуара,

---

[1] Побежденные платят штраф *(франц.)*.

я разглядел и ее, в белом; она спряталась, заметя прохожего. Я перебежал улицу, остановился под окном и запел:

Я здесь, Инезилья...

— Ах, господь с вами! — вскричала она, не показываясь.

— Марья Васильевна, это я.

— Вижу, что вы,— отвечала она, рассерженная, подошла и хотела запереть окно. Я поймал ее за руки.

— Что это вам не спится? Или кого ждете?

— Пустите... Просто жарко; окно и отворила. Пустите меня.

— Нет, вы меня пустите; я сейчас к вам влезу.

— Нет, вы с ума сошли! — закричала она, испугавшись, что я ступил на подоконник, и старалась захватить раму.— Что́ это за глупости, Сергей Николаевич! Ступайте! что это, в самом деле, по окнам лазить...

— А вы не отворяйте их ночью. Так отворите мне дверь. Вам не спится, мне тоже. Я посижу, отдохну. А не то — стану стучать, кричать...

Я в самом деле застучал в стекла. Она чуть не плакала.

— Ах ты господи!.. Ну, отворю, сейчас,— сказала она наконец,— только не шумите, ради самого бога!

— Извольте, буду тих.

Ее белая фигура исчезла. Я долго ждал. Было слышно, однако, что она в комнате. Я запел:

Что медлишь? Уж нет ли
Соперника здесь?..

— Уймитесь, Христа ради,— отвечал ее голос,— сейчас. Идите на крыльцо.

Я вошел. Она меня встретила. В прихожей, в зале, в маленькой гостиной горели свечи; она, вероятно, зажгла их, идя отпирать подъезд. Сама она была уже не в белом, а в клетчатом пышном платье с оборками; туалет тщательный, для приема гостей. В гостиной она зажгла еще две свечи и села на диван, будто и в самом деле принимала.

— Послушайте,—сказала она,—можете пробыть здесь десять минут и ступайте домой.

Я церемонно поклонился.

— В таком случае к чему же эта иллюминация? —

спросил я серьезно.— Человек, которого выгоняют, не стоит свечек.

Ее полные губки были уж готовы смеяться, но удержались.

— Вы хотели отдыхать. Садитесь.

— Для отдыха мне было бы довольно скамейки, там,— отвечал я смиренно, показывая на прихожую.

— А, будет вам представлять комедию! — вскричала она, захохотав.— Рассказывайте, откуда вы?

— Из вертепа,— отвечал я со вздохом.

— Батюшки мои! Играл? Опять?

— Опять.

— У исправника? У Ветлина?

— У Ветлина.

— И проиграл?

Мне вдруг все это надоело: и расспросы, и она, все. Едва присев, я встал опять и принялся ходить по комнате.

— Проиграли? много? — приставала она.

— Все! — отвечал я со злостью.

— Как все? Возможно ли все? — повторила она с испугом, который окончательно вывел меня из себя.

— Да вы знаете ли, как велико это «все»? — вскричал я.— Этим «всем» порядочному человеку мало прожить месяц!

Мои слова произвели совсем неожиданное действие: Марья Васильевна принялась горько плакать. Очень ли ее встревожил мой гнев, так ли, от нечего делать полились эти слезы, но они были неудержимы. Если бы не лень и усталость, я сейчас бы ушел на улицу. Эти слезы меня бесили. Я сам, час назад, был возмущен; теперь глупая девушка бестактно все опять поднимала и усиливала горечь и пошлость моего положения.

— Уймитесь,— сказал я,— что такое с вами поделалось? Вам-то что?

— Ах, голубчик,— отвечала она безобидно,— как не плакать! Теперь я вижу, в чем дело. Подите сюда, сядьте, я расскажу.

И она рассказала, что сегодня была у Смутовых, и в совете дев и Егора Егоровича говорилось о моей безумной жизни. Любовь Александровна, конечно, только ахала и соболезновала, но Александра Александровна уж острила, что молодой человек крылышки пробует, расправляет, и расспрашивала Марью Васильевну по секрету, не влюблен ли я в кого-нибудь; а Егор Егорович

сказал, что я просто погиб, что мне нечем будет содержаться в университете, и описал впереди такое беспомощное положение, такую студенческую крайность, которой мне никогда не вынести.

— Я все слушала,— продолжала Марья Васильевна,— и думаю, что, положим, вы вынесете; здоровье у вас, слава богу... Но, боже мой, каково выносить! О чужих, о незнакомых послушаешь — сердце разрывается. Голубчик мой, что ж это будет? В углу каком-нибудь, в холоде, в грязи... грошовая булка на целый день...

Она зарыдала и повалилась лицом на подушку — ее собственноручный великий труд, по канве, шерстью и медным бисером. Я смотрел, как этот бисер впивался в ее пухлые щеки.

— Перестаньте плакать,— сказал я,— это, право, глупо. Одна сантиментальность.

— Ах, я глупая, зачем я это сделала,— вскричала она,— зачем я отговорила вас ехать в деревню!

— Тогда что же было бы?

— Не баловались бы вы, вот что! И деньги были бы целы!

— Вам прежде всего — деньги,— сказал я с хладнокровным презрением,— в женщине особенно необыкновенно изящная страсть! Вы воображаете, что если вы в них влюблены, то и всякий способен на них тушить сердце. Ошибаетесь. Я вовсе не думаю об этой дряни. Нужда так нужда. Я горд,— перенесу. Нужда — участь поэтов.

Она глядела на меня во все глаза. Над диваном было зеркало, в котором я видел свое бледное лицо при свете множества отраженных огней.

— Вы так и вообразили меня в университете? — продолжал я с горькой иронией.— Но кто же вам сказал, что я когда-нибудь о нем думал? Захочу ли я уронить себя, захочу ли я истлеть, не живя? Еще три года безобразиться здесь да четыре года там? Матушка, Марья Васильевна, пощадите! Вы себе нарисовали картину разных мучений, а этого не потрудились вообразить: скуки бешеной, траты ума, потери достоинства, засухи сердца. Благодарю вас!.. Вы думаете — пуховик под бок, пряник в рот, и *мальчику* ничего больше не нужно? Уверяю вас, я не мальчик!

— Но что же вы будете делать? — выговорила она, приподнявшись в испуге.

— Вы спрашиваете?

Я хохотал. Она смотрела и ждала.

— Что сделали Жильбер, Чаттертон?.. Съем родительское наследство, и пулю в лоб. Покойной ночи.

Я взял фуражку и пошел. Она бросилась за мною.

— Сергей Николаевич, голубчик...

— Что вы?

— Ради самого бога... Куда вы?

— Да не сейчас, еще нейду ни топиться, ни стреляться,— возразил я,— успокойтесь, еще не все прокутил; вот вам, считайте!

Я бросил на пол свой бумажник.

— Ну, что ж, полюбуйтесь, вы в этом знаете толк,— продолжал я, раздражаясь в самом деле волнением и нелепостью этой сцены.— Надеюсь по крайней мере, что у вас достанет сообразительности не выболтать всего этого вашим тетенькам. Да и ради самой себя болтать вам неловко: дело, видите, происходит ночью. Так уж, как говорится, по-братски помолчите.

Она тихо подняла бумажник, положила его на стол и, без слез, будто думала.

— Вы сейчас одно слово сказали...— начала она.— Извините, я, кроме его, ничего не слышала... Вы сказали: «по-братски»... Если б я была вам сестра, стали бы вы меня так мучить?

— Так я мучу *вас*, а не сам измучен? — вскричал я.

— Ох, господи, все не то!..— прервала она.— Погодите, пожалуйста... Как это сказать?.. Ну, если бы я была вам сестра, взяли бы вы от меня деньги?

Я засмеялся. Она вспыхнула, так что закраснелась даже ее шея. Я смотрел на нее пристально.

— Но ведь вы мне не сестра, Марья Васильевна.

— Я вас люблю все равно как сестра,— проговорила она медленно и вдруг, вся помертвев, опустилась на стул. Ее руки упали вдоль платья, голова наклонилась... Это как-то мгновенно напомнило мне привычную грациозную позу ma tante; шелест шелка, яркая, тихая гостиная, легкий дым кассолетки [1], теплившейся в углу...

— Но я люблю тебя побольше брата...— прошептал я, падая к ее ногам.

Несколько секунд она не шевелилась, потом вдруг крепко захватила и стала целовать мою голову. Слезы так и катились. Никогда после не встречал я женщины,

---

[1] курильницы (от *франц.* cassolette).

которая бы принимала любовь так умиленно, почти благоговейно. Она делала из простой вещи нечто торжественное. Это вовсе не шло к кругленькой Марье Васильевне, а ее ласки своим неудобством напоминали порывные объятия моего батюшки. Это воспоминание чуть не спугнуло моего расположения духа...

— Ой, задушила! — сказал я, смеясь и вырываясь.— Разве так любят?

Но и на мои ласки и объятия она еще долго отвечала слезами и, даже когда мне удалось ее утешить, продолжала твердить, что если мы — одно, то должны быть всем заодно, что я должен ее слушаться, что, слушаясь ее, я буду счастлив, а что она — моя, моя до гробовой доски. Разочаровывать женщину в чем бы ни было не следует среди первых восторгов любви, а потому я оставил Марье Васильевне убеждение, что она приобрела надо мной полную власть. Что же касается «гробовой доски», то я попросил ее не говорить о плачевных предметах, особенно теперь, когда наша жизнь только начиналась. Она имела наивность верить в вечность этой любви, в чем, конечно, я тоже ее не разочаровывал. Она вышла, прощаясь, за мною в подъезд. Я видел, ей хотелось плакать, и шутя погрозил ей пальцем; она бросилась мне на шею, прижалась крепко, без поцелуя, убежала в дом и громко заперла дверь.

На дворе был уже день; мы его не заметили при глухо запертых ставнях, а в доме Марьи Васильевны прислуга поднималась, когда ее будила барыня. Я шел домой; на площади народ расходился из церкви. Вслед мне раздалось мое имя; звала Любовь Александровна.

— Никак и ты был у обедни? — спросила она радостно.

— Да.

— Я тебя не видала; верно, на паперти стоял?

— Да. И я вас не видал.

— Я всегда там, за клиросом, в приделе. Нынче заказная обедня, по «на брани убиенным», так уж просили батюшку пораньше: жарко. Который час?

— Близко шести,— сказал я.

— Это ты поднялся! И то правда, в доме жарко. Гулял?

— Да, гулял и зашел.

— Хорошо сделал, друг мой сердечный. Когда является такое чувство, что вот будто позовет тебя в храм,—

иди, иди во всякое время, чтоб тебя никакая земная забота не удерживала. Это сам бог зовет. А в молодые годы и молитва чище... Душа ты моя! — договорила она, опираясь на мое плечо и входя на свою галерейку.— Сашенька! Александра Александровна! пожалуйте нам чаю, вот и мы пришли!

— А, ранняя птичка, какими судьбами? — шутливо спросила Александра Александровна, увидя меня.— Откуда пожаловал?

— В церкви был,— отвечала ей Любовь Александровна протяжно и несколько строго.

— А, в церкви!..— повторила меньшая, получив урок и укрощая свою веселость, и занялась чаем.

Я сел к окну и достал пахитоску. Любовь Александровна, выходившая снять бурнус, возвратилась и опять положила мне руку на плечо.

— Только вот зачем ты, душа моя, к этим глупостям себя приучаешь. Для груди вредно... и для кармана! — прибавила она, улыбаясь в виде извинения.

— Какая у него вещица славная,— сказала Александра Александровна, взяв мой филиграновый портсигар.— Посмотри-ка, Любушка. Откуда у тебя это?

— Подарок,— отвечал я.

— Дамский?

— Конечно! — сказал я и расхохотался: портсигар был выигран у Ветлина.

— Какая же это такая дама подарила? — спросила Любовь Александровна с неудовольствием.

— Молоденькая и красавица,— отвечал я, продолжая смеяться,— madame Ветлина.

— И, проказник! — вскричала, засмеявшись тоже, Александра Александровна.— Чего не выдумает! Уж и нашел красавицу — мне ровесницу!

— За что же это она тебе вздумала дарить? — продолжала Любовь Александровна еще с некоторым сомнением, но уж заметно спокойнее.

— Я занимаюсь с ее сыном,— объяснил я холодно,— мы товарищи; денег предложить мне нельзя.

Я замолчал, и они примолкли. Все это были неудачные попытки навести речь на мою «безумную жизнь». Любовь Александровна вздыхала и возводила очи к потолку, ища и не находя темы, Александра Александровна поняла ее беспокойство.

— Что это Егор Егорович не идет, а обещал,— за-

метила она, заглянув в окно.— Ну-с, Сергей Николаевич, так как же-с?..

— Что, как же? — спросил я, зевнув.

— Отец родной, проглотишь!.. Эх, молодежь! Один раз встал помолиться, да уж и носом клюет!

— Я ночь не спал,— сказал я, вставая, и, идя к себе, остановился на пороге.— Дунечка, как вы думаете, не пора ли нам приняться за занятия? Месяц вакации, право, довольно. Мне скучно без дела; думаю, и вам тоже? вы не охотница терять времени...

— О, голубчик мой!..— послышался шепот Любови Александровны.

— Как хотите,— отвечала Дунечка.

— Это как вы хотите,— возразил я, будто не замечая присутствующих,— казенная вакация — до августа; но мне хотелось бы, чтобы занятие было для вас приятнее всякого удовольствия. Только тогда я сочту себя вправе сказать, что сделал для вас что-нибудь, когда вы почувствуете истинную любовь к труду, к науке; когда вы сами себе скажете, что всякая праздная минута есть грех, такой же, как праздное слово...

— Поди сюда ко мне! — прервала Любовь Александровна.

Она обливалась слезами.

— Поди сюда. Дай я тебя обниму да перекрещу. Господь с тобой!.. Прости ты меня... Отдохни поди, лучше усни. А там и займетесь. Она умное дитя, она тебя понимает...

Я поцеловал руку Любови Александровны, потом — уже сам не знаю зачем — пожал костлявую цыплячью лапку Дунечки и бегом на лестницу, в свою комнату, бросился на постель и проспал до вечера.

Если против меня составлялся заговор увещаний, предостережений, всякой морали, то моей речью к Дунечке я нанес ему удар еще до начала, а потом разрушил окончательно: в течение трех раскаленно жарких дней я имел мужество переспросить у моей ученицы всего «Ноэля и Шапсаля» с миллионом примеров из какографии. Я принял свои меры и обдавался холодной водой, но Дунечка изнывала — только не прилежанием, за которое ее награждали новым вареньем. Любовь Александровна была очаровательна; я принимал тоже свои меры поддерживать ее милое расположение и, являясь в частые часы еды, столько говорил и рассказывал серьезного и зани-

мательного, рассуждал так чувствительно, шутил так оживленно, что она начала употреблять разные уловки, чтобы удержать меня хотя несколько минут подольше. Но я взглядывал на часы и, восклицая: «Дунечка, пора!» — стремился в классную комнату, часто даже напевая песню, отчего еще поразительнее казалась наступавшая затем торжественная тишина класса.

— Дивлюсь я на тебя,— сказала Александра Александровна, которую я ублажал тем, что ел неимоверно,— что с тобой сделалось?

— Я всегда такой,— отвечал я.

— В первый раз вижу.

— И, что ты говоришь, Сашенька,— вступилась Любовь Александровна,— мы когда стали его знать? за какие-нибудь полгода до кончины отца! Шло ли веселье на ум? А вот он теперь... Милость господня! молодость свое берет!.. И видно, точно всегда такой был: покойник, бывало, говаривал, что ты его утешение... Надейся, мой друг, на бога: и вперед, что бы ни случилось, не оставит!

Пред такими пророчествами, пред веселием и согласием, царившими в доме, пред успехами Дунечки и моим примерным прилежанием Егору Егоровичу оставалось поникнуть головою и безмолвствовать. Он только посматривал, будто не веря глазам своим. Я постарался еще получше его озадачить. Раз он навязался бродить со мною по саду в сумерки.

— Жалею,— сказал я,— что не исполнил одного своего предположения.

— Какого?

— Выйти из гимназии до вакации, до экзамена.

— А потом?

Он произнес это с таким торжеством, это коротенькое слово было так похоже на прелиминарное [1] ворчанье маленькой собачонки, готовой разразиться тявканьем, вся его вознегодовавшая, завертевшаяся фигурка так напоминала это милое животное, что я дал себе минуту насладиться и помедлить ответом.

— А потом? — повторил он, усиливая тон, как истинный ритор.

— А потом, в августе, держать приемный экзамен в седьмой класс. А то два года пройдут даром.

---

[1] предупреждающее (от *франц.* préliminaire).

— И вы надеялись выдержать?

Я пожал плечами.

— Что ж,— продолжал он, не то пойманный, не то иезуитски желая изловить,— время еще не ушло, можно и теперь...

— Нет-с, время ушло,— прервал я.— С мая или апреля я бы успел подготовиться, а теперь — нет. Я не так самонадеян, чтобы воображать, будто звезды с неба хватаю. К тому же летом следовало позаботиться и о здоровье. «Наука долга, жизнь коротка» — следовательно: «барскую работу век не переработаешь» и человек должен думать о жизни...

Этими днями у меня было, впрочем, не маленькое затруднение: я забыл свой бумажник у Марьи Васильевны. Я был просто заарестован: куда пойти без денег? Меня мучила досада; Ветлин очень основательно мог предположить, что я испугался, разогорчился от большого проигрыша, что мне не на что играть. Марья Васильевна не показывала глаз целую неделю, так что даже Любовь Александровна выражала недоумение, куда она запропастилась. Было глупо, что она не шла к теткам; бумажник был мне необходим, но видеть ее мне не хотелось, а пойти просто за бумажником было неловко. Но даже и в этом посещении она вообразила бы внимание, любовь, непреодолимое влечение; поди я к ней — я дал бы ей над собой право. Признаюсь, я боялся, и доныне боюсь, неизящных сантиментальностей, порывов. Образчик их Марья Васильевна уже успела показать мне своими последними объятиями и стуком, с которым захлопнула дверь; при встрече меня, конечно, ждало что-нибудь в этом роде. Самое выжиданье моего визита показывало с ее стороны самонадеянность и настойчивость, которым я был не намерен давать поблажки. Чтобы заставить ее вполне в этом убедиться, я не шел к ней. И просто мне не хотелось ее видеть, мне было неприятно о ней думать. Это чувство усилилось до такой степени, что я вздрогнул и побледнел, когда раз вечером Дунечка сказала, выглянув в окно во время класса:

— Вот Марья Васильевна идет.

— Занимайтесь,— сказал я так строго, что она оторопела; она уж было отвыкла от моей строгости.

Я слышал, как Марья Васильевна вошла, как здоровалась со старухами; она что-то показывала; они восхищались, понижая голос, но ее голосок звенел как-то не

по-прежнему. Обо мне она не спросила. Обо мне вспомнила Любовь Александровна, особенно полюбившая мое общество.

— Что это он сегодня как долго. Переведи ты часы, Сашенька, пусть пробьют.

— Э, нет, он по своим всегда! — возразила Александра Александровна.

— Ну, так я просто позову.

— Любушка наша расшалилась,— сострила меньшая сестрица безмолвной Марье Васильевне, покуда старшая сестрица тяжело подступала к дверям.

— Сережа, друг мой сердечный, довольно вам. Ты совсем утомился; я нынче уж над тобою волю возьму. Прибирай все, Дунечка.

— Посмотри-ка, Дуня, что тут! — закричала Александра Александровна.

Дунечка побежала в гостиную, и там раздался ее радостный визг и поцелуи.

— Машенька ей принесла...— объяснила мне шепотом Любовь Александровна.— Вот ее отцу с матерью год кончился... Бурнусик, шляпку, разные разности. Не может она видеть сиротку равнодушно, чем только может... Поди посмотри.

Она повернулась в гостиную; я, конечно, остался. Вместо Любови Александровны вошла Марья Васильевна; она как-то заторопилась, точно испуганная моим учтивым поклоном, крепко сжала мне руку и тихонько сказала, подавая мой бумажник:

— Вы забыли...

Я еще раз поклонился и молча положил в карман. Она вся вспыхнула и поскорей вышла. Мне мелькнуло подозрение, нет ли сюрприза, но разъяснять было некогда: старухи заставляли меня любоваться бурнусиком. Марья Васильевна покойно уселась в гостиной, заметно намереваясь провести здесь весь вечер. Я сказал, что ухожу купаться и чтоб меня не ждали к чаю, и на улице поторопился заглянуть в бумажник. Он был туго набит; ассигнации были завернуты в розовую узорчатую бумажку, на которой каллиграфически и не совсем грамотно адресованы ко мне разные нежности. Это было смешно, глупо, но наивно, и рассердиться не было возможности. Я поспешил к Ветлину и не застал его, что меня в высшей степени раздосадовало: не быть еще день, будто прятаться, значило компрометироваться. Десять раз повторив прика-

зание сказать ему, что я приходил, что не был неделю за нездоровьем, что прошу прислать сказать мне, как только он вернется, я в отвратительном расположении духа, сам не зная зачем, пошел домой. Я надеялся, что уж не застану гостью, и, чтоб не толковать с старухами, прошел прямо в сад. Но я ошибся в расчете: меня не только ждали, мне вздумали дать праздник. Стол, на котором я занимался, был накрыт и заставлен самоваром, всякими ягодами, простоквашами, яичницами,— полдник, ранний ужин, что угодно. Мне в ту же минуту рассказали, что это придумала Марья Васильевна, и все сама она сюда с Дунечкой носила, устанавливала. Любовь Александровна, свершив великий подвиг, дойдя в даль своего сада, отдыхала на моей кушетке, любовалась природой и удивлялась, что она, никак, лет десять тут не была.

— И места не узнаю, право, будто новое.

— Пикник у нас, пикник! — восклицала Александра Александровна.

Они ели и приговаривали только: как жаль, что не мог прийти Егор Егорович: у него, несмотря на тепло, ревматизм разыгрался. Подробности этого ревматизма, должно быть, еще прибавляли аппетита девицам, но я спугнул их ликования; я не был, не мог и не хотел быть в духе.

— Что носик повесил? — игриво спросила Александра Александровна.

— Я прозяб,— отвечал я.

— Береги себя, душа моя,— сохрани бог! — произнесла Любовь Александровна, мгновенно умиляясь, еще вся преисполненная мысли о Егоре Егоровиче.— Машенька, что ж ты его не потчуешь чем готовила? Уж так и быть; видно, с вами, молодежью, не переспоришь!

— Да и Машенька тоже,— заметила Александра Александровна.— Что не весела? Ну, потчуй.

Марья Васильевна молча подала мне пачку пахитос; Дунечка уж трещала спичкой; старые девы улыбались. Я поблагодарил, но отказался. Любовь Александровна похвалила мое воздержание, но беседа этим не оживилась. Солнце село. Убирать надо было много, и хотя Александра Александровна заметила: «Кто принес, тот бы и уносил»,— но охотницы не вызывались. Дунечка побежала в комнаты вслед за Любовью Александровной; в сад явился полк горничных; Александра Александровна одушевила их командой: «На царя!» — и чашки, миски, самовар,— все вмиг исчезло, и она сама за ними.

— А ты, Машенька, еще погуляешь? — спросила она у выхода.

— Да, тетенька.

Марья Васильевна так мало говорила во весь вечер, что это слово, показалось мне, зазвенело как-то особенно резко. Она шла ко мне навстречу; как сейчас смотрю на нее. Первые впечатления, будь они самые пошлые, не забываются... Устроивать это пированье — было бестактно; остаться в саду, когда я так заметно был не в духе,— еще бестактнее. Наконец, идти мне навстречу — зачем? Она должна была ожидать, что я загляну в бумажник, пробывший целую неделю в чужом доме, в чужих руках... она шла за благодарностью! В таких случаях полезно дать почувствовать благодетелям, что мы отгадываем их намерения...

Я встал и сам пошел к ней навстречу.

— Благодарю вас за деньги,— сказал я,— я видел, но не успел счесть. Скажите, сколько? Завтра доставлю вам расписку.

— Что? — спросила она.

Я повторил.

— Что вы? На что расписка? Какой это долг!

— Как же не долг? И не маленький.

— Вовсе пустяки.

— Конечно, вы богаты, но все-таки. Если вы доверяете мне на слово...

— Господи, чего доверять! Я, право, не знаю... Я хотела, просто так...

— Подарить мне? — подсказал я, усмехаясь.

— Да... Возьмите...— выговорила она.

Я помолчал.

— Видите ли, Марья Васильевна, хотя вы очень сострадательны, помогаете сироткам, но ведь подарки делаются с оглядкой: они могут и оскорбить...

Тут поднялся взрыв слез и рыданий. Я не знал потом ни одной женщины, которая бы плакала с такой страстью, как-то по-детски, по-крестьянски, жалобно, с бессвязными восклицаниями, без малейшей женственной заботы о грациозности своих движений, о порядке своего наряда. Если Марья Васильевна не была безобразна в слезах, то единственно благодаря своей неподдельной свежести и замечательной красоте своих волос, за которые могла хвататься без опасения растерять их. Зато она и хватала их немилосердно, заламывая руки.

— Довольно! — сказал я, отводя эти крошечные, круглые и крепкие лапки.— Из чего столько крику? Люди подумают бог знает что.

— А разве не бог знает что? — вскричала она.— Я тебе мою жизнь отдала, а ты не берешь какого-нибудь вздора!.. Не нужно мне твоих ласк, а дай мне для тебя что-нибудь сделать — вот что!.. Разве в ласке любовь? разве в стихах любовь? Заодно надо быть — вот любовь!

Конечно, определение довольно оригинальное и довольно сбивчивое, но она в эту минуту была прехорошенькая. Она приняла мое раскаяние с радостными, очень красивыми слезами, успокоилась, повеселела, но все как-то тихо, сдержанно; она, скорее, покорялась мне, нежели сочувствовала.

Это была в самом деле оригинальная женщина, и я никак не ожидал в ней такой быстрой, заметной и бестактной перемены: у ней почти исчезла ее веселость; «хохотунья» стала смеяться «по праздникам», как выразился один из гарнизонных jeunes-premiers [1]. Мои рассказы о старых девах, о моей кротости, воздержании, прилежании, поражениях Егора Егоровича ее не забавляли; она слушала их как-то испуганно, совестливо, а раза два, полунедовольная, даже меня остановила,— в чем, конечно, попросила прощения. Впрочем, я нисколько не заботился переработывать ее понятия; я был к ним совершенно равнодушен и не допустил бы их стеснять меня. С своей стороны, соглашаясь на ее «заодно» в материальном отношении, я уж конечно не намеревался менять моих убеждений, что, впрочем, было бы и невозможно. Она сама могла это заметить и понять, и, полагаю, замечала и понимала. Как она уживалась с этим — не знаю; я не спрашивал. Я позволял себя любить и «делать для меня что-нибудь». Она добивалась этого «высшего» счастья; для меня же лучше, если это счастье так дешево мне стоило.

Она была ревнива. Я не пробовал отучить ее; я делал вид, что не замечаю. Догадалась ли она, что упреки ни к чему не поведут, или рассудила, что из «барышень» и «дамочек» кружка, где я вертелся, она была все-таки самая презентабельная; разочла ли, что с нею трудно

[1] первых любовников (*франц.*).

соперничать в свободе и средствах, но ограничивала проявления своей ревности только легкой задумчивостью и иногда заплаканными глазами. Последнего я терпеть не мог, что и объявил. При посторонних она держалась со мной довольно неловко: то слишком чопорно, то слишком запросто. Может быть, это мне так только казалось; может быть, это замечали и посторонние, может быть, и не замечал никто — мне было все равно, я не раздумывался. Она не могла постигнуть, как я могу встречаться с нею без восторгов, а при гостях, при тетках, даже спокойно до равнодушия; как я могу продолжать и даже растягивать класс с Дунечкой, когда она «пришла, и сидит там, и ждет меня»; как не бегу я тотчас в сад, как у меня достает духу говорить в ее присутствии всякие пустяки. Она пробовала пожаловаться, что я бываю у нее редко; я не возражал, но не приходил кряду четыре дня...

Раз она спросила с глупенькой, робкой шуткой:

— А у Ветлина все понтируешь?

— Прикажете отдать отчет? — отвечал я, поднося руку к карману за бумажником.

— Ты с ума сошел! — вскричала она, захохотав, но побледнев как смерть.

Я, впрочем, играл меньше. Марья Васильевна все-таки отвлекала меня от игры. Если бы сказать ей это, она бы возрадовалась, хотя, конечно, объяснила бы по-своему. К тому же мне надоелн ветлинские ужины. Смеясь этому, она однажды вздумала угостить меня, и, хотя мы были с ней только вдвоем, это вышло изящно и приятно. Я был оживлен, любезен и, благодаря, сказал, что хорошее чтение пошло ей впрок.

— Первый и последний,— отвечала она.— Раз пошутить можно, а то люди толковать станут.

— Вы очень осторожны,— заметил я.

— Скоро наскучит,— возразила она холодно, как я не ожидал.

У нее в доме жила старая родственница, но во все время знакомства я видел ее раза три — нечто ископаемое или подпольное. Она ни с кем не говорила, когда появлялась; на нее никто не смотрел. Кто-то прозвал ее «домашней тетенькой», в отличие от тетенек Смутовых. По имени ее не называли. Это было существо, состоявшее при хозяйстве покойного казначея, но только по части кухни и курятника: в кладовую оно не допускалось. Она целые дни сидела у себя в комнате, там и обедала.

Она жила на покое, и жилось ей недурно. Я однажды заглянул в эту комнату — она была просторнее, наряднее, чем спальня Марьи Васильевны; старуха, страшная как ведьма, в белом накрахмаленном капоте, в шелковой мантилье, заседала перед полуведерным кофейником.

— Вы свою тетеньку очень лелеете,— сказал я Марье Васильевне.

— Не лелеять — меня бог убьет,— возразила она с полнейшим убеждением,— чего она, несчастная, не натерпелась!

Мне жилось не скучно. Если удовольствия этой жизни были и не совсем по моему вкусу, все-таки я мог не стесняться брать их сколько хотел и разнообразить сколько было возможно. По крайней мере не притуплялась фантазия и я сохранял себя внутренно и наружно — порядочным человеком...

Провинциальные дома — решето, в котором вода не держится. Кто, как, когда проведал о моих отношениях к Марье Васильевне и распространил о них сведения — я не трудился узнавать. Но стали бродить толки. Марья Васильевна узнала, вероятно, чрез горничных и пересказала мне с ужасом.

— Ты слишком трусишь,— возражал я.

— Еще поплатимся, погоди! — твердила она и опять принималась пересчитывать всех кумушек, которые на нее косятся.— А то и вовсе съедят, когда узнают...

— Что узнают? — спрашивал я.

Я доказывал ей, что скрыть или разгласить наши отношения — от нее самой зависит. Ей стоит только держаться умно, не смотреть на меня при посторонних восторженными глазами, не бросать ревнивых взглядов, не выказывать, будто имеет надо мною какую-то власть, не давать замечать на своем лице даже раздумья, не только огорчения, не задаривать своих горничных, а напротив, быть с ними строже; тогда если кто и вздумает наблюдать за нею, то не найдет к чему привязаться. Тайна всех удач: смелость и — «хорони концы!». Я убежден в этом и теперь, как тогда. Всякая выставка чувств и отношений неприлична, неприятна, не ведет ни к чему, ко многому обязывает, и — что всего хуже — обязывает не того, кто выставляет чувство, а того, для кого оно выставлено... Я не терплю такой цепи и ограждаю себя заранее,

когда сближаюсь с кем бы ни было, тем более с женщиной. А ради Марьи Васильевны компрометировать свою свободу — было уж крайне наивно.

— Есть правило,— говорил я ей,— «L'homme peut braver l'opinion publique, la femme doit s'y soumettre»[1]. Но если бы женщина следовала этому буквально, она не имела бы двух счастливых дней. Между тем правило необходимо для общественного порядка. Что же делать женщине? Покоряться тому, кого она любит, покоряться общественному мнению и ловко хоронить концы. Вот и вся задача!

Она оказывалась, однако, трудною в благоустроенном городе N. Раз я играл у Ветлина.

— Ты, говорят, подхватил красотку? — сказал он мне и примолк, оглянувшись на посторонних.

— Так что же? — отвечал я.— Не стесняйся, продолжай. Кому до этого дело?

— Но ведь ты... человек подначальный.

— В гимназии у меня за поведение — *пятерка*, а полицеймейстер может удостоверить, что на улицах я стекол не бил.

— Да, но все-таки...

— Что «все»?

— Ты женишься, что ли? Она ведь старше тебя...

Я пожал плечами и не отвечал.

Не прошло, кажется, и двух дней, я лежал у себя в саду, ко мне прибежала Марья Васильевна, расстроенная. Она была у теток; они приняли ее холодно, недружелюбно. Я посоветовал ей не обращать на это внимания.

— Как ты так легко говоришь! — возразила она.

— Так не ходить к ним вовсе.

Вместо ответа она заплакала. Вышла неприятная сцена, в заключение которой я объявил, что, если такие истории еще хоть раз повторятся, между нами все кончено.

— Я съеду от ваших почтенных родственниц и расплачусь с вами.

Последней угрозой можно было укротить всякие ее ажитации. Зная это, я приберегал угрозу к концу сцены, и таким образом не терял власти над «обожаемой» жен-

[1] «Мужчина может пренебрегать общественным мнением, женщина должна ему покоряться» *(франц.)*.

щиной. Я, впрочем, не взял на себя труда продолжать комедию: ублажать тетенек и поддерживать их милое расположение. Мне надоело. Тетеньки охладели к нам, но мне это было решительно все равно, тем более что охлаждение выражалось только вздохами одной сестрицы и прекращением шуток другой. Егор Егорович не мог быть призван на помощь. Он, как мне удавалось слышать, лежал на одре болезни, о чем девы очень сокрушались.

Так прошел месяц. Был уж конец июля. Как-то однажды, воротясь на заре и проспав поздно, я был удивлен необыкновенной тишиной в гостиной и возней в девичьих. Я сошел. В гостиной у чайного стола была одна Дунечка, разделявшая свое внимание между двумя книжками — одной, в старом кожаном переплете с застежками, другой, такой же на вид, но без застежек. При моем приходе она заторопилась, не зная, которую спрятать.

— Где же тетушки? — спросил я.

— Там, у Егора Егоровича,— отвечала она и вдруг, решившись, выложила из-под фартука на стол обе книжки. Я только тут приметил, что у нее глаза заплаканы.

— Что ж, вас в гости не взяли?

— Я там сейчас была... Он кончается.

— Егор Егорович?

— Да. И вас ночью ходили звать; вас дома не было. Я вас чаем напою, опять туда пойду.

Она стала делать чай.

— В вас не умрет Александра Александровна,— заметил я, глядя, как она распоряжалась.

Она глупо посмотрела и не отвечала.

— Что ж это Егор Егорович так проворно?

— Он давно с постели не вставал. Вы к нему пойдете?

— Я не доктор.

— А проститься?

— Какая вы старая старуха, Дунечка, все бы вам прощаться, поминать. Умер так умер. От Адама люди умирают.

— Много я видела покойников,— продолжала она, в раздумье водя ложечкой по подносу,— папашу с мамашей, вашего папашу...

— И еще всяких папаш и мамаш: ведь вас все по ранним, заупокойным обедням водят,— прервал я.— Оставьте этот печальный предмет, от него только старых дев не тошнит. Какие это у вас фолианты?

Я рискнул притронуться: книжка с застежками была

какой-то молитвослов, как следует закапанный воском и маслом. Другая — немецкий Шиллер.

— Он мне вчера подарил...— выговорила Дунечка.

— Э, так жив будет, если еще Шиллера дарит! — вскричал я, хохоча, развернул книгу и продекламировал, как интересный принц Карлос повествует о своей преступной любви. Я всегда особенно удачно комически читал подобные вещи. Моему оживлению, однако, не отвечали.

— Да вы понимаете ли? — спросил я.

— Он меня всему учил...— отвечала она и разрыдалась над чашками.

Я бросил ей книгу и ушел.

Кончина праведника и вся последовавшая за нею возня выгнали меня из дома; хорошо, что нашелся приют. «Домашняя» тетенька Марьи Васильевны поплелась на все церемонии и поселилась у Смутовых. Вместо нее я прожил у Марьи Васильевны все эти пять дней траура и молений. Наше время шло недурно. Марья Васильевна смеялась, боялась, задумывалась, радовалась, была счастлива.

— Бог знает, что такое,— говорила она,— никогда я так хорошо не жила.

— Скажи спасибо Егору Егоровичу, что умер.

— Не греши! — восклицала она.

Наконец возвратилась старуха, и пора была возвращаться и мне. Я решил, что пойду туда вечером, когда уж все успокоятся. Обе сестрицы заседали на своих местах; Любовь Александровна с черным бантом на чепце. Александра Александровна, по привычке, выглянула в прихожую, произнесла себе под нос: «Это Сергей Николаевич»,— и опять уселась за спицы. Я вошел. На мой поклон ответили молча. Молчание, впрочем, скоро их утомляло.

— Показал глазки,— заметила Александра Александровна.

— Я не ожидала,— начала Любовь Александровна, снимая через голову свои очки, что было у нее признаком волнения,— я не ожидала этого с вашей стороны. Друг отца, истинно благородный, святой человек, который в тебе брал такое участие, как если бы, можно сказать, в сыне родном... И вдруг... И помолиться не прийти, и последнего долга не отдать!

— Да, уж именно последнего! — подтвердила Александра Александровна.

— *Ему* не нужно, он — *там*! (Любовь Александровна куда-то махнула рукою.) Он и не требует, чтоб его помнили. И молитвы ему не нужны — *сам* заслужил!.. Но вы-то, молодой человек, я не понимаю,— никакого чувства! Тяжело это видеть, друг мой сердечный. Жизнь твоя вся впереди; что ж ты себе готовишь, если никого не любишь? За тебя горько. (У нее полились слезы.) Ведь уж не поправишь, не воротишь, что схоронили...

Я чуть не расхохотался: меня пугали невозможностью повторения похорон святого человека! У меня был готов ответ, но он пришелся бы не по размеру этих голов.

— Вы ошибаетесь,— возразил я с достоинством,— я довольно молился и скорбел в душе. Но не раскаиваюсь, что не присутствовал при печальных обрядах: я не могу их видеть.

— Отца же хоронил,— вмешалась Александра Александровна.

— И оттого именно — тем более не могу.

— Ах, батюшка, ну, дурнота бы с тобой сделалась, водой бы отпоили!

— Отговорка,— произнесла Любовь Александровна.

— Вы не снисходительны к очень обыкновенной, но непобедимой физической слабости,— возразил я.

— Чувства нет, так мы физической слабостью себя извиняем,— сказала Любовь Александровна тихо, но так презрительно, как я от нее не слыхивал, и со вздохом отвернулась к окну.

Я счел сцену оконченною и ушел к себе наверх.

На другой день с утра мои хозяйки ходили утешаться молитвой в потере друга; с ними, конечно, ходила и Дунечка, так что по крайней мере все утро я был избавлен от этих несносных физиономий. Они молчали, молчал и я. После обеда я занимался с Дунечкой, когда пришла Марья Васильевна. Прием был без выговоров, но холодный; Марья Васильевна конфузилась. Глупость всего этого меня бесила, я чувствовал, что не в силах заниматься, отослал Дунечку в сад и сказал, что буду просматривать ее переводы. В неплотно затворенную дверь я видел и слышал, что делалось в гостиной. Старухи чинно работали. Марья Васильевна перебирала бахрому своей мантильи. Все помалчивали или перекидывались известиями о погоде, о рождении и росте луны и тому подобном. Любовь Александровна пожаловалась, что с кончиной Егора Егоровича и книг нет, и газет нет.

— Все, что было у покойника,— рассказала Александра Александровна,— племянник какой-то, вчера приехал, забирает. Теперь там такой погром. Смех, право. При жизни глаз не казал, и не слыхали о нем, а тут, как из дома покойника выносить — наследник выискался. И еще богатенький,— на что уж ему все!.. А покойник, я знаю, сам не раз мне говорил, что есть здесь семейства два-три такие, которым он желает оставить, потому — крайность. «А книги,— говаривал,— детям моим» — ученикам то есть...

— Да, вот Дунечка...— заметила Марья Васильевна.— Ведь ее надо было бы куда-нибудь заместить, тетеньки, учиться.

— Куда заместить-то? — сказала Любовь Александровна.— Уж после Егора Егоровича!..

— Да ведь учиться все-таки надо. Если бы в пансион...

— Не по денежкам! — прервала Александра Александровна.

— Но, тетеньки, разве вы мне не позволите... ведь я имею возможность...

— Ну, уж эти пансионы! — прервала Любовь Александровна, махнув рукою.— Спасибо! — договорила она как-то горько и отвернулась.

— Э, никак, коров пригнали; что так рано? — вскричала Александра Александровна и побежала справляться о причине.

Я не могу забыть, как меня насмешило ее восклицание, среди всех прочих чувствительностей. Марья Васильевна продолжала сидеть молча, нагнув голову; мне показалось, у ней навертывались слезы. Кресло Любови Александровны было рядом с моей дверью; я не мог видеть, какое движение сделала старуха, но Марья Васильевна вдруг бросилась к ней.

— Тетенька, за что вы на меня гневаетесь?

И начались такие поцелуи и рыдания, что я думал, им не будет конца. Эти две особы были художницы в своем деле; тут было состязание.

— Тетенька, за что вы на меня гневаетесь?

— Друг мой, душа моя, голубка, за что мне? Разве ты передо мною виновата?

Дело доходило до воплей.

— Ты добра, ты нас любишь... кроткая! Ты перед собой не виновата ли? Перед собой... и перед *ним*? Мальчик он еще, дитя...

Не знаю, что бы отвечала моя кроткая голубка, если бы в эту минуту не увидела меня перед собою. Старуха сидела спиною, сглуху не оглянулась на скрип отворившейся двери, а в экстазе не заметила испуга, с которым Марья Васильевна спрятала свое лицо ей в колени.

Я ждал; мне было любопытно, чем это кончится; мне почти хотелось, ради эффекта, чтобы Любовь Александровна повернулась и меня увидела. Марья Васильевна чувствовала, что я не ухожу. Она молчала недолго, не столько, чтобы можно было принять молчание за раскаяние. Я сам удивился, как твердо и отчетливо она выговорила, подняв голову, хотя не поднимая глаза:

— Нет, тетенька, я перед ним ни в чем не виновата.

Послышались шаги Александры Александровны. Я скрылся. Любовь Александровна, должно быть, удовлетворилась ответом, потому что зашептала разные благословения и приглашения оправиться. Если Сашенька, входя, и была озадачена раскрасневшимися глазами и измятыми прическами, то должна была тут же успокоиться: Любушка заговорила хотя дребезжащим, но добродушным, почти веселым голоском. Стали звать и искать меня что-то кушать. Я сбежал со двора чрез садовый плетень.

Ответ Марьи Васильевны и, главное, его тон не выходили у меня из памяти. Это было что-то очень уверенное, резкое. Она всегда была искренна,— и тут не возразила, что не виновата пред собою, но, стало быть, была убеждена, что права в отношении меня, когда осмелилась выговорить это мне в глаза. Что-то неожиданное. Такие замашки я впоследствии встречал в женщинах, но только много лет позднее; теперь я присмотрелся к ним, тогда это произвело на меня впечатление. Но ни на другой день, ни в следующие, никогда потом между Марьей Васильевной и мною не было слова об этой сцене. Только раз, целуясь с тетеньками, которые отчасти возвратили ей свое благоволение, она встретила мой насмешливый взгляд и вспыхнула. Я не попросил объяснения.

Но мне становилось скучно. Забава впадала в однообразие, мелкая драма становилась пошлою; «бесконечно малые», среди которых приходилось вращаться,— одолевали. Кумушки и матушки, из более обтесанных, перестали бывать у Марьи Васильевны и отпускать своих дочек; юное чиновничество и воинство стало позволять себе держаться с каким-то неприятно развязным оттен-

ком, который в несколько дней уже успел несколько раз вывести меня из себя. А мне было необходимо себя сдерживать, избегать скандала... Я впадал в пошлость!..

В гимназии почему-то отложили начало классов до сентября. Я не знал, куда девать эти с небольшим две недели. Классы вырвали бы меня из этой колеи; но что такое классы? Куда девать время после класса, что делать?.. Я тысячу раз задавал себе этот вопрос, никогда не решая.

Одним утром я перебирал тетради моих стихотворений и начатого романа, раздумывая над ним и над своим будущим, когда меня позвали.

— Кто-то вас спрашивает,— объявила Александра Александровна.

Я сошел. Лакей из гостиницы принес мне записку от приезжего, который там остановился. Я прочел, не веря глазам: это Мишель! Мишель здесь! Мишель зовет меня к себе!.. Целые годы не изгладили из моей памяти этой радостной минуты со всей полнотой ее впечатления. С нее началась моя жизнь...

— Сию минуту... бегу!..— отвечал я; не помня себя бросил денег посланному, удивив его щедростью, бросился наверх, и... не знал, что делать. Все выпадало у меня из рук. К счастию, у меня оставалось сознание, что мне надо одеться; что сейчас я явлюсь на глаза человеку, имеющему право потребовать от меня отчета в моем прошедшем, в моем значении; что дело идет о моей чести, о моем достоинстве и я должен доказать, что не измельчал... Отрадно встретить превосходство,— еще отраднее без смущения стать перед ним лицом к лицу!..

Я оделся прелестно; самая поспешность моего туалета придала ему особенную грацию. Несмотря на войну, на затруднения, на дороговизну, у меня были всегда настоящие французские перчатки. В гостиной, где уж расспросили лакея, составлялись предположения, к кому я еду.

— Он как тебе родня? — кричала, догоняя меня, Александра Александровна.

— Un ami de ma tante! [1] — отвечал я, проходя и предоставляя перевод Дунечке; я чувствовал себя не в состоянии выразиться иначе, и, главное, по-русски.

Мишель приехал только в эту ночь, но в гостинице уж

---

[1] Друг моей тети! *(франц.)*

успели понять, с кем имеют дело. Меня там тоже знали. Прислуга засуетилась, когда я спросил приезжего.

— Михаила Ивановича? Пожалуйте...

Я вошел. Мишель занимал лучшие комнаты...

Я буду беспристрастен. Я много обязан Мишелю моим развитием в детстве, нравственной поддержкой и пробуждением моих сил в эту эпоху перелома, благоразумным советом и деятельным участием позднее, в затруднительные минуты жизни. Способности этого человека несомненны, и он не отказывался служить мне ими как наставник, как товарищ, как любитель. *Как любитель*,— потому что тревога жизни была его сфера, занятие, искусство... Я отдаю ему полную справедливость, но я буду беспристрастен.

Я шел к нему, как идут мальчишки на первое любовное свидание, фанатики — на исповедание своих убеждений, рекруты — на смотр. Передо мной носился образ изящного молодого человека с огненным взором, при свете матовых ламп. Мне было досадно на яркое утреннее солнце, которое так провинциально-пошло светило в пыльный коридор, в отворенную дверь пыльной комнаты...

Я увидел плотного господина с бородой, остриженного по-русски, в сером кафтане нараспашку, сверх красной рубахи, вышитой белым; как мне показалось и как я убедился потом, узор изображал петухов. Черные бархатные панталоны были засунуты в сапоги с красной оторочкой, лакированные, неестественно безобразной формы. Положив на них морду, спала громадная меделянская собака. Она поднялась, увидя меня, и зарычала. Господин считал столбиками медные деньги и обернулся.

— Лежать!.. Позвольте узнать, кто...

Я назвал себя.

— А, Сергей!.. Лежать, Султан! убирайся, черт!.. А, Сергей, да какой же ты... Здравствуй!

Он пихнул каблуком своего пса и стал обнимать меня.

Нужно ли говорить, что я упал с неба? Все разлетелось, что я хотел сказать ему. Простое наблюдение заняло место чувства. Мне бросились в глаза дворянская медаль и еще какой-то крестик на его кафтане.

— Что это у вас? — спросил я.

— С этим, mon cher, скорей лошадей дадут на станции; теперь проезд страшный, и туда, и оттуда... Ну, как поживаешь? Давно не видались! Рассказывай.

Я был совершенно развлечен. Я смотрел на него, не веря глазам. Светского человека уже не было. Мой идеал был разбит; на его развалинах вставало что-то материальное, что-то провинциально-грубое. Мое сердце сжалось тоской одиночества, но в нем поднялась и гордость превосходства; я не хотел скрывать ее.

— Рассказывать долго и неинтересно,— отвечал я, небрежно бросив шляпу на стол, но дав заметить хозяину, что я вижу всю пыль этого стола,— и, я полагаю, вы знаете...

— Что твой отец умер? знаю, мне сказали; и у кого ты живешь.

— Вам сказали здесь? Но я тоже писал ma tante.

— Да! И это слышал... Погоди, мы прежде закусим.

Он позвонил. Прибежал лакей.

— Завтракать. Я там заказал. А моего Филиппа Лукича так и не добудились?

— Спит-с.

— Ну, хорошо. Христос с ним. Видите, устал очень. А вот я его завтра представлю в прием в здешнее ополчение, так лучше отдохнет. Это твой бывший паж Филька. Меня им, от щедрот своих, наградила наша ma tante. Полтора года бьюсь его человеком сделать; вот увидишь,— полюбуешься.

Меня, конечно, не интересовали ни свидание с Филькой, ни подробности его воспитания, но о них мне наговорили много. Подали завтрак. Я и тут не узнал прежнего Мишеля. Он ел грубо, графинчик скоро пустел, хотя Мишель нисколько не терял самообладания и не изменялся в расположении духа... После первого, признаюсь, неприятного впечатления, я всмотрелся серьезнее и стал ему удивляться. Что-то подсказало мне, что это — тоже сила, только в другой форме.

— Рассказывайте лучше вы,— сказал я,— что ma tante?

— Вот спохватился! — отвечал он, захохотав.— Да разве она тебя не известила? Я другой год как с ней расстался.

— Неужели? Зачем? Почему?

— Что за диковинка — расстаться?.. Только ты, пожалуйста, перестань мне говорить *вы*; будем по-старому... Затем, что незачем было там оставаться, а почему — причины всегда бывали достаточные. Тетенька твоя, друг мой, непетая дура.

Он сказал это изумительно хладнокровно и захохотал моему изумлению.

— Она больше года мне не пишет,— сказал я.

— Ну, так и есть. И не высылает тебе ни копейки?

Я был вынужден рассказать всю историю моих затруднений, так же как вмешательство моего отца, которое — я полагал — все испортило.

— И немало: оно подоспело как раз ко времени. Проводив тебя, тетенька вдруг, ни с чего, бросилась в необыкновенную материнскую любовь; не к дочкам только, а к своему Валерьяну. Все шло в него. Что она по разным закоулкам за него долгов переплатила — не сочтешь. Не мудрено, что она тебя забывала: ты не свой и не на глазах; но мне-то приходилось каково? вообрази положение! И к этому — ревность! а сама дурнеет, желтеет,— ведь под сорок! ровно десять лет меня старше. Казалось, могла бы понять, что не ради прекрасных глаз ее любят, да уж и скрепиться духом, довольствоваться тем, что дают. Так нет. Сцены глупейшие. Я и рассудил: если я даю что могу, то имею право и брать что могу. Таким образом, мой милый, в прошлую зиму (не эту, а в тот год: война только начиналась, особенно все закутили) мы с Валерьяном вдвоем того ей стоили, что она — руками врозь. Ну-с, как ты думаешь, кто тут вступился?

— Уж и не знаю,— сказал я.— Нелепо предположить, что ее супруг.

— Он-то, именно. Супруг и родитель. Вышел погром,— святых вон выноси! Он послал меня ко всем чертям, я его туда же, и мы расстались. Сынка он — в тот же час в юнкера, невзирая на плач родительницы: она ведь разом теряла нас обоих! На прощанье она подарила мне Фильку.

— Так Валерьян — юнкер? — спросил я.— Где он?

— Теперь не знаю. Он уж был представлен, да нашалил; его нынешней весной — в рядовые, в Р-ский пехотный.

— Что ты говоришь?

— Ты так не ужасайся! у него маменька. Села да поехала за ним следом; бросила мужа, дочерей...

— А они отправились в Саратов?

— Почему ты знаешь?

— Случайно слышал.

— Ну да. Он таки, муженек, выказал характер. Да ну его совсем. Я к ним другой год ни ногой.

Меня взяло раздумье. Вот конец блестящей драмы,

которой я, ребенок, был свидетелем! А я вдохновлялся ею!.. какая грубая насмешка!.. Мне вообразилась сантиментальная ma tante, приносящая свое покаяние к ногам законного супруга; мне стало горько, во мне поднялось какое-то презрительное отвращение...

— Так она пожалела о денежках? нажаловалась на тебя,— спросил я с усмешкой.

— А, ну их! — повторил Мишель и стал кормить Султана с своей тарелки.

Я невольно подобрал ноги, когда подошло это чудовище. Мишель хохотал.

— Неженка! В жизни следует ко всему привыкать.

Я не стал выражать, как меня неприятно затрогивала перемена его привычек, и воспользовался его нецеремонностью, чтоб предложить щекотливый вопрос:

— Как же ты живешь?

— То есть в каком отношении? не в сердечном ли? Ты, тетенькин возлелеянный, только, может быть, и воображаешь что пламенные страсти. Нет, милый мой, все это вздор.

— Ты вправе так говорить, потому что разочаровался...— сказал я нерешительно.

Он угадал меня.

— В тетеньке-то разочаровался? Отроду не был и очарован. Да ты не хитри: ты не то хочешь спросить; по лицу видно... Живу я, милый, недурно, получше прежнего, потому что сам себе барин. Вот катаю куда хочу, и за мной гонцов не посылают; да и не угонишься. Есть такая любезиая особа Наталья Петровна Высотина, вдова второй гильдии купца, двадцати пяти годов от роду, черноглазая, чернобровая; сыночек у нее маленький да капиталец так себе, на наш век хватит, коли жить умно. «Делов» всяких у нее много да подрядишки кое-какие в настоящую тяжелую годину, всей Россией переживаемую. Так вот-с мы отечеству пользу и приносим. Вот за нынешнюю поставочку,— поездочка небольшая, а тысчонок пять с хвостиком нам перепало. Это уж мое собственное, и отчета не отдавай. Твоя тетенька ахнула, как меня нынешней зимой в собольей шубе встретила... Правило тебе на всю жизнь, друг мой: если женщины глупы, то мы не должны быть глупы. Они ведь тоже нас обманывают,— ну, что ж, à trompeur — trompeur et demie![1]

[1] на обман — двойным обманом *(франц.)*.

Он встал, говоря это, и оттолкнул собаку. Передо мной был прежний Мишель, вся его стройная, выпрямившаяся фигура, его повелительное движение, его грация, его звучный насмешливый голос, его великолепный парижский выговор, улыбка, пробежавшая по всему лицу, от ярких губ до слегка приподнявшихся бровей...

— Ты смотришь, что я таскаю вот это? — продолжал он, показав на свой кафтан.— Ты думаешь, я забыл, как люди говорят? Ошибаешься. Ношу сермягу и вру прибаутки, потому что так нужно. Выждать надо, а наше дело еще не ушло. Пройдет мода класть du patriotisme à toutes sauces [1] — и образованные люди понадобятся. Без нас ведь скучно. А потому, повторяю, люди с волей не должны быть глупы. Нас покуда отстранили, поставили в тень; мы должны воспользоваться этим промежутком времени и обеспечить себе средства на будущее... Что? — спросил он, встретив мой взгляд и очаровательно засмеявшись.

— Я удивляюсь тебе! — выговорил я невольно с восхищением.

— Ты всегда был славный малый, понимал вещи...— сказал он и заходил по комнате.

Во мне проснулась вся потребность ему довериться, вся полнота доверия.

— Мишель,— начал я,— я тебя понял... Признаюсь, первые минуты нашего свидания были мне тяжелы, но теперь — ты мне возвратил себя! Я тебе удивляюсь, я хотел бы следовать за тобою, но я художник, я молод! для будущего я не могу отказываться от настоящего, я не могу ждать, беречь не в моей натуре, я хочу наслаждаться...

— Постой,— прервал он,— еще наговоримся. Я здесь несколько дней пробуду. Теперь мне надо съездить... Нет ли у тебя часов? мои стали.

Прерванный на полуслове, с досадой, не отвечая, я показал ему часы. Они были замечательно хороши и отданы мне недавно: какой-то заклад, оставшийся в сундуках покойного казначея. Знатоку они должны были броситься в глаза.

— О, о,— вскричал он,— да ты роскошничаешь! Откуда?

---

[1] патриотизм под разными соусами *(франц.)*.

— Я тоже живу...— отвечал я, сделав скромную мину, и оба мы расхохотались.

Это был взрыв откровенной, свежей веселости. Мы понимали друг друга; между нами с этой минуты совсем исчезла и без того малозаметная разность возраста; ему, конечно, было приятно иметь дело уже не с ребенком; мне давалось возвышающее меня равенство.

— Слушай,— сказал он наконец, положив мне обе руки на плечи и глядя мне в глаза,— я вижу, из тебя может быть прок, но я все-таки постарше, ну, когда-то кое-чему выучил, стало быть, имею право исповедовать. Отвечай без утайки: tu n'es pas trop encanaillé? [1]

— Mais, pas davantage que toi[2].

— Однако не из общества?

— Так себе.

— Bien! Замужняя? Вдова?

— Девица.

— Ну!.. Ты, надеюсь, не давал обещаний жениться?

— Pas si bête![3]

— Но родные, или от кого она зависит?

— Ничего этого нет.

— Стало быть, старая дева?

— Старый шут! — вскричал я, толкнув его и захохотав.— Ты за кого меня считаешь?

— Неужели молодая?

— Молодая и хорошенькая. Попроси повежливее! я тебя представлю.

— Вот ты как! браво! Хорошо, представь, я погляжу. Только когда? Я сейчас поеду по делам; надо тут в деревню где-то, а вернусь поздно, часов в десять.

— Это, по-твоему, поздно? Ты по-купечески обленился. Приходи ужинать; я зайду сюда за тобою.

Я надел шляпу, пожал ему руку и ушел, не настаивая на приглашении, чтоб не дать ему подумать, будто я стану готовиться к его посещению. Но в самом деле мне хотелось показать ему, что я умею жить. Маленький роскошный ужин с огнями и цветами на столе, с игривым разговором и веселыми куплетами, заманивал меня как что-то еще не испытанное: я знал это еще только по романам. Тут я был бы сам героем праздника.

---

[1] ты не слишком связался со всяким сбродом? *(франц.)*
[2] Не больше, чем ты *(франц.)*.
[3] Нашли дурака! *(франц.)*

Дорогой к Марье Васильевне я расчел быть осторожнее и скрыть от нее, что Мишель знает о наших отношениях. Я рассказал ей, что приехал мой родственник, друг, веселый, славный, всегда меня любивший; мне хотелось бы провести с ним вечер по душе, угостить его, но у старых дев тоска смертная, и я позвал его — к ней.

Она обрадовалась случаю сделать что-нибудь мне угодное.

— Даже вот как,— прибавил я,— ты и вовсе не говори теткам, что он тут будет; я скажусь у них, что сам иду к нему.

— Хорошо. А я пойду куда-нибудь в гости и останусь там подольше.

— Зачем?

— Как же? Ведь вы будете тут двое.

— Нет,— возразил я,— тебя-то и надо, хозяйничай. Без хозяйки что за ужин. Принарядись.

Она сначала конфузилась, отговаривалась, не понимала, как принять незнакомого, но я объяснил ей, что Мишель не знает моих хозяек в лицо, а она все равно — «mademoiselle Смутова»; да хоть бы он и узнал, то все равно уедет и никому не расскажет, а главное — это будет чудо как весело, а самое главнейшее — я расцеловал ее, повторяя десяток раз, что она прелесть. Она согласилась и в самом деле к вечеру, одетая по моему вкусу, оживленная, была очень мила.

— Друзья наших друзей — нам друзья,— сказал ей Мишель, когда я привел его, и чрез минуту стал звать ее «кузиной». Она приняла это сначала за ошибку и сказала, что не родня мне. Он отвечал, что знает это, и продолжал говорить «кузина», не обращая внимания, что прозвание ее смущало. Он был очень одушевлен. В его веселости, на его шутках был именно тот бойкий оттенок, который умеют придать только мастера дела. Его рассказы были неистощимы, увлекательны. Я был от него в восхищении. Это был Мишель прежних дней по остроумию и смелости, но и в прежние дни я не видал его таким: тогда я еще не знал маскарадов и parties carrées [1].

— Какая она интересненькая, когда задумается,— сказал он, указывая на Марью Васильевну, которая, сидя против него, потупилась над непочатым бокалом, тихая и неподвижная.— О чем, прекрасная? стоит ли

---

[1] увеселительная прогулка *(франц.)*.

о чем-нибудь думать? Лучше спойте. Serge, поет она у тебя?

— Нет,— отвечал я,— еще не выучилась.

Она подняла на меня свои большие глаза тихо, медленно и смотрела, будто спрашивала.

— Надо выучиться,— продолжал Мишель,— c'est de rigueur [1]. Большого голоса не нужно, но живость, декламация. Женщина с умом всегда умеет декламировать. Развивайтесь, прекрасная; я вижу, это еще ваш первый дебют.

— *Тебе* спать пора,— сказал я сухо и резко, говоря ей *ты* в первый раз вслух.

Она вспыхнула, опять побледнела и встала.

— Да, я устала. Прощайте.

Шатаясь, она пошла в спальню.

— Не привыкла,— сказал ей вслед Мишель снисходительно.

За затворявшейся дверью мне послышалось, будто кто вскрикнул, будто что упало. Я, конечно, не поспешил на помощь и возобновил разговор. Мишель скоро устал тоже, я проводил его в гостиницу и возвратился в обитель к старухам.

Отпирая и запирая их дверь своим двойным ключом, я подумал, что подобная двойная жизнь сделалась для меня уже невозможна. Клетка была слишком тесна, воля уж испытана. Но это страшное *ничего* впереди!.. Я не спал ночь, раздраженный всем, что испытал, и сошел в гостиную за полдень, уже одетый, чтоб идти к Мишелю.

— А сюда родственник ваш не пожалует? — спросила Александра Александровна.

— Я думаю, нет,— отвечал я и откланялся.

Надевая пальто, я видел и слышал, как игривая Сашенька прыгнула с спицами и клубком к недвижимой Любушке и зашептала таинственно. Явственно раздалось только:

— Клубный повар готовил...

С базара, вероятно, были доставлены сведения о вчерашнем ужине; мне хотелось исправить их и дополнить, но это не переменило бы моего расположения духа. Веселость возвращается весельем; где было искать его?.. Я ускорил шаги: если теперь, когда здесь Мишель,— единственный *мой* человек во всем мире,— я не ус-

---

[1] это необходимо *(франц.)*.

пею устроить своего будущего, я его никогда не устрою...

— Слушай,— сказал я, бросаясь у него на диван,— слушай меня и не прерывай! Ты можешь, следовательно должен, помочь мне.

Я рассказал ему все подробно; я заставил его понять мое нравственное страдание. Он слушал не прерывая, только смеялся.

— Ты глуп,— сказал он,— корчит взрослого, а еще мальчишка. Сознайся, что глуп, сделай решительный шаг, и ты человек.

Он не ошибался; я в самом деле был еще очень молод: я искренно, детски оробел пред его упреком. Не краснею при этом воспоминании. Это была минута моего перерождения. Упрек меня поднял; стыд за робость вызвал во мне гордость и заставил работать мой ум.

— Что надо сделать? — спросил я.

— Догадайся.

— Я хочу жить, как ты, я на все готов для этого! Ты опытнее — укажи средства.

— Разве у тебя их нет?

— Но разве ты не видишь моего стеснения, моей обстановки, этого глупого города.

Он захохотал.

— Ты меня доведешь до отчаяния! — вскричал я, вскочив с места.— Я сейчас иду, беру свои бумаги из гимназии и бегу куда глаза глядят!

Я был уже у двери.

— Ну, вот и отлично. Видишь, подумал — сам нашел,— сказал он хладнокровно.— Воротись, сядь; поговорим дельно.

Мы стали говорить. Он объяснил мне, что я трачусь в провинции, ломаю свои наклонности, что мне не нужен университет. Он доказал, что я еще никогда серьезно не останавливался на этом убеждении, ни на что определенно не решался, детски откладывая решение куда-то вдаль. Теперь наступила пора. Мы говорили недолго; все смелое, широкое, твердое, плодотворное решается сразу. Мы решили, что я сейчас пойду к своему опекуну (мне дали какого-то чиновника, которого я едва знал в лицо), возьму от него прошение в гимназию,— от него — к директору, и все кончу этим днем или завтра.

— А потом? — невольно сорвалось у меня.

— Если хочешь, поедем со мною в Москву,— отвечал

он, глядя на меня проницательно,— запишем тебя в какую ни есть палату...

— Из гимназистов в писаря?—вскричал я.—Я шутить над собою не позволю! Я жить хочу, а не пресмыкаться!

— У тебя есть средства,— повторил он.— Не горячись и не бросайся из стороны в сторону. Ты, пожалуй, поэт, художник, но веди свои дела аккуратно. Одно другому не мешает. Пусти в ход на всех парах свою поэзию: заставь свою Марью Васильевну переселиться с тобою в Москву и живи покуда. Понял? Ну, не мальчишка ли ты, что тебе это до сих пор на ум не приходило?..

Я бросился ему на шею.

У опекуна все было кончено в полчаса. Я заехал в дом Смутовых — надеть в последний раз гимназический сюртук, обещая себе непременно сжечь его на другой день; мне хотелось ознаменовать какой-нибудь эксцентричностью мое освобождение.

В доме директора первый мне встретился Кармаков. Он был на днях объявлен женихом директорской дочки и особенно глуп. Я был не в духе насмешничать или вспоминать старое, а потому при встрече поздравил и подал ему руку. Он обрадовался.

— Хлопочешь о переэкзаменовке? — затормошился он, впрочем не без важности, как лицо, имеющее силу протекции.

— Не имею надобности. Прихожу отряхнуть прах ног моих от вашей гимназии.

Я не дал ему дальнейших объяснений, кроме того, что уезжаю в Москву с богатым родственником. С директором разговор был еще короче. Меня уволили, бумаги обещали доставить завтра.

— Ты тоже женишься? — спросил Кармаков, провожая меня и не вытерпев.

— И не помышляю, и законных лет не имею, и другим не советую,— отвечал я, захохотав.

— Как же, все говорят...

— Толкуйте, пожалуй, кому есть охота,— сказал я и отправился к Марье Васильевне.

Она была очень печальна и, увидя меня, будто испугалась. Вчерашний вечер, как видно, пришелся ей не по вкусу, но я не спрашивал, а заговорить самой — у нее не

хватило смелости. Она спросила только, долго ли еще пробудет здесь Михаил Иванович.

— Он хотел дня два, не больше, но я его задержу, я думаю, еще на день своими сборами,— отвечал я будто нехотя.

— Какими сборами?

— Я вышел из гимназии и еду с ним.

Она помертвела.

— Ты шутишь?

— Нет. Я сейчас от директора и подал прошение.

— Ты шутишь?

Она повторяла это на все лады, умоляла, приказывала перестать обманывать. Она мне надоела. И все это с перерывом то смеха, то поцелуев, то слез; и все это надо было вынести до конца, чтобы договориться до дела, достичь своей цели. Убедив ее наконец, что я не играю комедии, что я точно завтра сожгу свой сюртук, я не знал, куда деваться от отчаянных рыданий. Мишель советовал мне «пустить в ход поэзию»,— он не знал этой женщины! С нею можно было действовать только самой резкой прозой, и если уж щадить нервы, то не ее, а свои собственные... Первым словом этой эгоистки было:

— Что же со мною будет?

— А со мною что? — спросил я холодно, право даже из любопытства, как далеко может зайти это тупоумие.

— Ты меня забудешь!

— И сам еще скорее буду забыт. Утешители найдутся!

Женщина с понятием — показала бы мне дверь; Марья Васильевна бросилась мне на шею и клялась в вечной любви.

— Любовь доказывают,— сказал я, освобождаясь от объятий.

— Я доказала.

— Нет. Доказать можно только, следуя за тем, кого любим.

— Ехать за тобой в Москву?

— Да.

— Надолго?

— Навеки.

Она остолбенела.

— Ну вот,— сказал я, выждав минуту и смеясь,— изнаночка и выглянула. Извольте же толком понять: я уезжаю, потому что здесь пропадать мне невозможно; но

я зову вас с собою, а вы стали — приустрашились. Спрашивается: кто кого любит, я — вас, или вы — меня?.. Решайте скорее. Дела мне еще много; я не желаю себя расстраивать. Говорите — да или нет,— а там потолкуем или сейчас совсем простимся. Мне некогда.

— Подожди, Христа ради, минутку! — закричала она, бросаясь за мною.

Минутка вышла — битых два часа. Она, конечно, не решилась, но я, если возможно еще больше убедился в необходимости успеха: Марья Васильевна в первый раз сказала огромный итог своего состояния,— этого плода сорокалетней жатвы на полях казенной палаты, казначейства, откупа, рекрутских наборов, ходатайства по делам, роста и закладов, этого золота, собранного в грязи и осужденного воротиться в грязь, если чья-нибудь дельная рука о нем не позаботится. Если бы даже не писарство предстояло мне в Москве, было бы безумно не постараться приобресть этот капитал, было бы граждански нечестно дать ему непроизводительно, бестолково растратиться... Достанься он мне, я сразу оттеснил бы Мишеля на второй план; Мишель должен был еще трудиться, тут было готовое... Кровь прилила у меня к сердцу при этой мысли, у меня захватило дыхание, я побледнел и едва не лишился чувств...

Она бросилась ко мне.

— Оставьте,— сказал я слабым голосом, но овладев собою, чтобы не изменить осторожности, не выдать возмутившего меня чувства.— Оставьте... Вы меня не любите, вам легко со мной расстаться... Наслаждайтесь вашим богатством, а я... Я умру!..

Я был не в силах продолжать, я изнемогал. Я встал, шатаясь, оттолкнул ее; не обращая внимания на ее слезы, я вышел.

Как год тому назад, я скитался по улицам, достиг того же самого бульвара, той же скамейки, упал на нее,— но, старший целым годом, зарыдал как дитя! Трудно доставалась мне моя жизнь. Благо,— желанное, предвкушаемое, заслуженное ценою молодой любви, моя неоспоримая собственность по всем законам логики,— это благо было близко и не давалось в руки! Глупое упрямство женщины становилось мне поперек дороги, и я не умел победить его! И в груди моей вставало отчаяние, а не энергия! Мне было стыдно самого себя. Я холодел при мысли, что скажу Мишелю. А я бы мог сказать ему... Я бы мог завтра,

сегодня, сейчас поразить этого избалованного, обленившегося фата, теряющего память и привычки порядочного круга, я бы мог изумить его роскошью, заставить краснеть его медных пятаков и лабазных прибауток, заставить его грызть кулаки от зависти.

Мои руки замерли у меня в волосах. Не раз потом, глядя на игроков, ставивших на карту последнее, я вспоминал эту свою минуту...

Куда я пойду? К Мишелю? Нелепость! я не знаю, что отвечать на его первый и такой натуральный вопрос. К Марье Васильевне? Она вообразит, что я пришел ей кланяться, потому что в крайности. Одно убежище — у старых дев... я захохотал от отчаяния.

В самом деле, завтра, послезавтра, когда уедет этот блестящий друг, этот искуситель, толкнувший бросить все и обещавший только писарство,— что останется исключенному гимназисту? Писарство здесь на позор целому свету, чердак у полоумных старух да унылый билет в триста целковых, последний сувенир родителя...

Прежде... Воспоминания неслись предо мной вереницею... Прежде, даже полгода назад, я бы считал себя богачом, я бы довольствовался, я бы надеялся. Теперь я знал, я испытал, я жаждал, я понимал, что могло и должно было быть *моим*, и борьба была ужасна ввиду такой яркой цели... Меня била лихорадка. Машинально я вспомнил мой прошлогодний голодный день. Теперь я не чувствовал голода. Меня сжигало внутреннее пламя, меня томила страсть, желания, меня охватило какое-то болезненное, но увлекательное раздумье; мечты, фантазии пролетали одна другой пестрее, одна другой прихотливее. Я уже не верил в свое несчастье; какое-то неопределенное ощущение упорно отгоняло эту уверенность; мне было страшно и отвратительно на ней остановиться: мучение делалось физическим...

— Этого не может быть! — сказал я громко и очнулся.

Из этого положения было необходимо скорее вырваться, как-нибудь успокоиться, как-нибудь развлечься... Если мысль становится бессильна, не отдаться ли на произвол инстинкту?

Меня вдруг будто осветило: мне мелькнуло еще одно средство действовать на эту сумасшедшую женщину, измучить ее, как она меня измучила...

Я пошел к Смутовым. Было около шести часов вечера, и хотя уж половина августа, но ясно и тепло, почему

обе старые головы торчали в отворенных окнах гостиной. Я подозвал проезжавшего извозчика, велел ему дожидаться у крыльца, и так как меня окликнули в окно, то повел переговоры с улицы.

— Целый день, батюшка, ждали,— сказала Александра Александровна.

— А сейчас пропаду и на ночь,— отвечал я, приподняв фуражку пред другим окном, из которого мне едва ответили поклоном.

— Куда же это?

— Да все туда же.

— Где прошлую-то ночку вы покутили?

— Нет, уж слишком часто будет,— отвечал я равнодушно.— К Мишелю, в гостиницу.

— Опомнись,— прошептала она, перевесившись чрез подоконник,— ведь на тебе мундир...

— А вот я пойду сейчас его сниму да заберу что нужно. Завтра, пожалуйста, не беспокойтесь, ни с чем меня не ждите.

Я вошел в дом, к себе наверх, переменил платье, запер свою комнату на ключ и, проходя в переднюю, остановился. Под окном велись разговоры, объясняла уже Любовь Александровна.

— Сейчас туда едет и не велел себя завтра ждать.

— Вот и извозчик его стоит,— присказала Александра Александровна.

— Мне до крайности надо его видеть,— отвечал голос с улицы, голос Марьи Васильевны,— он вам не говорил?..

— Почему же я знаю, матушка, какие такие крайности. Ну, зайди, да сама его и спрашивай.

Я выскочил на крыльцо и сел на дрожки; это было сделано скорее, нежели Марья Васильевна успела подойти, сторонясь от лошади.

— Постойте...— сказала она.

— Ступай! — сказал я извозчику и, отъезжая, почтительно раскланялся в оба окошка.

Она заторопилась, что-то заговорила, я не слушал. С половины площади я оглянулся: она не вошла к Смутовым, а шла дальше к полю, где была одна дорога — к городскому кладбищу. Солнце садилось. Должно быть, моя возлюбленная была очень расстроена, когда избирала для прогулки такое место, в такую пору... Во мне шевельнулась маленькая надежда...

Комната Мишеля была полна гостей, большею частью ополченцев; играли. Это приходилось как нельзя более кстати: и занятие и недосуг для объяснений. Я тоже пристал к игре и, как всегда, когда бывал раздражен, удачно. Я заметил по глазам Мишеля, что он удивлялся моей решительности и равнодушию, и с этой минуты игра сделалась для меня битвой за мое достоинство. Мне почти хотелось проиграть, чтоб показать, как принимают это порядочные люди. Это случилось на большом куше; я отвечал тем, что хладнокровно его три раза удвоил и наконец выиграл. Не знаю, что стал бы я делать, если б проиграл: у меня не было и четверти суммы для уплаты, но эта удача послужила мне уроком на всю жизнь: ни перед чем не задумываться.

Был день, когда мы стали считаться; Мишель совсем дремал, я был бодр, хоть начинать сызнова. Следовало, однако, немного уснуть, чтобы приличнее отправиться за получением моих бумаг. Я и уснул, но по ошибке до вечерень, и, когда пришел в канцелярию директора, мне сказали, что бумаги уж отосланы ко мне на квартиру. Это была любезность Кармакова. Он опять выбежал ко мне. Он был ужасно похож на щенка, которого заперли и не выпускают, побрякивал цепочкой Гименея и метался до жалости.

— У вас там вчера, говорят, было море по колено? — спросил он.

Я захохотал ему в нос. За бумагами я, конечно, не пошел. Они могли спокойно лежать у Смутовых; старые девы могли сколько угодно недоумевать и составлять предположений над запечатанным конвертом. Я зашел в магазин взять сигар и шампанского, разбудил, возвратясь в гостиницу, все еще спавшего Мишеля; пообедали вдвоем, отпраздновали мой выпуск, а к сумеркам опять собрались офицеры и ополченцы и повторилось вчерашнее.

Между ополченцами был юный Бревнов; этот детина, от красной рубахи и бесконечных сапожищ, казался еще толще и длиннее, чем прежде. Но нравом он был кроток по-прежнему. Исполнив плач по папеньке, приведя в порядок дела, он позволил себе исполнить и свое заветное желание — послужить за веру, царя и отечество. Для этого он вступил в N-ское ополчение, где скоро из товарищей его не обманывал и не дурачил только тот, кто не хотел. Он не обижался, потому что очень добросовестно сознавал свою оплошность и богобоязненно не питал ни

на кого зла. Он проигрывался наивнейшим образом, не смысля аза в игре и не находя в ней даже удовольствия, расплачивался с улыбкой и продолжал, потому что ему говорили, что надо продолжать. Накануне Бревнов хотя раскланялся со мной, как знакомый, но поглядывал на меня с недоумением и не заговаривал. В этот, второй, вечер мы встретились с ним в пустой комнате, куда я ушел от играющих, чтобы покойнее напиться чаю. Бренов сообразил, что если от игры мог уйти кто-нибудь, то может уйти и он, и появился осторожно. Я сидел на открытом окне, положив ноги на единственный стул, бывший в комнате. Бревнов оглядывался.

— Милости просим,— сказал я, уступая ему стул, и предложил портсигар.

— Что вы беспокоитесь... А вы оттуда ушли?

— Там сильно пахнет ромом, я не люблю.

— Ах, как я его терпеть не могу!

— Не терпите? Кто ж вас неволит?

Я показал на его стакан с чаем.

— Да ведь что ж делать?..

— Вот что.

Я выплеснул его стакан за окно. Ему это показалось очень весело.

— Ах, какой вы, право!.. Ни на кого не попали?

— Не знаю.

Я велел дать ему чаю; он уселся подле меня, налил себе сливочек, набрал сухарей, блаженствовал. Надо было доставить ему блаженство полнейшее, побеседовать с ним.

— Ну, что,— спросил я,— каково живется?

— Ничего. Вы как?

— Вот еду служить в Москву.

— Вы на север, мы на юг,— сказал он и вздохнул.— Когда бог приведет еще свидеться!

— Вы уж здесь со всеми распростились? — спросил я, подражая его благоговейному тону.

— Нет еще. Вот общие наши знакомые старушки, Любовь Александровна и Александра Александровна,— у них надо быть. И еще мне хотелось сделать... Время такое; не знаешь, кто сегодня жив, кто нет. У меня после папеньки вексель на них остался, и скоро ему срок...

— Вы хотите получить?

— Нет-с... Я хотел отдать им... уничтожить то есть. Бог с ним. Потому старушки, что их беспокоить. К чему

нынче обязательства, когда не знаешь... *Там* ведь, говорят, теперь очень опасно.

— Что у вас за мрачные мысли! — прервал я.— Опасно, ну, тем лучше; не успеете и дойти *туда*, как уж все кончится.

— Как знать, чего не знаешь? — возразил он, но в его гробовом голосе уж зазвучала маленькая нотка не то сомнения, не то надежды, вернее, желания, чтоб его скорее утешили.— Я на всякий случай завещание написал. Так и ношу в кармане; тут — оно, а тут — вексель этот... чтоб уж совсем все кончить.

— Э, Христос с вами! — вскричал я.— Уничтожение обязательств, последняя воля... Пойдемте играть!

— Да мне что играть,— сказал он, конфузясь, но уж глупо улыбаясь,— денег нет.

— Как денег нет? Ведь вы помещик, сбирались же...

— Да-с... Но ведь время такое, пожертвования были. Опять тоже я недоимку да еще оброк за год вперед простил. Билеты папенькины все крупные, именные. Что было наличных... Я ведь не воображал, ей-богу, что в походе это занятие будет! Я почти все проиграл; почти не знаю, как дойду туда...

— Тут-то, значит, и надо играть,— прервал я,— вчера вы видели, как я сделал? Полноте, что за ребячество. Пойдемте.

Это было несчастье редкое, примерное, хотя вместе и редкая, примерная глупость. К утру Бревнов проигрался и заплатил только Мишелю. Его товарищи согласились сыграться в походе; оставался проигрыш мне. Он было стал отговариваться, просить меня подождать, но я напомнил ему его собственные предчувствия, что мы бог весть когда свидимся. Я заметил, что если он заплатил моему родственнику, то я имею право требовать того же, потому что я не ребенок, и просил его принять во внимание, что между порядочными людьми так не делается. Мишель и другие меня поддержали. Бедному недорослю становилось так неловко от этого вмешательства, что я сжалился и вызвал его поговорить в другую комнату, к окну, где ему было так приятно вечером.

— Вы решительно не имеете денег? — спросил я.

— Ей-богу, какая-нибудь сотня... пешком пойду с дружиной! А ведь вам надо восемьсот.

Я выждал минуту и сказал, глядя ему в глаза:

— Вы просто не хотите платить, а деньги у вас в кармане.

— Помилуйте, какие?

— Вексель на госпож Смутовых, в тысячу рублей.

— Прикажете оставить его у вас, покуда я вам выплачу? Верьте моему слову: это для меня священный залог...

— Что за вздор, что за залоги? Продайте его кому-нибудь и расплатитесь.

— Это нельзя-с.

— Так пойдемте, я при ваших товарищах скажу вам, что вы такое.

Холодный, решительный, непреклонный тон, как я потом не раз убедился, всегда производит свое действие. Бревнов оторопел, стал просить, умолять. Я стоял среди комнаты пред отворенной дверью, в виду гостей, и отвечал через плечо, каждую минуту готовый сделать шаг вперед и выдать моего противника на позор. Я громко отвечал на его шепот, я казнил его насмешкой,— урок небесполезный и для зрителей. Окончательно одурелый, Бревнов стал предлагать надписать мне передачу этого векселя.

— Опомнитесь,— сказал я, смеясь,— я несовершеннолетний!

— Скоро вы кончите? — спросил издали Мишель.

— Пойдемте, что больше толковать! — сказал я.

— Позвольте... Но помилуйте, куда же я сунусь с этим векселем? — говорил Бревнов, чуть не плача и ловя меня.— Кому я его предложу? Кто купит такой долг...

— А вы предлагали передать его мне? Это мило!

— Время нужно... нужно искать человека... а мы вечером выходим...

Мне что-то смутно припомнилось.

— Обратитесь к купцу Полозову,— сказал я,— он купит наверное, если не станете прижиматься и уступите за ровно восемьсот. Теперь ранние обедни отходят, вы его застанете дома. Советую вам поторопиться. А не то, не взыщите, я, для вечерней прогулки, пойду к заставе, на проводы вашей дружины; там будут и градоначальники и все воинство... Я держу мое слово.

Я пропустил его выйти, бросился на диван и уснул. У Мишеля тоже разошлись. Часа через два меня разбудили, подав мне пакет от Бревнова: записка довольно дерзкая, деньги сполна; просят ответа. Я написал, что за его

аккуратность прощаю ему его незнание приличий и орфографии.

Мишель был весь этот день занят своими делами и только второпях спросил меня:

— Ну, а твои дела?

— Да что,— отвечал я, зевая,— глупо и скучно; надо побеждать разные предрассудки, а игра-то почти не стоит свечки. Удастся — хорошо, а не удастся, пожалуй, еще лучше. Мне всего дороже свобода.

— Как знаешь,— сказал он,— пожалуй, что и так, если не из чего хлопотать.

Выказывая равнодушие, я ограждал себя от насмешек над неудачей... Чего мне стоило это равнодушие! Конечно, я не проговорился, чего лишаюсь! Я поклялся, что Мишель не узнает этого вовеки или увидит в моих руках. Тогда — дело другое!.. Как он казался мне смешон и мелок с своими грошовыми счетами! Я увидел вблизи, как грязно наживаются люди, и презрел их со всем негодованием порядочного человека. Мне стала понятна ненависть ко всей породе взяточников... Невольный, хотя ядовитый, смех поднимался у меня среди всей моей тревоги и печали, смех над этой жадной вознею. И отчаянно я говорил себе, что этой возне, этому ничтожеству суждена удача, тогда как я...

Я обедал один. Не знаю, где пропадал Мишель; он заехал за мной вечером на отличной ямской тройке; мы провожали ополченцев до первой деревни. Дорогой он сказал мне, что встретил на улице Марью Васильевну, очень печальную.

— Из церкви шла, под вуалью, но я видел, расплакана. Я хотел заговорить, поклонился — не узнала, даже бежать стала скорей. Ты видел ее сегодня?

— Нет,— коротко отвечал я.

С проводов мы воротились рано утром. Я ушел в свой нумер и еще не ложился; полусонный Филька ввел горничную Марьи Васильевны. Она сказала, что уж давно здесь дожидалась, и передала мне записку. Эта девушка знала тайны госпожи и, должно быть, не очень свято их берегла. Она сообщила мне, в дополнение к тому, что я читал, чтобы я сделал божескую милость, пожаловал хоть на минутку; что барышня не кушает, не почивает, все глазки проплакала, из дому бог знает куда уходит и, пожалуй, что-нибудь над собой сделает. Все эти подробности она рассказывала мне очень трогательно и очень

громко. Я попросил ее умолкнуть и кратко написал Марье Васильевне, что считаю излишним к ней являться, так как прощания между нами кончены, а могу прийти к ней только в случае, если она решительно скажет мне, что едет со мною. «Это мое последнее слово,— заключил я,— я подожду вашего ответа до шести часов вечера и, если его не будет, завтра утром еду...»

Помню я этот день. Чего не сделали три бессонные ночи, то сделала эта пытка ожидания, замиранье сердца при каждом звонке в соседних нумерах, при каждом входе нелепого Фильки: я был разбит. Мишеля не было дома. Я не вышел из комнаты весь день, я не мог подняться с дивана. Выигрыш и то, что у меня оставалось — было почти столько же или немного более того, что завещал мне мой батюшка. Если этого было недовольно на несколько месяцев пошлой нищенской жизни в дрянном провинциальном городишке,— что же будет в столице?.. Никакого другого вопроса не рождалось, не мелькало в моей голове. Настойчивое однообразие мысли приводит за собою помешательство; минутами, как молния, у меня прорывалось отчаянное предположение, что я схожу с ума...

Филька в другой комнате топтался и возился. Наконец он явился с вопросом, еду ли я и что прикажу укладывать.

Было почти шесть часов. Ждать было больше нечего. Я отправился к Смутовым за своими вещами. Дорогой я вспомнил, что не видал старух с того вечера, как объяснялся с ними под окнами, что они, вероятно, будут расспрашивать... Ну и могут остаться при вопросах! Кончить все как можно короче и уйти.

Меня приняли странно,— конечно, гневались, но все наши отношения должны были кончиться чрез полчаса, а моя собственная забота была слишком тяжела, чтобы еще прибавлять к ней скорбь о старых девах. Они и сами, впрочем, были какие-то странные,— сидели без дела, поникнув головами; одна Дунечка слепила глаза за шитьем у окна; супруга отца Алексея, сложив руки, жалась у стенки. Все безмолвствовали. Я сел, не выпуская фуражки. Заговорила Любовь Александровна.

— Давно не видались.

— Да. И я пришел проститься.

— Едешь в Москву? — спросила Александра Александровна.

— Да, с Мишелем, завтра.

— Вот, третьего дня принесли, должно быть, отпуск тебе; я расписалась, что получила,— сказала Любовь Александровна, подавая мне конверт.

Я распечатал, просмотрел бумаги и опустил их в карман.

— Это не отпуск, а увольнение. Я вышел из гимназии.

— Вот тебе раз! — вскричала Александра Александровна.

— Стало быть, надолго уезжаешь? А потом как?— спрашивала старшая.

Даже Дунечка обернулась и слушала.

— Я уезжаю совсем, навсегда,— сказал я.

— Завтра?

— Завтра утром.

— Какой проворный! — отозвалась Александра Александровна.

Попадья заохала.

— С Марьей Васильевной виделся? — спросила, помолчав, Любовь Александровна.

— Нет. Мне нет времени. Потрудитесь передать ей мое почтение. Теперь позвольте мне собраться, поблагодарить вас за ваше внимание... Если когда случится быть в N, конечно, заеду...

— Да уж не застанешь,— сказала тихо и спокойно Любовь Александровна,— нас самих недели через две здесь не будет.

— Каким образом?

— Так случилось! — храбро отвечала Александра Александровна и тотчас же заплакала.

Старшая сестра только отвернулась. Попадья тоже захныкала. Дунечка, вдруг залившись слезами, побежала из комнаты. Любовь Александровна поймала ее за платье у своей двери.

— Куда ты?

— Это она о саде, о вишенках своих! — сказала Александра Александровна.— Вот тебе, Дуня, и вишенки!

— Ей не вишен жаль, ей нас жаль,— возразила наставительно Любовь Александровна и прижала Дунечку к своему сердцу.— Она видит наше огорчение. Полно, мой друг. Его святая воля. Бог дал, бог и взял. Мы было все тебе прочили, а прочить ничего не должно. Смирись и трудись... Люди же живут...

— Тетеньки...— раздался робкий голос...

В комнате была Марья Васильевна. Она вошла, не замеченная среди сумерек и печали, да впереди ее еще Пелагея тащила самовар.

— Тетеньки, правда ли, я сейчас услышала...

— Правда, матушка,— отвечала Александра Александровна.— Утром сегодня приходил. «Вексель ваш теперь, говорит, у меня, а срок ему четвертого сентября; так как вам угодно, потому — проценты не плачены. А я знаю, говорит, у вас денег нет и капитала нет; так дом, если угодно, я возьму в уплату...» Утром вот сегодня говорил...

— Кто это? — спросил я.

— Полозов, купец, сосед ихний,— отвечала мне попадья.

— Как же попал к нему вексель, тетеньки? — спрашивала Марья Васильевна.

— А уж как попал,— вскричала, размахнув руками, Александра Александровна,— про то бог ведает!

— Бревнов ему продал,— отвечала Любовь Александровна.— Самовар *уйдет*, Сашенька.

Она будто рисовалась своим спокойствием; своего рода кокетство, не оставляющее женщин ни в каком возрасте.

— Сынок-то не в батюшку,— рассказывала Александра Александровна,— продал да с дружиной ушел,— лови его! Хоть бы по крайности слово сказал, предупредил бы...

— Ну, что ж бы из его предупреждения? — возразила Любовь Александровна.— Заплатить нам нечем, это всякий ребенок знает. Если бы еще месяц назад... Егор Егорович был жив...

Тут воспоминание о друге ее смутило. Необыкновенная живучесть женственности! И главное — женственность бескорыстная, в чем удостоверила попадья.

— И, матушка Любовь Александровна! — сказала она.— А у Егора-то Егоровича какие были достатки? все равно — ничего. Что господину Бревнову было, от его богатства, покойнику, возможно...

— Вот сынок-то покойникову богатству глазки протрет,— прервала Александра Александровна,— сказывали, он там две ночи кряду, «направо, налево», у Орлова в гостинице, и чего-чего не было...

Я пошел в свою комнату собраться; это было очень недолго благодаря порядку, которого я всегда строго требовал от бесчисленной женской прислуги. Никифор повез

в гостиницу мои чемоданы; я закричал ему в окно — послать мне извозчика, и в ожидании убрал свои бумаги в дорожный мешок. Я сошел вниз, увидев подъехавшие дрожки.

В гостиной уже давно громко и жарко говорили. При моем входе Марья Васильевна убежала в другую комнату и все принужденно замолкли. Попадьи и Дунечки не было. Обе девы смотрели на меня с ожиданием,— конечно, ждали чувствительности, которой я не имел, не мог и не желал иметь. В некоторых случаях тупоумие окружающих заразительно: мне было глупо-неловко в этой сцене.

— Ну-с, прощайте,— сказал я, подходя к старшей сестрице и колеблясь — обречь или не обречь себя на поцелуи этой желтоватой мягкой руки,— позвольте еще раз поблагодарить вас, пожелать всего лучшего, всех успехов...

— Это молодым — успехи,— отвечала, приподнимаясь, Любовь Александровна,— наша жизнь кончена.

— Да и молодому-то надо с чистой совестью!..— начала меньшая.

На прощанье вместо смокв игривая Сашенька угощала меня моралью! Я чуть не разразился хохотом и, чтобы зажать его, ткнулся носом в руки обеих дев,— иначе не хватило бы решимости. Свершив подвиг, я выскочил на крыльцо. Кажется, звали Дунечку; мне показалось, что и попадья гонится за мною...

У Мишеля были кто-то двое. Говорили о делах, считали деньги и стали играть. Я сдал свои вещи и остался в своей комнате. Мне хотелось рассеяться игрой, но по сердцу проползло отвратительное чувство: что, если я проиграюсь?.. Все тревоги дня возобновились еще упорнее, а за ними вдруг, мгновенно будто упало на голову что-то тяжелое, удушающее, лишающее сознания. Я сидел у окна один, даже не глядя перед собою, жег сигары, опьяняясь крепким куреньем и понимая только одно,— что у меня ничего не оставалось...

— Вам записка,— сказал Филька.

«Приезжайте ко мне, сделайте одолжение; очень нужно вас видеть, посылаю пролетку».

Любовные записки провинциалок очень оригинальны.

Эта записка меня будто толкнула; я читал ее, будто не очнувшись спросонка. Будь я настроен иначе — я стал бы над нею раздумывать; я стал бы взвешивать, насколь-

ко, уступая этой просьбе, я уступлю своего собственного достоинства. Но я не мог думать, я был бессилен... Будь благословенна судьба, пославшая мне в эту минуту это отсутствие силы! Если бы во мне оставалась решимость, сознание, я бы не поехал и.... я бы все погубил!

Мишель и его гости были на крыльце; завидя еще в окно, они выбежали смотреть серого рысака, которого за мною прислали. Это был прелестный Демон, еще похорошевший в этот год от неженья и корма. Он не стоял, ржал, сверкал глазами, бил копытами. Господа любовались, восхищались; расспрашивали кучера, спрашивали цену, суетились кругом, как цыгане.

— Его надо на бега! приз возьмет! — кричал Мишель, знаток дела.

— И то Марья Васильевна хотела, да пожалела мучить,— рассказывал кучер,— Марья Васильевна уж так его любит, просто целует, из своих рук сахаром кормит...

Я прервал болтовню, садясь на дрожки.

— Поезжай шагом; еще этот черт шею сломит.

— Когда вас ждать, Сергей Николаевич? — спросил Мишель.

— Через полчаса,— отвечал я хладнокровно.

Откровенно признаюсь — у меня замирало сердце; я не был готов ни на отказ, ни на новую борьбу. Я до сих пор не могу придумать, что сделал бы я, что было бы со мною...

В гостиной едва мерцала свечка. Марья Васильевна ходила взад и вперед. Я остановился в дверях.

— Сережа! — вскрикнула она и упала ко мне на шею.

Буря слез и поцелуев.

— Я уж тебя и не ждала! Возьми меня с собою!

Это было коротко и ясно. Я отвечал жаркими объятиями и бросился к ее ногам. В эту минуту я в самом деле любил ее: она меня спасала... Судьба избавила меня от такого унижения: оказывалось на деле, что я спасал ее.

— Тетеньки все знают... весь город все знает! — лепетала она, рыдая.— Мне нет места здесь, нет места нигде, у меня нет никого, кроме тебя... Я с тобой, твоя, везде, хоть на край света!..

Я остался у ней; так как она уж решилась, прятаться больше было нечего. Но она уж ничего и не помнила, в

слезах, в заботе, в восторгах. Она была счастлива, я любил ее, я рисовал ей поэтические картины счастья, я был весел, доволен, я тысячу раз страстно твердил ей, что счастлив; я заставил ее сознаться, что необходим ей, что без меня ее существование бесцельно, темно, что высшее счастье для женщины — полное самоотречение для счастья любимого человека...

— А ты любишь меня? — повторяла она.

— Ты спрашиваешь? — повторял я, заключая ее в объятия.

Не надо было давать ей опомниться, и потому я был против долгих сборов и рано утром приказал ей сбираться. Открылось, что в эти три дня, хотя не решаясь, хотя почти отказываясь,— она уже соображалась и готовилась. Она называла свою блажь тоже «борьбою»; я не стал спорить о словах, но просил ее обратить внимание на инстинкт, который заставлял ее «соображаться и готовиться».

— Не ясное ли доказательство, что без меня ты жить не можешь? — спрашивал я.

Последовало много междометий, после которых мы заговорили связнее. Я спросил о существенных обстоятельствах; все было в порядке. Начались сборы, явились люди, горничные, сундуки. Поднялась и старая ведьма, тетенька, и явилась клясть непокорную племянницу, которая опять принялась за слезы. Мне это надоело, я вступился, но так ловко и деликатно, что успокоил обе стороны сколько мог.

— Милый ты мой,— восклицала Марья Васильевна, когда тетенька удалилась,— добрый, ласковый!.. Ты не думай, чтоб я о ней не позаботилась. Нет, слава богу, она у меня устроена, давно устроена. Как только папенька скончался, я ей три тысячи записала, да этот дом на ее имя купила; она совсем успокоена...

— Из чего ты это делала? к чему такие роскоши?

— Ах, на случай, милый! как же не обеспечить? Ну, я бы вышла замуж... или вот теперь, куда ей с нами? А как же ее оставить безо всего? Теперь у нее весь полный дом, мебель, все остается, и я покойна...

— Недурно!..— сказал я, удерживаясь, единственно чтобы не испортить доброго согласия.

— Да ведь ты подумай: ей почти семьдесят! она и к людям привыкла, которые ей служат, и к углу своему...

— Недурная богадельня с шелковой мебелью! — пре-

рвал я.— Однако нечего толковать о вздорах. Укладывай сама серебро и все остальные ценные вещи, чтоб не растащили. Тетеньке этого, полагаю, оставлять не нужно. А мне дай сейчас шкатулку с казной и бриллиантами, я отвезу ее к себе, а то в суматохе ты и не усмотришь, как украдут.

— Твоя правда,— отвечала она беспрекословно.

— Однако, тяжеленька! — сказал я, смеясь и взяв шкатулку.— Пожалуй, и не донесешь.

— Я велю заложить пролетку; прикажешь Демона?

Мне пришла чудесная мысль.

— Нет, не надо,— сказал я,— есть и извозчики. А вот что. Лошадку эту надо или продать, или с собой взять. Продавать здесь — кому? продешевишь. Везти — куда? У нас в Москве покуда ни квартиры, ни людей. Здесь до тех пор оставить? Без нас, пожалуй, испортят.

— Ах, нет! я прикажу, попрошу тетеньку...

— Что твоя тетенька смыслит, и кому ты прикажешь? Нет, вот что. Все равно терять; лучше подари Демона.

— Кому?

— Мишелю. Он вчера любовался. Ты этим его мило расположишь... ведь Мишель — твоя новая родня.

Я смеялся; она призадумалась.

— Впрочем, как тебе угодно; это твое,— прибавил я и, будто машинально, поставил шкатулку на стол.

— Ах, нет, нет, не мое... Только вот что... ты ему уж от себя подари,— сказала она и заплакала, обняв меня.

— Ребеночек! — сказал я, смеясь.— Жаль лошадки? Еще лучше будут!

— Нет, не лошадки жаль...

Я дал себе мысленно клятву никогда не дослушивать подобных вещей.

— Так присылай же Демона через часок туда,— сказал я, взяв опять шкатулку.— А я похлопочу. Надо купить экипаж, не в телеге же трястись. Тут в гостинице оставлена продавать чья-то карета, не новая, но, может быть, годится.

— Хорошо, купи,— сказала она,— возьми же ключ от шкатулки.

— У меня есть деньги,— отвечал я, пряча ключ в карман.— Ведь у нас — общее?

— О радость моя, конечно, конечно, общее!.. Ах, нет, не общее, а все твое! Но разве у тебя еще были?

— Как же, я выиграл.

— У кого? у Ветлина?

— У Бревнова,— отвечал я неосторожно и больше по забывчивости, потому что спешил.

Мишель было заупрямился и не хотел еще оставаться, но я упросил его. Я рассчитывал на его практическую мудрость для сборов и путешествий, на его присутствие для лучшего и благополучного устройства дела... я был еще очень молод! Теперь я даже не могу определенно объяснить, чего, собственно, мне было от него нужно. Правда, он выгодно сторговал мне старую четырехместную карету, напомнил сходить к опекуну, исправить разные формальности, научил взять вид из полиции для Марьи Васильевны, но затем уселся за карты. Меня тревожил детский страх за шкатулку, которую я сначала не знал куда спрятать, а наконец догадался вовсе не прятать, потому что старая вещь из какого-то бурого перетрескавшегося дерева не могла обратить ничьего внимания. Совершенно справедливо, что первый успех туманит. Мне нужно было призывать на помощь всю мою выдержанность порядочного человека, чтоб сохранить хладнокровие, не казаться слишком веселым и не хвастаться... потому что, признаюсь, минутами у меня являлось и это мелкое желание, и нужно было много сил, чтобы обуздать его!..

Я не играл; мне даже странно не хотелось играть. Взглянув в окно, я сказал, признаюсь, сдерживая волнение:

— Мишель, тебе вчера понравилась моя лошадь. Вот ее ведут. Ты меня очень обяжешь, если возьмешь ее себе.

Игравшие были вчерашние господа; они и сам Мишель разинули рты от удивления... Это была первая минута официального признания моего значения, первая минута моего водворения в моих правах.

Мишель угостил нас славным обедом; это было уж прощанье; отъезд назначен непременно завтра. Только вечером мог я прийти к Марье Васильевне. В прихожей я увидел чей-то картуз, из гостиной слышались голоса. При моем входе Марья Васильевна вскочила с дивана, бледная. Посетитель, седой, бородатый старик в кафтане, поднялся тоже и, кланяясь, смерил меня взглядом. Я поклонился холодно, молча.

— Итак, прощенья просим, барышня,— заговорил гость,— счастливого вам пути и всякого благополучия. У нас соскучились, ну, там повеселитесь; бог пошлет вам

за вашу добрую душу. Кто старого да малого не оставляет, тому сам бог помощник; вот и вам...

— За что вас так прославляют, Марья Васильевна? — спросил я, заинтересовавшись комедией.

Она не отвечала, бледнея еще более; заговорил опять гость.

— Вот-с, за их добрую душу. Узнала барышня, что нечаянным образом должок есть у меня на их тетеньках, Любовь Александровне и Александре Александровне, да нынче весь день с утра меня искала, то в дом ко мне, то в лавку, покуда мне вот к вечеру удосужилось самому прийти. Не хочу перед богом грешить, Марья Васильевна, кабы вы так не просили, не приставали ко мне, ни за что бы я ваших денег не взял!

— А вы взяли? — спросил я.

— Как же-с; ведь я заплатил господину Бревнову чистыми, так и мне следовало. И ведь мне расчет, потому,— дом их тетенек как раз у меня под боком, очень мне выгодно. Ни за что бы я не уступил никому, да уж барышня разжалобила. И как она это скоро: денег нет — серебро в лавку, шали к татарам. И напрасно вы, сударыня, продали; я бы серебро у вас в ту же бы цену взял... Ведь какая, как молила-то! Это вы, матушка, никогда вперед ни перед кем не делайте; сказано: «единому господу поклонимся»... Ну-с, так дай вам бог! Вот, кстати, и свидетель случился, что я деньги получил,— вот они,— и вексель подписал, и сам его изорвал. От своего слова не откажусь.

Он перекрестился на образ, поклонился и опять сказал:

— Прощенья просим, я в Москве буду, вас навещу.

Она побежала провожать его, захватив со стола разорванную бумагу. Это довершило меру моей злости.

— Так-то у вас *все заодно*? — вскричал я, когда она появилась.— Тайны, сделки, продажи? Так-то вы бережете *наше общее*? Вы еще называли это *моим*! Если *мое*, так вы у меня крадете, поймите это! Кто ж мне поручится, что вы и во всем меня не обманете?..

Она упала на колени, клялась, что это из каких-то «остатков», из каких-то «размененных»... Мне было гадко! И слез целые потоки, и полнейшее непонимание, что она меня одурачила, обобрала, продала! Я узнал этот характер; мне предстояла вечная осторожность, и я мечтал о свободе... Я не помнил себя от гнева; не помню сво-

их слов, не помню своих поступков в этот вечер,— я был ужасен... Но я сломал ее, я покорил ее, я заставил ее у ног моих просить прощения, заставил ее поклясться, что она не выйдет из моей воли... Да и куда бы пошла она? средства были в моих руках!..

На другой день наконец отъезд был решен. Карету нагружали с утра у Марьи Васильевны, но укладки и ямщики дотянули дело до вечера. Я не выходил от нее, и, только когда все было готово, пошел к Мишелю звать его ехать. Воротясь с ним вместе, мы оба очень удивились, узнав, что Марьи Васильевны нет в доме.

— Пропала? — сказал Мишель, хохоча очеиь обидно.— Остальное все ли цело?

Все было цело, но тем глупее, тем хуже: она доказывала, что жертвует всем, но не хочет знать меня! Вне себя от этого нового, неожиданного, невообразимого оскорбления, я позвал горничную, которая должна была ехать с нами. Она тоже бегала куда-то прощаться и объявила, что Марья Васильевна сейчас воротится, пошла ко всенощной.

— Какая богомольная! — заметил Мишель.

— Куда ж она пошла? — спросил я.

— К Покрову, к тетенькам.

Я взял фуражку.

— Вы ее не найдете; позвольте, я с вами.

Субретка проводила меня, благо не далеко. Всенощная уж кончилась, расходились. В сумерках конца августа, среди множества народу, я в самом деле затруднился бы найти Марью Васильевну, тем более что она была закостюмирована.

— Вот они,— сказала горничная, показывая на особу в темненьком платье, неуклюже закутанную ковровым платком, которая отделилась от темноты, где пряталась, и догоняла какую-то девчонку в торчащей шляпке. Все эти фигуры двигались как тени. Я подошел и расслышал:

— Дунечка!

Действительно, это была Дунечка, отставшая от своих благодетельниц; те уж всплывали на свое крыльцо. Марья Васильевна шепталась с девчонкой, сунула ей что-то в руку, потом еще что-то и принялась целоваться.

— Не довольно ли? Успели бы целую станцию отъехать,— сказал я.

Дунечка убежала, испугавшись. Марья Васильевна испугалась не меньше.

— Едете ли вы со мною или нет? — спросил я.

Две проходящие барыни заглянули ей в лицо.

— Пойдем,— сказала она.

Я посадил ее на дрожки.

— Зачем вы сюда бегали?

— Помолиться... Проститься.

— Да они тебя за порог выгнали!..

— Никогда! Я сама им не смею показаться. Я к Дунечке...

— Что ты ей отдала?

— Тот вексель, что разорван...

— И еще что?

— Еще... ничего.

— Точно ничего?

— Сережа, так, немножко, ей, девочке... Ну, и им немножко. Сережа, ведь у нас все есть! А им зима подходит...

— Когда ж ты перестанешь лгать и обманывать? — возразил я.

С чувствительными особами надо брать свои меры...

Но я увез ее в Москву.

Сначала я остановился в chambres garnies [1], потом нанял дом и устроился. Марья Васильевна не оставляла меня три года, после которых избрала себе местопребыванием один из бесчисленных монастырей, украшающих первопрестольную столицу. Эта милая особа умела утаить от меня сумму, заплаченную за нее в обитель. Недавно Florine хотела видеть мою «первую», «mon ancienne» [2]; мы ездили туда, и я видел сам: у Марьи Васильевны две комнаты; в московских монастырях такие кельи не дешевы. Эта предусмотрительная особа только ошиблась, рассчитывая на помощь «домашней тетеньки»; та распорядилась отдать святым людям все, что имела,— тоже не безделицу. Не знаю, что сталось с Смутовыми. Дунечку я как-то встречал бегающую с книгами и тетрадями; она очень высоко поднимала нос и не удостоивала мне кланяться. Должно быть, достигла своей цели — высших познаний...

[1] меблированных комнатах (*франц.*).
[2] «мою бывшую» (*франц.*).

Вот мое начало. Я сломал препятствия, не дав им сломить себя, я укрепил и развил свои силы; я покорил себе жизнь и людей, я боролся и вышел победителем, и с тех пор мне во всем удача. Я иду прямо и не знаю глупых оглядок: моя счастливая звезда меня никогда не оставляла. Марья Васильевна была не единственная и не последняя женщина на свете...

Я пишу эти строки обеспеченный, довольный. Я удивлял и удивляю моим уменьем жить, роскошью, светским тактом. Я счастлив...

Мое первое счастье досталось мне не без труда, и перемены счастья проходят не без забот... Я знаю, против этого резонеры-моралисты и всякие «труженики» найдут сказать много. Но если говорят, что голова и руки могут и должны заработывать нам существование, то почему же мы не можем и не должны употреблять столько же в дело нашу красоту и привлекательность? То и другое равно — способность, сила, то и другое доставляет средства; то и другое, наконец, равно — дар божий.

ПОСЛЕ ПОТОПА

Повесть

1881

Это случилось несколько лет назад.

Был конец мая, день тихий, светлый, без одного облачка; весенняя сырость уж не чувствовалась, но солнце еще не успело накалить мостовую и гранит набережной. Строения и река окрашивались каким-то особенно нежным розово-голубым цветом; воздух, казалось, дышал, все будто таяло, мягко, прозрачно, без резких теней, без ярких отблесков; только на куполе Исаакия светился его постоянный кружок золотых точек, будто венок из звезд. Вверх по реке уплывала большая лодка, нагруженная цветами и деревьями в кадках: перевозили с выставки или уезжали дачники; зелень, темным столбом, не колыхаясь, отражалась в воде; только бежали белые полоски от весел.

День был не праздничный, но даже люди занятые, трудовые, спешащие и те замедляли шаги, приостанавливались отдохнуть, поглядеть кругом. На набережной и на бульваре, где уж оделись деревья, было много гуляющих. Все смотрело весело.

На тротуаре, на углу набережной и площади, собралось больше десятка человек; между ними были полицейские; недалеко стояли дрожки, карета. Там ждали. Ждали очень долго; утро проходило, становилось жарко. Любопытные, которые присоединялись к ожидающим, уходили, соскучившись. Гуляющие разошлись. Река потемнела в полдневном блеске, даль туманилась.

Те, что оставались на тротуаре, ждали упорно. Это была странно молчаливая толпа. Там были, конечно, и знакомые, но и они не разговаривали между собою, разве как-нибудь коротко, односложно; чаще всего слышался вопрос: «Который час?» — и то вполголоса, осторожно. В кружке была женщина. Никто не рассмотрел,

стара она или молода, никому не приходило на мысль вглядываться в лица своих товарищей... Их можно было назвать товарищами. Никто не обращал внимания на эту женщину, но она не сторонилась от всех, смущенная, усталая. Она рискнула подойти к полицейскому, стоявшему на крыльце у двери.

— Скажите, скоро ли...

— Чего?

— Кончится... Там?

— Нам неизвестно,— отвечал он, отвертываясь.

— Нельзя ли мне...

— Пускать не велено.

— Я очень устала,— сказала она, сдерживаясь до того, что почти смеялась.

— А, устали, напрасно приходили... У вас кто там?

— Брат.

— Дома бы дожидались, что вам бог пошлет.

— Позвольте мне войти хоть в сени. Я на минуту присяду... Я спрячусь... я сейчас уйду, только что вы прикажете...

— Нельзя, сударыня, извольте отойти,— прервал он, отсторонив ее.

Она отбросилась от подъезда, потянула свой вуаль и разорвала его; мелькнуло лицо в красных пятнах, выплаканные, выгорелые глаза. Оступаясь, она сошла с тротуара, перешла к набережной, прислонилась и осталась неподвижна. В свете вырезалась ее темная фигура в длинном запыленном платье. На нее оглянулись другие ожидающие; отходя, она как будто дала им минуту нового занятия, поразнообразила общее напряженное состояние. Но только на минуту. Все глаза обратились опять к подъезду, к запертым дверям...

— О господи, скоро ли? — проговорил старенький господин, в плотно застегнутом старом пальто, пожимаясь от дрожи и приподнимая фуражку, чтоб освежить голову.— Братец, который час?

— Третьего сорок... сорок две минуты,— отвечал другой господин, стоявший подле, тоже немолодой, похожий с братом, но щеголеватый, добрый и веселый,— третьего сорок две. Поздненько. У Лизаветы Николаевны пирог, пожалуй, простынет, а то, еще хуже, *пересидит*, если вынуть не догадались.

Он засмеялся.

— Как вы это можете, братец...

— Да что ж, батюшка, помилуй, что ж такое? Ведь если бы мы вот как эти...

Он кивнул на других.

— Если б нам приходилось ждать-гадать, что будет, беспокоиться, передумывать, дело другое... А мы себе, слава богу, заранее знаем...

— Потише...

— Я и то тихо! — возразил господин и опять засмеялся.

На него оглядывались.

— Ну вот, рассердились, что я не пла́чу,— продолжал он громко.— Что ж, когда у меня характер такой решительный. Два племянника у меня *там*, и рискую я, что вот, может быть, в эту самую минуту...

— О, бог с вами,— прервал старик.

— Что же? Все мы ждем, и, уж конечно, многие из нас того дождутся, чего не желают. Воля божия. Ты, конечно, отец, да что же делать. Прежде бы думал, удержал бы... А теперь хоть на сердце кошки, но что ж слезную комедию представлять...

— Однако, знаете что... довольно! — сказал, подходя, молодой человек.

— Всякий волен выражать свое мнение, милостивый государь,— возразил плотный господин.— Вам, может быть, мое не нравится. Ну-с, а мне могут не нравиться ваши или тех, что *там* у вас есть... без сомнения, близкие вам люди. Я — других правил. Я решителен и справедлив. У меня *там* два племянника. Вот его, брата моего, сыновья. Единственная опора семейства-с. Мать — слабая, да, видите, и родитель не особенно здоровый человек. Но я говорю, что ж такое? Если заслужили...

Молодой человек отошел. Другие прислушивались.

Среди гробовой тишины, в которой как-то хотелось еще больше затихнуть, спрятаться, быть еще больше одному — осмелился раздаться этот громкий голос. Он тревожил слух, поднимал негодование, терзал и вдруг както странно ободрял. Семья в горе рада приходу постороннего; к безнадежно больному зовут знахаря. Это было что-то похожее. Люди сторонились друг от друга, между тем как всякий знал, что дело у всех — общее, что забота — одна, что не может быть даже глупо отдаляющего ложного стыда. Но всякому было до того жаль только себя, только *своих*, до того думалось только о своем, что чужое, одинаковое, видимое горе — казалось

будто не горе, а так что-то лишнее, беспокоящее, неприятный предмет, на который смотреть не хотелось. Горе озлобило до неприязни... И вдруг кто-то заговорил громко. Что бы ни говорилось, но говорилось громко. Стало быть, это можно?.. Стало быть, где-то может таиться какая-нибудь надежда? Нет, *надежда* — сказать много, но... что-то. Что-то неопределенно светящее; что-то, как вот сейчас, струя воздуха с реки, прохлада, от которой чуть-чуть пошире вздохнулось и приподнялись головы... Над головами будто что давит, как низкий свод. Нет, ведь там только небо, но этот свод уж так высок, что выпрямиться, взглянуть — страшно: вдруг рухнет. Голова и гнется, ждет удара. Но что если, может быть...

— Подавай! — закричал швейцар с подъезда.

В распахнувшихся дверях, в глубине сеней, замелькали люди, блеснули ружья.

— Подавай! — повторил швейцар, махнув карете, которая стояла в стороне, чья-то барская карета.

На крыльце среди толпы показалась женщина, богатая, судя по наряду; она билась на руках щегольски одетого господина; другая, немолодая женщина, с посинелым, искаженным лицом, подхватила ее под голову; кто-то поднял скатившуюся шляпку, разметались белокуро-седые волосы.

— Саша! Саша! — кричала мать.

Господин втолкнул ее в карету.

— Домой! — закричал он, захлопывая дверцу.

— Этих вон пропускают...— сказал кто-то.

Все, что было на тротуаре, хлынуло к крыльцу; полицейские отгоняли.

— Ты чего же? Ты куда же? — повторил плотный господин старику.— Сами выйдут. Ведь уж сказано тебе, ведь уж знаешь ты... Бока ломать понапрасну... видишь, солдаты...

Из ворот мчались две кареты с опущенными сторами. Молодой человек вскочил на тумбу.

— Прощайте! — закричал он.

Старик, шатаясь, прислонился к стене.

— Господи, неужели ж обманули? — прошептал дядя.— Господи помилуй...

Он заметался, оглядываясь.

— Не просмотрели ли?.. Позвольте, пропустите... Э, да вот они, целы! — закричал он брату, указывая на

двух молодых людей, которые, протеснясь наконец, сходили с главного крыльца.

Старик ступил шаг навстречу...

— Ну, ну, на улице-то, на улице! — остановил его брат.— Повоздержитесь, полно... Здравствуйте, молодцы, поздравляю,— обратился он к племянникам.— Всеволод, да ты, никак, растолстел на казенном-то. Здравствуйте. Ну, теперь домой, пора домой; мать ждет не дождется... Николай!.. Да выпусти ты их, родной батюшка! Не растащишь, ей-богу... Идем. Извозчики тут, идем. Всеволод, мы с тобой сядем?

— С вами, дядя, с вами,— отвечал старший, красивый, высокий малый; его добродушное, сильное лицо глядело мягко из-под войлочной шляпы, из-за косматых черных волос, румяное, яркое, веселое. На молодом человеке было синее пальто, неловкое и потертое, но оно так шло ко всей этой оживленной, свободной фигуре, что нельзя было вообразить ничего лучше и живописнее; громкий голос был особенно звучен, размашистые движения — особенно складны. Он был рад, откровенно радовался, вызывал радоваться.

Дядя глядел и хохотал.

— Ох, побить тебя хочется! — сказал он сквозь слезы.

— Погодите, дома,— отвечал Всеволод и крикнул: — Извозчнк!

— Двух надо: вон — едут... А что, ведь лучше вышло, как заранее-то я вам дал знать, что вы прощены... Чего только, голубчик, мне это стоило! проведать да сообщить... видишь: нашего казначея брат...

— Это дома, дядя.

— Пожалуй; неловко здесь... А ведь лучше, что вам заранее было известно; все-таки, знаешь, бодрее держались, а?

— Я, что ж... А Николай — он все равно конфузился. Ну, да что толковать.

— Успеем еще натолковаться!

— Нет, уж довольно и того, что было. Эй, извозчик, скорее!

Он махнул дрожкам, которые подъезжали.

— На Пески, любезный,— заговорил дядя,— оба в одно место; вон еще два седока... Да идите же! — обратился он к старику и Николаю, которые отстали.

Молодой человек молчал. Отец утирался полинялым фуляром.

— Сколько нужно? — спросил он, таща из кармана старенькое портмоне.

— Уж заплачено, садитесь,— отвечал брат.— С богом, кати!

Старик снял картуз и крестился на Исаакия.

Кругом уж было пусто, как почти всегда в этом месте. От монумента на белую мостовую пятном ложилась короткая тень. Около него двигалась другая тень: женщина, которая первая отошла от подъезда, когда другие еще дожидались. Она проходила с набережной и вошла в адмиралтейский сад. Ее темное платье мелькало между жиденькими деревьями, вдруг совсем склонилось к земле и так осталось.

Дядя, рассказывая, указал на нее Всеволоду.

Николай ехал за ними, придерживая отца за спину. Он посмотрел тоже, куда показывал дядя.

Дом был маленький, деревянный, с светелкой. Большие искривленные деревья разбросали на крышу свои нежно опушенные ветки; воробьи кружились, собаки лаяли, где-то запел петух — совсем деревня.

— И стол накрыт! — сказал дядя Всеволоду, проезжая мимо окошек.

В окошки выглянули лица. На крыльцо выбежала женщина. В одну секунду головы молодых людей очутились у нее на груди; она прижимала их обе... обе!.. целовала, рыдала, безумная...

— Э, мамочка, будет, милая! — вскричал Всеволод, поднял ее на руки и понес в дом.

В прихожей было тесно и шумно, из отворенной кухни чадило; дядя заметил это и распорядился. Толпилось множество женщин — кухарка, горничная, их знакомые, дворник, девчонка в ярком платье, барышня в шиньоне. Очень полная дама, в шелку, в кружевах, стояла на пороге залы, держась обеими руками за притолки.

— Вот они, птички выпущенные,— говорила она любезно.— А как я дальше не пущу?

Она, кажется, заранее готовила это приветствие.

— Здравствуйте, тетушка,— сказал Всеволод, подходя целовать ее руку.

— Не пущу, не стоите, не надо вас... за уши вас надо,

за уши,— повторяла она, приводя угрозу в действие и целуя красивый лоб племянника.— Что вы тут наделали... Вот такие-то сцены!

Она кивнула на мать. Та сидела, как ее посадили, на сундуке, и все еще обнимала меньшого сына.

— Лизавета Николавна, довольно, друг мой. Позвольте и мне поздороваться с Колей... Дайте ей воды,— приказала она горничной.— Ольга, que faites-vous? venez isi...[1] Коля, какой ты бледный. Ну, здравствуй... что?.. Да!.. Так и быть; что ж, ты еще так молод... Право, Лизавета Николавна, довольно; ведь есть и благоразумие...

— А пуще всего, матушка,— заговорил дядя,— голодны мы, четвертый час.

— Пожалуйте, барыня,— сказала ей горничная.

Мать ушла в кухню.

— Андрей Иваныч, братец, идем, пора!

— Нет, ведь прежде надо...— заторопился отец,— уж все готово; там и батюшка...

— Пойдемте,— повторяла тетка.

— Позвольте! — возразил ей Всеволод.

Он расцеловал горничную, тормошил девчонку, вертел старую кухарку, свою бывшую няньку, разыгрался, как маленький. Девчонка визжала; нянька его толкала.

— Э, сорвиголова какой был! Ступай-ка лоб перекрести: вот Николай Андреич, честь честью, а ты чего...

— Постой же ты, старая,— закричал он, хохоча, и погнался за нею в кухню.

— Всеволод, mon cher! Ах, шалун! Оставь их! — вступилась тетка.— Иди, там ждут.

— Тетушка, что ж Оленька не целуется? Загордилась, что ли, или уж оттого, что невеста?..

— Да иди же!

В зале был священник, еще гость, отставной военный, и нарядная дама, устало сидевшая на диване.

— Вот! — сказала тетка, смеясь, ведя Всеволода и представляя его гостям.— Я говорю, что их следует...

Гость подал руку; гостья медленно протянула свою и прошептала:

— Поздравляю вас.

Священник надел ризу; дьячок готовил кадило. Отец зажигал свечи на маленьком столике, накрытом пред образами.

[1] что вы делаете? идите сюда... *(франц.)*

— Поскорее бы,— говорил дядя.— Никак, с водосвятием?

— Нет, просто благодарственный.

— Ну и прекрасно. Поскорее. Пора, устали.

— Помолиться — не тягость,— заметил священник.

— Так вы, значит, Оленька, гимназию вашу — побоку?

— Ах, Всеволод,— прервала тетка.— Под благословение... подойдите же... Nicolas!

Всеволод присмирел и пошел, улыбнувшись кузине; та опустила глазки, улыбаясь тоже...

— Какой вы смешной,— сказала она, когда он воротился к ней.

— Вы, Оленька, очень похорошели,— шепнул он.

— Это я и без вас знаю,— отвечала она так же тихо.

— Нет, нет, вас разлучить надо,— прервала тетка, уводя его за руку к окну, где располагалась для молебна,— стань тут со мной, тут свежее.

— «Благословен бог наш»,— начал священник.

— Где же...— спросил, оглядываясь, отец.

— Лизавета Николавна, что ж вы, матушка? — крикнул в дверь дядя.

Она вошла, спеша и спотыкаясь. Ее растерянное лицо на минуту как будто напомнило, что происходит что-то не совсем обыденное, совершается не просто заказной обряд... напоминание какое-то беспокоящее и скучное. На нее старались не смотреть. Она стала на колени, как вошла, у двери. Когда священник обратился читать евангелие, она вдруг встала, подошла к сыновьям, взяла их за руки и подвела обоих. Священник накинул им епитрахиль на голову. Мать стояла рядом с ними, выпрямившись; она никого не видала...

Дядя подпел дьячку: «Тебе, бога, хвалим».

Чрез несколько минут все садились за стол.

— Наконец-то!.. Благословите, батюшка...

Обед, хоть запоздалый, удался. Дядя оживлял его, заводил разговоры, угощал и похваливал.

— Отлично, матушка сестрица Лизавета Николавна, честь вам и слава,— повторял он всякий раз, как она являлась вслед за блюдом.— Надо окуражить,— снисходительно прибавил он, обращаясь к гостям, когда хозяйка

снова вышла.— Что ж, ведь в самом деле женщина безумная была! Не легко-с.

— Не легко,— подтвердил священник.

— Как третьего дня я принес ей это радостное известие... Ну, случай там я имел узнать. Не могу я вам этого сообщить, слово с меня взяли... Одним словом, я ей говорю: «Сестрица, Лизавета Николавна, готовьтесь!..» Она: «Ах!» — да тут, на месте, без памяти... Совсем без памяти. Я, признаться, до сих пор думал, что это дамы так только, как бы сказать учтивее?.. спектакль, что ли, домашний устроивают...

— Ох, уж дядюшка твой! — сказала его жена Всеволоду.

Гостья смеялась.

— Нет-с, точно, без памяти. Я, натурально, в аптеку. Очень, очень расстроилась...

— Какая погода прекрасная,— заметила гостья.

— Да-с, нам, к нашей радости, и денек такой,— сказал хозяин.

— Э, нет, братец Андрей Иваныч, ты уж, пожалуйста, больше не умиляйся, не умиляйся, повоздержись. Сюжет неприятный, да и существенным позаймемся. Я вот припоминаю, такая погода... Освящение Исаакия изволите помнить, батюшка?

— Это точно; такой же день был прекрасный.

— И как пели, ах, великолепно! — воскликнула тетка.

— Изволили быть? — спросил гость.

— Где нам! — отвечал за нее муж.— Тогда по билетам, двор, посланники. Нет, мы с ней на репетиции были...

— На репетиции? — повторил священник.

— На пробе то есть! — отвечал тот и захохотал.— Все равно!.. Тысячу двести певчих-с! подумать только! Как грянули только «Тебе, бога, хвалим»... Знаете, я люблю, чтобы это... грандиозное все! Тысячу двести голосов!

— Да!!

— А в самый день освящения, вот их — гимназисты они были — водил смотреть ход, парад... И досталось же мне от Лизаветы Николавны!

— Как же, выдумали вести детей в тесноту,— возразила мать, взглядывая на сыновей.

— Детей? Да какие же они уж дети были, гимназисты-то? они и теперь еще не дети ли? А, маменька? Всеволод, ты дитя, что ли?

— Дитя,— отвечал он, продолжая есть.

— Только что в карцере высидел,— пошутил гость.

— И поделом! — подхватил дядя.— И не мешало бы еще...

— Ох, что вы говорите.

— Глядите, глядите, испугалась! — вскричал дядя.

Он захохотал; ему вторили.

— Слава богу, прошло, и не верится, что вот они...— говорила, смущаясь, мать.

— Ничего, сестрица, прошло. Нечего вам больше себя беспокоить... Блестящий тогда парад был, изволите помнить?

— Как же-с,— отвечал гость,— я тогда был при взводе на площади.

— Действующим лицом то есть. А мы только зрители... Ты, зритель, помнишь?

— Ничего особенного,— отвечал Всеволод, занятый с кузиной,— стреляли, темно стало от дыма.

— Тысячу орудий, милостивый государь мой, на набережной, на судах!

— Так что же? Стрельба — впечатление скверное.

— Ты, однако...— начал дядя и повернулся на месте.

Тетка погрозила Всеволоду пальцем; отец беспокойно оглянулся, мать заторопилась, не понимая.

— Даже здесь земля дрожала,— сказала она гостье,— моя покойница Анночка так перепугалась...

— У них еще дочь была? — спросила гостья тетку.

— Да,— отвечала та снисходительно.— Гораздо старше моей Ольги. Ольге теперь только шестнадцать, а та умерла шестнадцати. Средняя была между братьями. Так тогда это странно случилось: Аннета и вот Николай вместе простудились, вместе слегли; она не выдержала, а он... Единственная дочь!

— Да!.. иногда судьба...— сказала гостья и посмотрела на Николая.

Он встретил ее взгляд и потупился; он вообще конфузился. Он был тоже недурен собою, но совсем в другом роде, нежели брат: выше его ростом, стройнее, но худее и неловок; его руки висели безжизненно; будто не находя им места, он беспрестанно их сжимал и ломал пальцы. Он был странно, не болезненно, а как-то устало бледен; его темные глаза окружились; мягкие волосы прядями прилипали ко лбу. Иногда он посматривал по сторонам, тоже устало, будто ища, где отдохнуть, или

думая, скоро ли все это кончится, впрочем, без нетерпения, без скуки, равнодушно. Он и оглядывался редко, и не говорил положительно ни слова. Этого никто не замечал, хотя молодой человек был тоже героем дня и тоже для него устроился этот праздник...

Этого не замечали даже отец и мать, хотя смотрели на детей *поровну*. Отец и мать сами оторопели, не помнили, не понимали ничего, предоставляя праздновать гостям, умным людям, а они сами... что они? Их дело — только радоваться. Кругом них шумели, кругом них поднималась и вступала в свои права жизнь, хлопотливая, веселая, которую они... да знали ли они ее когда-нибудь? Если и знали, то в эти два года все забылось. Все забылось, будто умерло и заросло травою... будто совсем никогда не бывало. Два года! вычесть их у молодых, и то страшно, а у стариков, когда всякий день — ступенька *туда*, к концу, тянется бесконечно, а пропадают они все разом, вдруг, из глубины, из безнадежной темноты смотрит смерть... Если б еще своя собственная, а то эта... вот эти бледно-восковые, застывшие лица, эти отошедшие без родного ухода, без последнего целования, зарытые... Где их зарывают?.. Боже, два года муки! Они солнца не видят, они голодны... Птица пролетела, и та ненавистна! Два года, всякий час! Боже, и сны-то какие снились!.. Старость, беспомощная, больная, одинокая, с укорами от чужих, с уговорами хуже ножа острого, с толкованиями... чего и в толк не возьмешь! с жалостью этой безмолвной, что умеет только плакать, будто утешает, а только хуже надрывает душу... Что в жалости? Ведь этот жалостливый что отойдет, то забудет; у него свое дело, своя забота. Плачет он, кто его знает, он, может быть, о своем горе плачет; начнет с чужого, а вспомнит свое — вот и слезы... Так это, так! понимаем, сами бывали этим грешны... Господи, а греха сколько, ропота!.. Но как же не роптать! Дети — ведь это все! Все, чем жизнь красилась! Из чего же жить-то после них, скажите? Кому нужна пара стариков в гнилом домишке? Околевай они... без покаяния! Никаким покаянием не отмолишь того, что поднималось в помысле, в каждой охладевшей кровинке. Бывало, нож под руку не попадайся. Бывало, когда ночью небо далеко закраснеет всеми фонарями и плошками, думается... Создатель, не дай вспоминать, что думалось! Не дай памяти, владыко! Усмири, успокой! Лучше умереть вот сейчас среди этой

радости... Даже этой, *этой* самой радости больше не чувствовать, чем пережить хоть одну такую минуту... Дети, да что вас милее?..

Ох, да что ж это такое?..

Ну, праздновать, конечно, праздновать! Добрые люди... Как за этих людей молиться!.. сказали: «Ваших простят». Господи!.. Только их одних и простили. Как их не простить? Вот они, поглядеть на них — хороши, умницы. Разве они могут быть виноваты? Вот это и разобрали. Так как же не праздновать? Дом убирали, как на светлое воскресение. И спешили же; вдруг все поднялось. На последние гроши, не считая: положить все, что есть — и только! Ведь больше этой радости быть не может. Что на завтра останется?.. Да бог милостив: уж если он *это* дал, их воротил, он ли не пошлет... да что хочет, то и посылает!.. Не знали, к чему руки приложить, заметались. Все понемногу, порознь, припоминалось, что нужно то тò, то другое... Вернее, *не припоминалось*, а в этой радостной горячке, в этом приливе счастья, к старикам прихлынула струя молодости, удали, чего-то такого до того страстного, что могло выразиться даже не по-детски — смехом, а по-юношески — кутежом. Все приготовлялось, и все придумывалось, что бы еще? И это *еще* бедное, дешевое, эта «приданая» скатерть, береженая в сундуке, в приданое *той* красавице, покойнице... вот была бы рада, милая, как канареечка бы тут порхала!.. все это дешевое, старое, бедное и заветное, это все та же радость, разлитая вдобавок к слезам, к объятиям, к молитве, радость, для которой слов нет. Да и что говорить? Вот *они*, их больше не отнимут. И ласка подчас может быть лишняя: тревожит, напоминает; пусть *они* и сами позабудутся, успокоятся.

Пили и чокались настоящим шампанским. Андрей Иваныч для этого заложил серебряную табакерку и еще разное этому самому отставному гостю: у него касса. Обнимались, шумели; много пили.

— Нет, нет, Оленька, допивайте,— кричал Всеволод и, наливая кузине, плеснул на платье тетке.— Виноват! Ничего, хорошая примета!

Тетка была не совсем довольна, но смеялась, отряхиваясь.

— Ах, ты, ловкий кавалер! осторожный!

— Не осторожный, тетя, а острожный!

Все захохотали.

— Сочтите, когда я шелковое платье видел?

— Ах, правда, мой милый, правда!

— Только вот сегодня госпожа там была одна,— сказал гостю дядя, понижая голос,— с крыльца, я видел, ее сводили. *Туда* была допущена; значит, не из нашего брата... Андрей Иваныч, помнишь? Барыню-то? Не разглядел я, с гербом карета или нет. И кто такая...

— Допущена была? — переспросил гость.

— Да; все время там была.

— Кто же это?

— Не знаю... Да что ж мы! это вот сейчас... Всеволод, оглянись, батюшка, брось ты эту Ольгу!

— Что угодно?

— Какие такие у вас уж речи завелись? Развивать ее, что ли, желаешь? Смотри ты!

— Что вам, дядя?

— Что?.. забыл... Да! кто такая барыня, вывели оттуда, кричала, Сашу звала?

— А, это... Белорецкая,— отвечал Всеволод и опять обратился к кузине: — Видите ли, Оленька, если вы позволяете на себя навертывать шиньон и притом сами признаете, что это безобразно...

— Она как же родня этому Саше, Всеволод?

— Мать,— отвечал он,— то я, Оленька, не могу уважать вас...

— Мать! — повторил, вздыхая, священник.— Поистине, милость господня...

— Над ними-то?

Дядя указал на брата и его жену.

— Еще бы! Ведь только *их* одних, одних-с... Да! Мы теперь из всех тех одни пируем, во всем Питере одни!

— Даже это очень оригинально,— заметила гостья.— Но знаете, как становится жарко.

— Можно в сад кофе кушать,— отвечал хозяин,— у нас здесь все равно как дача.

— Хорошо у нас,— сказала мать.— И сад весь убран.

Она поглядела на сыновей. Николай не поднимал глаз; Всеволод говорил с дядей.

— Пожалуй, дядя. Что ж, я рад, если вы мне это уладите. В Москву так в Москву. Это даже будет лучше казенного места.

— Да тебе, любезный, казенного-то — погоди еще!

— Да, погодите! — подтвердил гость, и оба захохотали.

— Не огорчаюсь. Только вот как жалованье?..

— На островах теперь приятно,— сказала гостья.— Вот бы молодой девице. И кстати, два молодых кавалера провожатых.

Тетка слегка вспыхнула, но воздержалась.

— Туалет нужен,— возразила она, глядя в сторону.

— Это жаль, для молодой девицы...

— Я не так пуста, чтобы думать о гуляньях,— прервала Ольга.

Это сказалось для Всеволода, но он не слушал; он спорил с гостем и дядей. Из-за стола вставали. Стало еще шумнее и теснее, когда горничная и девочка начали уносить стулья в сад. Мать приказывала, выходила и приходила.

— Пожалуйте,— повторял хозяин.

— Вы как будто не радостны,— сказал священник Николаю.

— Нет, ничего...

— Почему же вы так молчаливы?

— Ничего... Так.

— Нехорошо. Значит, в сердце вашем... Значит, вы не признательны. Грех великий. Как некогда в ковчеге спасалось единое семейство, так и теперь такая же милость господня над вами, а вы...

— Что такое вы говорите, батюшка? — вмешалась мать.

— Я устал очень, мама,— прервал Николай.— Вы в сад идете? Можно мне наверх?

— Да как же! В твою светелочку? Я убрала. Можно, можно. Приляжешь?

— Барыня, я уж чашки несу,— закричала ей горничная.

Николай взошел в светелку; дверь внизу лестницы не притворялась, как и два года назад; мелкие ступеньки знакомо скрипнули; он припомнил, какая из них шатается, и привычно придержался за решетку, которая колодезем окружала вход наверху. Все по-прежнему; белый половик протянут дорожкой от входа до низенькой постели. Над постелью большая фотография в раме. Пожелтела, побледнела; только выдается лицо раба,

который подает одежду господину и хохочет — рад, что идет освободитель...

Николай заломил руки.

Что ж это, что ж это такое? Одни? Где же остальные?.. Вот, сейчас, над головой читали: *«Было десять больных: где ж остальные?..»* Да, где они, остальные? Те-то, о которых читали, исцелились все десять, а эти, эти — куда их унесло, где они?

Он вскрикнул и заметался.

Где они?.. Пируем, празднуем, врем чепуху, утешены, устраиваемся, как будто ничего не бывало! «Милость господня; непризнательность — грех великий»... Все забыто, все по-прежнему, все прекрасно, всем покойно, всем весело... О, подлость! Стыд, стыд! Волосы на себе рвать, убить себя надо... Посмотреть, как все развалилось... Освободитель, ты видел!.. посмотреть, как честные, дорогие положили голову — и на радости объесться и напиться! Стыд!.. Стыдно было им в глаза смотреть. А они еще поздравляли! Они же радовались!.. Саша сказал: «Хорошо, что хоть ты; будь счастлив...» Глупый ты, Саша, разве возможно счастье после того, что вынеслось? Кто видел, как ты вышел, не оглядываясь на несчастную, что подмела пол своими седыми волосами, кто слышал твой последний ответ... Да чем же я правее тебя? Тем, что бездарнее, только!..

«Правее...» Неправые!

Он хохотал, рыдая, клича погибших по именам, заливаясь слезами; безумный, вскрикивая от боли, которая схватывала горло и грудь, колотясь головой о стены... Он разбил бы, разнес бы эти стены, этот дом, это небо, что рдеет за окном, пламенное, раздражающее...

О, опять туда, туда, назад, в тюрьму,— там легче! Там ждалось. Там были они: ждалось за них. Теперь... ничего. Как это так — ничего? Пустота? Что это такое? Темнота, сырая земля — и пусто. Главное, что ужасно, это то, что — пусто. Глухо; ничто не существует. Все ушло — и тишина, тишина...

В саду смеялись. Он подошел, шатаясь, и прислушивался.

Как это странно. Просто, странно, и ничего больше. Все кончено; в душе нет ни на что отзыва. А вот там люди живут; кто-то там копошится, празднует... Ну, празднуйте без меня, на здоровье. Я не ваш... Ведь и всегда был лишний: родился сын, родилась дочь, к чему ж было

еще третьего? и лишний расход, и незанимательно... Сестра!.. Умна она, что отправилась скоро. Честная; таким на свете делать нечего... А будь она жива теперь... Ее тоже мало помнят... Да, будь она... Подивилась бы тоже, что, в самом деле, как это оригинально: празднуем одни... Ну и что же? Ну и только. Была бы тут, вот тут, было бы с кем обняться... Поразобрали бы вместе непризнательность к милости господней...

Так — ковчег, спасены и приносим жертву? Точно, был и телец упитанный... Учил когда-то: вышед из ковчега, соорудил алтарь и заклал кого-то из спасенного запаса. Первым делом благодарности — убил. Вода еще не обсохла, и кровь уж пролилась. Алтарь — первая, что попалась,— куча камней. Наворочено их было, конечно, много. А из-под алтаря не выглянули ли чьи-нибудь застывшие ноги? Ведь и этого было тоже довольно... Что ж, поделом. Не греши... Убрали да поблагодарили.

Он сжал руки и ходил по комнате, неровно, толкаясь о стулья и пожимаясь от дрожи. Ему было холодно. В душе стало тоже вдруг как-то спокойно-холодно. Что-то решено, будто отрезано. Кончено... Что такое кончено? Как сказать? Да — все! Пусто, ничего нет. Его темные глаза светились так же холодно, будто сталь; губы сжимались. Он улыбался.

Он подошел к письменному столу. Прелесть как чисто убрано: Все на месте, до старой афишки и билета в театр, засунутых под чугунную плитку. Да, тогда не удалось пойти, *помешали*, попал в другое место. Он засмеялся. Посмотреть, что такое назначалось.

Он читал эту двухгодовалую афишу очень внимательно и серьезно и опять положил на то же место. Пусть себе лежит. На память.

Все его движения становились медленнее и размереннее. Он задумывался, машинально оглядываясь, наконец сел и, не сводя глаз, глядел издали в окно, все полное света пыльного, нескончаемого дня. Тоска какая; когда ж это смеркнется?.. Он зевнул и засмеялся. Говорят, на приговоренных к смерти всегда нападает зевота. Физиологическое замечание, кому есть досуг замечать...

Машинально он тронул книги, уложенные на столе, повертел карандаш, устанавливая его стоймя, бросил, следя, куда он покатился, облокотился на колено, упер-

ся головой на руку и зажмурился. У него шумело в висках. Он вспомнил, что не пил вина и что этого никто не заметил; не до того было, конечно. Он сидел не шевелясь. Тишина кругом была мертвая.

Вдруг он порывно ударил себя по колену и встал; его лицо горело, взгляд сверкнул грозно. Он выпрямился и вздохнул всей грудью. Потом, как-то особенно тяжело ступая, подошел к углу, где стоял маленький длинный шкапчик, обхватил его и сдвинул с места. Судя по худобе молодого человека, нельзя было предположить, что у него достанет силы, но он сделал это легко, сгоряча. На стене висели клочья черной паутины: очевидно, тут давно ничего не трогали.

— Цело...

Под шкапчиком кусок половицы был отпилен и вложен опять по-прежнему, незаметно Николай стал поднимать его. У него дрогнули руки; в остановившемся взгляде мелькнуло какое-то колебание. Казалось, он был бы доволен, если б не нашел того, что искал. Он откинул волосы; его лоб был холоден. В вырезке пола лежало что-то, связанное в узел в платок. Николай развернул и вынул револьвер.

Цело, и все тут, что нужно. Он отнес все на письменный стол и осматривал. Что-то не ладилось; нужно масла. В углу горела лампадка. Николай встал на стул, дунул на огонь и вынул чашку, оглянувшись, как там вдруг потемнело; туда не доходил свет из окна.

— Жить стыдно.

Он стал заряжать. Тысячи красных, пестрых искр вертелись и туманами расстилались у него в глазах; он не видел, что делал... Готово.

Он не видел, как из-за решетки лестницы, будто из пола, поднималось что-то, подошло, неслышное, и рухнуло ему в ноги.

— Мама...

— Николай, а я-то... без тебя... я-то что же?..

ВЬЮГА

Отрывок

1888

Ольге Алексеевне Новиковой

Se fosse amico il Re dell'universo,
Noi pregheremmo lui per la tua pace,
Da ch'hai pietà del nostro mal perverso.
(Inferno V) [1]

Сторона глухая, очень далекая. К чему подробности, где она именно, кто и как в ней живет,— угол нашей родной стороны. Кто о нем слыхал, кто читал, кто и сам бывал.

Ноябрь. День будто не рассветал с утра, а к вечеру темнота становилась непроглядная,— белая темнота земли, засыпанной снегом, и неба, полного снега. Широкая поляна обрывается овражком; речка в глубине его стала еще в сентябре, а теперь сугробы занесли ее почти вровень с берегами. За ней крошечный поселок; короба его кровель волнуются, будто ряды могил, а над ними, на сумраке, мелькают пятна сосен, неясные как привидения. На другой стороне оврага поляна идет отлого в гору; наверху сосны крупнее и стройнее; под ними прижалась низенькая бревенчатая церковь, а вокруг нее ряды уж настоящих могил, уж совсем заметенных...

В нескольких шагах от церкви стояла изба, довольно большая в сравнении с избами поселка, крытая соломой, но с трубой, из которой тяжело поднимался дым; его опрокидывал и расстилал ветер, хотя не сильный, но обещавший непогоду. Снег еще не шел; на поляне еще была заметна узкая дорога. У крылечка избы она даже лоснилась под ярким светом из окна...

Роскошь неожиданная: окно с большими стеклами, а свет — от лампы.

Лампа, маленькая и бедная, горела на некрашеном столе пред раскрытою книгою; на голой стене была еще полка с книгами. К столу был придвинут старый стул; была еще переносная скамейка и лавка, вделанная в сте-

[1] Будь мы угодны пред царем созданья,
Мы б помолились о тебе за то,
Что жалостлив ты к грешному страданью. (Ад. V)

ну. В глубине — узкая дверь и за ней темная каморка.

Эта половина дома называлась «чистой», «горницей». В другой половине, старой и низенькой, живут хозяева: дьячок, он же церковный сторож и могильщик, и его жена, люди, может быть, еще не старые, но кто помнит года людей, до которых нет никому дела. Десять, а может быть, и двадцать лет дьячок по праздникам прислуживает в церкви; священник приходит из селения,— он живет там, не в этом пустыре. В будни дьячок иногда является за каким-нибудь делом в селение, но это чаще бывает летом. Летом видят и его жену, когда она, пользуясь теплом и бесконечно светлыми вечерами, выходит шить на завалинке? Детей нет. Давно, когда по весне зеленела поляна, видали издали их белые рубашонки, слышали их крики и смех,— но, должно быть, уж очень давно: всех своих и детей и подростков старики в разное время снесли к церкви, под сугробы. Они, однако, не одни в своей просторной избе: в «горнице» у них помещается жилец.

Этот жилец стоял у окна, глядя, как его затягивало холодом и как все тусклее становились остававшиеся продушины. Он наблюдал, как морозные иголки сцеплялись в звезды, в треугольники, как из них росла путаница веток, крестов, кореньев; делалось досадно, когда некрасивая льдинка, прилипая не у места, портила общий рисунок, нарушала задуманный узор... Точно, делалось досадно: наблюдавший думал только о морозных узорах. Больше думать ему было не о чем.

Ему казалось лет тридцать, не больше; его не старила даже худоба, заметная в вытертом мешковатом пальто. Он был бледен, дышал устало; глаза светились, какие-то равнодушные; на губах пробегала улыбка. Это был человек поконченный.

В самом деле, о чем думать? Молодость оборвана семь лет назад. Труд и знание, животворящие идеалы, настойчивые стремления, страстные порывы, общение с лучшими людьми, их совет и руководство, поддержка честной дружбы, беззаботное веселье товарищества, неясные мечты еще не изведанной любви... где все это? Да уж было ли это? Полно, бывает ли это когда-нибудь?..

В утешение себе, в успокоение, не напустить ли себе в голову, что этого ничего нет, что счастье — бред, а цели — чепуха, что они только мерещатся людям, пото-

му что люди глупы, что все прах и заслуживает только ненависти и насмешки?.. Мудрые так и решают. Жаждать каких-то благ,— и не одному себе, а в компании,— подкрепляться трусливой верой... К чему, когда нет ничего? А если нет ничего, то не все ли равно, где ни кончать,— среди наслаждений цивилизации, интеллигенции... еще чего? Или вот так. Все равно!

Образов кругом, образов без конца... Все равно!..

Он закрыл руками лицо; между худыми пальцами вдруг брызнули слезы. В душе прорвалось что-то детское. Вдруг грянуло, словно обожгло, не воспоминание, не чувство, не ощущение,— *что-то*,— и выразилось одним словом:

— Мама...

Она приехала следом за ним в тот же год. Единственный; только и было их двое в целом мире. И все перенесла... Темень какая, не видно. А так и выбирал место; чтобы прямо против окна. Холодно ей. И весной-то, копал, земля еще не оттаяла...

Он не знал; он был, кажется, рад ее смерти. Он так любил ее, что без слез отпустил отдыхать. Это вот теперь сорвалось.

И то не о ней. Жаль не ее искреннего святого веселья, не ее благословения, не ее ласки, когда, бывало, уходит ночевать в свою комнату. Жаль не того, что больше нет ее, а того, что она когда-нибудь была тут и выносила...

Да, стало как-то легче, когда она вздохнула в последний раз. Бог с нею. Что, если бы одинокой осталась она? А это было бы скоро. Предчувствовала, бедная голубка! материнских глаз не обманешь, и мужества было меньше... «Как ни жить, но жить вместе...» Отмучилась.

— Николай Михайлович, ты еще свою лампочку не погасишь? — послышалось из дверей хозяйской половины избы, и на пороге явилась хозяйка.

— Рано,— возразил, не оглядываясь, жилец.

Другая роскошь — деревянные часы в эту минуту, шипя, пробили шесть.

— И то. А мой старик спать залег на печь. Ты станешь свою книжку читать, а я приду пряжу сучить. Можно?

— Милости просим,— отвечал он.

Она ждала ответа; это повторялось всякий вечер.

— У тебя светлее,— договаривала она, идя к себе,— и страха нет, нежели когда с лучиной.

Скоро зажужжало ее веретено. Часы обрадовались, что на них обратили внимание, и защелкали громче. Эти звуки не убаюкивали, не наскучали; они тянулись, как что-то неизбежное, непреложное. Мысль застыла. Одно томящее ожидание — вот-вот сейчас кончится... Что?.. и полнейшее сознательное убеждение, что конца не будет. Даже ничто не шевелилось; разве изредка тень от руки хозяйки.

Вдруг молодой человек сделал резкое движение и ближе наклонился к окну.

— Николай Михайлыч, ты бы, батюшка, лучше отошел; вон,— прямо грудью на холод.

Он не слушал и всматривался. В конце поляны, над оврагом, что-то засветило среди мрака, тускло, красно, будто зарево, поднималось выше, разгоралось жарче. Пожар? Но чему там гореть?

Свет все вырастал; чрез несколько минут он разделился большими туманными кругами, потом рассыпался искрами; они прыгали, как огни на болоте; то отделялись, то скучивались, вдруг собрались тесно вместе и понеслись по дороге, прямо к избе. Послышался топот, визг полозьев, голоса.

— Господи помилуй! что такое? — вскричала, вскакивая, хозяйка.

Жилец выбежал в сени.

У крылечка стояла кибитка, тройкой, светился десяток фонарей, толпились люди,— одни верхами, другие выбирали из кибитки, кого-то высаживали.

— Вотяков! Николай Михайлович! — раздалось звонко.

— Я! Здесь! — отвечал он.

Кто-то бросился ему на шею; он приподнял что-то легкое и внес в избу. К его лицу прижимались холодные нежные щеки, его крепко целовали... Женщина? Девочка? Она бросила шубу на пол. На ней что-то бледно-голубое; на голове красная шаль; она бросила и ее.

— Я — жена Вани. Он тут. Милый, здравствуй, здравствуй. Ты меня никогда не видел. Я — Катя, жена Вани Заборовского. К тебе приехали. Вот и он идет...

— Отрекомендовалась! — весело сказал, входя, молодой господин, закутанный в шубу.— Здравствуй, Вотяков. Не узнаешь? Разумеется, не ждал! Вот ей обязан. Мы — новобрачные, она выдумала...

Вотяков оглядывался, потерянный. Молодая женщина все держалась за его руки.

— Вы? Вздумали ко мне? Но вы меня не знаете...

— Знаю, знаю! — прервала она.— Ах, не говори мне *вы*... Все знаю! Ты его друг, у вас все было заодно, вы вместе пропадали... Его бог помиловал, а ты... Где же мама?

— Мама?

— Твоя мама! Я ее ножки поцелую...

— Мамы нет...

— Господи!

Она опять бросилась ему на шею.

— Нет? Умерла? Ты один? Давно? Ваня, слышишь? Один, с весны, давно...

— И не написал! — сказал Заборовский.

— Кому?

— Я столько раз давал адресы...

— Я не получал.

— Тебя переводили?

— Я здесь безвыездно пять лет.

— Так это обыкновенная история! — возразил Заборовский, нетерпеливо смеясь.— Ну, этот вопрос исчерпан: свиделись. Возобновим знакомство. Мы, друг мой, совершаем свадебное путешествие. Оригинально, не правда ли, по сугробам? Все-таки летим сравнительно на юг; не на золотое солнце, а в золотой Питер, к людям, на свет божий. Ведь она ни о чем понятия не имеет! Ведь всего пятнадцать лет,— совсем девочка. Мы получили une dispense и три недели тому назад соединились... Так ли, три недели, Catherine?

— Да,— выговорила она.

— Пятнадцать лет, но хитрость — совсем зрелая, женская! Вообрази, берет с меня, уж не просто — слово, а целую клятву, что я исполню ее первое желание. Делать нечего; сам знаешь: женщина если что затевает... и, наконец, нельзя же! Добиваюсь, что такое? — молчит. Третьего дня приехали в Т*, она объявляет: «Вези меня к Вотякову». Полсотни верст, но клятва!!

Она все смотрела на Вотякова. Он тоже взглянул пристальнее в ее беленькое кругленькое личико и огромные черные глаза с закрученными ресницами. Ее волосы, обрезанные до плеч, влажные от мороза, уж высохли и кудрявились.

— Рассказывай о себе,— сказала она тихо.

Мне рассказывать нечего,— возразил он,— вот все тут.

— Чего же ты ждала больше? — спросил муж.

— Все! — повторила она,— только?

Она зажала лицо обеими ручками; Вотяков отвел их и поцеловал.

— Полно, голубушка...

— Я не знал, Catherine, какая ты нервная,— заметил Заборовский.— Спроси его самого; ему,— натурально, сравнительно! — еще не так дурно, как бывает. Не особенно глухо: город хоть уездный, всего пятьдесят верст; может быть общество... И здесь — комфорт, чистое помещение. Как тебе удалось такое найти?

— Пристройку сделали.

— Ты сам? на свой счет. Нашлись средства? — договорил Заборовский с грустной улыбкой.

— Мать привезла с собою, что собрала, денег,— нетерпеливо отвечал Вотяков.

— Ликвидация... Да!! Трудны бывают ликвидации!.. А хозяева что? Они, кажется, не здешние уроженцы: говорят по-человечески.

— Да, они из-за Москвы.

— Это приятно; можно их понимать. Видишь, Catherine, вот и еще: он не так и одинок... Во всяком положении нужно мужество, душа моя; некоторая покорность неизбежному. Все беды от мечтаний, от преувеличений, от поэзии... Кстати, Вотяков, вообрази: поэтесса! Много на алтарь супружеского повиновения возложено всесожжений,— идиллий, посланий к луне, к господу богу... В их стороне растут все такие-то барыни: или жиреют, или витают в облаках. А она — все так сложилось — единственная, балованная, матери нет. Отец, знаешь, заводчик, богач Баратаев...

— Не знаю.

— Как не знать; верно, пропустил мимо ушей. Его все знают; дело было замечательное. Он меня и выписал именно для этого самого дела... По репутации! я — присяжный поверенный недавно, но la valeur n'attend pas le nombre des années![1] — прибавил он, хохоча.— От нее заимствуюсь поэзией. Я прожил в их трущобе несколько месяцев; познакомились. Отец очень хлопотал о ее воспитании,— конечно, оригинально, беспорядочно.

---

[1] талант не нуждается в закалке временем! *(франц.)*

Например, держал у себя на заводе англичанина-мастера, еще за старшего большое жалованье платил, а тот путает, ну и напутал! вся каша по его милости заварилась... Но очень был привязан вот к этой молодой особе, учил ее, учил, развивал, читал... Нашелся музыкантик из несчастненьких: Огиньский да Шопен,— ну!.. И в особенности некая мадам Камилль, бывшая подруга одного вот такого, как ты. Дочь у нее взрослая. Как умер ее любезный, ехать им на родину не с чем, да и не к чему; они и свили себе гнездо у ее батюшки; тоже развивали, учили жизни, по горам, по долам, по избам...

— Где они теперь? — спросил Вотяков.

— Пока остались с папашей; все вместе ко мне приедут,— отвечала Катя, встала и обходила комнату.

— Ты озябла? — спросил муж.

— Нет.

— Конечно, мудрено озябнуть... Полюбуйся, Вотяков: еще образчик изящного вкуса, изобретательности и прочее — для свадебного путешествия стеганый балахон на пуху, собственного фасона... Ну-с, я пожил там, справил дело моему клиенту и затем дал совет — порешить с своими заводами и со всеми затеями, потому что — кто знает, на что еще нарвешься; продать, не мешкая, благо встретился храбрый покупщик, ликвидировать крупненький капитал и ехать с ним, где можно поместить его выгоднее и безопаснее. Он убедился; а я, чтобы самому не возвращаться только с грузом надежд,— я захватил с собой вот залог... Поди сюда, Катя.

Он потянул ее за полу блузы и посадил к себе на колени.

— Ни о чем понятия не имеет. Вот в Питере повеселимся, наделаем нарядов, людей посмотрим, поучимся держаться. Много надо еще поработать...

— Вас нужно, Катерина Васильевна,— произнес, появляясь, рослый лакей в меховом пальто, но в белых перчатках, которыми заменил дорожные.

— Куда? Зачем? — спросил Заборовский.

— Хозяйка...

— Что ей нужно?

— Я есть хочу! — вскричала Катя.

— Вот, я так и знал! Я говорил — переночевать там, в селении, а сюда ехать утром.

— Ничего ты не знаешь,— весело прервала она,— уж все готово. Ведь мы едем целым домом,— обрати-

лась она к Вотякову.— В деревне оставили возок, людей; в кибитке легче... С нами все есть: погребец, складной самовар,— а я и в городе и в деревне запаслась разными разностями... Пусти, Ваня, некогда...

— Хозяйка предлагает внести другой стол, небольшой,— докладывал лакей,— я осмотрел, у них чисто...

— Хорошо, хорошо.

В избе хозяин не слезал с печи; извозчик и провожатые ели из дымящейся чашки; хозяйка угощала их и хвалилась Кате, как разогрелись привезенные хлебы и закуски.

— Жареное-то и застыть не успело; у попа из печки его взяли,— смеялись провожатые.— Затейница барышня! Только сбирался батька заговеться...

— А вы вместо него заговеетесь,— весело отвечала Катя.— Хозяюшка, и окорок тоже вам, угощай гостей.

— Вот покорно благодарим. Одно, что заговенье без выпивки.

— Это уж не прогневайтесь, у нас не водится,— сказала хозяйка.

— На месте будет, как доедем,— прибавила Катя.

— Живо доедем! С фонарями.

— Вот что у них хорошо,— сказал с печки дьячок,— чай они заварили. Дух какой! Московский, надо быть?

— Нет, дедушка, лучше: с Ирбита, с ярмарки,— отвечала Катя, останавливая лакея, который желал нести в «гостиную» сервированный стол, как это делается на сцене.— Вот откушай.

Она налила стакан и, держа его, вспрыгнула по выступам печи.

— Ишь ты, котенок! — вскричал старик, с радостью схватывая подстаканник.— Спасибо, милая!

— На здоровье. И еще налью. А кружечка тебе от меня на память.

— Что ты, что ты...

— Непременно.

— Это она, как покойница Николая Михайловича матушка,— сказала хозяйка,— все, бывало, отдает: «Все здесь ваше; даст бог уедем, все вам после нас останется». Так и говорила: «Даст бог». Все одно в уме держала — уедет, да вот не уехала.

— А хотелось ей отсюда?

— Как не хотеть. Хоть и небогатая, а все непривычна. Хлебы замесить, постряпать, пол подмыть... Это она

от Николая Михайловича потихоньку, когда он куда уйдет: не допускал; меня попросит, а то сам,— дрова, воду,— что только может. И тоже опять: пища. Какая у нас пища? Бывало, бедненькая, посидит-посидит, да так и встанет. Видно, что голодна, только не доказывает. Разве когда Николай Михайлович зайца или птицу какую поймает... в силок; ружье — сохрани господи, нельзя. Так тогда она и покушает. Жалость смотреть... Раз он ей из города два яблочка принес; она увидала, заплакала — сколько лет в руках не было! Это он тем годом три месяца в городе прожил, у исправника, сына его учил. Можно было, потому — исправник, и все будто под секретом; у другого кого и вовсе бы нельзя. Умный он: очень ученый человек, Николай Михайлович. Если бы ему почаще так... Двадцать рублей заработал. Но уж нынешнее лето — где! Без того был плох, а уж после матушки своей... Любил ее очень... А пуще всего по нем она изводилась; хорош, умница — пропадает! Все скрывает, все: «Его святая воля»,— а то и посмеется, а видно было — точит ее.

Молоденькая женщина слушала, сложив ручки.

— Родня он вам? — спросила хозяйка.

— Нет.

— Catherine! — громко раздалось из горницы.

Она будто проснулась и пошла.

Сервированный стол был уже внесен, в дорожных подсвечниках горели длинные свечи; столично воспитанный служитель постарался придать избе вид салона. Неожиданное яркое освещение почти поразило Катю.

Ее бы еще больше поразило то, что без нее, в эту четверть часа, было говорено между ее мужем и Вотяковым.

Оставшись одни, оба казались затруднены. Заборовский потупил голову и постукивал ногою в пол. Вотяков молча встал и ходил, вернее, нетерпеливо метался на нескольких шагах комнаты.

— Ты удивлен? — спросил наконец Заборовский, улыбаясь.

Вотяков остановился.

— Нашим приездом? Да?

— Именно вашим,— повторил Вотяков.— Именно вашим. Вас я никогда не ждал видеть. Я бы не удивился, если бы эта милая женщина явилась совсем одна...

— А, понравилась! Влюбился? — вскричал, смеясь,

Заборовский.— Проворно! Видно, и в вашей стороне... Да что: тут-то для любви и самое житье! Но делать нечего, любезнейший: жена ближнего! Ты, впрочем, не можешь жаловаться; ты ей хорошо отрекомендован...

— Она называет нас друзьями, вы говорите мне *ты*, чего никогда не бывало.

— Ну да, мы не были коротко знакомы...

— Нет, хуже: мы раззнакомились, разошлись...

— Будто бы? Вообрази, я и не помню. Ведь — семь лет! Не юридическая давность, но все-таки много воды утекло... К тому же, я человек тебе обязанный. Не шутя,— потеха! Я должен быть тебе благодарен; я отчасти одолжен тебе... как это говорится, моим семейным счастьем, любовью и прочее. Твое имя все решило. Слушай... Я откровенен. Я там веду папашино дело с рабочими, но не забываю и свое дело, ухаживаю за барышней. Для юной души — новость положения и все такое; смущена — но... ничего решительного: ни да ни нет. Вдруг приезжает к папаше приятель и рассказывает, расхваливает, как ты куда-то блистательно изготовил его сынка. Я слышу: «Вотяков!» Постой: идея! Тема для сенсационных рассказов: «Знал тебя, уважал, разделял убеждения, вместе пострадали». Моя поэтесса с ума сходит: и я — герой, и ты — герой...

— Вы осмелились...— вскричал Вотяков.

Заборовский не слышал за собственным смехом.

— Я, не теряя времени — к папаше: «руку и сердце!» Вообрази, не польщен! Но я тогда тащил его из петли, и перейди я на другую сторону... Ну, удача делает человека добрее. Удалось. Только денег, плут, не дает в руки, приходится до поры до времени ублажать дочку. Перевезу его в Питер, схватим кусочек железнодорожной концессии... На радости и старые счеты забыты... какие там они у нас были? Эх, если бы тогда вместо дальних странствий дать вам хорошенькие командировочки...

— Замолчите! забыли старое? — вскричал Вотяков,— забыли, что я первый из всех не захотел вас знать, что я вам сказал в лицо... Повторить, что я сказал?..

— Некогда повторять, любезнейший,— возразил, отступая, Заборовский,— и силы будут неравные... И неучтиво: я с дамой. Воздержитесь... Catherine!

Она вошла, рассеянная, думая только о том, что говорила хозяйка.

— Какой ты бледный, ты все хвораешь,— сказала она Вотякову.

— Сама жаловалась, что голодна, а целый час там ведет беседы,— сказал Заборовский с шуткой, полной сдержанной злости.— Твои запасы, и уездные и деревенские, никуда не годятся, в рот взять нельзя. Если, высоким слогом, ты желала преломить хлеб с другом, то не удалось.

Вотяков подал ей кусок черного хлеба.

— Твой,— тихо сказала она, держа его за руку, и съела, глядя ему в лицо.

Заборовский налил себе чаю и пил.

— Весна еще далеко,— выговорила Катя,— если бы тебе потеплее, полюднее...

— Все равно,— возразил Вотяков.

— Нет!.. Ведь это можно... Ваня, ведь можно там напомнить, просить? Неужели не сделают? Ваня, я пойду просить. Я хочу, чтобы он приехал к нам... Ах, уедем сейчас, вместе!

— О милая, как проворно! — сказал, смеясь, Вотяков.

— И главное, как бестолково,— хладнокровно заметил Заборовский.— Из таких изб прямо в Петербург не перелетают; ты это можешь знать, и даже очень хорошо знаешь. Если он намерен лечиться серьезно, следует обратиться к хорошему врачу. Наконец, если и переведут как-нибудь поближе, надо думать, как пристроиться, чем жить, поискать занятия,— натурально, частного,— тоже где-нибудь в селении... Выдумала! прямо в Петербург, которого сама не видывала...

— Пожалуйте на минуту,— почтительно отозвал его лакей.

— Что там?

Заборовский встал, споткнулся о скамейку и выбранился. Катя взглянула ему вслед.

— Любишь ли ты его? — спросил Вотяков.

— Боюсь,— выговорила она будто вскользь, но твердо, и встала.— Осмотрю у тебя всякий уголок. Знаешь, что я думаю, что всего ужаснее? Вот ты нам рад, тебе весело; будто темноту разорвало, свет проглянул на минутку,— так, просветик, промежуточек. И ты знаешь, что это на минуточку, что сейчас темнота опять все заволочет, сейчас, сейчас, все ближе... все уходит, не воротится, а завтра, завтра, и дальше, все холод, все тьма,

пустота, бесконечное... И все уплывает, а надежды нет...

— Милая, не говори так! Ты молода...

— О, ты не говори! Что ж мне, для себя нужно, что ли? Я видала, знаю, слыхала... Но, господи, дай хоть это!.. Нет, верю, свидимся, не расстанемся! Слушай. Отец мне не откажет. Не хочу я веселья, нарядов, ничего этого! Упрошу отца, он купит деревню, в тепле, в цветах, русскую, милую деревню. Уедем туда,— ты, Камилль, Анночка. Будем жить тихо, молиться, радоваться, делать всякому добро. Хочешь? Приедешь?

Дрогнула какая-то тень; Катя оглянулась на стены. Бедная лампа, теряясь в сиянии канделябров, едва освещала этот угол. В деревянном киоте была прелестная Мадонна с младенцем у груди и белой розой в руке,— копия со старинного мастера.

— Мамин образ? — спросила она, шепча, как в церкви.

Вотяков наклонил голову. Она крестилась.

— А это что? — спросила она, пересиливая слезы и показывая на книгу, раскрытую на столе.

— Вот что,— отвечал он, водя пальцем по строкам:

Будь мы угодны пред царем созданья,
Мы б помолились о тебе за то,
Что жалостлив ты к грешному страданью...

Она откинула листы и взглянула на заглавие.

— Не читай ужасов. Будем ждать.

Они стояли, держась за руки...

— Так чего ж еще! Пора! — говорил, возвращаясь, Заборовский,— Catherine, одевайся; поздно. Сейчас подадут кибитку.

— Нет и двух часов, как мы здесь,— возразила она.

— Не ночевать же здесь! Будет вьюга...

Лакей вбежал суетливо.

— Дьячок не отдает серебряного подстаканника,— обратился он к молодой госпоже,— говорит, вы ему подарили...

— Ну да, подарила.

— Стало быть, пару разрознили...

— Куда же ты? — вскричал муж.

— Проститься с хозяевами; их-то, вероятно, я век не увижу... А с тобой — поживем! — радостно сказала она, уводя с собою Вотякова.

— Выскочил! Батюшка, Николай Михайлыч, побойся бога... Холод такой! — кричала хозяйка.

Он с крыльца смотрел вслед, покуда мелькали фонари...

Весной дьячку и его жене осталась в полное владение опустелая горница. Голубое облачко ладана застилало лик радостной Мадонны. «Батюшка», кончив литию, кушал из серебряного подстаканника остатки сбереженного ирбитского чая.

Через несколько месяцев в далекой чужой стороне, под вьюгой померанцевых цветов, томилась и умирала молодая женщина. Зимний сезон был оживленный; ее наряжали, показывали, учили уму и веселью; ее оскорбляли, перед ней лицемерили и, наконец, роскошно отправили «поправляться...». Сизые горы, лазурное море; на солнечных дорожках сверкают фазаны, в сумраке чащи белеют мраморные богини. На скамье под шатром красного зонтика — компаньонка в высокой шляпе, с романом Мопассана в руках; на песке растянулся модный франт и рассказывает, как сейчас купался... Катя отошла далеко, стоит, смотрит, смотрит... вспомнила. Было счастье... давно! Потом — толкотня сытая, жадная, бессмысленная, безжалостная, бессовестная. Все чужое, все чуждое; ни привета, ни человеческого слова... Неужели так доживать?

Цвет сыплется... Снеговая вьюга легче...

Н. Д. ХВОЩИНСКАЯ
(В. КРЕСТОВСКИЙ — ПСЕВДОНИМ)

Творчество Надежды Дмитриевны Хвощинской (1824—1889), большую часть произведений опубликовавшей под именем «В. Крестовский — псевдоним», тесно связано с деятельностью писателей-демократов, выросших под непосредственным идейным влиянием Н. Г. Чернышевского, Н. А. Некрасова, М. Е. Салтыкова-Щедрина. Как и другие писатели-демократы 60—80-х годов: И. А. Кущевский, И. В. Омулевский, Н. Ф. Бажин, И. А. Салов, К. М. Станюкович, А. О. Осипович-Новодворский, группировавшиеся вокруг журнала «Отечественные записки», Хвощинская в меру своего таланта правдиво отразила общественную борьбу своего времени, поставила важнейшие социальные вопросы, волновавшие передовую русскую интеллигенцию, ищущую путей преобразования социального строя самодержавной России. В центре ее творчества неизменно находились проблемы борьбы с социальным злом, обличение реакционных охранительных сил самодержавия, критика буржуазного либерализма, бичевание политического отступничества и предательства интеллигенции в годы реакции, проблема отцов и детей на новом историческом этапе. Начав в 40-е годы XIX века со стихов, в которых звучали мотивы протеста и гражданской скорби, Хвощинская уже в 50-е годы завоевала широкую известность своими романами и повестями. Н. Хвощинскую высоко ценили Некрасов и Салтыков-Щедрин, которые печатали в своем журнале «Отечественные записки» большинство ее произведений 70—80-х годов. «Для журнала нашего особенно дороги Ваши произведения, так как в них публика всегда найдет для себя отличное и здоровое чтение» [1],— писал Щедрин Хвощинской в 1876 году и неоднократно повторял эту оценку впоследствии. Н. Хвощинскую считали своей единомышленницей выдающиеся представители русского демократического искусства и науки, такие, как М. Н. Ермолова, И. Е. Репин, И. Н. Крамской, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов, Н. В. Шелгунов, поздравившие ее в 1883 году с долголетней плодотворной деятельностью на благо русского народа.

Сорокалетний творческий путь Н. Хвощинской не был легким, как не была легкой и счастливой ее судьба. Она знала годы славы и широкого признания, но были периоды духовного одиночества и бесплодных поисков. С болью воспринимались писательницей несправедливые оценки ее труда некоторыми представителями демократической критики. И все же к концу 80-х годов в передовой критике мнение о Н. Хвощинской как писательнице демократической и прогрессивной было единодушным.

---

[1] *Щедрин Н.* (М. Е. Салтыков). Полн. собр. соч. М.: ГИХЛ, 1939, т. 19, с. 76.

Н. Д. Хвощинская родилась 20 мая (1 июня) 1824 года в Пронском уезде Рязанской губернии, в небольшом имении отца. Ее детство и юность прошли в тяжелой обстановке. Отец, служивший в гражданском ведомстве по коннозаводству, был несправедливо обвинен в растрате казенных денег, имение продали за долги, и вся семья вынуждена была переехать в Рязань, где многие годы бедствовала.

В ранней юности Хвощинская начала писать стихи, но только с 1847 года они стали печататься в «Литературной газете», в журналах «Отечественные записки», «Пантеон», в газете «Иллюстрация» — вплоть до конца 50-х годов, когда Хвощинская уже завоевала широкую популярность своими повестями и романами.

В 1853 году отдельным изданием вышла ее повесть в стихах «Деревенский случай». Хвощинская обратилась в ней к темам и образам, которые затем станут ведущими в течение всего ее творческого пути. Гнетущая пустота жизни провинциального русского дворянства, безысходность порывов мыслящей молодежи в мертвом, жестоком мире самодовольных собственников, трагическая судьба девушки, ищущей смысла жизни и принимающей за идеал пустого, расчетливого фразера,— эти мотивы позднее многократно повторяются в повестях и романах Хвощинской.

В 1854 году в № 1 журнала «Современник» Н. А. Некрасов поместил рецензию на «Деревенский случай». Эта рецензия чрезвычайно интересна тем, что в ней предугадываются многие положительные и отрицательные стороны последующих произведений писательницы, утверждается ее талант прозаика. «Дело прозы — анализ, дело поэзии — синтезис... Сознаемся, что собственно поэтического таланта мы не нашли у г-жи Хвощинской»[1]. По мнению Некрасова, ей «дано все нужное для того, чтобы удачно писать прозой».

Те же мотивы и та же среда, что и в повести «Деревенский случай», были раскрыты Хвощинской в ее первом прозаическом произведении — повести «Анна Михайловна», напечатанной в 1850 году в «Отечественных записках» под псевдонимом В. Крестовский. С этого времени все прозаические художественные произведения писательницы выходят под этим псевдонимом. Не отказалась она от него и тогда, когда в литературе появился подлинный В. Крестовский — автор широко известного романа «Петербургские трущобы». Только после этого Хвощинская стала подписываться: «В. Крестовский — псевдоним».

Для всех произведений Н. Д. Хвощинской, написанных в 50-е годы, характерна тема затхлой провинциальной помещичьей жизни, где гибнет все живое и мыслящее. Ни один луч света не проникает в эту атмосферу гниения и застоя. Тщетно бьются и ищут выхода живые души, попавшие в этот мир.

Чрезвычайно узок круг людей, действующих в романах и повестях Хвощинской этого периода. Но у читателя не создается впечатления незначительности происходящих событий, несмотря на их «семейный» характер. И это потому, что дворянская семья в произведениях писательницы рисуется как олицетворение всего дворянского общества, а борьба внутри этой семьи является отражением общественной борьбы тех лет.

В течение 1850—1856 годов Хвощинской также были написаны романы «Свободное время», «Кто же остался доволен», «Последнее действие комедии», составившие трилогию под названием «Провин-

---

[1] *Некрасов Н. А.* Полн. собр. соч. и писем. М.: Гослитиздат, 1950, т. 9, с. 670, 671.

ция в старые годы». Герои этих романов — робкие, одинокие в своей семье девушки, не видящие никаких проблесков радости, и противостоящий им лагерь наглых, самоуверенных людей без совести и чести, с морально растленной душой. Особенно яркая картина семейной драмы нарисована в романе «Последнее действие комедии».

Отношения в семье Оршевских, как и в других «светских» семьях, построены на расчете: каждый старается как можно больше урвать для себя за счет другого, нисколько не заботясь о том, что будет с его близкими. Молодые честные люди — дочь Оршевского и ее жених,— мечтающие вырваться на свободу и страстно борющиеся за свое счастье, за право на человеческую жизнь, осуждены в этой среде на трагическую гибель.

Говоря о характере «счастья» в буржуазно-дворянской семье, Хвощинская писала: «Это пошлое счастие запертых домов, чистых, прибранных, как будто приветных снаружи, как будто улыбающихся, обещающих и ничего не дающих постороннему, кроме своей сыто-довольной и глупой улыбки... Эгоизм в одиночку, сплотившийся в эгоизм фамильный,— вот они, эти оазисы. Аккуратно, умеренно, сыто — и ни до кого нет дела...» [1]

На роман «Последнее действие комедии» откликнулся Некрасов в «Современнике» (1856). Его суждения глубоко вскрывали наиболее характерные черты творчества Хвощинской 50-х годов. Некрасов подчеркивает важность проблем, которые ставит Хвощинская в своем творчестве в отличие от других женщин-писательниц. Она стремится пробудить «негодование ко всему низкому и презренному... касается серьезных общественных вопросов»; у нее «энергия, мысль и правда идут дружно об руку»; в романах Хвощинской «слышатся наблюдательность и мысль». Но далее Некрасов говорит о серьезных недостатках произведений писательницы. «Если б в повестях г-жи Крестовской было поменьше «книжности» и побольше жизни, они поспорили бы с лучшими произведениями новейшей литературы. Резонерство и ум, переходящий в умничанье,— вот коренной их недостаток, тем более важный, что благодаря ему, при всех своих достоинствах, повести г-жи Крестовской скучны... Тепло, гуманно перо автора, но торопливо и слишком резко там, где должен всплыть наружу весь герой, и часто автор, совершенно некстати, выскакивает сам на страницы своего романа» [2].

И в последующие годы Некрасов внимательно и сочувственно следил за творчеством Хвощинской, считая ее человеком, близким себе по убеждениям. В конце 60-х годов, как только журнал «Отечественные записки» перешел в его руки, Некрасов сразу же пригласил писательницу быть постоянным сотрудником журнала.

В повести «Братец» (1858), написанной вскоре после трилогии «Провинция в старые годы», Хвощинская создает исключительно яркий по художественной силе образ хищника-собственника, попирающего все основы семейной морали. Сергей Андреевич Чиркин не только продукт бессмысленной животной любви «маменьки»-помещицы, это страшное порождение петербургской чиновничьей среды и «высшего света», которые придали законченную форму этому эгоисту-человеконенавистнику, умертвив в его душе все чувства. Образ Чиркина нарисован писательницей в тонах гневного, саркастического обличения. В беспощадном раскрытии волчьей морали братца, считающего своим правом «по-родственному» грабить мать и сестер и при этом издева-

[1] Русская мысль, 1890, № 10, с. 73.

[2] *Некрасов Н. А.* Полн. собр. соч. и писем, т. 9, с. 396—399.

тельски поучать их, предвосхищено что-то щедринское. Сатирически нарисована и внешность братца, в которой ясно проступает его деревянная, механическая сущность. «Его лицо было ни бледно, ни румяно, а какого-то тускло-лилового цвета; глаза бледно-зеленоваты и опухли, как следует у человека, занятого кабинетными трудами, осанка очень величава, хотя так отчетлива, приготовлена, натянута, что можно было подумать, будто Сергей Андреевич движется посредством винтов и пружин». Колоритна фигура старухи матери, безличной рабыни своего жестокого сына-кумира, живущей только собачьей преданностью к нему. Типы, подобные Чиркину и его матери, мог создать художник, обладающий не только талантом, но и глубоким знанием человеческой души.

Анализируя повесть «Братец» в журнале «Рассвет», Д. Писарев отметил ее глубокую реалистичность, художественную силу образов: «В повестях г. Крестовского постоянно действуют люди обыкновенные, взятые прямо из жизни... Главный характер повести, характер Сергея Андреевича Чиркина, братца, очерчен превосходно» [1], — писал критик. Писарев говорит об умении писательницы давать «верное изображение действительной жизни с ее печальными недостатками», о тех общечеловеческих чертах в образах лучших ее произведений, которые «заставляют задуматься» читателя.

Мотив трагической безысходности мыслящих честных людей в обществе хищников и тунеядцев звучит во всех произведениях Хвощинской. В ее романах и повестях нет счастливых концов. Как правило, несчастье настигает героев в последний момент, когда счастье кажется им бесспорным, прочным, завоеванным тяжелыми страданиями и борьбой.

Особенно ярко эта трагическая гибель человека, задавленного семьей и обществом, изображена Хвощинской в романе «Баритон» (1857), получившем широкую известность в те годы. Этот роман принадлежит к числу художественно сильных произведений Хвощинской. Герой его — типичный разночинец, сын сельского священника, семинарист Ивановский. По своим моральным качествам он чрезвычайно близок к образам передовых девушек-демократок, нарисованных Хвощинской в 60—70-е годы.

Мотивы и образы трилогии «Провинция в старые годы» типичны для большинства произведений Н. Д. Хвощинской не только 50-х годов, но и последующего времени. Не случайно Щедрин писал редактору журнала «Вестник Европы» М. М. Стасюлевичу, что она «очень хорошая писательница, хотя с давних пор пишет все одну и ту же повесть» [2].

В романах «Испытания» (1854), «Деревенская история» (1855), «Встреча» (1855—1860), «Стоячая вода» (1861), «В ожидании лучшего» (1857—1860), «Домашнее дело» (1863), «Недавнее» (1861—1864) и др. перед читателем возникает пошлый мир безделья, сплетен, грязных интриг, болтовни о мнимой деятельности на «благо общества». Это было все то же гнилое болото, «стоячая вода» дворянской и чиновнической обывательщины.

И все же в разработке этой излюбленной тематики на разных этапах творческого пути Хвощинской были существенные различия. Особенно наглядно процесс становления демократического мировоззрения и роста художественного мастерства писательницы отразился в ее произведениях 60—80-х годов. В творчестве Хвощинской появились

---

[1] Рассвет, СПб., 1859, т. 1, с. 44, 41.

[2] *Щедрин Н.* (М. Е. Салтыков). Полн. собр. соч., т. 20, с. 125.

новые типы, связанные с общественной борьбой, живой действительностью тех лет. Привычные картины жизни провинциальной дворянской России приобретали иной, более обобщенный и глубокий характер. Очень характерны в этом отношении роман «В ожидании лучшего» и повесть «Домашнее дело».

Роман «В ожидании лучшего» (1857—1860) рисует моральный и экономический развал правящих классов крепостнической России накануне реформы.

Именно с этой стороны — психологического раскрытия распада дворянского общества — роман «В ожидании лучшего» заинтересовал Салтыкова-Щедрина. Говоря коротко об особенностях художественного метода Хвощинской в связи с этим романом, Щедрин указывает, что она «в своих сочинениях стоит на почве психологических тонкостей». Называя Хвощинскую «очень даровитой писательницей», Щедрин считает, что она «не пользовалась у нас тем успехом, который принадлежит ей по праву таланта» [1].

В маленькой повести Хвощинской «Домашнее дело» не только осмысляются социальные причины распада семьи в собственническом обществе, но и вскрываются трагические последствия этого процесса для духовного формирования нового поколения.

В ранних повестях и романах Н. Д. Хвощинской уже намечены многие образы, которые станут центральными в зрелый период ее творчества. Это типы новых людей, тружеников, готовых на лишения ради идеи, ради чести. Таковы герои повестей «Дневник сельского учителя» (1850) и особенно «Искушение» (1852). Это выходцы из бедных слоев общества, люди, привыкшие к труду, мечтающие о полезной деятельности. Они собирают силы для решительной борьбы с самодержавно-крепостническим строем. И хотя эти герои не смогли выйти на большую арену общественной деятельности, ограничившись честным скромным трудом, «маленькой пользой», приносимой ими людям, они не стали отступниками, сохранили свою живую душу, свои мечты и святое недовольство окружающей их действительностью. Впоследствии, в конце 70-х годов, Хвощинская покажет других людей — смирившихся со злом, забывших идеалы своей юности, предавших своих товарищей по борьбе.

С конца 50-х годов образы демократической молодежи, новых людей, рождающихся в недрах разлагающегося собственнического мира, становятся излюбленными героями писательницы.

В этот период образ положительного героя принимает в творчестве Хвощинской более четкие очертания, становится выражением не только морального, но и социального протеста против действительности. Эти черты несут в себе образы Веретицына в повести «Пансионерка» (1861), рассказчика в очерке «Старый портрет и новый оригинал» (1864), Ивановского в романе «Баритон» и др.

Но особенно серьезную эволюцию претерпевают женские образы. От беспомощной, страдающей Анны Михайловны, героини первой повести Хвощинской, до активной, свободной труженицы Леленьки — героини «Пансионерки», Кати из романа «Большая медведица» (1865—1871), Тани из повести «Былое» (1878) писательницей был пройден большой и сложный путь идейных исканий.

В период общественного подъема 60—70-х годов, когда наряду с другими социальными вопросами встал также вопрос эмансипации женщины, многие писатели демократического лагеря создали в своих

---

[1] *Щедрин Н.* (М. Е. Салтыков). Полн. собр. соч., т. 5, с. 385.

произведениях ряд положительных образов женщин, разорвавших рабские путы дворянской и буржуазной семьи, вышедших на арену активной трудовой и общественной деятельности. Классический образ передовой женщины этого времени нарисовал Чернышевский в романе «Что делать?». В последующие годы многими чертами Веры Павловны были наделены героини В. А. Слепцова, И. А. Кущевского, А. А. Арнольди, И. В. Омулевского и других писателей демократического направления.

Хвощинская не смогла нарисовать образа женщины — политического борца. Живя почти всю жизнь в рязанском захолустье, она и не сталкивалась с типами подобных людей. «Меня упрекают за то, что я не пишу героев, но я не могу писать того, что не видела»[1],— говорила писательница. Но ее представления о характере эмансипации женщины, о социальных условиях, необходимых для ее освобождения, о месте женщины в общественной борьбе не расходились с представлениями всего демократического лагеря.

В одном из писем Хвощинская писала: «Свобода женщины, помоему, есть ее дельность, а начинается она с уменья пришить заплатку и замесить квашню. Можешь больше — делай больше... Вы говорите, что в моих романах я указывала женщинам новую дорогу. Нет, друг мой, Вы ошиблись. Новое существование, может быть. Женщина никогда не выбьется на прямую дорогу одна, сама собою; ей должен помочь в этом весь общий строй жизни. Прежде надо еще поисправиться ему... Я просто описывала положение женщины, каково оно было, каково оно часто и теперь. Мученичество этого положения — только следствие всего окружающего. Я показывала жертву для того, чтобы виноватые видели, до чего они доводят, и, одумавшись, стали бы жить толковее... Я не «смелая проводница новых путей», а неудавшийся педагог, которого никто не слушает и слушать не станет. Я не могла показывать пути, потому что в настоящем положении общества я его сама не вижу, а не доверяя тому, что называют «улучшением, шагами вперед», не смею даже сказать, есть ли этот путь»[2]. В этих словах заключена очень верная самохарактеристика писательницы, раскрыты сильные и слабые стороны ее мировоззрения. Хвощинская связывала освобождение женщины, ее равноправие с изменением всей социальной системы, с освобождением всего народа, так как женское бесправие «только следствие всего окружающего», то есть следствие эксплуататорского строя. Писательница отвергла путь буржуазных реформ — «улучшение, шаги вперед», но не видела иного, подлинного пути, не знала людей, которые выведут Россию на этот путь. Поэтому-то так и безрадостна судьба ее положительных героев.

Личная судьба Хвощинской была типичной для передовых женщин, выходцев из разночинной среды. Она начала свой трудовой путь с самой ранней юности и трудилась не покладая рук до могилы. До 1884 года она прожила почти безвыездно в Рязани в кругу своей семьи: матери, двух сестер (отец умер рано). Н. Д. Хвощинская горячо любила свою сестру Софью, вместе с ней обсуждала замыслы своих произведений 50—60-х годов. Софья Хвощинская (1828—1865) была талантливой писательницей. Ее повести и романы «Знакомые люди», «Как люди любуются природой», «Зерновский», «Плач провинциала», «Домашняя идиллия недавнего времени» и др., печатавшиеся под псевдонимом Ив. Весеньев, были широко известны и пользовались успехом у чи-

[1] Цит. по кн.: *Цебрикова М.* Очерк жизни Н. Д. Хвощинской-Зайончковской.— Мир божий, СПб., 1897, № 12, с. 13.

[2] Русская мысль, 1890, № 10, с. 83—86.

тателей. Темы произведений Софьи близки к темам, которые увлекали Надежду Дмитриевну, но в произведениях Софьи сильнее выражено сатирическое начало. Писала повести и очерки и младшая сестра — Прасковья Хвощинская (псевдоним С. Зимарова). Смерть Софьи в 1865 году потрясла Надежду, она тяжело заболела от горя. В этом же году, спасаясь от тяжелого одиночества, она связала свою жизнь с молодым человеком — ссыльным врачом И. И. Зайончковским, но брак не был счастливым. Зайончковский тяжело болел, несколько лет лечился за границей и умер там в 1872 году.

В 60—70-е годы — годы бурного подъема молодых революционных сил России — Хвощинская восхищалась мужеством революционной интеллигенции. Ее подвиги оживили душу писательницы, внушали надежду на светлое будущее. «Вот они, мои воскресители, этот честный народ, младшие братья 60-х годов» [1],— писала впоследствии Хвощинская.

Молодые герои Хвощинской, страстно мечтающие о деятельной, трудовой жизни, о помощи страждущим и угнетенным, откликнулись на призыв революционной интеллигенции этих лет. Судьбу примерной пансионерки и послушной дочери Леленьки («Пансионерка») круто изменила встреча с политическим ссыльным Веретицыным. Его насмешки над окружающим ее миром, над нелепыми и бессмысленными «науками», зубрившимися в пансионе, толкнули Леленьку на бунт против семьи и школы. Она порывает со всей обстановкой, державшей ее в плену, и едет в Петербург навстречу новой жизни, «переучиваться». Через несколько лет Веретицын встречает Леленьку в Петербурге. Она образованный человек, способная художница, жизнь ее до краев наполнена деятельностью. «Весело, когда много дела! Я свободна! Я никому ничем не обязана... Я сбросила с себя свое иго и не хочу о нем помнить»,— говорит Леленька Веретицыну. Их роли меняются. Если раньше Веретицын учил ее самостоятельно мыслить, быть мужественной и свободной, то теперь Леленька с изумлением видит, что он «перерождается», отступает от прежних позиций, проповедует не активную борьбу со злом, а прощение и примирение. Во имя свободы Леленька отрицает даже любовь, так как это чувство берет в плен душу женщины. «Я поклялась, что не дам больше никому власти над собою, что не буду служить этому варварскому старому закону ни примером, ни словом. Напротив, я говорю всем: делайте, как я, освобождайтесь все, у кого есть руки и твердая воля! Живите одни — вот жизнь — работа, знание и свобода...» Веретицын упрекает Леленьку в том, что у нее «нет сердца», что она все подчинила рассудку, но обожествление Леленькой труда и человеческой воли вполне понятно и закономерно для начального периода накопления сил передовой молодежью, периода «полнейшего разъединения» со средой, в которой выросли эти люди. В характере Веретицына впервые намечаются писательницей черты отступников, образы которых займут большое место в ее произведениях 80-х годов.

Еще более обаятельный, художественно яркий образ девушки, рвущейся к духовной свободе и к деятельности на благо народа, создан Хвощинской в ее широко известном романе «Большая медведица» (1871). Писательница ощутимо и наглядно передает политическую борьбу в России в годы Крымской войны, накануне реформы 1861 года. Тревожно в воздухе заштатного «города Н», как тревожно и в самой столице. Бесшабашный разгул, «пошехонское веселье», царившие в дворянском обществе, напоминают пир во время чумы. В то время как му-

---

[1] Русская мысль, 1890, № 12, с. 132.

жицкая Россия истекает кровью у стен Севастополя, дворянская Россия болтает и веселится, не желая тревожить себя никакими мыслями о будущем страны. Молодой чиновник Верховский, приехавший покупать имение в провинцию, находит там то же самое общество, которое оставил в Петербурге. «Равнодушие подрумяненное и равнодушие откровенное... Говорят, надо постоять... Что ж, пожалуй... но общество тотчас догадалось, что трудность исполнения лежит не на нем, а на темном народе, с которым оно день ото дня все больше разрывало связь. Догадавшись, общество получило еще основание не беспокоиться: крепостной, обязанный все делать, сделает и это,— постоит». «Положиться не на кого, понадеяться не на что!.. Корысть, неправда, безнаказанность, и нет им конца!» — с отчаянием восклицает отец Кати Багрянской — единственный честный человек в среде губернских чиновников. Багрянский воспитал дочь — трудящуюся, самоотверженную девушку, мечтающую посвятить свою жизнь народу. Катя противостоит всему светскому обществу города. Горячо полюбив Верховского, Катя, как и пансионерка Леленька, не становится рабой своего чувства, она требует, чтобы любимый человек был ее соратником по борьбе. Но Верховский отходит от светлых порывов своей юности. Вначале он искренне страдает, пытается бороться за свое человеческое достоинство и честь, а потом, сдавшись, становится типичным представителем развратившей его среды. Процесс морального падения Верховского нарисован в романе с большим художественным мастерством. Автор постепенно вскрывает гнилость души, полную опустошенность человека, отравленного собственническим обществом. Катя, любя Верховского, испытала все средства, стремясь возродить эту душу к жизни, но не смогла. Верховский женится на богатой невесте, достигает очень высоких чинов и становится обычным охранителем существующего порядка. Проезжая мимо деревни, где Катя учит крестьян, Верховский с ненавистью говорит смотрителю станции о предстоящей крестьянской реформе: «Дело законное. Но только они от лени без хлеба насидятся, а вы... берегите вашу почту».

Катя — это та же Леленька (из повести «Пансионерка»), действующая в начале 70-х годов, в период борьбы революционного народничества. Следуя своим убеждениям, она нашла свое место среди народа, пришла туда не как гостья, а как равноправная труженица. Катя не ставит себе политических целей. Она мечтает о справедливости, о счастье для всех, но это счастье, по ее мнению, достигается не социальными переворотами, не революционной борьбой, а принесением посильной пользы обществу каждым человеком. Ее философия, как и многих подобных героев Мордовцева, Станюковича и других писателей демократического лагеря, особенно в 80-е годы, это философия «малых дел»: «Делать должное, какое бы оно ни было маленькое... И обязанность одна: делай до конца, бейся, погибни на деле... Не крупными делается дело, а всеми. Поодиночке — капля, а в сложности — волны»,— убеждает Катя Верховского.

Незадолго до окончания «Большой медведицы», в конце 60-х годов, Хвощинская написала повесть «Первая борьба» (1869), которая и в этот период и в последующие годы почти единодушно была оценена критикой как крупное художественное достижение писательницы. В этой повести Хвощинская убедительно показывает формирование паразитической психологии, постепенное обездушивание человека. Эта тема звучала в произведениях Хвощинской и раньше, но обращение к ней в конце 60-х годов имело особое значение.

Проблема воспитания молодежи, идейного формирования нового

поколения в 60—70-е годы стояла в центре творчества большинства писателей демократического лагеря. Ее решали Чернышевский, Некрасов, Щедрин, Помяловский, Слепцов, Кущевский и многие писатели-народники. Судьба демократического движения в России была в руках этого нового, идущего на смену поколения. От его мужества, идейности, веры в народ, в светлое будущее России зависело все. И с точки зрения задач воспитания этого поколения повесть Хвощинской «Первая борьба» имела чрезвычайно важное значение.

С большим талантом, с подлинным искусством настоящего психолога Хвощинская показывает гибель души мальчика, родившегося в честной трудовой семье и случайно попавшего на воспитание в великосветскую дворянскую семью. Повесть, напечатанная в «Отечественных записках», явилась яркой иллюстрацией к словам Щедрина о том, что «воспитание, образ жизни и общественное положение кладут неизгладимую печать на политические и литературные убеждения людей» [1].

Повествование ведется от имени молодого человека — Сержа, который описывает свою жизнь с детских лет и до тридцатилетнего возраста, когда он уже достигает вожделенного благополучия, пройдя все степени падения, предательства и подлости. Каждая черта, каждая мысль Сержа противостоят народной жизни, и главное — показаны истоки и причины возникновения этих черт характера. Читатель видит окружающее глазами героя, но отношение к окружающему у них разное: то, что считает хорошим Серж, возмущает читателя; то, что Серж осмеивает, глубоко печалит его. Ненависть к герою накипает в читателе постепенно, и под конец она полностью охватывает душу. Особенно в те моменты, когда герой цинично и нагло, с чувством сознания собственной правоты топчет жизнь подлинно хороших людей. А эти люди: отец Сержа, приятельницы отца — старушки сестры, Дунечка, Марья Васильевна — нарисованы в мягких, лирических тонах. Все они беззащитны перед лицом наглого гимназиста, смотрят на него с немым укором и безропотно страдают. В сущности, борьбы никакой не получается. Герой беспрепятственно идет вперед, не встречая отпора и активного общественного осуждения. «Я сломал препятствия, не дав им сломить себя, я укрепил и развил свои силы; я покорил себе жизнь и людей, я боролся и вышел победителем, и с тех пор мне во всем удача»,— похваляется Серж в конце своих записок. И это торжество негодяя накладывает пессимистический оттенок на всю повесть.

В повести «Первая борьба» обнаженно и резко поставлена Н. Д. Хвощинской проблема отцов и детей на новом историческом этапе. Отец Сержа — разночинец, шестидесятник, работающий на благо народа, непоколебимо следовавший всю свою жизнь принципам аскетического самоотречения ради общества, а сын — полная противоположность, его классовый враг, предатель его идеалов. Не случайно Сержа в среде прогрессивной интеллигенции тех лет называли «героем нашего времени».

Интересный анализ повести «Первая борьба» дал Н. К. Михайловский. По его мнению, повесть Хвощинской-Зайончковской была направлена против возрождения дворянско-крепостнического «рая», в тех или иных формах, против воспитания полчищ паразитов нового закала, но со старой крепостнической психологией. «По-моему,— писал критик,— это вообще лучшее произведение Зайончковской и одно из выдающихся даже во всей русской литературе...» [2] Суть теории Сержа Михай-

[1] *Щедрин Н.* (М. Е. Салтыков). Полн. собр. соч., т. 8, с. 44.
[2] Сочинения Н. К. Михайловского. СПб., 1897, т. 6, с. 655.

ловский усматривает в том, что якобы есть «особая порода избранников судьбы, тонко развитых людей, которым по праву принадлежит всяческое наслаждение, какою бы ценою оно ни получалось, лишь бы не трудом; а труд — это удел другой породы людей, грубых, не способных как следует ценить аромат наслаждения» [1]. Чрезвычайно глубоки и плодотворны мысли Михайловского о социальном значении семейных романов Хвощинской. Поставив своей целью выяснить вопрос о том, какова семья и какова любовь в крепостническом обществе, Хвощинская пришла, по мнению Михайловского, к весьма печальному выводу: «В то доброе старое время не было и не могло быть ни настоящей любви, ни настоящей семьи» [2].

П. Н. Ткачев также отмечал «новую формацию» героя повести «Первая борьба», приравнивая его к хищникам пореформенного времени: «Это уже вполне сознательный хищник, самоуверенный, бойкий, смелый, «ни о чем не сумиящнйся», ставящий свое хищничество себе в заслугу, гордящийся им, делающий из него свое призвание, свою высшую жизненную роль,— одним словом, это один из героев современной нам эпохи, практический «делец», вполне приспособленный к тем новым жизненным условиям, в которые втиснута новая культурная среда» [3]. Очень тонко и справедливо писал о «Первой борьбе» рецензент «Отечественных записок», высказав ряд замечаний, относящихся и к другим произведениям Хвощинской: «Значение этой повести не только литературное, но и общественное. Мы находим в ней все свойственные г-же Крестовской достоинства — силу психического анализа, чрезвычайную выдержанность большинства характеров, но, кроме того, находим и серьезную идею, имеющую самое тесное отношение к «злобе дня» [4].

Проблема отцов и детей, поколения шестидесятников и пришедшей на смену молодежи, стоит в центре творчества Хвощинской 70—80-х годов. И решается эта проблема писательницей в духе демократической литературы тех лет. Если герой 60-х годов вынужден был становиться во враждебные отношения с отцами, носителями старой, патриархально-крепостнической идеологии, враждебной народу, то герой революционного народничества продолжал деятельность своих отцов, первыми начавших борьбу за народное дело; конфликты, столкновения между детьми и отцами возникали чаще всего тогда, когда дети становились предателями великих идеалов отцов.

Хвощинская создала галерею портретов отступников, которым во всех ее произведениях этого периода противопоставляются люди, смятые действительностью, глубоко несчастные в атмосфере торжества реакции, наступившей после разгрома революционного народничества, но не предавшие идеалов своей молодости, не смирившиеся с существующим социальным строем.

Характеризуя свои повести этого периода, Хвощинская писала: «...Старшие — я им воздала потом в «Альбоме» за все то нравственное зло, которым они измучили мою душу. Они мне не прощают прозвания «отступники» и все доспрашиваются, от чего отступили, и все доказывают, что плакаться о прошлом — ребячество. Теперь, конечно, в настоящую минуту, было бы ребячество плакаться о таких относительно мелочах, когда уж все провалилось. Но ведь главная суть была в пер-

[1] Сочинения Н. К. Михайловского. СПб., 1897, т. 6, с. 655.
[2] Там же, с. 654.
[3] Дело, 1880, № 3, с. 321.
[4] Отечественные записки, 1879, № 11, с. 49.

вых подпорках; удержись те честно, стояло бы всё»[1]. Писательница права: многие «подпорки», многие общественные деятели, болтавшие о верности идеалам, в 70—80-е годы не выдержали испытания временем, рухнули под натиском реакционных сил, оказались гнилыми.

Образы отступников выведены Хвощинской в таких произведениях, как «Счастливые люди» (1874), в цикле повестей и рассказов, озаглавленном «Альбом. Группы и портреты» («Риднева», «Верягин», «Между друзьями» и др.), «Здоровые» (1880—1883), «Прощание», «Обязанности» (1886), и др. «Альбом» был встречен демократической и либеральной критикой с большим сочувствием. Н. Шелгунов, который за четыре года до этого дал несправедливо резкий отзыв о творчестве Хвощинской, назвав ее «романистом праздных читателей», в 1874 году писал ей: «Сейчас прочитал Ваш «Альбом». Так хотелось бы мне пожать Вам руку — крепко, крепко... И не то поплакать, не то... нет, скорее поплакать... Если бы Вы знали, что человек только потому и топчет своих богов, что им молится»[2],— добавляет он, извиняясь за свою прошлую статью.

В «Альбоме» и других повестях, написанных в эти годы, Хвощинская с острой и злой сатирической иронией рисует благополучных, «здоровых», «счастливых людей», купивших это свое пошлое буржуазное счастье ценою продажи души, ценою предательства. Подобные образы нарисованы в этот период в романах Станюковича, повестях Осиповича-Новодворского, отчасти Шеллера-Михайлова, но такую широкую картину отступничества не показал никто до Хвощинской.

Гибнут одинокие отверженные «идеалисты 60-х годов». Размышляя о причинах массового отступничества либеральной интеллигенции 70-х годов, рассказчик в рассказе «Счастливые люди» спрашивает себя: «Стало быть, те, на кого десять лет назад мы радовались, как на будущих бойцов за правду, уж и тогда носили в себе задатки нравственной смерти?» По-щедрински звучит обличение самодержавно-крепостнической реакции устами друга рассказчика, одного из немногих «уцелевших», Алексеева: «...перед тобой черная, холодная яма, и там кишат, грызут друг друга все люди... Отчаяние! Вот она, тоска, какой не было от сотворения мира». «Были времена хуже — подлее не бывало!» Но Хвощинская в отличие от Щедрина не зовет к активной борьбе с этим миром реакционного безумия. Ее честные герои намерены «кончить честно», то есть самим уйти из жизни.

Рассказ «Счастливые люди» нашел глубокий отклик в среде революционной демократии. Словами героя Хвощинской Некрасов начинает свою поэму «Современники», раскрывавшую картину хищничества нарождавшейся русской буржуазии, картину торжествующей самодержавно-крепостнической реакции:

«Я книгу взял, восстав от сна,
И прочитал я в ней:
«Бывали хуже времена,
Но не было подлей».
Швырнул далеко книгу я.
Ужели мы с тобой
Такого века сыновья,
О друг — читатель мой?»[3]

И далее поэт, стремясь «опровергнуть» пессимизм автора книги, са-

---

[1] Русская мысль, 1890, № 12, с. 132.
[2] Там же, № 11, с. 94.
[3] *Некрасов Н. А.* Полн. собр. соч. и писем, т. 3, с. 91.

тирически рисует «благополучную», веселую буржуазно-помещичью Россию, грабящую народ.

Салтыков-Щедрин также увидел в этом рассказе Хвощинской близкие ему мысли и чувства. В письме к А. М. Жемчужникову 28 марта 1878 года он, говоря о «каторжных условиях» жизни в России, о бесновании политической реакции, писал: «Вы живете за границей и, может быть, думаете, что у нас здесь свободы всякие. Одно у нас преуспеяние: час от часу хуже. Правду сказала Хвощинская: бывали времена хуже — подлее не бывало. Да, не бывало — клянусь, так! Что-то похожее на бешенство наступило. Завидую Вам, но в то же время и удивляюсь: как Вы можете с таким курсом мириться»[1].

Во всех произведениях, рисующих отступников, Хвощинская противопоставляет этим образам подлинно положительные образы людей труда, не мирящихся с существующей пошлой действительностью, рвущихся к настоящему общественно полезному делу, сохранивших свою чистую душу. Такова Таня из незаконченного романа «Былое» (1878). Выросшая в обеспеченной дворянской семье, Таня порывает с родными, едет со студентом Долотовым в Петербург учиться и жить по-новому.

Из-за цензурного запрещения роман остался незаконченным, писательница прекратила над ним работу, так и не написав глав, в которых предполагала дать широкую картину жизни демократической молодежи 70-х годов. Роман должен был кончаться тем, что Крылицына после пребывания в деревне, куда он едет для работы среди крестьян, ссылают в Сибирь. Вслед за ним уезжает и любящая его девушка. 28 марта 1878 года Щедрин предупреждал Хвощинскую о том, что один из цензурных чиновников, «некто С(тремоухов)», бывший рязанский губернатор, «специально обвиняет в том, что Вы в «Былом» потрясаете семейственный союз»[2].

11 марта 1878 года Н. Д. Хвощинская писала своей приятельнице о романе «Былое»: «Цензура тяпнула мой горемычный роман, что ты можешь заметить по вклеенным страницам... это застало меня как раз за такой сценой, где уж и не знаю, что может случиться: могут исказить так, что я у честных людей попаду в подлецы. Я бы этого не желала. И дернуло меня писать общественное»[3]. А в письме к другой знакомой Хвощинская, характеризуя наступившую вслед за разгромом революционного народничества политическую реакцию, пишет: «Мы с Вами знаем, почему нельзя писать подобных вещей. Но и для кого писать их? Наши, те, про кого написано, больше испытали и испытывают, чем можно написать о них. Чужие, торжествующие — но неужели в самом деле писать для их потехи? Я теперь сокращаю себя и возвращаюсь к семейно-сердечным вопросам, которые тоже ведь не бесполезны для общества, которое отложило в сторону всякий анализ чувства и всякое размышление»[4].

Трагизм положения демократической интеллигенции в период политической реакции 80-х годов особенно ярко отражен в рассказах «После потопа» (1881) и «Вьюга» (1889), рисующих разгром революционного народничества. Герои рассказов — интеллигенты, приговоренные к тюремному заключению и каторге за революционную работу. Само заглавие рассказов свидетельствует о замысле автора: молодые революционеры пережили потоп, вьюгу. Немногие выжили и физически и ду-

[1] *Щедрин Н.* (М. Е. Салтыков). Полн. собр. соч., т. 19, С. 106—107.
[2] Там же, с. 107.
[3] Русская старина, 1891, № 2, с. 458.
[4] Там же.

ховно, но даже те, кто уцелел, вернулись домой с разбитой душой. Они не в силах забыть страшных жертв, которые принесли их товарищи, не находят в себе силы для жизни, хотя сами остались честными до конца.

Образы демократической молодежи до конца жизни писательницы оставались для нее самыми любимыми. Уже незадолго до смерти она говорила: «Хочу новые типы создавать».

Постоянная солидарность со Щедриным в оценке многих общественных и литературных явлений у Хвощинской не случайна. Для нее Щедрин был высший авторитет. Она знала его много лет, познакомилась еще в ту пору, когда он служил вице-губернатором в Рязани. «Салтыкова, как человека и как писателя, она боготворила» [1],— свидетельствует современник. Она без конца ссылалась на его суждения, говоря: «...непогрешимый наш судья, беспристрастный Салтыков» [2]. Замечания Щедрина по поводу ее рукописей выполнялись Хвощинской беспрекословно. В своих статьях и письмах писательница восхищалась сатирическим мастерством Щедрина. «Господ Головлевых» называла «классическим творением», а образ Иудушки «классическим образом, остающимся в литературе навечно» [3]. Хвощинская считала неповторимо изумительной «своеобразную речь» Щедрина «с его веселостью, доводящей до ужаса» [4].

Во многих произведениях Хвощинской чувствуются следы влияния щедринской сатиры. В 60—80-х годах Н. Хвощинская была известна также как литературный критик. Ее статьи печатались в «Отечественных записках», «Русских ведомостях», «Живописном обозрении» под псевдонимом В. Поречников и другими. В статьях обосновывались принципы демократической эстетики.

Широкие круги русской интеллигенции знали и любили творчество Хвощинской. В феврале 1880 года перед ее домом была большая манифестация рязанской молодежи, которая горячо приветствовала писательницу, благодаря ее за сочувствие демократическому движению, за образы передовой молодежи, борющейся против гнетущей социальной действительности.

В 1884 году Хвощинская переехала в Петербург, но там она жила замкнуто, поддерживая лишь письменную связь с редакциями, куда посылала свои произведения. Она была уже тяжело больна. Умирающий в эти годы Щедрин тоже жаловался на одиночество и «заброшенность». Как и другие «писатели-пролетарии» того времени, Хвощинская нуждалась материально, тем более что ей приходилось почти до конца жизни помогать родственникам. Вся ее жизнь была в работе. «Я заработалась и конца не вижу работе... Работа — моя судьба, до гробовой доски» [5],— писала она знакомым. А иногда, измученная нуждой и одиночеством, горько жаловалась навещавшим ее редким друзьям: «Сколько лет пишу, сколько упорного труда потратила, а умру под забором. Ни пенсии, ни богадельни за нашу тяготу не полагается» [6].

Те, кто близко знал Хвощинскую, говорили о ней как о человеке необычайно добром, по-детски непосредственном и «прямом до резкости». Скромности она была тоже необыкновенной, не любила, когда

---

[1] Исторический вестник, 1890, № 1, с. 149.
[2] Там же.
[3] Мир божий, № 12, с. 29.
[4] Русские ведомости, 1877, № 248.
[5] Русская мысль, 1890, № 11, с. 88.
[6] Исторический вестник, 1890, № 1, с. 150.

о ней писали, как, впрочем, и Софья Хвощинская, которая категорически запрещала о себе писать и, умирая, наказала сестре не издавать своих произведений. Н. Д. Хвощинская искренне говорила приятелям в 80-х годах: «Я не думаю, как переживу свое значение: оно уже пережито».

Скончалась Н. Д. Хвощинская 8(20) июня 1889 года в Петергофе, куда выехала на дачу. Там же была похоронена на средства Литературного фонда.

Творчество Хвощинской представляет несомненный интерес для советского читателя и своей проблематикой, и художественными образами, многие из которых несут на себе следы яркого и самобытного таланта. Сохранили свою злободневность вопросы трудового воспитания нового поколения, которые неоднократно ставились Хвощинской в ее произведениях. Поучительно и интересно узнать нашему читателю и о прошлой жизни трудовой демократической интеллигенции России, ее страданиях и борьбе.

М. С. Горячкина

ПРИМЕЧАНИЯ

Братец

Впервые напечатано в журнале «Отечественные записки», 1858, № 10. Затем включено в Собрание сочинений Н. Д. Хвощинской: «Романы и повести» В. Крестовского: В 8-ми т. СПб., 1859—1866. Печатается по тексту издания «Повести» В. Крестовского — псевдоним. СПб., 1880, т. 1.

Пансионерка

Написано в 1860 г. Впервые напечатано в журнале «Отечественные записки», 1861, № 3. Затем включено в издание «Романы и повести» В. Крестовского. СПб., 1866, т. 8. Печатается по тексту издания «Повести» В. Крестовского — псевдоним. СПб., 1880, т. I.

С. 64. *...«под началом»...* — под надзором полиции.

С. 82. *Ланнера вальс* — Ланнер Иозеф Франц (1801—1843) — австрийский композитор.

С. 86. *Кошанский* Николай Федорович (1781—1831) — автор известных книг «Общая риторика» и «Частная риторика», по которым учились многие поколения гимназистов. Книги содержат многочисленные примеры из истории и литературы.

«Речешь — и двигнется полсвета...» — из стихотворения И. И. Дмитриева (1760—1837).

С. 107. *«Помпадур сия пиявица Франции...»* — маркиза де Помпадур (Жанна-Антуанетта Пуассон) (1721—1764) — фаворитка французского короля Людовика XV. В течение девятнадцати лет (с 1745 г.) являлась фактической правительницей Франции.

С. 123. *Шатобриан Франсуа Рене* (1768—1848) — французский писатель, глава французских романтиков.

С. 146. *Мурильо Бартоломе Эстеван* (1617—1682) — испанский художник; *Доменико* (Доменикино) Цампьери (1581—1641) — итальянский художник и архитектор.

С. 148. *Андреа дель Сарто* (Андреа д'Аньоло) (1486 — 1531) — итальянский художник.

С. 151. *Грез Жан Батист* (1725—1805) — французский художник.

«Первая борьба»

Впервые напечатано в журнале «Отечественные записки», 1869, № 8, 9. В 1879 и 1880 гг. выходило отдельными изданиями. Печатается по тексту издания 1880 г.

С. 162. *Сю Эжен* (1804—1857) — французский писатель.

Феваль Поль (1817—1887) — французский писатель, автор бульварных романов.

С. 163. *...грубый стих...*— имеется в виду стихотворение французского поэта Беранже (1780—1857) «Жак».

С. 171. *...венгерскую кампанию...*— речь идет о подавлении Венгерской буржуазно-демократической революции 1848—1849 гг.

С. 195. *Иеремиада* — горькая жалоба (от библейской легенды о плаче пророка Иеремии по поводу разрушения Иерусалима).

С. 206. *...теперь война...*— речь идет о Севастопольской обороне 1854—1855 гг.

С. 220. *День был табельный...*— табельными называли праздничные — церковные и царские дни.

С. 239. *Кипсеки* — роскошно изданные книги с картинками.

С. 241. *«Le génie du christianisme»* («Дух христианства») — произведение Ф. Р. Шатобриана.

С. 247. *...в таком пандемонии...*— видимо, искаженное пандемия, т. е. болезненное состояние.

С. 283. *Я здесь, Инезилья...*— серенада А. Г. Даргомыжского на слова А. С. Пушкина.

С. 286. *Жильбер Николай* (Жозеф) (1751—1780) — французский поэт-сатирик.

Чаттертон Томас (1752—1770) — английский поэт, трагически умерший в возрасте 18 лет; предшественник английского романтизма.

С. 289. *...«Ноэля и Шапсаля»...— Ноэль* Жан-Франсуа-Мишель (1755—1841) и *Шапсаль* Чарлз-Пьер (1788—1858) — авторы учебников французского языка.

Какография — умышленно ошибочное написание слов. Ученику дается для исправления текст с ошибками.

«После потопа»

Впервые напечатано в журнале «Отечественные записки», 1881, № 1. Печатается по тексту сборника повестей и рассказов В. Крестовского — псевдоним «На память». СПб., 1885, издание А. Суворина.

«Вьюга»

Написано в 1888 г. Впервые напечатано в газете «Русские ведомости», 1889, № 4. Печатается по тексту второго издания книги «Альбом. Группы и портреты». СПб., 1889.

С. 354. *Новикова Ольга Алексеевна* (урожд. Киреева, 1840—1925) — русская публицистка.

С. 360. *Огиньский Михал-Клеофас* (1765—1833) — польский композитор.

СОДЕРЖАНИЕ

ИБ № 2691

Надежда Дмитриевна Хвощинская

(В. Крестовский — псевдоним)

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Заведующая редакцией
Л. Сурова.

Редактор
Н. Рыльникова.

Художник
А. Шкловская.

Художественный редактор
А. Яцкевич

Технические редакторы
Г. Бессонова, Л. Беседина.

Корректоры
Т. Горячева, Е. Коротаева

Сдано в набор 17.10.83. Подписано к печати 23.03.84. Формат $84 \times 108^{1}/_{32}$. Бумага газетная. Гарнитура «Литературная». Печать офсетная. Усл. печ. л. 20,16. Усл. кр.-отт. 20,16. Уч.-изд. л. 22,47. Тираж 200 000 экз. Заказ 560. Цена 2 р. 10 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Московский рабочий», 101854, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8

Ордена Трудового Красного Знамени типография издательства ЦК КП Белоруссии, 220041, Минск, Ленинский проспект, 79.

2 р. 10 к